

11 *Земѣи АСТАФЬЕВ*

11 *Земѣи АСТАФЬЕВ*

---

Виктор  
АСТАФЬЕВ

—

**Собрание сочинений**

---

Виктор  
АСТАФЬЕВ

---

**Собрание сочинений в пятнадцати томах**

**КРАСНОЯРСК**  
**«ОФСЕТ»**  
**1997**

---

Виктор  
АСТАФЬЕВ

---

**Собрание сочинений**

•

**Том  
одиннадцатый**

•

**ТАК ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ**

**ОБЕРТОН**

**Повести**

**РАССКАЗЫ  
РАЗНЫХ ЛЕТ**

**КРАСНОЯРСК**

**«ОФСЕТ»**

**1997**

Художественное оформление  
А. Озеревской, А. Яковлева

**Астафьев В. П.**

А91      Собрание сочинений: В 15 т. Т. 11. Повести, рассказы разных лет. — Красноярск: ПИК «Офсет», 1997 — 432 с.

В одиннадцатый том собрания сочинений В. П. Астафьева вошли две повести — «Так хочется жить» и «Обертон», написанные в 1994—1996 годах, а также рассказы разных лет: «Ночь космонавта», «Передышка», «Курица — не птица», «Слякотная осень», «Осенью на вырубке», «Медведи идут следом», «Пришлая».

По рассказам «Ночь космонавта», «Передышка» сделаны радиопостановки.

Публикуется и рассказ «Разговор со старым ружьем», написанный в 1997 году.

© В. Астафьев, 1997

© А. Озеревская, А. Яковлев

Оформление, 1997

© Производственно-издательский комбинат «Офсет», 1997

# **ТАК ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ**



**Повесть**



Во здравие живых,  
во славу павших  
побратимов-окопников.

*Автор*

**ЧАСТЬ ПЕРВАЯ**



**ДОРОГА НА ФРОНТ**

•



---

Фронтальные дороги ведут в бесконечность и никогда не повторяются. Но их разнообразие, переменчивость, неудобь — не способствуют бодрости, в особенности если едешь по ним ночью, — а все передвижения близ фронта происходят в основном в ночное время, и давно кажется, если не год, то уж неделю наверняка сидишь за рулем. И усталость, и ночь, и пение мотора машины-полуторки не просто навевают сонливость, но клонят в сон, одолевает расслабляющая бесчувственность, склеиваются глаза, меркнет сознание, покидает шофера чувство страха и ответственности. Будто расстроенная струна звучит на расстроенной балалайке: гынь-гынь-гынь, гань-гань, гане... гы-ы-ынь... гы-ы-ы-ыы...

Коляша Хахалин других дорог и не знал, по другим, слава Богу, и не ездил. Пение полуторки, этот усыпляющий звук мотора останавливает время, погружает в немоту мир окружающий, точнее, проносит его мимо с левой и с правой стороны машины. Хоть бы жахнуло где, стукнуло бы, что ли, хоть бы огонек где мелькнул, но лучше бы много огней, напоминающих человеку, что не один он во вселенной, что живут еще люди и теплят огоньки в жилищах. «Дрожащие огни печальных деревень», — пусть бы и дрожащие, пусть бы и в печальных селениях.

Но никого и ничего вокруг и вдали, лишь мотор поет свою однообразную, вкрадчиво-ласковую песню, и рулевого снова и снова начинает долить сон, голова, сколь ее ни держи, сламывает шею, размягчает кости, осаживает

туловище до тех пор, пока лбом не коснешься холодного железа, пока им не стукнешься об округлость баранки, — мгновенное тогда происходит воскресение, испуг на какое-то время расшибает сон, отгоняет его. Рулевой, разом вспотев, ищет, ищет глазами белое пятнышко впереди, не найдя его, прибавляет газу, полуторка вздрагивает от неожиданности, вроде как и она задремала тоже, начинает досадливо постреливать и рычать от напряжения. Но если впереди лунным пятнышком засветится метка — на рулевого сразу же нападает благодушие, расслабленность, и снова, и снова усыпляюще запекает мотор: гынь, гынь, гы-ы-ы-ынь...

«В дорогу идти — пятеры лапти сплести», — слышал где-то Коляша. И повторяется, и повторяется: «В дорогу идти... в дорогу идти... гынь-гынь...»

Коляша Хахалин шофером себя стеснялся называть, тем более водителем — совсем уж это редкостное, высокое слово, а значит, оно и определяет человека особой мерой — во-ди-тель! — специалист, значит, кого-то и куда-то ведет он. А вот скажешь — рулевой, и вроде как взятки гладки — какой с рулевого спрос, он за руль только и отвечает, все равно как ссыльный пастушонок-поляк сказал однажды в поселке-городе, далеко-далеко на севере стоящем, что он — «водитель кровы».

Коляша тоже мог быть «водителем кровы», шофером же быть он не мог. У Коляши Хахалина прозвище Колька-свист, не в подражание герою «Путевки в жизнь» ему дано, оно самим им нажито — Коляша был мастер по части чтения, пения, всяческого сочинения. У него был, как бы сказали нынешние педагоги, «гуманитарный склад характера» — он соответствовал этому характеру, учился хорошо по языку, литературе, истории, географии и очень плохо по математике, за что его всегда ругали, порицали в детдоме, оставляли на второй год в школе, однажды оставили даже и на третий...

Соответственно своему гуманитарному наклонению в характере Коляша ничего не смыслил в технике и за жизнь свою восемнадцатилетнюю из техники только и запомнил, что есть выключатели электричества, не только вверх и вниз действующие, но и вправо-влево, еще он запомнил, что электролампочку, когда свету хочется и когда свет погас, надо тоже вертеть вправо, поскольку в детдоме ребята часто били лампочки, ключ у дверного замка, чтобы

его отомкнуть, между прочим, тоже чаще всего поворачивается вправо.

И вот с такими-то техническими данными Коляша Хахалин попал в автополк — учиться на шофера. Его и не спрашивали, хочет он или не хочет учиться на шофера, может или не может овладеть машиной. Выстроили призванных ребят во дворе областной военной пересылки, выкликнули фамилии по списку, велели сделать шаг вперед, сомкнуться и следовать еще раз на комиссию, на медицинскую. Коляша уже прошел одну комиссию и скрыл от нее, что правая нога у него ломаная, что он малость прихрамывает, да при той комиссии, будь он хоть на протезе, и то оказался бы годен к битве. Но тут, на второй комиссии, он смекнул неладное и сказал врачу, который ему показался главным, что он хромает. «Как со зрением?» — спросил врач. «Полный порядок!» — бодро воскликнул Коляша. Врач сказал, что главное в его будущем деле не ноги, глаза. И загредел Коляша в автополк. Поторопился он с ответом насчет глаз. Надо бы туфту гнать, близоруким, а то и слепым притвориться. Надо было... Но куда богатого конь везет, туда бедного Бог несет.

Это он понял с первых дней пребывания в автороте. Там уже были ребята, переправленные в автополк из других воинских частей, народ, знающий мотор, технику, — бывшие трактористы, комбайнеры и даже рулевые, закончившие автокурсы или не успевшие их закончить, не получившие права называться шоферами. Многие из призывников успели помотаться по грязным, холодным казармам, оголодали там, обовшивели, иные уж доходили и, попав в автополк, в кирпичные казармы, строенные еще при царе, где было сухо, тепло и питаньишко получше, чем в пехоте, старались учиться изо всех сил, быстро осваивали боевую технику, то есть автомашину «ГАЗ», кто и «ЗИС». Кроме занятий техникой, изучения правил уличного движения и безопасности курсанты проходили и строевую, и боевую подготовку. Спали мало, но крепко, уставали потому что.

У Коляши Хахалина в автороте не заладилось ученье — говорун, просмешник, анекдотист, песельник, сперва он был принят в роте по-братски и даже выделен среди остальных, прозвище к нему, неведомо как и почему, вернулось прежнее в точности — Колька-свист. Он даже ротным запевалой сразу сделался и навечно простудил горло на сибирском морозе. Но чем дальше в зиму,

тем больше становилось мороки с автоучебой. На тренажерах — в большом зале из досок сделаны помосты и к ним прикреплены педали, рычаги, крючки, ручки и сам руль, — сиди и целый час, когда и два, переключай скорости, жми педаль сцепления, и Коляша на тренажере-то лихо сперва переключал все с шутками, с прибаутками, но это занятие ему скоро надоело, и он начал отлынивать от классной учебы. По соседству, в зале, еще более просторном, на постаменте стоял двигатель машины «ГАЗ», в разрезе двигатель-то, как животное или человек в учебнике по зоологии. Подходишь и видишь все сложное нутро: поршни, коленчатый вал, карбюратор, генератор, помпу, охладительный бачок и еще много-много чего. Как-то прикинул Коляша про себя, и вышло, что нутро машины куда как сложнее, чем человеческий организм! — попробуй, постигни такую технику!.. Коляша пал духом от сложностей автомобиля, служба его в роте и наука пошли худо, со спотычками, отношения в автороте не заладились.

За длинный язык, за острое, не всегда к месту сказанное слово его невзлюбил и начал принародно одергивать главный человек в роте — старшина Олимпий Христофорович, фамилия которому была Растаскуев. Крупный, румяный мужик с умеренно-вспухшим животом, с алыми губками и совершенно пронзительным взглядом голубеньких глаз с остро заточенными зрачками. Коляша возьми и скажи старшине, без всякой задней мысли, что у графа Бенкендорфа отчество было тоже Христофорович. Старшина поинтересовался, кто это такой? Коляша, опять же безо всякой задней мысли, ответил, как учили в школе, — прихвостень, мол, тирана-царя и погубитель гениального поэта Пушкина. Уже вечером того же дня Коляша вычерпывал и выносил мыльную воду из-под умывальника, затирал в умывальнике пол и подметал коридор в казарме.

Перед отбоем старшина Олимпий Христофорович произнес речь перед выстроенной ротой в том духе, что среди прибывших есть грамотеи, знающие все про Пушкина и Колотушкина. Рота слегка колыхнулась от смеха, старшина переждал и продолжил: но устав и боевую технику эти грамотеи изучают плохо, нерадиво, а он, старшина, служит в автополку еще с кадровой и всяких навидался, они от его науки и пристального внимания не только Пушкина-Колотушкина забывали напрочь, но и матери родной имя не вдруг вспоминали...

Речь старшины была короткой, состояла в основном из намеков и обобщений. Но после того, как Коляша поинтересовался, неужели Олимпий Христофорович не прочел в жизни ни одной книги; зачем тогда в полку существует библиотека, довольно обширная и интересная; он, Хахалин, несмотря на жуткую занятость, в библиотеке той уже побывал и убедился, что руководство Красной Армии думает не только об маршировках, об изучении устава и техники, но и об интеллектуальном развитии ее рядов, — напутственная речь старшины на сон грядущий удлинилась. В других ротах отбой произошел, люди уже спали, в Коляшиной же роте, забросив кулачищи за спину, перед строем расхаживал Растаскуев-старшина и нравоучительствовал, обозначая дальнейшее направление жизни в том смысле, что армия есть армия, и он не позволит в ней никакого разгильдяйства и умничания, за счет часов отдыха и политзанятий он попросит увеличить часы занятий строевой и боевой подготовкой, потому как рота готовится не к свадьбе, на войну готовится, на фронт, и надо быть во всеоружии, надо, чтоб на фронт уезжали крепкие духом, умелые бойцы, способные бить врага в любой час, в любом месте. Спать рота легла на час позже, и кто-то впотьмах больно сунул кулаком Коляше в бок.

Назавтра и в самом деле был сокращен, навовсе сокращен и более не восстановлен час личного времени. Курсантов вывели на мороз, старшина повелительно крикнул: «Хахалин, запевай!» — и залился, запел Коляша, а за ним и вся рота. Куда денешься? Армия!

На этот раз перед отбоем старшина речь не произносил, но в умывальник Коляшу с двумя товарищами отправил — наводить санитарию, и, драя пол шваброй, пританцовывая, Коляша во все горло пел, хотя ни петь, ни танцевать ему не хотелось: «Финнам мы покажем жопу, раком повернем Европу, а потом до смерти зае...». В умывальник ворвались трое крепких парней в нижних рубашках — Коляшу и напарников его бить, но тут оказались бойцы не робкого десятка, и так они обиходили швабрами нападающих, что те превратились в отступающих.

За это за все — за драку, за избиение дисциплинированных курсантов — Коляша был послан долбить помойку, и старшина напутственно похлопал его по спине: «Иди и подумай на ветру кой о чем. Охолонись...»

Вернулся Коляша в казарму уже под утро, несколько не выспался, кемарил в учебном классе, путался в отве-

тах, был выгнан на улицу — ползать по-пластунски под командой рыжего, носатого сержанта, который недоуменно и дружески наставлял Коляшу:

— Неужели трудно запомнить, что старшина главное солдата? В уставе же написано: «Приказ начальника — закон для подчиненного».

— Все понял! — бодро заявил Коляша.

Перед отбоем курсанты добром его просили в роте: «Уймись! Этот битюг заест и тебя, и нас...» Но Коляша от бессонницы и изнурения внутренне клокотал, прямо из строя сказал Олимпию Христофоровичу, что он как командир самой передовой и сознательной армии не имеет права издеваться над людьми. Пусть его, Хахалина, наказывает, как мохнатой душе старшины хочется, но ребята тут ни при чем.

— Хор-ро-оо-ошшо-о-о! — с растяжкой сказал старшина, — оч-чень хорошо-о-о! Раз человек просит, грамотный, культурный, песни и стихи знает, уважим его. Р-рота, отбой! Хахалин в умывальник!

В умывальнике были две длинные лавки, приделанные к стене. Над лавками ячейки, в каждой ячейке крючок для полотенца и желобок для мыла. Коляша, натянув мазутную телогрейку на ухо, лег на скамейку спиной к батарее и мгновенно уснул. Проснулся он оттого, что повис в воздухе, — старшина Растаскуев взял его за воротник со скамьи.

— Отпусти, х...сос! — закричал Коляша.

— Кто я? Кто я? — от неожиданности старшина приземлил Коляшу и, повернув его к себе лицом, требовал: — А ну, повтори! А ну, повтори!

И Коляша не только повторил, но и добавил:

— Педераст! Фашист! С-сука! — и в довершение плюнул в румяную толстую морду и тут же получил такой удар, что брызнуло из глаз, будто из бессемера, продувающего горячий чугун, который Коляша видел когда-то в киножурнале.

Пролетев по воздуху изрядное расстояние, курсант вышиб спиной дверь в расположение роты и приземлился на пол. Разъяренный старшина выскочил следом, занес ногу пнуть щенка, но щенок тот был детдомовский, наторелый в драках, нервами еще сызмальства изношенный — когда его, еще неопытного карманника, пинали на базаре, на крыльце магазина, он умел вывертываться и ни советским гражданам, ни судьбе покудова не дал себя

запинать. Вертухнувшись на полу, боец Хахалин ухватил занесенный над ним старомошеный яловый сапог, дернул и услышал, как тяжелое тело, грохнувшись по пути об приступок нар, тоже упало на пол. Медведем рыча, от нар начало взниматься оскаленное чудище, чтобы раздавить, размичкать червяка, посмевшего поднять руку на армейского господина, на самого заслуженного в автополку старшину Растаскуева. Коляша Хахалин метнулся к пирамиде, где в ряд со старыми винтовками стояли недавно полученные карабины новейшего образца, с несъемным штыком. Карабины все были в порядке, смазанные, вытертые, штыки подняты, на них масло блестело, и, разом забыв все приемы штыкового боя, все на свете забыв, с криком: «Заколю с-суку! Заколю!» — с поднятым над головой карабином Коляша ринулся на старшину.

Не приняв рукопашного боя, старшина Растаскуев ринулся прочь. А Коляшу уже понесло. Видя перед собой широкую, будто дверь переселенческого барака, плотно обтянутую шерстяной офицерской гимнастеркой спину, боец Хахалин целил всадить боевой штык в середку ее, меж лопаток, и даже успел мстительно насладиться, явственно слыша, как захрустит та ненавистная спина, как завопит этот лапистый громила...

Косолапый, на одну ногу припадающий Коляша и величавый старшина вопили во всю глотку. Огромная, царских времен казарма, вмещающая на одном этаже аж целый батальон — душ до пятисот, при утеснении — и до тыщи, проснулась, в Коляшиной роте кто-то спрыгнул с нар, погнался следом с готовностью не то выручать старшину, не то помогнуть товарищу, но не догнал сражающихся — прыток оказался Олимпий Христофорович, здорово умел бегать, хотя и на фронте не был, практику драпа не проходил.

Во второй роте на середку прохода выскочил дежурный, раскинув руки, закричал:

— Стой! Стой!

Коляша отшиб его в сторону, однако дежурный третьей роты поступил просто: дал подножку яростно наступающему вооруженному бойцу. Выронив карабин, боец проехался по бетонному полу брюхом, ссадил его, оцарапал. Дежурные мигом навалились на бунтаря, заломили ему руки и поволокли в комнату командира батальона — сей ночью тот ночевал дома или еще где. С противогазом на боку сюда же вбежал дежурный по батальону младший

лейтенант при нелепых погонах и, увидев, как жестоко избивают сослуживцы солдата, будто чечетку отбивая, затопал:

— Прекратите! Что вы делаете? Прекратите!

Бойцы послушались, бить прекратили, но держали бунтаря за руки. Супротивника своего теперь бил уже один — старшина Растаскуев, месил мальчишеское лицо, приговаривая:

— Я тя научу! Я те покажу! Я те... — приостановился вдруг и, глядя в расквашенное, окровавленное лицо сосунка, задыхаясь, спросил: — Так кто я? Кто?

— Фашист! Фашист! — Коляша сгустком крови харкнул в трясущее подбородком лицо старшины.

— Да прекратите же вы, наконец! Прекратите! — вопил младший лейтенант.

— Не-эт! — утираясь, взревел старшина. — Не-э-э-эт! Я добыю! Я добыю эту гниду... — и снова ринулся на Коляшу, заноса кулачище аж за спину — для сокрушительного удара.

Ах, дурак, дурак! Разве так дерутся?! Сам вот много бил, а самого били мало — раскрылся, выпятился молодецкой грудью и совсем-совсем не берег свою толстую морду...

Коляша, как бы изнемогши, как бы оберегая остатки лица, опустил голову, соблазняя истязателя подцепить его кулаком-кувалдой для последнего, прицельного удара. Как только старшина приосел в боевом маневре, Коляша головой и одновременно в прыжке ударил победительно топавшего воина ногами в низ живота. Что-то хрустнуло, всхлипнуло внутри старшины, в следующее мгновение он уже полулежал, зевая, у стены, под портретами Карла Маркса и Фридриха Энгельса, выше которых еще висели Ленин и Сталин. Поверженный старшина старался что-то молвить, но, глуша, размягчая звуки, изо рта ротного дяди выплескивалось красное месиво, и все тот же тонкий писк тянулся вместе со слюною.

Младший лейтенант подхватил бунтовщика, выбрызгивающего вместе со слюною и с кровью ругательства, какими владеет только советский простой человек, и в первую голову шпана всякая, прежде всего детдомовщина, уволок его за перегородку, ко кровати для дежурного.

— Что же это вы?! Что же это вы?! — топтался вокруг Коляши дежурный по батальону и совал ему полотенце. — Умойтесь. Умойтесь. Как же это вы? Что же это вы?..



— Не надо, — отстранил полотенце Коляша. — Испачкаю. Мне бы тряпку какую, — и начал умываться холодной водой.

Младший лейтенант тряпицы не нашел, пришлось все же пользоваться полотенцем.

— Безоружного бьют! За руки держат... — почти стонал младший лейтенант, видать, начитавшийся благородной литературы, и предложил Коляше ложиться на кровать дежурного. — Мне уж лечь не доведется, а вы ложитесь. Я вас запроу на ключ. Ой, что завтра будет?! Что завтра будет?!

Младший лейтенант ушел, придерживая противогаз на боку. Коляше отчего-то подумалось, что вот этого-то командира как раз и убьют на войне — война хороших и добрых не щадит, и Бог, говорят, их к себе в первую очередь призывает...

Он осторожно уложил себя поверх одеяла. Его начало трясти, и горькая, слезливая, какая-то детская слабость и обида накатывали на него. Большой боли он пока еще не ощущал, но вот чувство сиротливости, одиночества и безмерной тоски по кому-то и по чему-то распространилось по всему телу, по всему нутру и даже, вроде бы, под кожей. В крови, в мышцах поселялась тоскливая пустота. Как и всегда после потрясения, вспышки в детстве еще приобретенного психоза, он болел всем телом, слабел духом, страдал чувством покинутости. Как всегда, ему хотелось куда-то уплыть, уехать, убежать. Да куда уедешь, уйдешь от этой казармы, из этой жизни? Он уже давно решил, что когда-нибудь в такие вот минуты покончит с собой.

Трясло все сильнее, стучали зубы, и сквозь них не вырывался, но тек, сочился прикушенный вой. Он задрал военное одеяло, которое натянул было на подушку, чтобы ненароком не запачкать казенную наволочку, сказал сам себе: «Семь бед — один ответ», — и попытался заснуть, да сон не сходил на него. Тогда он стал вспоминать свою прошлую, такую еще короткую, однако очень насыщенную жизнь. Воспоминания всегда насылали на него сон и успокоение.

Вспоминать-то Коляше особенно и нечего. Родителей его, Хахалиных, отца и мать, выслали на север из богатого алтайского села Ключи. Коляша был еще мал, только-

только входил в школьный возраст. Его зреющая детская память совпала с крутыми переменами в стране, и первоначально в ней отпечатались утомительно-длинная, почти бесконечная и оттого скучная таежная дорога да холод полупостроенных или полуразрушенных бараков, в которых люди перемогали зиму. Натоптали тропы, обляпали все вокруг нечистотами, усеяли прореженную тайгу бугорками неглубоких могил. На те могилы дети ходили играть в дом и в пашню, так как эти бугорки были единственной зримо приближенной землей. Остальное же все глубоко завалило немым, слепящим глаза снегом.

Вот когда уцелевший в тайге народ затолкали в баржи, прицепленные к пароходу, и поволокли караван вниз по течению большой реки, жизнь пошла веселая и запомнилась лучше. Дети играли в прятки меж теса, штабелями груженного на баржи, меж каких-то машин, бочек, лебедок, мешков с цементом, белым порошком, вертели колесики у машин, чего-то строгаали складниками, собирали деревянные кубики, строили из них дома. Доступа в нутро барж никому, кроме команды, не было — там насыпью хранилось зерно, мука в мешках, продукты в ящиках. Только внутрь одной бо-ольшущей, будто дом, баржи разрешено было спускаться женщинам и некоторым пожилым мужикам. В той барже везли коров и коней. Коровы громко, на всю реку ревели, и конвоирам объяснили, что в коровах горит молоко оттого, что они не доены. Разрешено было доить коров и подрезать им и лошадям копыта, потому как от постоянной неподвижной жизни, от мокрых плах на копытах животных делались наросты, они болели и падали.

Дармовым молоком пользовались команда парохода, шкипер и матросы с баржи, конвой и, если чего оставалось, — ссыльные. Оставалось много. Неистребимые крестьянские бабы научились в пути настаивать сметану, парить в русской печке в шкиперской будке творог и даже сбивать мутовкой масло — ребячья эта работа тоже разнообразила жизнь. Мужики здесь же, на палубе, соорудили шалаши из теса настелили подобья нар. Оправившиеся от губельной зимовки, молодые девки и бабы, от хорошего харча и вольного речного воздуха раздобревшие и чего-то захотевшие, заводили знакомства, будто в селе, на вечерке, гуляли по палубе, угощаясь прошлогодними орехами, купленными на берегу, уединялись в вечернее и ночное время в известных лишь им местах. Но особо-то

на барже не разбежишься. Парнишки и девчонки подглядывали за любовниками, перенимали опыт старших и, когда осенью поселенные на заполярный берег девки и бабы начали сплошь рожать, кулацкие дети могли хоть в школе, хоть где ответить, что детей находят не в капусте. Отнюдь!

Во время погрузки дров на топливо и двух длительных остановок каравана на ремонт парохода, на замену разбитых деревянных плит двигательного колеса, помпы-качалки и рулей на баржах начальник конвоя, которому хитрованы-переселенцы отослали на пароход самую ядреную молодку — «постираться», — разрешил конвоируемым сойти на берег за черемшой, щавелем, саранкой и целебными травами. Ребятишкам, у кого имелись крючки, дозволялось поудить с берега. Мужикам, научившимся в пути делать домовины, похоронить тех, кто, изнурившись зимою, заболел и покинул не ко времени сей лучезарно изливающийся над рекою свет. Отходы в любой жизни, в переселенческой тем паче, неизбежны, и оставались мужики и бабы русские, чаще — дети и старики, никем не призретье, по-христиански в вечный путь не снаряженные, в далекой неприветливой стороне спущенные в ямы меж разрубленных и разорванных кореньев. Ставился общий крест над ними, и капитан парохода кроме отвального гудка давал дополнительный, длинный. Угрюмо звучал над тайгою и рекою гудок. Все, кроме партийных конвоиров, стояли, сняв фуражки, шапки, глядели на удаляющийся берег с общей, воистину братской могилой. Боясь завуть в голос по покойным, бабы затыкали рты фартуками. А бояться переселенцы не переставали даже на караване, и было чего бояться.

Какой-то мужик или парень-лиходея испортил так хорошо мужицкой изворотливостью налаженную путевую жизнь — забрался в трюм и украл отгудова ящик с вермишелью, а также женское пальто с беличьим воротником. Все: и переселенцы, и конвой, и пароходный люд — недоумевали: ну ладно, вермишель — сварить и съесть можно, хотя питаньем в пути люди были обеспечены нормальным, да и самообеспечивались хорошо молочными продуктами, рыбой, даже мясом. Один конь упал от копытки в трюме, мясо разделили, шкуру высушили, на подстилку употребили. Но пальто-то, пальто зачем брал ушкунник проклятый, когда и жены-то у него нету, пропала

у него жена, пока он сидел в тюрьме за какое-то тоже, видать, лихое дело.

Мужика или парня того конвоиры расстреляли во время остановки, прямо на берегу. Начальник конвоя велел всем переселенцам — это тыщи две, если не три, от мала до велика выйти на палубу и смотреть, как беспощадно советская власть карает преступников, и добавил, что раз добра люди не понимают, пусть глядят и на ус мотают...

Раздетый до исподнего мужик или парень стоял на камнях, его шатало. Когда подняли конвоиры винтовки к плечу, с барж закричали смертнику: «Перекрестись! Перекрестись!..» Но приговоренный или не успел, или не захотел перекреститься. Пули из четырех винтовок свалили человека на камень. Народ на баржах шатнулся, бабы дико закричали. Начальник конвоя не велел закапывать преступника, приказал выжечь на доске в кочегарке каленой кочергой позорную надпись: «Расхититель народного имущества» и положить ту доску расстрелянному на грудь.

Остатный путь до намеченной цели прошел в строгости. Молодому начальнику конвоя вернул на баржу, играющие на гармошках и пение прекратил, гульбу, принимающую бедственные размеры, пресек. После одиннадцати вечера отбой — кто высунет нос, в того стрелять без предупреждения. Выход на берег, кроме парнишек с удочками, всем остальным запрещался; оправка и варение еды по сигналу — в одни и те же часы; мытье голов и тел горячей водой — по особому распоряжению; похороны покойников на берегу запретить, ежели же таковые появятся — привязывать к их ногам тяжести и выбрасывать за борт. Хватит! Довольничались! Если с вами обращаются, как с людьми, — людьми и будьте!

Самое большое горе постигло ребяташек — капитан парохода обещал экскурсию по пароходу, даже по машинному отделению — допустить сулился, хотел прочесть лекцию об истории своего парохода — все это само собой отменилось. И ругали, ох как ругали переселенцы ушкунника того, слямзившего вермишель и пальто, так ему и надо — говорили, — пусть вот теперь валяется не призреть Бог и людьми на камнях, пусть его вороны клюют.

Сказать, что все приказы-указы выполнялись досконально и буквально, нельзя. Народ же русский каков? Он все устои расшатает, любые препоны прорвет. Начальни-

ка конвоя, шибко запившего после происшествия, капитан парохода — добряк — и нечаянные посыльные с баржи склонили к мысли, что с неподшитым подворотничком, в несвежем белье, в немых портянках, при сопливом носовом платке жить и быть столь важному человеку, в неубранной к тому же каюте, за неухоженным столом и постелью — не личит. Начальник конвоя, после некоторых раздумий, вернул к себе молодуху, а почувствовав слабину начальника, и конвой помягчал, однако прежней лафы уж не было, опять ночная стрельба случилась, якобы по очередному лиходею, пытавшемуся забраться через люк в баржу, на этот раз с мешком — за пшеницей. Злоумышленник упал за борт, погрузился в пучину и оказался «ничей» — никто из переселенцев не признался в утечке родни, никто как бы не хватился человека.

Разгрузка на низком, тальником поросшем берегу, где карандашиком торчала и курилась железная труба, а вокруг нее так и этак большей частью недостроенные помещения, месиво комаров, заживо съедающих людей. Сразу же за трубой и меж строений — хилый, поврежденный лес, большей частью еловый да березовый, табуны голоухих ребятишек и собак, чернота уток на реке, даже на лужах, в озеринках, нехороший, удушливо-парной воздух «отдающей мерзлоты», от которого было тошно, даже склизко в горле и в голосе, — вот и все первые впечатления.

Затем суета, работа, быстро надвинувшаяся осень, в середине сентября снегом порснувшая и к концу октября согнавшая все суда и всех птиц на юг. Разом грянула зима, морозная и ветреная. Убавила она половину переселенцев, смахнула их с берега, вымела в лесотундру, где день и ночь работала команда с кирками, ломami и лопатами, выбивая в стальной тверди мерзлоты широкие котлованы, глубиной аккурат такие, чтобы из них распластанно брошенный человек не высовывал носа. Старались в ямы поместить человеко-единиц как можно больше. Затем гусеницами тракторов приминали могилы, чтобы не только носы, но и скрюченные цингой руки и ноги не торчали из серебрищихся комков, сизых от раздавленной мерзлой голубики.

Тут, в Заполярье, не до нежностей и удобств. Выжить бы только.

Большая, основательная семья Хахалиных как-то быстро и незаметно изредилась. Умерли старики и с собой

уманили самых уж размладших внучат. Когда отца Коляши под конвоем увезли еще дальше, на какие-то «важные» работы, будто сломилась матица в избе — не стало и матери. Все посыпалось и рухнуло до основания — цинга сразила. Остался Коляша на руках старшей сестры, уже здесь, в Заполярье, дважды сходявшейся с мужиками, чтобы иметь «опору в жизни», и была та опора опорой иль не была, но дети от нее появлялись. В барачной беленой комнате однажды застрял «ирбованный» с наколками на руках, на груди и даже на заднице — он-то и приучил Коляшу к немудрящей музыке. В городке образовался детприемник, сестра взяла Коляшу за руку и отвела туда, сказав на прощанье, что ей бы со своими чадами как-то выжить и управиться.

Обжились они, поправились. «Ирбованный» оказался крутым работягой, крепко заколачивал на лесопогрузке, срубил дом у озера, но и пил, и жену поколачивал тоже крепенько. Коляша изредка заходил к родне и с удивлением обнаруживал подросших кулачат с порченными зубами и вновь ползающих и ковыляющих малышей-племяшей вокруг стола — неистребимое отродье. «Ирбованный» был к Коляше, как, впрочем, и ко всем другим людям, приветлив, учил его играть на балалайке и на гармошке, давал ему рубль на конфеты и однажды подарил новенькую книгу, приказал ее прочесть, а потом рассказать содержание. «Ирбованный» был грамотный, читающий, совсем пропащий человек, он и Коляшу погубил, купив ему в подарок «Робинзона Крузо», — навсегда погрузивши парнишку в пучину такой завлекательной книжной жизни, из которой ни умная школа, ни вот эта непобедимая армия не могли его вынуть.

Старшину Растаскуева больше всего поражало и потрясало, что какой-то сопляк Хахалин в красном уголке читает газеты, листает журналы и знает наперечет десятков тех книг, что выставлены на полке, читает, конечно же, исключительно для демонстрации умственности и разложения посредством культуры армейского контингента, находящегося в составе вверенной ему роты. Скоро, однако, старшина Растаскуев достиг своей цели — никто, в том числе и зловредный грамотей Хахалин, к газетам и книгам не притрагивался, не пачкал и не рвал их — недосуг было.

А «ирбованный», в первые же месяцы войны взятый на фронт, слышно было, командовал ротой, получил звание

Героя за сражение под Москвой. Во всяком разе, писала в письме старшая сестра, жить с ордой сделалось полегче, ей за мужа идет пособие, и сам он нет-нет и пришлет денег с фронта, один раз даже прислал посылку с мануфактурой — на ребятишек, прислал и вторую посылку, но в ней оказались только красивые книги, которые он приказал беречь до его возвращения.

Ну, что еще вспомнить? Где и чего наскрести такого, чтобы поменьше болели лицо и кости и забылось бы все, что было и есть вокруг. Детдом? Там было много презанятого и интересного. Но ярче всего помнились морозные, «активированные» дни и ночи, когда в школу и на работу не идти. В те ночи от морозов цепенел законный мир, но небо шевелилось, двигалось, фантастически нагромождались на него торосы, груды и глыбы льда, каких-то мерцающих теней, хрустальных столбов и колонн, бросаая иль спуская на землю тот леденяще-мерцающий свет, от которого земля казалась совсем пустынной, обезлюдившей, нежилой. В такие ночи тепло от беспрерывно топящихся печей, уют детдомовского жилища, пусть и казенный, пусть и убогий, казался тем раем, о котором все время нравоучительно говорили старшие: «Государство заботится о вас, обеспечивает всем, государство и советская власть хотят, чтобы вы выросли истинными патриотами своей Родины, наш любимый и родной вождь все делает для того, чтобы вы никогда не чувствовали себя сиротами...»

И не чувствовали! И не знали! И не ощущали! Жили и жили на свете беззаботно, весело, как и подобает жить в детстве. Ругались, конечно, дрались, отлынивали от уроков и всяких там разных занятий, когда надо сидеть смиренно и слушать.

Все было. Все было. Но лучше всего и памятной, когда в самую большую, девчоночью комнату сбивалась братва, еще не дотянувшая годами до тех, кто уже вовсю блатарили и среди них начинающие преступники, гордившиеся своим ранним созреванием, — они не ломались в большую комнату, презирая малышню, им некогда было, они занимались серьезными делами: карманной тягой, бесплатным проникновением в кино, посещением рабочих общежитий, где всегда весело и вольно, если погода позволяла, шатались по городу, по магазинам, по столовым и всяким другим присутственным местам — любимое это занятие людей, привыкших к безделью, и просто неодолимая тяга

звала, тянула нарождающийся класс неприкаянных людей в темные переулки, к бродяжничеству, к потаенным, рисковым делишкам. Детдома и разного рода приюты, как и школы наши, любят хвастаться, сколько выдали они стране героев, ученых, писателей, артистов, летчиков и капитанов, но общественность скромно умалчивает, сколько ж воспитательные заведения дали родине убийц, воров, аферистов и просто шатучих, ни к чему не годных, никуда, кроме тюрьмы, не устремленных людишек.

...Сдвинув койки, повелев малому населению ложиться в ряд, Венка Окольников и Коляша Хахалин покрывали улегшихся сперва холодными простынями, затем одеялами и поверху уж всякой одеждой, какую удавалось раздобыть на вешалке. С дальнего боку залезал под укрытие и подтыкался Венка Окольников, ближе к печке-голландке и двери вкатывался, точнее, лепился на край кровати Коляша Хахалин. Какое-то время все лежали, надыхивая тепло и привыкая к положению среди лежащего общества. К Коляше, как только он проникал под одежду, залазила головой под мышку Туська Тараканова, мордочкой похожая на поросенка, и замирала в ожидании чуда — Коляшиных сказок.

— Ну, давай начинай, — зывали из темноты, тревожимой позарями.

Коляша, внимая голосу народа, начинал собирать в кучу все, что вычитал, увидел, на уроках услышал или сам придумал, — плел он всякую небылицу, мешая королевичей с царями, маршалов с рыцарями, мушкетеров с лейтенантами, медсестер с прищессами, принцесс с продавщицами. И притихшая в ночи, разомлевшая от тепла и его сказок, переполненная любовью ко всему доброму публика тихо отходила ко сну. Первой начинала похрюкивать под мышкой Коляши, мочить ее сладкой слюной Туська Тараканова, затем и остальные отлетали в детский, уютный сон. Напуганные, нервные дети и те, кто мочился под себя, — они боялись пустого коридора и полутемного, пропахшего мочой и карболкой туалета, — в сопровождении Венки или Коляши семеняли в отхожее место, и их, поругивая, пускали обратно в нагретую постель. И снова раздавалось требовательное: «Дальше-то чё?», — и, напрягая свою голову, Коляша давал и давал, под собственный голос постепенно расслабляясь и засыпая.

Но обязательно находились малый, чаще малая, при которой кто-то кого-то рубил, резал, были и такие, как



Коляша, кто и расстрелы зрел. Эти засыпали долго, мучительно, бились во сне, стонали, вскрикивали — «наджабленный народ», — говорили про них и про себя спецпереселенцы.

Унялись все. Можно спать и сочинителю, но он еще какое-то время лежит, вслушиваясь в дыхание детей, в похуркивание Туськи, и смотрит в желобок рамы, которую вверху еще не достало, не запечатало снегом, чувствуя, ловя взглядом голубой свет, мерцающий, будто на экране немого кино, ощущая счастливую усталость хорошо поработавшего, людей умиротворившего, детей утешившего человека.

Вот это и были самые дорогие в его жизни часы и минуты, с этим ему жить, с этим терпеть все невзгоды и преодолевать беды. Остальное все, как у всех людей. Но, кстати, и было-то детдомовское содружество, ночная сказка не так уж и долго.

В детдоме из пионервожатых в воспитатели выдвинулась кучерявая девица лет восемнадцати и начала бурную деятельность, организовала много кружков: МОПРа, ДОПРа, содействия братским народам, угнетенным оковами капитализма, кройки и шитья, хотя сама не умела ни шить, ни кроить. Боевые выкрики, марши, песни разносились из красного уголка: «Нас не трогай, и мы не тронем, а затронешь — спуску не дадим, и в воде мы не утонем, и в огне мы не сгори-ы-ы-ым...» Она-то, новая воспитательница, в матросском костюмчике с юбкою в складку, с косой, увитой наивной розовой лентой, и обнаружила ночное лежбище ребят в девчоночьей комнате.

— Эт-то что такое?! — взревела возмущенно воспиталка. — Это ж безнравственно! Это ж недопустимо в советском учебно-воспитательном заведении, — и разогнала компанию.

Кэпээшники, будущие клиенты исправительных лагерей и тюрем охотно разъяснили несмышленной братве, что такое безнравственность. Ребята узнали, что они не братья и не сестры по несчастью, что они девочки и мальчики, у которых есть различия не только в одежде, в прическах, но и в прочем, например, половая разница: у парнишек — чирка, у девчонок — дырка, и никакая они друг другу не родня. С тех пор сделалось в детдоме пакостно: парнишки начали подглядывать за девочками, девочки за парнишками, шпана прорезала дыры в деревянных стенах не только детдомовского, но и школьного туалета.

Сгорела высоконравственная воспиталка совсем быстро и неожиданно. Будучи песельницей, танцоркой и вообще вертижопкой, она очень быстро справилась с секретарем горкома комсомола Гордеевым, отбила его у секретарши. Молодоженам дали половину итээровского домика с двумя комнатами и кухней. Молодая жена не умела и не хотела вести дом, у нее в жизни были более крупные задачи, и приспособила она детдомовских девчонок в уборщицы. Как-то собрала она ребят на спевку у себя дома, но умысел у нее был, чтобы и полы у нее вымыли певцы, и половики выхлопали, и вообще прибрались. Во время уборки девчонки вывели из-под кровати с пружинами побывавшие в эксплуатации гоңдоны и унесли домой, где парни их надули и бегали по коридору будто с праздничными шарами, да и напоролись на директора детдома.

— Что это за пакость? — спросил директор.

Бывалые кэпэээшники охотно и популярно объяснили директору, что это не пакость, это гоңдон, что по-французски значит презерватив, одевается он на хер во время полового сношения для того, чтобы женщина не забеременела. Пусть директор насчет заразы не беспокоится, найдя гоңдон на помойке иль за штабелями на причалах, парнишки их выворачивают, прополаскивают и только после этой санитарии надувают ртом. При надувании советские презервативы лопаются, но иностранные — разноцветные — доходят до размера праздничных шаров, и на рыле у них обнаруживается нарисованная тигра, которая при большом ветре шевелит усами, так что с этими веселыми изделиями вполне можно ходить на первомайскую демонстрацию...

Воспиталку перевели в гороно — методистом, есть чему ей учителей учить, в первую голову учительш.

«Ах, детство, детство! Нет к тебе возврата, не возвращается оно, зови иль не зови, и ничего-то не вернуть обратно: ни игр, ни дружбы, ни любви...» — пошел плестись стих в голове Коляши Хахалина, однако сон, все утешающий, всех утешающий, сошел на него, и оборвались нехитрые воспоминания, и стих оборвался, только боль осталась: ломило лицо, болела голова, из носа и разбитых губ сочилось на подушку — били беспощадно, так вот врага-фашиста били бы, так он давно бы уж нашу территорию очистил.

Раньше всех в дежурной комнате появился сам комбат, ходил, искал чего-то. Коляша хоть и лежал, накрывшись одеялом с головой, все чуял. Комбат отбывал в полку последние дни, потому что стрелял в свою жену из нагана, прилюдно стрелял, в спортивном зале, когда жена его играла в волейбол, азартно взвизгивая при каждом ударе по мячу. Она спуталась с каким-то более молодым, чем ее муж, офицером, вот комбат и решил пришить ее, да рука дрогнула. Комбата надо было судить и строго наказать, но жена его из госпиталя прислала записку в штаб: «Прошу ни в чем не винить моего мужа Генечку. Это святой человек». Решено было комбата от должности отстранить и, от греха подальше, отправить на фронт.

Ушел комбат, явился командир автороты и ночной дежурный, уже сдавший противогаз другому дежурному.

— А ну, покажись, покажись, воин! — скомандовал командир роты.

Коляша открылся. Командир автороты, поглядев на него, почти с восторгом сказал:

— Эк они тебя отделали!

Ночной же дежурный, младший лейтенант, все еще возмущался:

— Они ж его за руки держали! За руки! Это ж подло!..

— Ну, заладил: подло, подло, — отмахнулся командир роты. — Он, и по рукам скованный, сумел выбить два зуба Растаскуеву! А дай-ка ему волю... Н-на-а-а, морда-то евоная огласке не подлежит... чугунка и чугунка... н-на-а, — соображал командир роты. — На гауптвахту не отправишь, затаскают, н-н-на-а-а. Надо будет его где-то здесь прятать...

Завтрак и обед Коляше принесли в дежурку. Никто его пока не беспокоил, и ни на одном лице не видел он себе осуждения, даже наоборот, один конопатый солдатик торопливо молвил: «Молодец, кореш!» — и кинул ему коробок с махоркой да с тремя спичками. Не знал солдатик, что Коляша некурящий, значит, не из ихней роты — проявляет солидарность в борьбе за правое дело. Приятно это.

После обеда появился в дежурке сытый и хмурый чин в пепельно-серой мягкой шинели с малиновыми петлицами, поднял солдатика с кровати, пригвоздил его глазами того же, шинельного цвета к месту. Долго, испытующе-презрительно смотрел на него. Сказать, что так смотрит сытый кот на пойманную мышку иль та же тигра — на

лань, значит, ничего не сказать. Во всей тучной фигуре, в сером беззрачном взгляде военного дяди проглядывало всеильное над всем и над всеми превосходство. Будто новоявленный бог, утомленный грехами земноводных тварей, смотрел он на эту двуногую козявку, посмевавшую занимать его внимание, отвлекать от важнейших государственных дел и вообще маячить перед глазами.

Когда-то давно, еще на севере, смотрел Коляша в холодном деревянном кинотеатре немой кинофильм, в котором мужичонка Поликушка, отправленный с деньгами, в город, оные деньги пропил и предстал пред грозные очи хозяина, графа или князя, тот тоже ничего не говорил — кино-то немое, лишь смотрел на Поликушку и так смотрел, что мужичонка, а вместе с ним все зрители кинотеатра, большие и малые, — ужимались в себе, втягивали голову в лопотину. Коляша тоже хотел стать меньше, незаметней, но изо всех сил, Богом, отцом и матерью данных, старался стоять он прямо, не втягивать голову в плечи, не гнуться, чего, видать, как раз ждал и хотел этот барственно-важный военный сановник, привыкший повелевать, подавлять, сминать, в порошок стирать жертву. Не дождавшись желаемого, военное сиятельство зацепило сапогом табуретку, подпернуло ее к себе, расстегнулось, и, утомленно сев посреди комнаты, открыло коробку душистого «Казбека», и опять же утомленно, опять же брезгливо приказало:

— Рассказывай!

— Чего рассказывать-то? — Коляша чуть не ляпнул под впечатлением ночных воспоминаний: — Сказочку рассказывать, что ли?

— О себе. Все рассказывай, как на исповеди.

«Исповедник, н-на мать», — усмехнулся Коляша. На севере, в проклятом и любимом городке, в комендатуре таких исповедников полных два этажа сидело. Поначалу они всех, от мала до велика, на исповедь волокли, после исповеди кого домой возвращали, кого в лесотундру — на убой. Однако утомились и они. Перед войной старосты бараков ходили на правож, потому как из-за отвлечения рабсилы на собеседования и маршей в лесотундру падала производительность труда, тогда как по заветам Сталина, по лозунгам ей надлежало стремительно расти. Старостами бараков никто не соглашался быть, тогда их принялась назначать сама комендатура, отчего старосты сплошь были лютые. Играет братва в коридоре барака в бабки

или в чик — на дворе-то каленый мороз, вдруг вопль: «Староста идет!» — и вся ребятня бросается врассыпную. Попадешь на пути, виноват — не виноват, староста непременно за ухо на воздух поднимет, орать начнет малый — пинкаря ему, стервецу, в добавку за то, что играет, шумит, а за него человек крест несет, если жаловаться вздумаешь, родители добавят — не попадайся на пути властей.

Коляша был краток и сдержан в повествовании о своей жизни. Выслушав его, военный чин достал еще одну папиросу «Казбек», снова долго, как бы в забывчивости, стучал ею об коробку, медленно прижег, выпустил дым аж из обеих ноздрей в лицо солдата, босого, распоясанного, безропотно припаявшегося к холодному каменному полу. От дыма Коляша закашлялся.

— Не куришь, что ли? — барственно сощурился важный начальник.

— И не пью, — с едва заметным вызовом четко ответил Коляша.

— Старообрядец? Кержак?

— Как имел уже честь сообщить, я из семьи крестьянской, значит, верующий, кержаками же, смею заметить, зовутся не все старообрядцы, только беглые с реки Керженец, что в Нижегородской губернии.

— В какой, в какой?

— В Нижегородской.

— Нет такой губернии. Есть область. Горьковская.

— Когда двести почти лет назад старообрядцы уходили с реки Керженец в сибирские дали, никакого Горького на свете еще, слава Богу, не было, да он и не Горький вовсе, он Алексей Максимович Пешков.

— Вот как! — озадачился начальник, поерзал на табуретке, шире распахнулся — голопущый сосунок, с которым он может сделать все что ему угодно, подначивает его, чуть ли не подавить стремится в интеллектуальном общении. Ну, на это есть опыт, метода имеется. Сокрушенно покачав головой, начальник со вздохом молвил: — И вот с такой-то нечистью воевать, врага бить? Просрали кадровую армию, ныне заскребаем по селам, выцарапываем из лесов шушера в старорежимной коросте, а шушера вон за штык, боем на старших, да еще умственностью заскоруждой ряды разлагает!

«Если бы не эта шушера, тебе, рожа сытая, самому пришлось бы идти под огонь», — подумал Коляша, но за

ним была мудрая и мученическая крестьянская школа. Наученный терпеть, страдать, пресмыкаться, выживать и даже родине, их отвергшей и растоптавшей, служить, мужик российский знал, где, как ловчить, вывертываться.

— Оно, конечно, — поникнув головой, молвил Коляша, обтекаемыми словами давая понять, дескать, меры, которые надлежит к нему применить, он и сам не в состоянии придумать.

Начальника ответ не удовлетворил, но покорность тона, униженность, явно показная, все же устроили, все же оставили за ним сознание превосходства над этим говоруном-бунтарем, он приказал дежурному запереть его покрепче, а тому олуху, Растаскуеву, в роте не появляться, пока не вставит зубы, обормот этот — служака кадровый, нужный армии. Здесь же его...

Военный начальник не хотел огласки. Ребята сообщили: младший лейтенант во всеуслышанье талдычит, что это нечистое дело он так не оставит — чтобы в самой справедливой, самой передовой рабоче-крестьянской армии били человека, держа за руки.

Вечером Коляша оказался под лестницей казармы, в помещении с полукруглым сводом и оконцем полумесяцем. При царском режиме подлестничное это помещение с кирпичными стенами и сводом, с бетонным полом предназначалось под кладовку с фуражом, ныне же туда складывали метлы, лопаты, голики и прочий шанцовый инструмент. Лопаты, метлы и все прочее из кладовки унесли, пол подмели и на ночь кладовку замкнули, оставив Коляшу в телогрейке, в расшнурованных ботинках на одну портянку. Кладовка не отапливалась и ни к чему теплomu не примыкала. Всю ночь Коляша не спал, делал физические упражнения, приседал, отжимался и к утру остался без сил. После подъема его сводили в туалет, выдали миску с половником каши, кусок хлеба, в ту же миску, которую Коляша вылизал до блеска, плеснули теплого мутного чая.

Коляша не выдержал, прилег и сразу же почувствовал, каким вековечным, могильным холодом пропитан бетонный пол — хватит его здесь с его ослабленными легкими ненадолго — пока сойдут с его рожки синяки и бунтаря можно будет вывести на люди, перевести его на гауптвахту, он уже будет смертельно простужен.

Но... но тут вступил в действие Игренька и Господь. Игренька был всех ловчей и хитрей не только в этом пол-

ку, но и на всем свете, а Господь — Он всегда за покинутых и обиженных.

Сразу же после начала теоретических занятий и работы на тренажерах в техническом классе курсантов распределили по машинам и передали во власть шоферов-наставников. Пара курсантов попала и к шоферу по прозвищу Игренька. Прозвище шофер получил задарма. Он звал Игренькой свою машину-«газушку» и часто, хлопая по звонкому железу капота, восклицал: «Ну, как ты тут, Игренька? Не замерз? Не отощал? А вот сейчас мы тебя овсецом покормим, маслицем подзаправим — и ты сразу заржешь у нас и залягаешься». Машина, ровно бы слыша и понимая слова своего хозяина, все так и делала: ржала, попукивала, брыкалась.

Сам Игренька, Павел Андреевич Чванов, невелик ростом, но уда-ал, ох, уда-а-ал! В нарушение устава носил он кубанку с малиновым верхом, то есть в расположении полка носил он шапку и все, как положено по уставу, надевал. Однако, выехав за проходную, доставал он из-под заду кубанку, распахивал бушлат, под которым была у него боевая медаль за Халхин-Гол и множество значков, вделанных в красные банты. Человек он был сокрушительно-напористого характера, неслыханной мужицкой красоты, страшенной шоферской лихости. Его безумно любили женщины, почитали мужчины, но в полку с ним сладу не было. Чтобы досадить Игреньке, как-то его обнизить — прикрепляли к нему самых что ни на есть распоследних курсантов-тупиц, чтоб, когда будет экзамен, не зачесть ему выполнение задачи, снять с машины и отправить на передовую.

Игренька всю эту тонкую политику ведал и плевал на нее. Получив в свое распоряжение Пеклевана Тихонова, который не помнил даже имя своей жены — «баба и баба» говорил, — еще в трех, может, в четырех поколениях ему надлежало ездить на быках, прежде чем пересаживаться на машину, а также и Коляшу Хахалина, коий во всех бывших и последующих поколениях способен был ездить и летать только в качестве пассажира, наставник тем не менее духом не упал. Игренька бодро заметил, что бывали у него стажеры и тупей, и глупей, однако ж он их в рулевые вывел, на фронт голубков пустил — там уж Все-

вышний им будет наставником, может, и сбережет, на путь истинный наставит.

Главное, считал Игренька, научить стажера рулить, мотор же постигнуть его горе заставит. И учил, ох, как учил Пал Андреич курсантов, в хвост и в гриву учил, беспрестанно материл, и все это будто в мячик играя, мимоходом, необходимо. Какой человек! Человек-то какой! «Много народов у Бога, а человек — по счету», — говорил Пеклеван весомо, имея в виду своего наставника. Обнаружив, что стажеры у него некурящие и табак их в кабине душит, бросил курить Пал Андреич. Бросил и все, хотя мучался при этом. Выпивать, правда, бросить он не мог — это было выше его сил. Пил каждый вечер понемногу, но никто его пьяным не видел и поймать с вином не мог.

И вот с Павлом-то Андреичем Чвановым, Игренькой то есть, пара бластных — так звал своих курсантов наставник, — здорово училась ездить по широкому полигону, начиная делать вылазки в ближние окрестности, даже и в город — чтобы постигнуть мудреные правила уличного движения. Зачем вот они надобны на фронте, где, как полагали курсанты, да и сам наставник, хвативший войны на Халхин-Голе, никаких правил нет и не будет? В общем-то драгоценные часы, надобные для освоения техники, отнимали и только, да еще строевая, да еще огневая, да еще политзанятия, да уборка — приборка гаражей и территории, да еще мойка машин — вот тут учись-вертись.

Павел Андреевич, или товарищ старший сержант, говорил: горе намучит, горе и научит, там, на фронте, пока научатся, хватят ребятки лиха, много машин и голов своих потеряют. Пал Андреич главнее всего ценил в человеке расторопность, и Пеклевану от него крепко доставалось. Она, она, расторопность, и спасла Коляше жизнь.

Машины автополка часто помогали городу и сельскому хозяйству, да большая их часть, почитай, в дальних и ближних командировках и пропадала, за что и обламывалось полку разное довольствие, и питаньишко у курсантов было сносное. Хватившие горя и голодухи в стрелковых и других частях, парни и мужики говорили, что здесь, в автополку, жить можно, здесь условия, как при царе. Ну и, само собой, приворовывала шоферня, натаскивала и курсантов воровать, но не попадаться. Попадались все же и довольно часто, тогда наставника вместе с курсантами снимали с машин, судили скорым, деловитым судом и от-



сылали на фронт. Но коли фронта все равно не миновать, то что ж того суда и бояться? У Пал Андреича вон на шее золотая цепочка с подвеской сердечком, зуб золотой и новенькие часы на руке. Есть у него кроме кубанки и всего этого приклада костюм, чесанки, гармошка. Все это находится в надежном месте, у какой-то шмары, которую Пал Андреич сулил показать ребятам, но пока еще не показал, еще не до конца проникся к ним доверием. В полку Пал Андреич почти и не жил, в столовую ходил «для блезиру», как говорил Пеклеван, часто и вовсе не ходил, приказывал своим блатным стажерам сходить с котелком на кухню, получить суп и кашу, да и выхлебать — все силенки прибавится, скоро на капремонт вставить, двигатель подымять, а он сто двадцать кг весом, да и другие части машины тяжеловаты.

В середине зимы почти все машины автополка были брошены на вывозку зерна со складов и зернотока недалекого от города совхоза. День-другой ездили курсанты, лопатами до ломоты в костях помахали, грузя зерно, и стройность работы военной колонны стала пропадать, где машина забуксует, какая и вовсе сломается, где наставник-шофер заболит, где доблестные курсанты в город, на базар смоятся, и ищи их, свищи...

Был на складах, точнее меж складов-сараяв, бункер, подвешенный в виде бомбы, полный зерна. Выдерни за слонку — и зерно потечет в кузов, машина моментально наполнится, но девица, справная телом, сидящая над этой бомбой в застекленной кабине, трещала: «Для экстрэнного заказа! Для экстрэнного заказа, для спэцзаказа!» Ей, заразе, и начальству совхозному не жалко дармовой солдатской силы — ломи, военный, вкалывай, а цаца с накрашенными губами вверху сидит, серу жует, прицеливая, да в форточку по грудь высунувшись, всюю кокетничает с наставниками, на запыленных трудяг-курсантов ноль внимания и все хи-хи-хи да ха-ха-ха-а!.. Во жизнь! Во служба...

Игренька проник к ней! Туда, наверх, в кабину проник. Уединился. И чего он там с нею, с царицей зернотока, делал, знать рядовым не дано, однако по лестнице скачивался, свистя патриотический мотив, золотая цепочка с распахнутой его груди исчезла. Рывком развернув и подпятив машину под капсюль бомбы, Игренька махнул рукой — бомба скрипнула и взорвалась зерном.

— Чего хавалы раззявили?! — гаркнул на своих учеников наставник.

Ребята запрыгнули под холодный поток зерна, разгоняя и ровняя его по кузову. Потом машина мчалась быстрее аэроплана в город. Коляша с Пеклеваном брюхами лежали на брезенте поверх зерна, и так их подбрасывало, что удивляться остается, как они не вывалились из кузова на землю.

Паря радиатором, машина въехала в основательно строенный на окраине города двор, спятилась под навес. Курсанты по приказу наставника расстелили брезент и ссыпали на него зерно, остатки выкидали лопатами. Запалились. И, как по щучьему веленью, по ихнему хотенью, вышла из избы молодая женщина в нарядном платке, щурясь от зимнего яркого солнца, подала ребятам резной туюсок — они думали квас, но в туюске оказалось своедельного варева пиво. Работники пили, передавая друг другу туюс, остужались. Тем временем Пал Андреич выпустил горячую воду из радиатора, налил холодной и, стукнув машину по капоту, воззвал:

— Ну, родимый Игренька! Не подведи! — и рванул за город во всю машинную прыть.

Примчались, успели пристроиться, даже влезть в середину колонны. Царица послала наставнику воздушный поцелуй и всем троим показала большой палец. Ребята принялись орудовать лопатами. На этот раз лопату в руки взял и сам Пал Андреич, работал не работал, но суетился на виду у всех. Пеклеван в работе силен и неустанен, на сообразилровку же туг, однако и он спустя время сказал:

— Коляша! А ведь мы украли машину хлеба. Дело подсудное.

— Молчи знай, нас не спрашивали. Не е.., не сплясывай. Слыхал такое?

— Слыхал, да все же у меня жана, дети.

— Где она, жена, дети? А фронт уж недалече.

— Оно, конечно, — вздохнул Пеклеван.

И на этом всякие разговоры про всякое постороннее закончились, зато с питанием ребята горя не знали, так и норовили «на практику» попасть, потому как в машине у Пала Андреича для них припасена булка пшеничного хлеба, когда и печенюшки-шанежки, когда и пироги с осердием и всенепременно — туюс с молоком! Ох, и наставник у Коляши с Пеклеваном, умеет за добро платить добром, да и в беде боевого товарища не кинет.

На вторую ночь Пеклеван с дежурным по двору казармы заволокли под своды кладовки деревянный щит, бросили на него два стежених капота с машины, бушлат с плеча наставника. Пеклеван вынул из-под бушлата два каравай хлеба — один арестанту, другой дежурному — и выдохнул на ухо Коляше:

— Игренька наш, Пал-то Андрейч, пропасть тебе не даст. Шшыт и все другое до подъема дежурному сдай, ночью снова притащшим.

Прошел день, другой, третий. На четвертый, вернувшись с оправки, Коляша увидел на полу кладовки обломки кирпича и брызги стекол. Поднял голову: окошечко-полумесяц выбито. Старшина Олимпий Христофорович Растаскуев вставил зубы, вернулся в роту и вступил в негласный смертельный бой со своим врагом.

«Однако, пропадать мне все же», — заныло, заскулило в одиночестве истомившееся, волосьем от холода обросшее сердце солдатика, и тут же красно, как на городском светофоре, вспыхнуло в голове: сбежать из уборной, подняться в казарму и пронзить-таки эту падлу боевым штыком! — но вместе с капотами, бушлатом и хлебом он получил в посылке паклю для затычки окошка и записку: «Держись, парень! Мы тут действуем».

Ну, раз Игренька действует, значит, все в порядке, обрадовался Коляша, и вера его в силу и находчивость наставника не пропали даром. Через неделю, когда синяки почти сошли с лица курсанта, его вернули в роту, где обнаружился другой старшина, из хохлов, вздорный, крикливый, но грамотеев почитающий. Поначалу сдержанно относившийся к ротному бунтарю и как бы между делом заметивший: «Е у нас отдельные личности, устав не почитают, у прэрэканья вступают, даже руку на старших командиров поднимают — так и на их найдётся мощна сила та, армэйска дисциплина, — вона усему голова».

В роте все курсанты уже втянулись в учебу и в армейскую жизнь. Толковые ребята, к технике склонные, на гражданке поработавшие с техникой, уже водили машины самостоятельно. Наставник у них ездил в машине вместо мебели. Им было не до Коляши и не до старшины. Та же бестолочь, что пошла в осадок роты, с которой маялись командиры, старшина, наставники, терпеливо дожидалась весны и отправки на фронт. Там уже чего Бог даст — дела и славы иль бесславья и смерти. Курсанты в роте смягчились к Коляше, за его героизм зауважали его,

но от усталости, не иначе, советовали не лезть больше на рожон, не вступать в бой с беспощадной военной силой, она и не таких героев в бараний рог гнула, хотя, конечно, гниду эту, Растаскуева-то, следовало бы припороть к стене штыком, но лучше гвоздями прибить к доскам...

От греха подальше битого вояку-старшину перевели не только в другую роту, но и в другую казарму. Долго, старательно придумывавший, чего бы сделать Растаскуеву при встрече: плюнуть в глаза, сказать «мудило гороховое» или толкнуть его локтем?.. «Ну, чё, живой еще? Воняешь?!» — спросить, — один раз столкнулся Коляша со своим бывшим старшиной. Да вместо всего этого опустились глаза, само собой торопливое «Здрасьте, товарищ старшина!» вылетело, и бочком, бочком проскочил Коляша мимо победительно шагающего старшины.

Что-то сломалось, наджабилось, истлело в Коляше и не скоро восстановится. И только природная активность натуры, склонность к легкомыслию, вранью и веселью помогут ему перемочь армейскую надсаду. Игренька, подкармливая и матерясь, настропалил-таки Коляшу и Пеклевана крутить баранку. Ротный старшина, привлечший Коляшу делать стенгазету, которую юное дарование писало от корки до корки, передовицу — так и в стихах, махнул на этого курсанта рукой: «Який з его спрос, вин поэт!..»

Перед отправкой на фронт, на прощанье в роту нанес визит Олимпий Христофорович Растаскуев, руку пожимал курсантам. Коляшу рукой обнес. Вечный настырник, неслух, никчемный человечешка громко, со значением произнес:

— Как жаль, что вы с нами на фронт не едете!

Все курсанты, да и сам Олимпий Христофорович, поняли намек — до фронта не доехав, под колесами поезда оказался бы товарищ старшина.

— Родина и партия знают, кого на какой участок определить, чтоб была большая польза от человека и бойца, — веско, с чувством глубокого достоинства ответил старшина Растаскуев и из казармы величественно удалился.

На фронт ехали, как ехали тогда тысячи и миллионы боевых единиц, не без приключений, не без происшествий в пути. Но об этом все уже рассказано-пересказано, писано-переписано.

Поезд остановился ночью на какой-то многопутевой станции, состав долго волочили, толкали по этим путям, пока, наконец, не засунули в тупик, обложенный черным снегом. Из-за угольной золы, пыли и шлака сугробы оседали, сплющивались, медленно изгорали внутри, во все стороны из них сочились маслянистые, мазутные ручьи, бурьян по обочинам был сух, переломан и загажен — не первый людской эшелон заталкивали сюда и, конечно, не последний. Откуда-то сверху раздавались команды, перекликались свистки маневрушек, пыхтело, ухало паром, брякало и звякало железо, но из людей к составу никто не приближался. Когда утренний, сумеречный туман, изморозь ли, может, и паровозные пары смешались с серым, неподвижным светом, взору явился и пошел вдоль эшелона, предлагая купить папиросы, мальчик цвета лесной медуницы, и, когда его спросили, что за станция, он уныло молвил: «Станция Пелово — жить хелово».

Так курсанты сибирского автополка узнали, что они уже почти в Москве, днем в самую столицу попали. Их погрузили в старые, разъезженные «ЗИСы» и отвезли к автозаводу имени товарища Сталина, перед которым на площади и вокруг которого стояли тысячи иностранных машин, только что переправленных через океан, собранных на заводе, приготовленных для боевой работы.

«По машинам!» — раздался клич, и курсанты охотно полезли в накрытые брезентом кузова, где были удобные скамейки и кожаные откидные сиденья сзади кабин. «Назза-ад!» — раздалась новая команда. И когда курсанты сгрудились на площади, какие-то люди в чистых иностранных комбинезонах криком кричали о том, что курсанты должны сесть в кабины и немедленно, немедленно увезти технику от завода, потому как надвигается вечер, с темнотою могут навестить город дальние немецкие бомбардировщики, и — уж будьте уверены! — автозавод они не облетят, и получится большой костер из этих замечательных машин, морским путем, с риском и боями доставленных из союзной Америки.

Командиры, какие были при курсантах, а было их полторы калеки и все какие-то не горластые, смиренные, не такие, как в автополку, они были, на своем рабочем месте, пытались объяснить и объяснили наконец, что их курсанты, эти боевые шоферо-единицы, «газушку»-то едва научились водить, что такую громадину, да еще под названием «студебеккер», они и во сне-то не видели, не то

что наяву. И притихли заводские громилы, один из них высокого звания, видать, человек, скрытого под комбинизоном, ударил иностранной кожаной перчаткой по колену, выматерился многоэтажно:

— Ну каждый почти день творится одно и то же. Нам же сообщили, что прибывает эшелон высококлассных шоферов, прошедших специальную подготовку на иностранной технике...

— Высококлассных! Какая ерунда! — простонал кто-то из командиров, сопровождавших курсантов.

— Вам ведь под Калугу надлежит следовать, — горестно произнес военпред. — Здесь и представитель артиллерийской бригады — на приемку приехал, сопровождать вас вознамерился... Товарищ майор! — кликнул заводской чин.

К нему приблизился совершенно подавленный и растерянный майор, махнул рукой возле шапки:

— Слушаю вас.

Они разговаривали долго, и разговор их закончился тем, что курсантов усадили по двое в кабину, ро-оскошную, чистую, крашеную кабину со множеством кнопок, рычажков и указателей, с совершенно великолепными, до пружин не продавленными, упругими сиденьями, на которых ребята охотно качались, балуясь, что дети. В кабины машин не вошли, не влезли, кинули себя мужики, тоже в иностранных комбинезонах, сказали всем и во всех машинах одно и то же:

— Перед вами, рылы немые, на щитке четко изображена схема передач скоростей, смотрите на нее и на меня, учитесь переключаться, пока я вас доведу, и запомните, у «студебеккера» не четыре, пять скоростей, одна — вспомогательная, для передачи на дополнительную пару колес.

Господи, Господи! Они с четырьмя-то скоростями не все знали и умели управляться, а тут все пять! И что за изучение за пятнадцать минут? А именно столько времени потратили заводские шоферы на них и бросили где-то, на какой-то заставе колонну машин. И тогда, сняв с себя шинель, пошел вдоль колонны майор со своим шофером и в каждой кабине, взявши за руку курсанта, положив его ладонь на кругляшок рычага, учили переключать скорость.

— Нам бы хоть отсюда, из Москвы выехать, — взывал

майор уже не к людям, к небесам взывал, — на шоссе бы, на Калужское попасть...

Вечером уже, совсем поздним, когда над Москвой красиво всплыли аэростаты, майор посчитал, что достаточно хорошо натаскали они с шофером курсантов, и сипло крикнул:

— По-о-о-о-о-машина-а-ам! — шофер его уж ни кричать, ни говорить не мог — изошел матом.

— Сели! Моторы завели. Поехали! — махнул белым флажком один сибирский курсант.

Флажки те, белый и красный, привез с собою из Калуги майор, чтобы руководить движением колонны. Колонна нешуточная, более сотни машин, и не одни тут «студебеккеры» были, но и «джипы», и «виллисы», и чего только не было.

Уже на первом спуске непослушные машины ударились и рассыпали стекло нескольких фар, иные машины жеребцами выскочили на тротуар, иные лбами уперлись в столбы. Пеклеван, вцепившись в руль, погнался на машине за регулировщицей, стоявшей на перекрестке с флажками. Задавил бы он девушку, но она стояла на посту невдали от завода, бывала в переделках, оказалась рева на ногу и прыгуча — сиганула через чугунную ограду заброшенной церкви. Пеклеван ограду проломил, и Бог, пусть и незримо, но присутствующий средь скорбных свярых развалин, мотор грозной машины заглушил.

— Спасибо Тебе, Милостивец! — перекрестился Пеклеван, — и Матери Твоей, милости на нас щедро исторгующей, спасибо.

Колонна «студебеккеров» смешалась на улицах и перекрестках столицы, затормозила, запрудила движение. Чернявый офицерик, похожий на тех, что служили при дворе свергнутого царя, — показывали таких в кино, — матом не выражался, но грозился отдать под суд всех участников «диверсии» этой, в первую же голову артиллерийского майора.

Объявили, наконец, что колонна арестована самим комендантом Москвы, оцеплена спецвойсками, и как только комендант управится с неотложными, срочными делами, прибудет сюда сам разбираться во всем.

Он и прибыл, комендант-то, за полночь, но не стал ни в чем разбираться. Он привез с собой два кузова шоферов и, крикнув напоследок властно: «Чтоб духу не было!» — упал в черную «эмку» и умчался. Колонна «сту-

дебеккеров», прошив насквозь всю Москву, оказалась в двадцати километрах от столицы, на Калужском шоссе, нацеленная радиаторами вперед, на запад. Тут ее и бросили сопровождающие.

Все курсанты мирно спали в машинах до тех пор, пока не загудело, не застреляло над ними. Выскочив наружу, курсанты увидели вдаль мчащихся, красиво на крыло сваливающихся пару «мессершмиттов», которые обстреляли колонну, но ни одной машины, слава Богу, не подожгли, однако брезентовые тенты кое-где продырявили, кузов одной машины повредили, и оцепиной, отскочившей от борта, ранило в щеку курсанта. Парня перевязали, дали ему маленько спирта — для обезвреживания, и все поняли, что долго стоять тут нельзя, опасно — если не днем, то ночью колонну подожгут. А машины-то бесценные, им предназначено возить по фронту гаубицы, гаубицам же — стрелять по врагу.

В общем-то все разрешилось благополучно. В гаубичной бригаде была целая рота шоферов, умеющих делать все и иностранные машины водить натасканных. Если б майора Фефелова не обманули какие-то высокие, в дело не желающие вникать чины, он бы взял из бригады своих шоферов и спокойно пригнал машины, полученные по военной разнарядке.

Но как же без обмана, без жульничества, без надуваловки жить? Это ж не Страна Советов получится, совсем какое-то другое государство получится, с отсталыми идеологиями, прогнившей системой и дикой эксплуатацией человека человеком. У нас вон как весело все делается! Каждый день и час что-нибудь да новое, неслыханное, невиданное. У нас уж если человеки человека не обидят, так хоть насмешат.

Мертво спали курсанты в кузовах до самой Калуги. По-за Калугой, в сосновом бору, где еще местами лежал рыхлый снег, возле вздувшейся, мутной речки умылись, прибрались и стали ждать, когда их позовут завтракать или хотя бы обедать. Но никто никуда их не звал, никто на них внимания не обращал. Тогда пошли они делегацией искать майора, пока бродили по бору, много узнали и увидели интересного.

Часть, точнее гаубичная артиллерийская бригада, в которую они прибыли, была снята с Дальнего Востока, из



какой-то совсем уж отдаленной бухты. Вояки в ней были еще кадровые, задержавшиеся с демобилизацией по причине дальневосточных военных конфликтов и японских происков — от этого постоянного врага все время ждали нападения и держали настороже военную силу. Однако послабление ли на Востоке произошло после разгрома немцев под Москвой, дипломатия ли обманула косоглазых, дела ли на фронте требовали вливания все новых и новых сил, пришлось через всю страну гнать и везти бригаду с гаубицами устарелого образца, ходовая часть которых, однако, была модернизирована, и с тракторной тяги орудия перешли на тягу автомобильную.

— Красноармейцы и офицеры в бригаде, давно не видевшие гражданских людей, о женщинах и вообще забывать стали, прибыв под Калугу, совсем как с цепи сорвались, — говорил усталый майор, ездивший в Москву за курсантами и указавший им резервную, новенькую кухню в лесу, в которой приготовленное для пополнения варено уже прокисло.

Пока ели, пока пили теплый чай, узнали, что, несмотря на запрет и чирьи, осыпавшие боевую артиллерийскую силу от перемены климата, кинув все на произвол судьбы, утянулись дальневосточники в шибко порушенный город, скрылись в его руинах. Куцые гаубицы, замаскированные, смазанные, и всякое оружие были в полном порядке. Все остальное отдано на волю весенних стихий. В бригаде отчего-то решили, иль опять кто-то надул военных, что вся ходовая часть, изрядно на Востоке изношенная, будет сменена, и на фронт бригада поедет сплошь на новеньких американских машинах, тогда как на самом деле выдали «студебеккеры», «джипы» вместо устарелых тягачей, десятков юрких «виллисов» — для командования бригады, политотдела и других военных служб, все же остальное воинство отправится на фронт в прежнем подвижном составе.

Презретый, в утиль заранее списанный, этот «подвижной состав» стоял на спущенных колесах, где лежал на боку в рытвинах, наполненных талым снегом, где и полуразобран был, две машины из третьего дивизиона, куда зачислили Коляшу Хахалина и его напарника Пеклевана Тихонова, — вовсе куда-то исчезли. Гадать особо не надо было — продали их мирному населению и пропили дальневосточные вояки. Пеклевану машины не досталось, Коляшу наделили «газушкой» с открытым, покороблен-

ным капотом. Сирота-«газушка» уткнулась в глубокую бомбовую воронку, талая вода уже доставала кабину.

Майор Фефелов — человек, переваливший за средние лета, скуластый, изветренный, умеющий сдерживать нервы, отвечающий в бригаде за транспорт и в конце концов уже сформировавший подразделение под названием «автопарк» и возглавлявший его до конца войны, собрал новичков, сказал по секрету, что долго они здесь не простоят, скоро в поход и надо вытаскивать машины артельно. Для начала он выделит два «студера», чтобы вытащить, собрать машины в одно место, и в дальнейшем поможет чем может. Тех курсантов, что любят и понимают технику, прикрепит к водителям новых тягачей. С теми же, кто слабо подготовлены и годятся в землекопы, писаря, но не в шоферы, он устроит практические курсы и, может быть, успеет хоть немного натаскать их.

— Впрочем, лучшие курсы для всех парней еще впереди, — добавил майор Фефелов, — в боях они быстро всему научатся, кому, конечно, хочется и суждено жить.

Сибирские курсанты объединенными усилиями как-то восстановили, подремонтировали брошенную технику, маленько и поехали вокруг Калуги, дрова подвозили, воду, картошку, и все время запоминали, как ночью ориентироваться в незнакомой местности, на незнакомых дорогах, главное, запомни, водитель или рулевой, как звал Коляшу Игренька, — не потерять из виду идущую впереди машину, не выпускать из зрения белое пятно, стало быть, лист бумаги, наклеенный на задний борт передней машины. Ехать по особому, военному приказу это значило: сосредоточиваться будут ночами, секретно, фар не зажигать, сигналов не подавать, никуда никому не отлучаться, не курить, если кому невтерпеж — смолить в рукав, прикуривать от кресала, но не от спичек и зажигалок, остановки колонны — по команде, заправка в таком-то месте, оправка там же. За ночь колонна должна проходить от пятнадцати до двадцати километров, любое нарушение правил движения колонны, любое отклонение от инструкций, разгильдяйство всякое — будут сурово пресекаться и караться.

В первую ночь по старинному, накатанному, мало поврежденному шоссе колонна прошла назначенный отрезок играючи и даже раньше срока явилась к назначенному пункту. Но вот начались дороги русские, сельские, развороченные танками, тракторами, машинами иль конной

тягой, хуже того — дороги задичавшие, поросшие травой, которые на военных-то картах прочерчены четко, наяву же слепые, местами совсем не видные, и достало тут военных горемык первым мытарством, надсадой и проклятьем войны.

Несмотря на то, что выставлялись по дорогам живые указатели — бойцы с флажками и, в нарушение военной тайны, командирам дивизионов, затем батарей, взводов управления выдавались нарисованные на листах схемы движения на данном отрезке пути и пункты сосредоточения, машины разбредались по российской путанице дорог. Засидевшиеся в тихой бухте, к тракторной тяге привыкшие водители дурели от скорости и возможностей американской техники, мчались вперед, бросив на произвол судьбы собратьев по боевому походу, спокойно дрыхали в уютных кабинах, пока остальное войско корячилось, волоча по весенней грязи почти на себе отчужденные «ЗИСы» и всякий прочий транспорт, которым отечество так гордилось.

Артдивизия, растянувшаяся километров на сто, за ночь сжигала по два бака горючего, к утру не поспевала к месту назначения, и посыльные на машинах-тягачах начинали шастать по дорогам, лесам и оврагам, вытаскивая из грязи издохшую отечественную технику, рыскали в поисках тех, кто заблудился. В небе появлялись и кружились немецкие самолеты — снова не удавалось сохранить военную тайну, снова она, клятая, ускользала из бдительных рядов родной армии.

В гаубичной бригаде имели прекрасные показатели по стрельбе, да и как их не иметь, когда некоторые расчеты прослужили возле своих лайб по шесть лет, знали и любили их больше своих жен, — тут и свинья безмозглая научится стрелять, в движении, однако дальневосточные сидельцы были сплошь слабаки и неумехи. Среди всех подразделений совсем уж ахово обстояло дело там, где за баранкой маялись и маяли машины недавние сибирские курсанты.

Коляша Хахалин из наставлений Игреньки запомнил, что карбюратор засоряется и надо его продувать, зазор и контакты трамблёра — чистить следует серебряшкой-денежкой, не давать перегреваться радиатору и двигателю; научивший его накачивать колеса, крутить баранку, кое-как, с грехом пополам переключать скорости, Игренька резонно считал, что этого вполне достаточно для рулево-

го. Водителем же, пусть и не классным, умелым, ему никогда не стать — для иного поприща человек рожден.

В пути на фронт Коляша Хахалин превратился во что-то затурканное, запуганное, сон и всякие чувства потерявшее существо. Продувая беспрерывно карбюратор, шланги и трубки подачи бензина, он до того этим бензином опился, что уже не чувствовал вкуса хлеба и каши, серебришку истер о зазоры трамблёра до того, что на ней ни серпа, ни молота, ни колосьев, ни даже цифры не виделось. Плохо чувствуя дорогу колесом, рулевой Хахалин беспрестанно буксовал, и взвод управления дивизиона тащил машину на плечах. Прокляли своего шофера солдаты, толкали его, когда и били. Людей надо и можно понять, в каких условиях они ехали. Однажды ночью разверзлись хляби небесные, запрыгивая в кузов ползущей машины, выпрыгивая, чтобы подтолкнуть ее, солдаты на обуви натаскали полный кузов грязи — перегруз. Вовсе стала машина. Лопатами, ладонями, пустыми котелками, касками вычерпывали грязь солдаты, чтобы сдвинуть с места.

А то еще случай получился: толкали, толкали машину солдаты, качали ее, раскачивали, выкрикивали чего-то и постепенно умолкли, не сдвинув с места транспорт свой. «Ну я им счас!» — заругался командир взвода управления и, увязая в грязи, пошел в обход машины. Коляша за ним. И зрят они картину: почти по пояс в грязи, упершись плечами в кузов, солдаты спят. Не высыпались в пути бойцы, так чего уж говорить о рулевом Хахалине, который по прибытии в «точку дневки» должен был еще выкопать аппарат, по-русски это просто яма для машины. Уже через несколько ночей пути устав и инструкции нарушались, аппараты копались лишь под «студебеккеры».

Коляше хватало хлопот с машиной. Дела его с каждой ночью, с каждым километром шли хуже и хуже, он быстро задичал, оброс волосьем, обмундирование на нем измазлось грязью и мазутом, вся его труба пропиталась бензином, исхудал рулевой Хахалин, затошал, глаза его покраснели и слезились. Просил он, лично просил майора подменить его, снять с машины — уснет за рулем иль аварию сделает, что тогда? Заменять его, кроме Пеклевана, было некем. Пеклеван-хитрован куда-то делся, говорят, во взвод управления одной из батарей перешел, там комбат любил и собирал к своим орудиям здоровенных, надежных мужиков. Коляше грозили расстрелом, судом,

чем только не грозили, а он тупел и опускался все более и более. Машина заводилась долго и капризно. Коляша боялся, страшно боялся, чтоб она совсем не остановилась. Как-то он крутил, крутил заводную ручку и со злости хватанул машину по радиатору этой заводной ручкой, после чего крутанул — и сразу машина завелась, так ребята после того случая несли ему оглобли, дрыны: «бей ее, сразу!» — говорили. Коляша бил, но больше не помогало.

Между прочим, заметил рулевой Хахалин, вместе с артбригадой и артдивизией исправно двигалась к фронту какая-то боевая часть со множеством машин, бронетранспортеров, минометов, орудий, и потихоньку вызнал — то движется гвардейская сталинградская армия, и всю-то ноченьку братцы-сталинградцы спокойно спят по лесам, полям и уцелевшим селам, на утре, на самом рассвете, когда весенним туманчиком окутывает землю и особенно звонко насвистывают соловьи, армейская техника возникает на дорогах и за час-два делает без ора, паники, потерь техники и пережога бензина рывок на положенное расстояние — несчастные те пятнадцать или двадцать километров.

Это и был один из явственных признаков военного опыта. Дальневосточная же бригада растеряла изрядно техники, людей, рыскала в их поисках при свете дня и получала разгоны и разносы высокого командования. Ну, само собой, бригадное начальство подвергало разносу командиров дивизионов, те разносили командиров батарей, комбаты разносили взводных, взводные — отделенных, отделенные уж не разносили солдат, отделенные матерились и пинались. Сержант Ястребов угодил Коляше пинком по копчику, и теперь Хахалин, сидя бочком, рулит и время от времени ерзает на сиденье — болью в копчике отгоняет сон.

Замелькало так и сяк написанное на указателях название города, — Коляша заторможенно отметил: старинный русский город этот они должны были миновать чуть ли не неделю назад. «Мчимся семь верст в декаду, и только кустики мелькают!» — усмехнулся он. Проехали и старинный русский город. Коляша у Тургенева, у Лескова и еще у кого-то про него читал. Шибко разбит город — только это и заметил рулевой, работа ж эта проклятая — надо за передней машиной следить, чтобы не оторваться, не свернуть куда не туда, не отстать от колонны. Так ничего и не запомнил Коляша про старый русский город.

Вот потом, после войны, и рассказывай пионерам о своем боевом пути: где был, чего видел, какими подвигами родину прославил. Всем подвиги подавай! А тут вот главное — не потеряться бы, да чтоб мотор не заглох...

Вместо деревень таблички пошли и трубы. Где и труб нету. Проехал Коляша одну табличку — Ельцовка иль Ерцовка деревня называлась, в подъемчик дорога пошла, язык сырой высунула. На подъемчике впереди белое пятнышко обозначилось. Обрадовался Коляша пятнышку, среди народа, в боевых рядах себя почувствовал. Но только он обрадовался — пятнышко белой полоской оборотилось, и начала она удаляться. Коляша педаль надавил, газу прибавил, надо бы и на четвертую скорость перейти, устремиться следом за пятнышком, но четвертая скорость, надо вам сказать-заметить, самая у «газушки» что ни есть коварная — в нее надо попадать с довертом. Ну вот по ровной и прямой дорожке ты шел, шел, а тебе в уголок надобно, вот ты и...

Словом, опять отстал Коляша от колонны и сразу вспотел, и сразу неприятности. Дорога под уклончик покатила. Ну, думает Коляша, тут-то уж я настигну впереди идущего, счас вот пятнышко увижу. Родимое! Где ты? Появляйся! А вместо пятнышка впереди обозначилась еще одна дорога, то есть не то чтобы дорога, царапина земная, бороздка скорее. Куда вот ехать? По той бороздке ехать иль по этой. Коляша в смятении руль закрутил, влево, вправо, влево, глазом потным отметил: справа в бороздке заблестело, значит, колея это новая набита, вода в нее налилась — весна же, вода кругом. Только бы не забуксовать. Тут он почувствовал, что его понесло, и сразу понял: не колея это, не колея, яма это, скорей всего та, из которой селяне глину брали для печей и разных подмазок. Опытный шофер чего бы сделал? Раз понесло, так неси уж, потом, благословясь, народом или буксиром машину из ямы добудем. А Коляша, как его понесло, вираж рулем заложил, очень крутой вираж, аж до упору баранки — чтобы по ребру ямы проскочить. И тут же почувствовал: машина опрокидывается, за руль инстинктивно рулевой ухватился, прямо вцепился в руль. Опрокинуться-то он не опрокинулся — скорость малая была и яма невелика, но на бок «газушку» положил. Все двадцать человеческих душ, сонных-то, в грязную воду Коляша высыпал, сверху катушками со связью, лопатами, ведрами, барахлом всяким присыпал. Народ со сна в панику — враг напал, свалил

куда-то в холодное, смертью веющее место. Бойцы из воды и глины вылезли, маленько опомнились и с криками: «Ёп-мать, ёп-мать, ёп-мать!!!» — на Коляшу пошли, в грудь дуло винтовок приставили, затворами клацают. «Да стреляйте! Чё уж...» — махнул рукой Коляша. Но тут из тьмы «студебеккер» с орудием возник, из него комбат Званцев выскочил. «Чё у вас тут?» — заорал. И охладел народ, давай мокрое отжимать, в другую машину грузиться.

«Кто прямо ездит, дома не ночует», — вспомнилась Коляше еще одна поговорка, где-то, скорей всего еще на родине, в Ключах слышанная. Поняв, что своими силами ему машину из ямы не вынуть, залез он в кабину и, почти стоя, уснул на сиденье, и так крепко спал, что и не заметил, как скатился вниз, на другую дверцу, стекло ботинками выдавил, скомкался в рычагах и педалях, кучкой тряпья лежал меж землей и техникой, об стекла порезался. Едва его разглядели в кабине из присланного на вырчку «студебеккера», с возмущением вынули за шкирку: «Бедствие такое, а он, гадюка, спит!..»

В дальнейшем пути, будь он неладен, и того хлеще случай вышел. По фаре стрельнули — сама она включилась, или Коляша со сна рычажки перепутал. В фару не попали — мала цель, но трубки радиатора пробили, вытекла вода. Народ пересадили, в ночь увезли, рулевой в лесу остался. Один. Страшно одному. Фашисты и черти всюду мерещатся. Только под утро и поспал маленько рулевой. Застучали, забарабанили в кабину, и он проснулся. Ребята из той же сталинградской армии скалятся, к себе зовут, вместе с машиной. Кашей и сухарями Коляшу кормят, по плечу хлопают. Он и согласился. Налетели двое в фартуках, с паяльниками на весу, мигом радиатор заварили, воды в него из лужи налили. Один из тех, что в фартуке, за руль сел и на дорогу машину вывел, газуй, говорит, вслед за нашей колонной, а колонна на рассвете резво и непринужденно движется. За час с небольшим покрыла те несчастные восемнадцать километров, на которые его родная бригада ночь тратила, потеряв при этом в пути половину машин, когда и с орудиями.

«Повезло мне, — думал Коляша, — в настоящую боевую часть попал, а что машину угнал, так армия-то одна, Красная», — и вызвался подвезти чего-нито. Но командир с технической нашивкой на рукаве и на пеглицах, при многих уже орденах, сказал: «Сиди пока в кустах и носа не высовывай. Да помойся и постирайся — вода кру-

гом, а то я гляжу: ты уж бензином ссышь и мазутом оправляешься...» Смешно ему. Юмор.

Но в чем дальневосточная бригада наторела за горький путь, так это в поисках. И тут, в брянских темных лесах, нашли Коляшу умельцы-артиллеристы, «домой» утартали. Там хотели судить и куда-нибудь отправить, под смерть, но Коляша при всем скоплении начальства вдруг психанул и, брызгая слюной, не слюной, бензином брызгая, завизжал:

— Да я и не хочу с вами быть! Не ж-жал-лаю! Бросили! Предали! Пропадай! Да в нашем бы детдоме вам за такое изменничество морды набили!..

Командир дивизиона удивленно уставился на визжащего рулевого.

— Жалко, что нет тут того детдома. Жалко! — произнес он, повернулся и ушел.

А командир взвода управления дивизиона зашипел на Коляшу:

— Н-ну, ты у меня попляшешь! Н-ну, ты у меня помнишь...

«А пошел ты на...», — хотел сказать Коляша, но уже выкричался, ослабел, на него сонное смирение накатило. Только рукой слабо отмахнулся, будто паука отогнал, и подался в свою машину, и спал в кабине до тех пор, пока не приспело двигаться дальше.

Но сколько по морю ни плыть — берегу быть. Приехали в места сосредоточения, неделю без памяти спали в весеннем, зеленью брызнувшем березнике, по которому вальдшнепы по вечерам тянули, дрозды и другие птицы тут резвились, напевали, нарядные чирки в лужи светлые падали, селезни чиркали и кричали, подзывали сторожких самок. Никто по птице не стрелял, никто не шумел, не демаскировался. Березник этот светлый, углубляясь, переходил все в тот же необъятный брянский лес, смешивался с ним и в нем растворялся. Оподолье ж березовой рощи спускалось к реке Оке и со спотычками об овраги, лога, косолобки и курганы переходило то в чапыжник, то и вовсе в прибрежную, густо сплетенную шаругу. Лес и кустарники прорежены войском, изранены, повалены, загажены. Как же иначе-то, раз человек — засранец, то и засрал все вокруг себя...

Нанеся сокрушительный удар по врагу зимней порой,



русское войско, достигнув речных рубежей, выдохшееся в зимнем походе и остановленное немцами, жило на здешних берегах, сводя березник на топливо, не вело не только боевых действий, оно вообще никак себя не проявляло, ни в труде, ни в борьбе. На восемь километров или на все десять тянулась рыжая ниточка полуобвалившейся траншеи, оплывшей по брустверам. К ней вели невычищенные ходы сообщений, от них окопчики и щелки к огневым точкам, которых тут кот наплакал. Войско, заспавшееся, волосом обросшее, задичавшее от безделья, с глухой зимы настойчиво ждало замены и вот дождалось, ушло куда-то, распоясанное, ленью и сном объятое, и шло-то не по грязным траншеям, не по жидко чавкающим ходам сообщения, поверху шло, никого и ничего не боясь.

Враг не стрелял. Враг-фашист укреплялся за Окой. Скоро узнать дано будет: построена там трехрядная оборона, причем первые, наречные ряды обороны сплошь бетонированы, ограждены системой огнеметов, все огневые точки не только укреплены, но и пристреляны, связь, как всегда у немцев, меж линиями обороны и тылами отлажена, что часы.

И тем не менее командование нового, Брянского фронта именно здесь намечало удар во фланг Курско-Белгородского клина, чтобы уж с маху, когда начнется битва на Курско-Белгородском выступе, отрезать всю массу фашистских оккупантов, да и кончить разом с этой выжигой— Гитлером.

Сосредоточились, как казалось генералам на верхах, — тайно, тихо и скрытно, окопались, изготовились и нанесли артиллерийский удар такой силы, что деревня, стоявшая на крутом, клинисто-обнаженном выступе, сползла вместе с мысом, со всеми постройками и худобой в Оку, да и запрудила ее, что затруднило переправу. Деревня-то вот упала в реку и рассыпалась вместе с холмом, на котором так красиво стояла посередине церковка, но немец-то, враг-то не упал и не рассыпался. Он уже на второй линии обороны вступил в активные бои, наслал авиацию на наши войска, затем и танки — враг не позволял Красной Армии устроить второй Сталинград и где-то еще находил силы для отражения хитрого флангового удара.

День, другой с боями продирались вглубь, и вот громкая победа: взяли старинный русский город Болхов, точнее, развалины его, сразу забегали, заговорили политруки, громкие читки газет и листовок повели, все газеты,

все агитаторы кличут на Орел. Орел! Орел! И еще раз Орел!

Между тем дальневосточная артбригада понесла уже первые потери, как ни горько, ни странно — первым погиб комбат Званцев, под два метра ростом, кудри стружками, ремни, сапоги, обмундирование — все впору, все, как влитое, и человек не крикливый, не истеричный, похабщину почти не употреблявший. Он помогал людям и машинам в пути. Коляшину «газушку», клятую не раз батарейными «студебеккерами», из грязи выволакивал. Коляша думал, что уж кто-кто, но комбат Званцев непременно героем станет и войну переможет. Да и не один Коляша так думал. Да у войны свои законы и выбор свой. После переправы через Оку, расставив орудия для стрельбы, еще не имея ни командного пункта, ни штабного блиндажа, развернул комбат карту на одном колене, другим коленом стоял на земле, отдавая команды на батарею, называя цифры, довороты, повороты. В это время прилетело пятюк снарядов с немецкой стороны, слепых, случайных, и все они разорвались-то в овражке, густо поросшем кустами, по склонам синеющем разноцветной медуницей, белеющем хохлатками-ветреницами и первоцветами. Со всем не для смерти место предназначено. Однако комбат Званцев уронил телефонную трубку, сморенно начал клониться к земле. Его подхватили и не сразу нашли смертельную рану. Она была с булавочную головку, на виске, и крови-то от нее пролилось столько, что струйкой, вытекшей на шею, не достало и подворотничка.

Город Орел повидать Коляше Хахалину не довелось ни летом сорок третьего года, ни в последующей жизни, потому как после взятия Болхова гаубичную бригаду переместили на Украину и, слава Богу, не своим ходом, погрузив ее на эшелон, который больше стоял, чем двигался, потому как путь железнодорожный только еще восстанавливался и движение по железной дороге было еще затруднено. В пути артиллеристы хорошо отдохнули, и Коляша Хахалин до того душевно и физически восстановился, что снова начал «петь и смеяться, как дети», рассказывать свои сказочки, к нему возвратилось прозвище Колька-свист.

На радость и беду Коляши в эшелоне оказалась бала-лайка и попала к нему в руки. Сперва он балалаил и пел

препохабнейшие частушки в вагоне, потом начал делать вылазки и, идя следом за поездом, развлекал последний вагон, где размещалась хозяйственная утварь, и здесь же прозябала гауптвахта, между прочим, на всем пути до отказа переполненная.

— Я работал у попа, делал молотилку, заработал у него хером по затылку. Ярой силы ураган стер с лица земли Иран, это Ванька на рассвете проперделся в туалете.

— Давай, Колька! Давай, свист! — поощряла певца гауптвахта, а поезд между тем полегоньку-потихоньку набирал ход — участок довоенного пути уцелел, вот и попер эшелон.

Коляша думал, будет, как прежде, — поперет, поперет да и пшикнет тормозами. И хотя орали ему с «губы»: «Свист, бежи, догоняй!» — он наигрывал себе да напевал. И отстал от эшелона. А дорога-то прифронтная. Забарабали его, милого. Пока запрос делали, пока ответ на него пришел — в дезертиры угодил Коляша, променял и проел в бродяжном пути балалайку, нижнее белье и ботинки — явился в часть, а там беда: при разгрузке на станции Псёл бригада попала под обстрел дальнобойных орудий; сгорело несколько машин, сильно повредило орудие, были и убитые, и раненые. От станции и новых обстрелов надо было убираться подальше. Командир дивизиона рывкнул на Коляшу:

— Я с тобой, негодяем, еще разберусь! А сейчас марш с машиной в распоряжение Фефелова.

Майор Фефелов же, отец родной, только и сказал:

— Ну, поиграл на балалайке, развлекся, пора и за работу.

Да так нагонял Коляшу с машиной, включив их в колонну боепитания, что оба они — и рулевой и машина — выдохлись, встали, требуя ремонту. Здесь же, в фефеловском хозяйстве, машину подладили, человеку ж, да еще такому затейному, ни ремонту, ни отдыху — вернули в управление третьего дивизиона — вертись, вокой и помогай тебе Бог.

А там, в дивизионе, вовсе нет продыху, — артдивизию и гаубичную бригаду вместе с нею передали в резерв Главного Командования, и пошли они мотаться по фронту, клинья пробивать, дыры затыкать, контратаки пресекать, бить, палить и по дорогам пылить.

К этой поре в управлении дивизиона, в парковой батарее и во всем ближнем войске установилось оконча-

тельное отношение к шоферу Хахалину как к человеку придурковатому, никудышнему, для боевого дивизиона, для боевой работы даже вредному. Запущенного вида, мающий и себя, и технику свою, Коляша и плакал в одиночку, и психовал, подумывал уж наложить на себя руки — винтовка-то вон она, в кабине висит; обойма в ней полная и патрон в патроннике...

Шоферня, исключительно из презренья к собрату своему, растащила с Коляшиной машины ключи, отвертки, масленки, насос, даже домкрат один удалец упер. Но на домкрате Коляша рашпилем нацарапал ХХ, нашел по тем буквам инструментину и, объяснив, что два «хэ» обозначают не Христос Хахалин, а хер Хахалин, долбанул железякой вора по спине. Пострадавший написал на него жалобу. Самый справедливый в бригадном транспорте человек — майор Фефелов — сказал жалобщику: «Не воруй! В другой раз не домкратом, ломиком добавлю!» — и у Коляши появился настоящий враг, на этот раз во стане русских воинов, фамилия ему была интересная — Толковач. Говорил ворюга, что он серб по происхождению. Врал, конечно. Чтоб серб — и воровал?.. Больно продувная рожа у этого серба, навывкшего тащить с советского колхоза.

Но... «недолго музыка играла, недолго фраер танцевал», — говорят нынешние блатняшки. На стыке двух областей — Сумской и Полтавской, в гоголевских местах, под селением Опишня спустил у хахалинской «газушки» баллон, колесо смялось, причем спустил баллон внутреннего левого колеса, для которого требуется особый ключ, под названием газовый. У Коляши не только газового, вовсе никакого ключа нет. Наладился он идти на поклон в парковую батарею — ключ во временное пользование попросить. Когда пошел, обстрел начался, аж груши и сливы в саду посыпались. В саду том вместе с другими стояла и Коляшина «газушка», под которую он не успел выкопать аппарат, то есть не спрятал машину, потому как ничего он не успевал, копать-то и сил не было. А тут еще беда: с налету, с повороту попав в пышные полтавские сады, вояки набросились на фрукты, в первую голову на сливу — и всю, считай, боевую бригаду пронесло. Дристал, да еще так ли звонко, и Коляша — брюхо, кишки и все прочее горючим отравлено, весь он ослаблен, истощен, хворь всякая вяжется, насморк и кашель с весны не проходят, когда в грязи пурхался, под машиной лежал — простудился.

Вон как украинское, ярое солнце печет, а все знобко, разлад в голове и в теле, еще и брюхо прохватило. Толковач-сука, знал, что слива обладает слабительным свойством, но не сказал сибирякам-невеждам об этом. Хохочет, радуется: все вот обдристались, он вот нет!..

На обстрел Коляша Хахалин не обращал никакого внимания, раза два в кювет возле дороги ложился как бы по обязанности, кюветы были полны фруктами, гнилыми грушами, яблоками, прокисшими сливами, и все это забродившее добро слоями облепили осы, мухи, пчелы, шмели. Одна оса Коляшу жогнула, и он разозлился: «Мало, что все кругом едят и жалят, так еще и ты, скотина безрогая, башку долбишь!..» — и в горсти козявку беспощадно раздавил.

Возвращаясь в расположение с ключом, Коляша еще издали заметил, что в саду, за белой хаткой, крытой соломой, густо дымит и патронами стреляет горящая машина. Старый украинец со старухой с бадьями бегают — из колодца водой хату обливают, чтобы не загорелась. Нескольким военных помогают им. Прикинул издали рулевой Хахалин — и вышло: горит его машина, — вздохнул облегченно: «Дошла, дошла, дошла-таки моя молитва до Бога!»

К машине нельзя уже было подойти, в ней рвались патроны и гранаты, опасно вспыхивали и разлетались по сторонам сигнальные ракеты.

— Прямое попадание в кузов, — объявили Коляше.

Толковач, пробегая мимо с ведром воды, оскалил щетки не выдавшие коричневые зубы:

— Будет тебе, штрафная! Да-авно она тебя ждет — дожидается...

Коляшу Хахалина позвали к телефону, и сам командир дивизиона громко приказал:

— Провод в кулак и по линии сюда, на передовую, — тут ты у меня узнаешь, где раки зимуют! Тут ты научишься казенное имущество беречь!

«На передовую, так на передовую — эка застрашал! Понос бы только остановился, перед броском неудобно — боец такой героической армии и обделался!» Чувство пусть и мрачного юмора еще не покинуло Коляшу Хахалина, и, стало быть, он еще живой, и дух в нем пусть не крепок, но устойчив пока.

И пока он шел на наблюдательный пункт, на передовую, дал себе клятву железную: никогда-никогда, ни в какую машину не сядет, кроме как пассажиром.

Было все: и топали на него, и расстрелом стращали, и штрафную обещали — Коляшу Хахалина ничего не трогало, не пугало. Он отрешенно молчал и смотрел в землю, потому что, если он поднимал голову и начинал глядеть в небо, — воспитующими его отцами-командирами это воспринималось как вызов, как чуть ли не высокомерие. Как и большинство начальников, выросших уже при советской власти, командиры сии прошли через унижение детства в детсадах, в отрядах, в школе, ну и, само собой разумеется, главное, вековечное унижение в армии. Поэтому, получив власть, сами могли только унижать подчиненных, унижаться перед вышестоящими начальниками, и глядящий в землю, ссутуленный, как бы уж вовсе сломленный человек был для них приемлемей того, кто смел глядеть вверх, — не задирай рыло, коли быть тебе внизу судьбой определено. Израсходовав пыл огневого заряда, командир дивизиона спросил:

— Чего вот мне с тобой теперь делать?

— Воля ваша. Что хотите, то и делайте, — ответил впопад Коляша.

— Воля ваша, воля ваша, — затруднился командир, имеющий еще силы на перевоспитание разгильдяя, который всем надоед, себя, машину и людей извел. Если бы он сказал то, чего ожидал командир дивизиона: «Немец стрелял, не я», «У снаряда глаз нету» или совсем коротко: «Война!» — капитан еще побушевал бы в сладость и утеху души своей. А тут вот: «Воля ваша», — и вид такой — хоть к чему человека приговаривай — со всем согласится.

— Каблукова ко мне! — приказал капитан.

После переезда с Орловщины на Украину, где-то в направлении на Ахтырку или на Богодухов, уработавшиеся, на солнце испекшиеся бойцы взвода управления к вечеру истомленно расселись, разлеглись посреди нескошенного поля, потому как днем от жары ничего не ели, только пили воду и копали, копали и пили. И вот хоть малая, но все же блаженная прохлада, вечер, покой, «кукурузники» в небе лопочут, светленько пулеметными очередями посикивают, по две бомбы-пятидесятки на окопы врага шмаляют. Бои идут затяжные, изматывающие, передовая линия все время меняет «конфигурацию». И однажды вечером с неба раздался отнюдь не ангельский, а табаком и спиртом осажженный женский голос: «Вы, ебивашу мать, докуритесь!» — кукурузница-летчица спланировала над окопами и упреждение дала, потому как войско, налопав-

шись, закуривало и вся передовая высвечивалась огнями сигарок, будто торжественно-праздничными свечками. Немцы — народ тоже курящий, разберись с неба, кто там на земле курит. И докурились: перепутала какая-то кукурузница конфигурацию передовой, метко положила в самую середку блаженствующего взвода управления третьего дивизиона две бомбочки — и разом два десятка человек вымело с передовой, семеро тут и остались докуривать, остальные в госпиталя, слух был, четверо не доехали до места. Сержанта Ястребова, командовавшего отделением разведки, разбило на куски. Вместо него назначен был младший сержант Каблуков, парень хоть и придурковатый, и вороватый, но лучше пока никого не нашлось.

Махнув рукой у головы, младший сержант доложил. Командир дивизиона к этой поре совсем отошел, да и завечерело, горе ближе подступало — из тех двадцати человек, что от разгильдяйства и ухарства полегли, большая часть служила с капитаном еще на Дальнем Востоке.

— Вот, — кивнул он в сторону Коляши Хахалина, — потерял машину этот обормот, в твое распоряжение поступает, — и попытался еще возбудить себя, взяться на волну гнева: — Лопату ему в руки и копать! Копать! Человека из него сделай, Каблуков. Навык он в придурках ошиваться...

Ах, товарищ капитан, товарищ капитан, без двух месяцев майор, да разве можно Коляшу Хахалина чем-либо напугать после той клятвы «газушки», что сгорела в праведном огне. И копать?! Что такое в одиночку выкопать яму под машину, пусть и «газушку», пусть у той ямы и название научное, нерусское, — это ж цельный погреб...

А после того, как кукурузник уронил две бомбы на солдатские головы, целую неделю, если не больше, царил на передовой бдительность, орали солдаты друг на друга, командиры со взведенными пистолетами гонялись за разгильдяями, стреляли даже по засветившемуся огоньку. Но вот переместились с места катастрофы огневики, сменились части, прибыло пополнение, ослабела напряженность в командах, и славяне снова бродят по передовой по делу и без дела, снова картошку варят на кострах, промышляют харч, курят скопом, и кто же и когда же сочтет, сколько потерь у нас было по делу и без дела, в бою, в сраженье, сколько из-за разгильдяйства российского и легкомыслия?

В отделении разведки Коляша Хахалин скоро усек:

главная забота здесь состоит в том, чтоб не украли стереотрубу, буссоль и два бинокля, копать же семерым рылам одну ячейку и ход сообщения к траншее или уж, если местность и условия позволяют, — прямо к штабному блиндажу — это работа? Долго Коляшу к приборам и не допускали, держали за чернорабочего. Он копал, таскал, перекрытия добывал, но так как взвод управления, понесший такие неоправданные потери, да и оправданные все время несущий, никогда более полностью укомплектован не был, то вместо семи рыл осталось четыре, да и то одно из них — младший сержант Каблуков, полководца из себя изображающий, черной, потной работы чуждался.

Долго, очень еще долго пахло от Коляши мазутом и отрыгалось бензином — незабываемо, неизгладимо шоферил он.

Артразведчики поднаторели играть парней отчаянных, все время находящихся в самом опасном месте, все время выполняющих самую ответственную работу, на самом же деле спят, где только возможно, тащат съестное и, составляя схемы разведки, врут напропалую, докладывают часто о целях противника, коих и в помине нету. Коляшу Хахалина на артиста учить не надо. Он принял правила игры и долго бы кантовался в лихой артразведке, если бы на Днепровском плацдарме не ранило.

Надолго отплыл в тыловой госпиталь боец Хахалин. Вернувшись в часть, застал свое место в разведке дивизиона занятым. Каблукова убило. Бывший начальник штаба дивизиона, лупоглазый и долговязый парень, оформляющийся в мужика, занял место командира дивизиона, и крепкая ж память — запомнил, что разведчик Хахалин, иногда подменявший телефонистов, толково справлялся с этой работой. Посадил его к штабному телефону и поднес кулак к носу: «У меня не балуй!» Скоро осталось при нем всего два телефониста, которые умели толково и быстро управляться с ответственной работой, остальных новый командир дивизиона выпинал из блиндажа. Крутенек, шумлив и психоват был новый командир дивизиона, из интеллигентов, из школьников-отличников, из примерных комсомольцев в артиллерийское училище прямиком угодил, жизни совсем не знал, не личило ему материться, работать под лихого военного мужика — голос тонок.

Два телефониста: Коляша Хахалин и Юра Обрывалов, которым завидовали линейные работяги-связисты, Коляша же с Юрой завидовали им, хотя и знали тяжкую долю



связиста. Когда руганый-переруганый, драный-передраный линейный связист уходил один на обрыв, под огонь, озарит он последним, то злым, то горестно-завистливым взглядом остающихся в траншее бойцов и, хватаясь за бруствер окопа, никак одолеть не может крутизну. Ох, как он понятен, как близок в ту минуту и как же перед ним неловко — невольно взгляд отведешь и пожелаешь, чтоб обрыв на линии был недалече, чтоб вернулся связист «домой» поскорее, тогда уж ему и всем на душе легче сделается. И когда живой, невредимый, брякнув деревяшкой аппарата, связист рухнет в окоп, привалится к его грязной стене в счастливом изнеможении, сунь ему — из братских чувств — недокуренную сигарку. Братсвязист ее потянет, но не сразу, сперва он откроет глаза, найдет взглядом того, кто дал «сорок», и столько благодарности прочтешь ты, что в сердце она не вместится.

Доводилось Коляше Хахалину и на линию выходить, и в бой с врагом вплотную вступать, даже до лопат дело доходило, рубились насмерть. Хватив отчаянной доли фронтового рулевого, он с командиром дивизиона в преклонении вступить не боялся, коли тот был не прав или уж слишком психовать позволял себе. Впрочем, когда самого командира-то ранило во время драпа, покричал он: «Братцы, не бросайте!» — резко он после госпиталя изменился в характере, видно сделалось, что психоз, порой и кураж он на себя все же напускал.

Иногда меж телефонистом Хахалиным и командиром разгорался «культурный спор». Как человек начитанный, Коляша Хахалин однажды влепил напрямую своему строптивому начальнику:

— Аркадий Гайдар в шестнадцать лет полком командовал, да не задавался.

— Чего-чего? — изумленно переспросил командир дивизиона.

— Аркадий Гайдар, говорю, в шестнадцать лет...

— Бедный полк! Бедная армия! — схватился за голову командир дивизиона. — Я тоже приравнен к командиру полка, и пайку, и зарплату комполка получаю. Вас, мудаков, гоняли, гоняли, учили, учили, били, били. И что? Многие из моих воинов еще дровичь самостоятельно не могут, техникой не овладели, папу и маму им в помощь подавай либо боевого советского командира. Вон твой друг по каторге Пеклеван Тихонов имя жены не помнит...

— И детей, — подхватил Коляша. — А кто лучше и

больше него землю копает? Кто грузы на себе таскает? Кто орудие из грязи волочит?

— Да уж боец! Такой в артиллерии и надобен.

— А вы его рукояткой пистолета долбанули.

— До ранения это было, до горя моего первого, — отвел глаза командир. — Мне сколько лет? — вскинулся, зазвенел голосом комдив. — Мне двадцать шесть лет! А вас, мудаков, сколько на меня? — и уж мирно, почти нормальным голосом добавил: — Медаль «За отвагу» получил твой дружок и еще получит. Орден. Я представил. А что долбанул, так вы меня доведете — кусаться начну. Курить он на фронте начал. Табак свой ему отдаешь, знаю, когда надо, моего прихвати. А то долбанул, долбанул... нежные какие, заразы!..

— Небось, в наградном листе на орден написали: Пеклеван Тихонов лопатой изрубил два танка, ею же засек три бронетранспортера и рассеял взвод пехоты?

— На-а-а-а-а-а-а-а-а-и! Все написали, как надо. — Командир дивизиона крутанул циркулем вензель на огневом планшете, любуясь своим художеством, начал закуривать, в задумчивости продолжал: — писать мы умеем, вот если б так же воевать могли, то уж и Испанию, и Португалию прошли бы: по океану бы уж пешком шлепали. — Спустя минуту, в полной уж отключенности, погруженный в решение боевых задач, командир, не имеющий никакого певческого таланта, речитативом затянул, сыпя пером цифры на планшет: — Четырежды четыре в гости пригласили, — круг циркулем, цифирька в середину круга, — че-этырежды пя-ать, йя ее опять...

— Четырежды шесть, я ее в шерсть, — бодро подхватил телефонист Хахалин.

— Во, об этом и пой, об этом можно, а насчет писак — написали, куда шли и пришли, — не треплись, а то уволочут в такое место, не выцарапать тебя будет, олуха. И с кем мне воевать? С кем оккупанта крушить? С чурками? С пеньями? С пьяницами?

Однажды, в благую такую минуту Коляша Хахалин заявил, что клятву, данную командиру дивизиона, выбывшему по ранению, — восполнить потерю, вместо сожженной машины добыть другую, — он помнит и все равно выполнит ее, скорей всего уж на иностранной территории, где машин много. Конечно, имущество не вернешь:

вместе с машиной сгорели все противогазы взвода управления, запасные колеса, камеры резиновые, плащ-палатки, пара ботинок, несколько винтовок и автоматов, лопаты, патроны, гранаты — урон, конечно, невосполнимый, но машину... гадом ему, Хахалину, быть...

Нет клятвы крепче, чем в огне и на воде данной, — до чужих территорий Коляше не потребовалось идти, в городе Бердичеве ему подфартило. Осенью одна тысяча девятьсот сорок третьего года в городе Бердичеве Житомирской области, может, и Винницкой — сейчас Коляша уже не помнит, все ж остальное, как на экране, в мельчайших подробностях высвечено, — исполнилась боевая клятва.

Бердичев был отбит у врага почти без боя, город мало пострадал. Вот под городом сожжено «тридцатьчетверок» вдоль дороги изрядно. У всех машин сорваны башни, верху чашей лежат, полные воды. Диковинно выглядит башня с дырявым хоботом орудия. Вдоль дороги и в поле россыпью бугорки чернеют. Иные горящие танкисты в кювет заползли, надеялись в канавной воде погаситься, и тут утихали: лица черные, волосья рыжие, кто вверх лицом, видно пустые глазницы — полопались глаза-то, кожа полопалась, в трещинах багровая мякоть. Мужики трупы облепили. Привыкнуть бы пора к этакому пейзажу, да что-то никак не привыкается.

Выставили орудия на предмет отбития контрудара, который откуда-то немцем намечался и где-то уже осуществлялся, и танковый тот батальон или полк, находившийся на марше, уже испытал его на себе, но вроде бы отбился и остатками машин теснит врага.

Словом, война шла, продолжалась, слышен был недалекий гул орудий, низко пролетали штурмовики и кружились над землей, пуляя белыми струями ракет, ссылая бомбы, будто картошку из котла. На них сверху налетали «мессершмитты», на «мессершмиттов», норовя зайти еще выше, налетали наши истребители. Ребята из артбригады, свободные от дежурств, подались осматривать освобожденный город Бердичев и, если выгорит, обмыть очередную победу.

Как и почему вояки попали на кожевенный комбинат, Коляша уже не вспомнит. Комбинат действовал при немцах и только-только остановился, только-только опустели его цеха и замолкли моторные мощности. На дворах и поза дворами, возле складов и цехов валялись кожи, кото-

рые в лужах, которые на сухом. Запах был нехороший, и воронье пиروвало здесь, тревожно и опасно орущее, видать, криком отгоняло от себя страх недалекого боя, может, еще и прошлый страх не одолело.

Кто-то из бывалых бойцов сказал:

— Раз комбинат на ходу, должен тут вестись спирт или раскислители на спирту.

Каким-то путем воинство вместе с Коляшей Хахалиным угодило в управление комбината, не то, что было при социалистическом строе, то есть контора в три этажа, где сидели умные люди, управляя производством, подсчитывали прибыль, организуя соцсоревнования, составляли сметы, устраивали комсомольские слеты и партийные собрания, вручали вымпелы, выписывали премии и прогрессивки, выдавали сахар детям и ботинки. У немцев все сурово и просто. Контора в три этажа занята какой-то военной службой, все управление разместилось в пристройке к цеху энергопитания. В пристройке обитал комендант, два его помощника по кадрам, начальник охраны, несколько полицаев да кто-то из специалистов-советников. Из гражданских — староста, он же дворник. И все работало. Кожа на солдатские сапоги шла потоком, электричество горело, моторы в цехах жужжали, колеса крутились, прессы прессовали, шкуры и дубильные вещества регулярно подвозились, отходы и шерсть регулярно вывозились, потому что у коменданта был еще один помощник — сыромятная плеть с ореховой, фасонно резанной ручкой. Войдя в дощаную резиденцию коменданта, вояки сразу ту плеть увидели висящей на стене, рядом с портретом Адольфа Гитлера во весь рост.

— Ах ты, сука! — закричали вояки, — свободных советских людей пороть!.. — и принялись расстреливать Гитлера. Один воин-меткач поразил фюрера в глаз, из глаза ударила желтая струя, из-за перегородки раздался истошный крик: «Ря-аугйте, люды добры!»

Сунулись за перегородку — там толстая старая бабка лежит, прижулькнув животом к полу девчущку, и вопит, на нее из дубового бочонка желтая струя льется. Вся стена в каморке-кладовой до потолка была заставлена бочками с пивом. Вояки думали, из глаза фюрера порснула моча, а тут эвон что! Бросились под струю баварского пива, кто с банками, кто с котелком, кто и с пилоткой. Бабка-сторожика эмалированную миску под струю сунула, тоже попила, перекрестилась и рассказала, что она тут, при ко-

мендатуре, — и уборщица, и сторож, раньше в конторе была и комнатку за печкой в конце коридора имела. При немце сюда переместилась, печечку железную поставила, топчан из ящиков собрала и живет себе, дитя пасет, потому как и у нее, и у дитя, которую Стешкой кличут, всю родню выбрали, выпололи, кого еще при советах в далекие места увезли, кого тут, на месте, постреляли, кого немцы подобрали на работу, к германцу отослали. «В рабство ихое», — патриотически подыграла захмелевшая бабка и притопнула валеным опорком, пыль взнялась клубом. Вскинув голову так гордо, что выпала гребенка из волос, по причине вшивости коротко стриженных, бабка грянула: «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля, просыпается с рассветом вся советская земля!..» — и заутиралась фартуком, тоскуя по Кремлю. Под фартуком бутылка с казенным спиртом обнаружилась. Пошло тут, поехало братское веселье.

Коляша Хахалин как человек, почти непьющий, точнее — еще не навывший пить, отправился гулять по территории комбината, довольно обширной. И напоролся на пожарный крытый двор. Во дворе под навесом рядом красные машины стоят с баками, полными воды. Коляша сунулся в одну машину — открыто, в машине все блестит и светится. Он понарошке нащупал военным ботинком пробку стартера и, зная, что от стартера наши машины вовек не заводились, давнул. Машина вздрогнула, уркнула, застреляла трубой и тут же заработала ровно, чуть сотрясаясь от напряженных моторных сил, готовых к рывку и действию.

Коляша, сперва тоже от неожиданности вздрогнувший, осторожно надавил на педаль сцепления, обхватил рукой кругляшок рычага и сунул его взад — он и в своей-то великомученице-«газушке» не всегда и не вдруг попадал в канавки хитрых машинных скоростей, в особенности в заднюю и четвертую скорости, а тут, сдуру одержав техническую победу, надумал покинуть пожарную стоянку и двинуть машину задом во двор. А уж если дура-удача пойдет, так уж пойдет! Выехал Коляша во двор, машину остановил, но мотор не заглушил и от ликования души, сложив руки рупором, как заорет: «Кто из девяносто второй? Домой поехали. Смеркается уж...»

Это была картина! Это было кино! По городу Бердичеву, облепив красную машину, ехало воинство и под гар-

мошку выдавало: «Три танкиста выпили по триста, а начальник целых восемьсот!..»

Так под гармошку, с дружными песнями въехали в расположение, на батарее ворвались и там уж получили по заслугам сполна. Переполошенное начальство, между прочим, тоже выпившее, повыскакивало из всех хат и пошло, пошло чинить расправу. Кого из гуляк под арест, кого глотки орудий с мылом мыть, кого — землю копать, кому и по морде.

Коляша Хахалин оказался в свежерыкопанном за сараем ровике, устланном по дну соломой. Называлось это гауптвахтой. Хозяин ровика, то есть человек, копавший его, оказался не кто иной, как Пеклеван Тихонов, он же приставлен был охранять ровик с лежащим на его дне нарушителем дисциплины. Пеклеван осудительно качал головой, ругал Коляшу, мол, вечно он, как не знаю кто, — нарушат, и фокусничат, да выкаблучиваются. Коляша достал из военных брюк шкалик со спиртом, на запивку дал часовому флягу пива. Хозяин ровика, он же постовой, — человек деревенский, сговорчивый. Выпив шкалик спирта и закрепив его пивом, тоненько запел: «И в Божьем храме средь молитвы любовна-ай встрелся наш взгляд...» — Пеклеван страдал непревзойденной сибирской жалостью и обожал переживательные песни. Нелегко ему было держать под арестом своего дружка, страдальца фронтowego. Он спустился в ровик к арестованному, обнял его братски, и они так вот, в обнимку, проспали до самого утра.

Рано утром пиво погнало Коляшу в кусты. Он, значит, стоит, поливает украинскую землю, пред ним, кустами толсто заваленное, пламенеет что-то. Отогнул Коляша кусты — под ними красный бак и неподалеку, в ста или двухстах метрах, стоит свежерашенная машина с зеленым, только что сколоченным и свинченным кузовом.

Так Коляша Хахалин сотворил на фронте свое самое полезное дело, за которое медаль ему не дали, но и не ругали. Командир дивизиона, начальник штаба дивизиона, майор Фефелов и прочее начальство делали вид, будто ничего особенного на свете и в их части не произошло. А раз так, то и Коляша делал вид, что ничего особенного не произошло. И думал с облегчением, что было это в последний раз, когда он сел за руль. Да и Пеклеван Тихонов, как всегда к разу и к месту, товарищеское внушение ему сделал: «Не вздумай на ворованной-то машине ишшо

кататься — это, как у конокрада, либо на голову аркан, либо в острог запрут».

Сказано уже — нет клятвы крепче, чем в огне и на воде. Но все же пришлось Коляше сесть за руль. Еще раз. Зато уж воистину в последний раз!

Но прежде, чем это случится, Коляша Хахалин совершит еще один боевой поступок. Там же, под Бердичевом — вот ведь какой памятный город оказался! Сотни городов с войском прошел Коляша, тыщи деревень, Бердичеву же выпало быть большим и очень серьезным перевалом в его жизни. Позднее он узнает, что в Бердичеве венчался французский писатель Бальзак, и нисколько не удивится тому и дознаваться не станет, как это занесло туда француза. Бердичев в понимании Коляши Хахалина еще тот город, в нем могут и должны постоянно происходить всяческие чудеса.

Именно там, в Бердичеве, молодой человек, угнетаемый, как и все здоровые молодые парни, мужской плотью, принял боевое крещение, произведен был в мужики.

Батарей были поставлены на окраине города, и наблюдательный пункт вынесен в хуторок, за сады, на опушку пригородного дубового леса. Хороший, богатый хуторок, совсем почти не разбитый, но какой-то весь раздетый, неуютный — без оград, без ворот, почти без надворных построек, вроде как селились тут люди случайно и ненадолго. Хаты, как бы нечаянно забредшие иль с неба набросанные по опушке леса, хотя и беленые, но серые и сырые. Вояки узнали, что хутор этот и в самом деле случайный и недавний. Возвели его какие-то выселенцы перед войной. Опасный для родины народ — выселенцы. Однако небрежливые власти мужиков все равно подмели, отступления и наступления их смыли в военные ямы.

Командир дивизиона, начальник штаба, вычислитель и прочие нужные делу чины заняли просторную хату безо всяких перегородок и затей. Внутреннюю архитектуру хаты осуществляла основательно сложенная, на чадонасибиряка ликом похожая, насупленная русская печь.

В хате обитали мать Антонина — женщина дебелая, в разговоре степенная, и две дочери — Светлана и Элла.

Светлана пошла в мать — пышнотелая, с косой цвета овсяной соломы, спускающейся до заднего места, по земле ступает из милости, травки-муравки едва касается.

Словом, была она из тех, про кого говорят: прежде чем сказать — подумает, прежде чем ступить — осмотрится. Пава, одним словом. Над ее кроватью гвоздями приколотые, тушью, от руки рисованные на ватмане висели два портрета — Пушкина и Белинского. Товарищи командиры зауважали Светлану и выражаться при ней воздерживались. Желая угодить девушке и обратить на себя внимание, командир дивизиона зыкнул, чтоб военные курить выходили вон. И этот жест даром не пропал: пошел командир умываться — Светлана ему поливала, холщовый рушник, пегухами вышитый, подала.

Другая дивчина, видать, в отца удалась. Платьишко на ней еще с накладным воротничком и карманами, с тремя складочками на юбке. Заношенное платьишко, давно не стиранное, точнее, стиранное, но без мыла, в щелоче и оттого несвежо выглядевшее. Зато сама Элла, чернявенькая, с остренькими локтями, сияя смородиновыми глазами, хотела всех и обо всем расспросить, все и обо всем рассказать. Смуглое лицо ее разгорелось, губы безо всякой причины улыбались. Она летала по просторной избе, что грач или черный дрозд, то и дело ударяясь о печку, чего-то роняла с грохотом и разбила какую-то посудину, редкую в этом бедном доме, и мать, качая головой, давала понять постояльцам, что вихрь этот не остановить, не унять даже военной силой. Угадывая желания постояльцев, Элла по своей воле и охоте помчалась в сад, принесла в подоле яблоки и груши, ухнула фрукты на стол, прямо на карты и штабные бумаги. Заметив, что телефонист привязан к месту проводами, ему в пригоршни вальнула абрикосов, поверх алое яблоко и грушу вляпала.

«Подол-то», — напомнила мать и, настигнув дочь, сама одернула на ней платьишко. Коляшу, а он в ту пору дежурил у телефона, эта чернявая птаха сразила наповал сразу, он почувствовал себя разлаженно, слабо, все в нем сместилось куда-то, в жаркое место. Сжимая в горсти грушу и яблоко, Коляша ловил и не мог поймать захмелелым взглядом это порхающее по избе существо, начал путаться на телефоне.

— Да что с тобой сегодня? — уставился на него начальник штаба дивизиона и, увидев мутный взор телефониста, сместившийся в беспамятство, решил, что это от постоянного недосыпания и, раз обстановка позволяет, надо телефониста подменить и дать ему отдохнуть. Да если бы Коляша мог бросить этот проклятый телефон, он сам,



не спросясь, бегал бы за девушкой щенком возле избы, таял и зубами хватался за подол, забыв про войну.

Мать Антонина предложила товарищам охвицерам готовить обед, если у них есть продукты, от себя же она могла добавить к обеду яишницу. Товарищи охвицеры благосклонно согласились с этим предложением, отделили продукты от сухого пайка в распоряжение хозяйки.

Заполотно бросив: «Пойдем!» — Элла схватила освободившегося телефониста за руку и умчала за собой во двор, со двора, в котором стояла корова, по лестнице — наверх, на сеновал. В дощаном щелястом сеновале пахло свежим сеном и яблоками. В глуби сарая, у дальней стены серела кучка прошлогоднего сена. На нем была раскинута нехитрая постель — стеженое старое одеяло вместо матраца, в головах половичок, на него брошена смятая подушка и что-то скомканное, наподобие покрывальца. «Тут она спала! — догадался Коляша, — совсем недавно». У него занялся дух. Элла порхала по сеновалу, собирая яйца снова в подол платица, оголив серо-голубые трусики с белыми пуговками на боку. Вдруг девушка остановилась перед Коляшей, уперлась в него: «Ты чего?» Господа охвицеры деликатно отворачивались, когда она вот так-то, с фруктами и яблоками, задрал подол, одаривала их плодами. Коляше она зачем-то сунула в руки теплое яйцо. Он стоял посреди сеновала, держа куриное яйцо в ладонях, и не отрывал взгляда от Эллы. Он и губами-то пошевелить не мог, а вот яйцо раздавил, и оно потекло на ботинки. Держа одной рукой подол с яйцами, другой Элла принялась клочком сена очищать солдатский ботинок, торопливо, с захлебом рассказывая, что приехали они сюда с Урала и сначала ей тут не нравилось, но, как вырос и начал цвести сад, — понравилось, и вдруг тоже поняла — он ее не слышит, то есть слышать-то слова слышит, но смысла их не понимает.

— Бедный ты мой! Ты ж на войне... — погладила она его свободной рукой по щеке и приказала немедленно лечь в постель и спать. — Потом... потом, все потом. Я тебе нравлюсь, да? — уже с лестницы высунула она голову. Глазищи у нее ясно и возбужденно сверкали.

«Вот она, погибель-то какая бывает», — обреченно подумал Коляша и закивал головой — да-да!

— Я приду к тебе! — шепнула или крикнула Элла.

Коляша решил, что все это ему мстится, женский это

коварный обман и только — о нем он так много слышал и читал.

Усталость, давняя, фронтовая, все сминающая усталость, и событие, встреча эта, молнией его опалившая, — обессилили парня, и только он коснулся подушки, будто в обморок провалился или в яму бездонную угодил.

Ночь была уже, сочился лунный свет в щели сарая, когда Коляша проснулся от осторожного к нему прикосновения. Кто-то лежал рядом, гладил его по щеке, касался губами уха.

— Хороший ты мой! Солдатик мой молоденький, желанненький... Я тебе нравлюсь? И ты мне тоже... И ты мне... — шелестело рядом.

Коляша, не шевелясь, внимал голосу небесному. И от голоса одного и ласкового к нему прикосновения истек в белье и, если б дальше ничего не было, он все равно считал бы, что мгновения эти в его жизни — самые волнительные, самые счастливые. Но девушка, скользя губами по лицу, нашла его губы и впиалась в них. Коляша плотно-плотно сжал рот.

— Да ты еще и целоваться-то не умеешь?! — прошептала Элла и стала старательно учить его целоваться.

Коляша весь опустел и, как и что было дальше, — плохо понимал и помнил. Он истекал семенем, почти беспрерывно содрогаясь от неведомой силы, давно и навязчиво его угнетающей.

Очнулся он от легкой боли — Элла, Эллочка, повторяя: «Хороший мой! Сладкий мой!», — покусывала сосцы на его груди, и, вспомнив, как мужики говорили, что иные женщины во время полового сношения не только кусаются, но и кричат, Коляша сперва испугался, но потом все же решил, что ради такого небывалого удовольствия можно все стерпеть — и отдался губительной страсти, как это дело называют в книгах.

Они маленько и поспали, и поговорили даже. Элла, тронув его по губам пальцем, сказала, мол, ей очень приятно, что она у него была первой.

— И дай Бог, чтобы не последней, — кротко вздохнула добрая душа.

Преисполненный благодарности, он хотел на благородство ответить благородством, мол, когда война кончится, он приедет в Бердичев и женится на ней, на Элле. Но в это время Коляшу крикнули снизу, со двора, — пришла его пора дежурить. Он глянул на часы — было четы-

ре часа утра. Сменщики дали ему отдохнуть две смены. Молодцы какие! Понимая, что так просто уходить нельзя, надо что-то сделать на прощанье, Коляша пытался припомнить, как в таких случаях поступают герои книг, но отчего-то не вспомнил и просто поцеловал девушку и сказал: «Спасибо!» — получилось, будто в магазине, продавщице за селедку благодарение, и он тихо, стесняясь нежности, добавил: «Милая».

Элла, уже сонная, подняла руку, погладила Коляшу по щеке. И он, сам от себя того не ожидая, неуклюже чмокнул ее маленькую ладошку и почувствовал, как обессиленно опала соленым отдающая рука, раздался глубокий, удовлетворенный вздох, который долго-долго, всю жизнь будет помнить Коляша, ибо поймет со временем: все, что в жизни бывает в первый раз, — не повторяется, все же, что случается второй раз, — вторично.

Приспевает пора рассказать о том, как Коляша Хахагин нарушил клятву, в огне данную, вынужденно сел за руль и сотворил вынужденный подвиг.

Раненный весной сорок четвертого года в путаных, бестолковых боях под Каменец-Подольском, он все лето кидаем был по прифронтовым госпиталям. В одном госпитале пристроился было санитаром, но на раненой ноге никак не зарастал свищ, сочилось в бинты, присыхала к ране вата, и его метанули в чуть отдаленные тылы — долечиваться, да не долечили, отправили нестроевиком в ровенский конвойный полк, где он и встретил долгожданный День Победы.

Чудно встретил он этот выстрадаанный праздник, не по-людски, не по-армейски, не по-братски.

В конвойном полку толкалось множество рядовых и командиров, успешно отсидевшихся в тылу, пресмыкающихся, исподличавшихся. Пополнение из раненых фронтовиков не могло не вступить в конфликт с этакой шайкой. И вступило. Дело доходило до мордобоя, в котором верх, конечно же, держали старые конвойники, сытые, здоровые ребята. Нестроевиками разбавляли в ротах это сытое и наглое кодро, которое объединенно вело подлое дело. Старшины рот и младшие командиры вызовут в каптерку за чем-либо строптивного нестроевика и дружно так его отделают, что всякая жажда дальнейшей борьбы за справедливость пропадает.

Коляшу беда свела с двумя бойцами — Жоркой-моряком и тихим парнем из местечка Грицева, что на Житомирщине. Оба они были тяжело контужены, обоих парней били припадки. Коляша, немножко поработавший в госпитале, научился усмирять падучую, когда она валила ребят. И снова навела его худая доля на держиморду — ротного старшину. В отличие от Олимпия Христофоровича Растаскуева, этот был худ, нервен, криклив. И фамилия ему соответствовала — Худоборов. Он панически боялся погибнуть. И погиб. Уже в мирное время. Прилачился к какой-то ровенской жинце, а у той муж дезертировал из армии, сошелся с лесными братьями и, однажды явившись в город, обѣх, как говорил новый старшина роты, расстрелял прямо в постели. Так вот, старшина Худоборов еще и рукоприкладством занимался. Однажды он ударил Жорку-моряка, тот хрясь на каменный пол и забухался в припадке, затылком об камень. Старшина убежал и в каптерке спрятался. Народ оторопел. Коляша насел на могучую грудь моряка и кое-как справился с больным, не дав разбить ему голову об пол. Перенесли захлебывающегося пеной больного на нары. Коляша внушал бойцам, что припадок страшен для самого контуженного и ни для кого больше, что в роте таких больных двое, может начаться приступ сразу у обоих, и что он тогда станет делать? Надо ему, Хахалину, в этом деле помогать.

Старшине Худоборову Коляша на всякий случай заметил, что-де у контуженных есть справка на тот счет, что, ежели они человека прикончат, их даже к ответственности за это не привлекут. Худоборов перестал чеплять припадочных, переключился на более здоровых, падучей не страдающих бойцов. Коляша Хахалин из нарядов, почитай, не вылезал — этого старшину, как и Растаскуева, борца за исправную службу, отчего-то бесило, что рядовой, занюханый солдат, к тому же хромой, читает книги, хорошо поет и, главное, пишет стихи. С наслаждением, аж бледнея от страсти, на всю роту кричал и этот старшина: «А ну, поет, мети казарму, выносс-си помой-и!»

В ночь на девятое мая, уgomонив припадочных, наказав ребятам, чтоб, если начнется приступ у больных, подменить его на посту, Коляша Хахалин заступил на дежурство у проходной, с одной обоймой патронов, сунутой в магазин винтовки.

Надо сказать, что беспокойство, волнительное ожидание долгожданной вести, охватившее страну, в том числе

и город Ровно, забитый не доехавшими до фронта и уже едущими на Дальний Восток войсками, передалось и усталому, войной издерганному и старшиной измыленному бойцу Хахалину. А тут еще танкистов навалило на окраину города, поди-ка, целый корпус. Они переломали гусеницами танков сады, расположились, не боясь демаскировки, вольно, широко и загуляли. Ой, загуляли!

Вот уж время и час, и второй час ночи — у танкистов бал не умолкает: звучат баяны, гармошки, гремят радиостановки, визжат девки, поют парни, зычно гаркают чего-то товарищи командиры. И все это разом, одновременно — постовому Хахалину передалось возбуждение от происходящего в саду и в округе всей. И чего особенного? Тоже человек, сколько и как мог, воевал, было бы, так и выпил бы...

Тут на него с фонарем-фарой набрела пьяная банда в количестве четырех рыл. Интересуются ребята, в каком городе находятся, какой объект перед ними, нельзя ли чем разжиться в смысле спиртного. Коляша терпеливо объяснял: находятся они на Украине, в городе Ровно, перед ними проходная конвойного полка, и, ежели есть здесь у кого спиртное, его потребляют втихаря.

— И ты в такой вот шараге служишь? — удивились танкисты.

— А куда ж мне деваться-то? Родина каждому свое место определяет. Не сойдешь...

— Э-э-эх ты! — сказали танкисты, и один из них заплакал. Все они начали обнимать часового и целовать, оглушая запахом самогонки, в один голос наставляли, чтоб он позорный пост бросил и шел с ними за выпивкой.

Коляша с поста не сошел, но путь к самогонке указал самый короткий. Жора-моряк говорил, что пустую окраину города заселяли переселенцы из России и освоение новых земель начали с производства самогонки и вина, так как украинские сады осенью по колено завалены фруктами, да и сейчас еще винную прель по городу разносит.

Где-то уж к утру, когда небо начало отбеливаться с востока, танкисты, держась друг за дружку, проследовали в часть, но, заметив одинокую, серенькую фигурку часового, прониклись братской жалостью, поднесли ему прямо в противогазной немецкой банке вонючей крепящей самогонки. Коляша, продрогший на посту, покинуто и сиротливо себя чувствующий, выпил через край, зажевал гнилым яблоком и посоветовал танкистам идти в распо-

жение, спать. Но пока он пил, зажевывал яблоком питье, подавал советы танкистам, они, прислонивши себя к кирпичной стене полкового забора, осели наземь и сваренно заснули. Остаток ночи Коляша занимался тем, что по одному перетаскивал через дорогу сраженных танкистов, устраивал их на ночлег возле машины и под яблонями.

Гулянка ослабела, музыка звучала лишь на машине с движком и радиоустановкой, которую не выключали, дожидаясь великих вестей. Вдруг дверь машины распахнулась, ярко плеснуло электрическим светом, в свете возник человек с ракетницей в одной руке, с автоматом в другой.

— Ребята! Парни! Товарищ генерал! Победа! Победа-а! Победа, раствою мать!.. Да что ж вы, курвы, спите? Победа ж! — и пальнул в небо одновременно из ракетницы и из автомата.

Коляша Хахалин, плача от счастья и от самогонки, солидарно со всеми жахнул из винтаря. Всю обойму! И весь город застрелял. Небо озарилось ракетами, взрывами! Какой-то танкист лупанул из орудия по забору конвойного полка, дыру в кирпичках пробил. Коляша хотел побежать и сказать, чтоб пушку взняли, вверх палили, холостыми. Но в это время начала выбегать в белье из казармы братва, из каптерки выпал в окошко паникой охваченный старшина Худоборов: «Нападение! Бендеровцы! В ружье!..»

Коляша вспомнил, что Жору-моряка и Гришу из Грицева непременно приступ свалит от возбуждения, ринулся в казарму — помогать болезным. Только он справился с этой задачей, как его тут же арестовали и увели в помещение гауптвахты. Оказалось, не один старшина Худоборов запаниковал. Все полковое начальство испугалось и за трусость свою, малодушие искало, кого наказать. Постовой Хахалин без надобности израсходовал боезапас, к тому же пьян был. Вот и понес заслуженное наказание.

— Да я от радости, от радости!.. — пытался внушить старшине и его сподручным Коляша, но Худоборов, разбивший голову, изрезавшийся о стекла, перевязанный, йдом расписанный, как индеец из джунглей, рвал и метал, грозился еще и под суд отдать разгильдяя.

Просторная гауптвахта, расположенная в подвале штабной казармы, оказалась пуста. Коляша забрался на нары, уткнулся в угол и долго плакал, вымывая слезами все оби-

ды, какие получил он в родном отечестве за войну, всю свою незадачливую судьбу оплакивая.

К нему, такому аховому преступнику, в суматохе не приставили даже охрану. Худоборов просто закрыл его на амбарный замок и ушел. Ни воды, ни хлеба, ни завтрака, ни обеда арестованному не несли. В послеобеденное уже время раздался в подвальном коридоре шум, гам, звон железа — это напившийся в честь победы Жорка-моряк вспомнил о Коляше Хахалине, сбил кирпичом замок и ворвался на гауптвахту с компашкой, принеся с собой выпивки и закуски.

Конвойный полк кишмя кишел доносчиками, предателями, подлецами, и кто-то из них донес старшине Худоборову о том, что творится на гауптвахте. Старшина с криками и угрозами ворвался в подвал. Жорка-моряк сгреб его за грудки, придавил к стене и велел всем выйти вон. Когда веселящаяся публика покинула помещение гауптвахты, Жорка-моряк бросил тщедушное тело начальника на доски нар. «Только пикни у меня!» — погрозил он старшине пальцем и закрыл гауптвахту его же замком.

Город взбудоражило. Гремела всюду музыка, везде плясали, с кем-то обнимались, пели, прыгали, смеялись, ликовали военные. Жорка-моряк деваху у переселенцев подцепил. Коля Хахалин свою содетдомовку встретил. В таком-то содоме взял и встретил. Совсем нечаянно. И кого встретил-то? Туську Тараканову! И где? В Ровно. На другом, можно сказать, конце земли, точнее — полушария. Значит, он воды захотел, газировки. Пристроился в очередь к голубой тележке с бачком и колбами. В одной колбе красный сироп, в другой — желтый, яблочный. Объектом этим управляла уже тучная женщина, может, деваха. Черные жесткие волосья у нее в разные стороны торчали, нос такой симпатичный, будто у игрушечного поросенка, с пятачком, и дырки кругленькие в носу. Ну вот хоть расстреляй Коляшу — мерещится что-то знакомое ему в продавщице газировки, и все тут. Наливает продавщица в стакан газировки и говорит усмешливо:

— Ну, чего, солдатик, уставился? Своих не узнаешь? — и тут же мокрый стакан уронила: — О-ой, Коляша! О-о-ой!.. — и рухнула на своего содетдомовца большим, мокрым фартуком прикрытым телом.

Торговлю Туська прекратила, тележку куда-то свезла и всю компанию Коляшиных друзей увела с собой.

Жила Туська с мужем и полуторагодовалым парнем Мишкой в одном из тех самых окраинных домов, из которых были выселены и увезены на Урал, в Казахстан и в Сибирь их хозяева. Муж Туськи, мертвецки пьяный, спал в старой гимнастерке с медалями и орденом на кровати. Одеядло, брошенное сверху, круто опадало на хряпящем обрубке.

— Спит красавец мой, — вздохнула Туська, и горя не ведает. Без ног он у меня, в госпитале сошлись. Там и сына сотворили. Я при госпитале по мобилизации прачкой работала. Пришла пора рожать ехать, а куда? Тут агитировать начали — осваивать новые районы. А они, новые-то, старее старых оказались...

Туська позвала за собой Коляшу на двор и там, собирая картошку, рассыпанную по полу сарая, где еще остались три курицы да петух — остальную всю живность переселенцы приели, — Туська указала на сложенный, точнее, в угол сарая сбросанный хворост из сада, сказала, чтоб Коляша набрал дров, продолжая повествование о своей тревожной и невеселой жизни. Муж ее, Гурьян Феодосьевич, из хорошей в общем-то, крепкой семьи, но семья та рассеялась, деревня под Брянском сторела вся, и они вот клюнули на подачку, как и другие русские люди, кто от безысходности, кто от жажды пожить на дармовщину. Гурьян спервоначалу сапожничал, но чужая сторона да и изба чужая не греют, и он принялся греться зельем. Приехали осенью — фруктами земля завалена, зерно в амбарах, добро в кладовках, овощи в подвалах — все для жизни трудом добыто, на зимовку приготовлено. Первое, с чего начали переселенцы жить, — с самогонки, с закладки фруктов на вино из падалицы. Гурьян совсем разбаловался, работать перестал, зачастили к нему деяги из доблестного конвойного полка, тащат манатки, золотишко, серебряную утварь — выселяли они раньше деревнями, теперь целые районы гонят. Грузят да увозят. Прежде давали людям собраться, хоть чего-то необходимое взять с собой. Ныне дают час на сборы и, как скот, табуном на станцию. Но многие мужики разбежались по лесам, нападают на военных, вырезают переселенцев. И Гурьяну уже записка была: коли не уедет, зарежут его вместе со всей семьей.

— А я вдругорядь беременна, а первенец еще мал, муженек запивается-заливается, местные на нас волками



смотрят. И правильно. Чего явились-то? Чего на чужое добро обзарились?

Уже и дров набрали, и Туська в дырявый детский горшок яиц насобираала. Помогавшая по дому украинка Гапка с цыганскими ухватками кликала Туську.

— Да сейчас я, сейчас. Дай поговорить с человеком! — досадливо отмахивалась Туська и, отведя глаза, молвила самое главное: чтобы Коляша при первой же возможности рвал из своей части, пока его не повязали по рукам и ногам, пока в конвое не побывал. — Они ведь, ваши-то вояки, чего не доберут в деревне, у селян, после отрядами вооруженными туда ездят и тащат добро всякое, конвойные же в дороге гонимых людей шерудят, последнее у них отнимают. Тут настоящая война идет, клеймят Бендеру и его сподвижников, но сами же зло здесь породили, в страхе живут, и мы тут страху набрались. Уезжай, убегай, Коляша, уезжай как можно живее, пока в конвой не назначили, не испоганился пока... Да иду я, иду! Они ведь, — уже на ходу закончила торопливо Туська, — если в пути не будешь по-ихнему поступать — в пай не войдешь, под колеса поезда бросят.

Крепко солдатики посидели в гостях. Муж Туськи, Гурьян Феодосьевич, готовясь к будущей мирной жизни, на баяне играть обучился — оказывается, специальный кружок для инвалидов при госпитале существовал, вот как родина о своих болезных сыновьях заботилась: музыке обучала, к хлебному месту определила.

Ах, как они пели под баян, как пели! И плясали!.. Туська, платочком махая, в отчаянии била дробь, ободряя мужа, выкрикивала в госпитале выученное: «Ох, мать, моя мать, разреши Гурьяну дать. Гурьян безногий человек и не видал ее во ве-ек!»

Где та мать Туськина? В какой мерзлоте покоится? Туська и не помнила ее. Она детдом помнила, помнила, как Коляша сказки сказывал и, лепясь мокрыми губами в его лицо, брызгала слезами:

— Братик ты мой, братик! Коляша ты мой, Коляша! Куда ты задевался? Везде тебя искала. Тебя искала, Гурьяна нашла... «Эх ты, Гурьян! Гу-у-уляй, Гурьян, да ложись в бурьян, как домой придешь, в бурьяне меня найдешь!» Брошу я его, брошу, окаянного. Не хватат моего сердца всех-то жалеть, не хвата-а-ат.

Проснулся Коляша Хахалин за печкой, на теплой лежанке, в обнимку с той самой молодой Гапкой. Она

насадила ему синяков на шею страстными поцелуями, губы искусала так, что скрыть улики не удалось, и его за самоволку, за моральное разложение снова отправили на губу. Знакомая со многими солдатами конвойного полка, дважды туда проникала Гапка, приносила сала, картошек и цыбули, сулилась как-нибудь и самогону принести, подпоить постового и добровольно остаться на губе.

Но однажды четверем разгильдяям, прозябающим на гауптвахте, возвратили пояса, обмотки, выдали оружие и под командой капитана Ермолаева, имеющего два ряда орденов и много дыр на теле, добывающего срок до демобилизации, отправили за картошкой в село, дорогу в которое капитан знал, потому как состоял при отделе снабжения полка, и полк тот съедал за сутки не менее кузова картошки, много пшена, кукурузы, комбижиру и всякого прочего добра. Словом, как выразился капитан Ермолаев, явно недолюбливающий полк и его обитателей, — жрут, срут, крохоборничают. Он внимательнейшим образом оглядел вверенную ему четверку, убедился, что все они бывшие фронтовики.

— По коням, орлы! — сказал и полез в кабину, добавив, что могут их и обстрелять в пути, так что лучше лечь в кузове на солому, башки не высовывать, на двор не проситься — остановки нежелательны.

Шофер машины, расплывшийся от харча, явно не казенного, ныл:

— Опять я! Опять я! Некого акромья меня нарядить, некого? В этуку даль, на вечер глядя... Район-от самый опасный...

Капитан рыкнул на шофера, лязгнул дверцей, и скоро они уже пылили по украинским просторам, меж осенью полуубранных, потемневших полей пшеницы и рассыпанного, что горелый лес, будьями торчащего, накрест палого подсолнуха. Кукурузные поля, обнажив гниющие початки, шелестя, сорили драными лохмотами. Птицы всякой тут паслось — тучи, иные вороны так обожрались, что и взлететь не могли, лишь отбежали с дороги, махая крыльями.

Приказом капитана — лежать и не дрыгаться — солдаты, недавние фронтовики, пренебрегли — экие страхи после фронта-то! Обстреляют! Ну и они в ответ дунут из автоматов, новеньких, свежесмазанных, с полными дис-

ками. Да еще у ханыги того — шофера — «дегтярь» есть в запасе. Попробуй, тронь.

Название села, в которое они устремлялись, врубилось в памяти навсегда — Подкобылинцы. Село стояло хорошо, лицом к полям, дворовыми постройками к лесу. По селу, разделяя его на две части, текла, перехваченная плотинкой, лесная степенная речка, вычесывая зубцами камней из леса к домам и в поля спутанные кустарники, порскнувшие серьгами, и крылато раскрывающееся листвою чернолесье, вербач, краснотал. Плакучие ивы, там и сям нежно засветившиеся, мочили гибкие космы в прудках, гоготала многоголосо плавающая птица, насорившая всюду столь много белого пера, что туманцем зелени покрытые берега прудков, узко от них поднимающиеся переулки были словно бы припорошены снегом.

Дома под черепицей и «пид бляхой», строенные основательно, сплошь почти на каменном фундаменте, окружали собою упористо стоящую церковь и кирпичный многоэтажный дом, должно быть школу. Дворовые постройки — из толстых, во всю длину рубленных бревен, крытые то тростником, то соломой, круто взмывали в небо. Сами дворы вымощены плахой или каменными плитами, негороженные сады, сомкнувшиеся меж собой, подступали к хорошо сохраненному сосновому бору с подбоем ельника, местами, как бы нечаянно, яблоньки забредали в него и зацветали в затени припоздало, торопясь однако союзно с родным садом покрасоваться, опасть цветом и успокоиться завязью плодов.

Коляша еще и еще плевался, вспоминая самую брехливую на всем свете пропаганду о том, как в нищете погибали, обобранные панами, никем не призретенные украинцы и белорусы. Больше всего, помнится, поразила детдомовских ребят спичка, которую угнетенные, ограбленные народы вынуждены раскалывать на четыре части, чтобы хоть как-то разводить и поддерживать огонь в печах. Ребята пробовали раскалывать спички на четыре части, но даже английские спички кололись всего лишь на две части, советские же, из города Кирова, вовсе ломались. Бедные, бедные народы западных областей Украины. Как же вы ликовали, шапки мохнатые в воздух подбрасывали, когда вас освободили и подсоединили к сияющей от счастья советской стране, где черная тарелка на промерзлой детдомовской стене, над всеми переселенческими бараками каждое утро задорными голосами изве-

шала: «На свете есть страна такая, где нет ни рабства, ни оков, над ней, весь мир лучами озаряя, горит звезда большевиков».

Первые колебания в сердце Коляши произошли, как только углубился он с войском на Украину, в земли ее, воистину тучные и родовитые. На Сумщине в беленых хатах земляной пол, скамья, прилепленная к стене, голый стол, скрыня, стало быть, ящик пузатый, иконка или портрет вождя в переднем углу, увенчанный холщовым, древним рушником, и неперемнная всюду медная кварта — половина медной артиллерийской гильзы с запаянной дыркой пистона на дне и с припаянной железной ручкой, часто из черной проволоки. За хатой захудалый садочек, кем-то обглоданный, два-три глиняных глечика на сгнивших палках тына да кринка с отбитым краем. И забитость, страшная забитость нуждой и страхом униженных людей, чисто и виновато улыбающихся. Двести-триста километров прошли — все то же, все то же. Покраше и побогаче сделалось в гоголевских местах — Опишне, Катильве, Миргороде, затем снова бедная опрятность и приниженность. Но местами и опрятность уступала заброшенности, сиротству, какому-то беспросветному опущению земли и душ человеческих — махнули рукой на себя украинцы, грабленные и битые советами, окончательно ограбленные и почти добитые оккупантами.

Но ближе к границе пошли земли ухоженной, люди и селяне бодрей, вдоль старой границы и богатенькие даже. «Агитпункт!» — вспомнил анекдот Коляша. Это значит, когда Иван — ударник труда на небо попал, ему за одними воротами показали накрытые столы, с вином, с закусью, пляшущих голых девок, изнемогающих в истоме, музыка, цветы. У других же ворот сплошь часовые да во всю стену надпись: «Предъяви документы!» Дурак, что ли, Иван-то, не видит, что ли, где лучше. Выбрал, конечно, то помещение, то место, где бабы и вино. Но только вошел туда — его цап-царап и под темные своды уволокли да голым-то задом на раскаленную сковороду. Иван орет: «И здесь об...ка!» А ему вежливо: «То был агитпункт».

В Подкобылинцы они въехали еще засветло и устремились к правлению колхоза, но в глухом переулке, высоко выложенном обомшелым камнем и поверху поросшем терновником, стояла женщина, раскинув руки. Машина остановилась. Женщина бросилась к капитану, панически выдыхая:

— Уезжайте! Немедленно уезжайте! Там, — показывала она за село, в сады, — там живьем сожгли подполковника с сержантом. Самостийщики напились и спят, но вечером пойдут по селу — резать и убивать активистов. Я ухожу, сейчас же ухожу. Я учительница здешняя, — догадалась она пояснить на ходу. — Подполковник ездил ко мне, мы собирались пожениться... Может, вы их похороните, а?..

Женщина выглядела полубезумной, старой, может, из-за черной шали, накинутой на голову, на самом же деле ей было чуть за двадцать, но яркая, вроде бы чужая, седина прочеркнула надо лбом ее каштановые волосы. Приказав шоферу тихо и медленно следовать за ним, капитан Ермолаев с пистолетом в руке шел за учительницей. Она, словно бы по горячему-горячему ступая, мелко перебирала ногами: «Скорее! Скорее!»

— Перебьют же нас, перебью-у-ут! — скулил шофер, высунувшись из кабины. — Уезжать надо, уезжа-а-ать!..

Подполковника и его ординарца прихватили проволокой к бамперу «виллиса», выпустили из бака бензин и бросили спичку. Под осевшей на диски машиной еще курилась земля, обгорелые до головешек, скрюченные огнем, люди скалились белыми зубами в какой-то дурашливой и одновременно сатанинской усмешке.

Головешки людей забросили в кузов и по дороге, идущей вдоль леса, рванули из села Подкобылинцы. Не попадись на их пути еще одна вскипевшая речка, так бы под укрытием леса и ушли или дождались ночи.

Но пришлось искать мостик. Как только из полей и кустарников машина выскочила на бугорок, к виднеющемуся в ложбине мостику, сложенному на разъезженных, щепьем сорванных бревешек, от полуразваленной среди поля скирды соломы ударил пулемет.

Солдаты сыпанулись из кузова. Капитан Ермолаев с шофером залегли по другую сторону машины, за колесо. Пулемет больше не стрелял. Солдаты пояснили: бендеровец боится, дымок из пулемета виден, да и скирда заметна — теперь он будет ждать, когда из села к нему на подмогу приедут или прибегут братья.

— Счас, ребята, главное в ложбинку, к мостику спуститься, главное, машину не дать поджечь, там мы этого стрелка заткнем, за-аткне-о-о-ом... — спокойно, деловито сказал капитан: — По местам! Оружие к бою.

Но как только солдаты высунулись, от скирды снова

ударил пулемет. На этот раз угодил по кузову машины, вышиб щепки.

— Нич-чего-о, орлы, ничего-о, бывало хуже. А ну-ка, ты, герой, пулемет из кабины сюда, ко мне.

И тут обнаружилось, что шофер, герой этот из конвойного полка, пребывает в невменяемом состоянии. Он рыл ногтями землю за колесом машины, вышлепывая мокрыми, грязными губами: «С-споди сусе, с-поди сусе!..»

Капитан Ермолаев глубоко втянул ноздрями воздух и потрясенно произнес:

— Да он же обосрался! — словно не веря себе, еще раз втянул воздух и совсем сраженно молвил: — В самом деле! А-ах ты, с-сука! Ах ты, тыловая крыса! — взревел капитан Ермолаев и принялся долбить пистолетом паникера по башке, и забил бы он его до смерти, солдаты не дали. — Счас же, счас же в кабину, гад! Счас же!

Шофер не понимал командира, смотрел глазами, какие бывают при столбняке, не слышал, не воспринимал слов, кровь текла по лбу, по вискам шофера, но он ни боли, ни крови не чуял.

— Р-ребя-а-ата! — простонал капитан, — мы же пропадем, если машину в ложок не спустим. Пропаде-о-ом! Я тя... Я тя, мразь, добыю!..

— Капитан, капитан! — очурал капитана Коляша Халин, перехватывая руку с пистолетом. — Давайте я попробую.

— Ты, ты можешь?! — воззрился на него капитан Ермолаев. — Ты, ты... — он не мог ни чувств своих, ни мыслей выразить, да и соображал от испепеляющего его гнева худо.

— Тело доведу, за душу не ручаюсь.

Коляша приказал сотоварищам двигаться за укрытием машины, сам же ползком забрался в кабину, лежа на спине, снял с крючка и выбросил воякам пулемет, сказав, что, когда «схватит мотор», шуранули чтоб очередью в скирду.

— Я сам! Я сам! Я был пулеметчиком, — торопливо откликнулся капитан.

Мотор, как в Бердичеве, на кожкомбинате, завелся от стартера с первого же прикосновения. Коляша отжал педаль сцепления и попробовал включить скорость. И, слава Богу, сразу же попал в канавку второй скорости и деликатнейше, осторожней осторожного, чтоб не заглохло, начал опускать педаль и со счастьем в сердце, какого не

знавать ему больше, почувствовал, что машина сдвинулась с места, набирая разбег, пошла под уклон. Мостик был горбат, Коляша, боясь промазать, вырулил машину на середину его. На мостике машина заглохла, укрощено сползла назад и замерла.

Капитан, волоча в одной руке сочащийся дымом из рожка пулемет, другой волок и пинал извоженного в крови и в грязи шофера.

— Все, что я мог, совершил. В гору мне уже не выехать, — сказал Коляша, — класс не тот. Дальше ехать ему, — кивнул он на шофера, — распорядись, командир.

— Прежде всего надо заняться пулеметом. Я не подавил его. Он нас отсюда не выпустит. Что «дегтярь» против фрицевского эмка? Там пятьсот патронов, тут сорок восемь. Значит, так, солдат. Николаем, вроде бы, тебя зовут? Ты эту падлу перевяжи и вели ему из штанов вытряхнуть. Ты, солдат, умеешь управляться с этой штукой? — тряхнул он «дегтяревым». — Значит, на высотку с пулеметом и диском, с последним диском. О-о, мордороты! О-о, твари! Как они в тылу-то разбаловались — два диска к пулемету. Пали экономно. Отвлекай. Мы вдвоем в обход. Судя по стрельбе, в скирде сидит зеленый или пьяный самостийщик, помощь к нему не торопится...

Вояка в скирде и в самом деле оказался неопытным.

— Совсем парнишка, — мрачно буркнул возвратившийся капитан, забрасывая в кузов машины немецкий пулемет. — Отцы — тоже молодцы: напильсь и по хохлушкам разбрелись, мокрогубого хлюпика в дозор...

Машина не заводилась. Капитан Ермолаев сказал шоферу, что добьет его, бздун, приставил пистолет к замотанной белой тряпкой голове шофера. Машина тут же завелась.

В связи с этим Коляша вспомнил, что во время боевых действий в их бригаде не было случая, чтоб мотор у кого забарахлил, зажигание прервалось, горючее засорилось, — как швейцарские часы, работали не только иностранные, но и отечественные машины, ко многим «ЗИ-Сам» и «газушкам» шофера своими силами прикрепили вторую ось, аккумуляторы где-то усиленные добывали и подсоединяли, чтоб отечественная машина заводилась, как иностранная, и не отставала от колонны, особенно в период драпа. Случалось выдергивать орудия из-под огня, шпарить во всю мощь под бомбежками и при безвыход-

ном положении врубить свет во все фары, случалось, и стреляли немцы по свету-то, разбивали фары, подбивали и зажигали машины, убивали водителей. Война. Тут уж кто кого. И всегда со смехом, качая головой: «Во, дураки были!» — вспоминала шоферня, как ехала, трюхала бригада, да и вся дивизия из Калуги на Оку. Про лихого водителя Коляшу Хахалина сочинены были целые былины и легенды, так что, когда случалось герою слышать всю быль и небыль о себе, он, и сам большой вральман и выдумщик, от души смеялся вместе с народом, да еще и добавлял юмору в рассказ, потешая народ, пел под гармошку достопамятные детдомовские свои сочинения: «Вот мчится тройка, оди-ин ло-о-ошадь, не по дор-роге, по столбам, а колоко-о-о-ольчик оторвался — звени дуга, как хочешь сам...»

Встали на колени вдоль бортов, взвели оружие. Капитан Ермолаев тоже залез в кузов, положив на борт трофейный пулемет, опустил на солому две гранаты, добытые у скирды.

— Вонь от этой гниды ну невозможная! Во-о, герой! Во-о, тварь!.. Трупы нечем прикрыть? Хоть соломой прикиньте...

Шофер все еще был не в себе. Машина шла, виляя, чуть не свалилась с мостика.

— Добью я тебя, добью засранца! — стучал пистолетом в кабину капитан.

Поняв, наконец, что гибельное село Подкобылинцы осталось позади, что в городе ему спасенье, шофер погнал машину, не щадя ни живых, ни мертвых. Прошмыгнули поля, перелески, пригородные сады, в город ворвались, на всех парах влетели в ворота конвойного полка, и машина замерла в изнеможении среди двора. В кузове, тошновато-сладко припахивая горелым мясом, разбросанно валялись в сбитой соломе трупы, у которых от тряски и подбросов на ухабах да в рытвинах поотламывались черные руки, раскрошились пальцы на ногах.

— Ну, что ж, — уже спокойно, почти задумчиво произнес капитан Ермолаев, — пойду докладываться... Подполковник-то ведь был начальником штаба этого distinguished полка. Он и надыбал подвалы с картошкой в Подкобылинцах... Идите в казармы. Помойтесь. Поспите, если сможете. Пока, — и каждому из нечаянных спутников пожал руку.

Шофер из машины не показывался.



— Застеснялся, — усмехнулся капитан Ермолаев. — Застенчивый какой!

Спустя неделю Коляша Хахалин сыскал в офицерском общежитии капитана Ермолаева, сказал, что рана у него сочится, попросил помочь ему уйти в госпиталь. Капитан пообещал похлопотать за солдата, сказав, что и сам при первом удобном случае уберется с этого поганого места, с этой, пусть и не по своей воле, по-черному развовавшейся стороны.

Капитан не сказал солдатам, но они скоро узнали, что у начальника штаба конвойного полка была военная жена, ребенок, и голову он морочил учительнице насчет женитьбы — вот Бог его и наказал: нельзя врать и грешить в огне — за это кара особая.

Капитан Ермолаев вошел ли с просьбой в высокие военные органы-сферы, само ли командование конвойного полка, наседавших с нестроевиками, погружаясь на дно от балласта, перегрузившего этот, совсем не плавающий, давно подгнивший корабль, начало разгрузку, ведь полк укомплектован, жрет хлеб и картошку, но работать, значит, заниматься выселением западноукраинского населения и конвоированием его в далекие края некому. Хитрованы из разных сворачивающихся частей и военных служб, не зная, куда девать увечных вояк, рассовывали их по тыловым частям — до приказа о демобилизации. Если в конвойных ротах по три видящих глаза на двоих, по четыре действующих руки и здоровых ноги на троих и дело до припадочных дошло — окружай этой грозной силой, выгоняй из лесов народ, воюй, погружай в эшелоны. Доходяги-то к тому же долг свой воинский считали перед родиной выполненным. Всячески уклоняются от поганого дела, не желают в себе возбудить праведный гнев против самостийного отребья, норовят к переселенцам, в окраинные поселки смыться, пьянствуют там, в контакт с подозрительными лицами вступают, нередко в половой. Из-за Гапки Коляшу Хахалина разочка два уж волочили в какой-то отдел — на беседу. Намекают, да и сам он вскорости догадался: Гапка, пролаза, оставлена для надзора за своей хаткой и хозяйством, не исключено, что и связной является у лесных братьев — уж больно шустрит вокруг конвойного полка, иногда и проникает в него. Результат — двинут военную силу «на операцию», окружат

село, но в нем никого нету — ни людей, ни скота, ни живота: кем-то предупрежденные селяне уходили в леса.

Одним словом, в конвойный полк нагрянула представительная медкомиссия и добраковала тех вояк, которых, борясь за положительный процент восстановления, отсылали в строй, часто и в боевые ряды. Сбыли из госпиталей семьдесят процентов, — отчитываясь за свои гуманные, праведные дела, похвалялись впоследствии медицинские военные воротилы, — сбыли с сочащимися, как у Коляши Хахалина, ранами, нередко после трех и даже четырех ранений. Бог трижды и четырежды пощадил человека, но передовая медицина, борющаяся за процент, сильнее, беспощадней, неумолимей Бога.

Гришу из Грицева отправили-таки домой, немало симулянтов, как именовали в полку нестроевиков, признали годными к конвойной, безобидно-легкой службе, и этихто, войной надшибленных вояк, оберегая свои шкуры, заправили конвойного полка станут бросать на самые опасные операции. Недобитые, калеченные нестроевики погибнут уже после войны, в ковельских и других украинских лесах, ведь до пятидесятих годов растянется здешняя от всех своих, братских, и чужих, небратских, народов скрываема война. Совсем ли она утихла — никто и по сей день сказать не может.

В результате перемен в судьбе Коляша Хахалин с Жоркой-моряком крепко покружились по Украине, пока не попали в город Львов. Коляшу уже заносило военным ветром во время наступления во Львов, и тогда и ныне он ему казался холодно-плесневелым, мрачным, равнодушным городом — не то от вековой усталости и неволи, не то от скрытой окаменелой надменности. Собранный с миру по камешку и черепичке, он был и мадьярским, и еврейским, и польским, и украинским, еще и чешским городом, составленным из многих стареньких, зябких городов, невесть откуда и зачем сбежавшихся вместе, невесть какой народ и какую нацию приютивший.

Коляша с Жоркой-моряком угодили в многолюдный загон, охваченный забором и колючей проволокой в три ряда, с вышками по углам, на которых дежурили самые настоящие охранники, с самым настоящим оружием. В загоне было три барака, без нар, с прорванными толевыми крышами, с пошатнувшимся в отдалении сортиром без

дверей, возле которого все время томилась очередь, с медпунктом, из которого было украдено все, что только можно украсть.

В медпункте, выгнав фельдшерицу, на двух топчанах спали какие-то блатные паханы, бежавшие с фронта, из лагерей ли. Бендеровщина, урки, бродяги, ворье — всякая нечисть, собранная на вокзалах и в подвалах, — украинцы, поляки, русские, мадьяры, румыны и еще какие-то нации — такое вот население сгребли в загон. Маленькая полупьяная комиссия из военных представителей неторопливо сортировала этот сброд: кого обратно в армию, чаще в штрафбат, кого на работы, кого в тюрьму, кого в госпиталь, кого в больницу, кого в гарнизон — дослуживать, реденько-реденько — до дому, до хаты снаряжали вовсе дошедшего человека, чтоб он помирал в родном месте.

У Коляши и Жорки-морьяка отобраны были только направления «в распоряжение львовской комендатуры», откуда их, не говоря лишних слов и не разбираясь, кто они и откуда, под конвоем сопровождали в загон, под конвоем же водили два раза в день в столовую — поесть горячего. Нечего сказать, удружил им капитан Ермолаев!

Пока не простудились, пока не подцепили дизентерию или еще какую заразу, пока вовсе не обовшивели, решили Коляша с Жоркой-морьяком покинуть загон.

Все было задумано и сделано в расчете на хохлацкую тупость — вокруг загона дощатый забор, увенчанный колючкой, и одни ворота, состоящие из двух створок, при входе и выходе строя с территории загона ворота распахивались настежь. Возвращаясь из столовой в конце неровного, шаткого строя, Коляша встал за одну створку двери, Жорка-морьяк за другую. Пухломордый хлопек с винтовкою, пропустив строй, выглянул за ворота и: «Нэма никого?» — спросил или заключил он и, взявшись за скобы, со скрипом закрыл ворота, да еще и закрычил их изнутри.

Жорка-морьяк пошел влево, Коляша Хахалин — вправо. Сделав небольшой круг, друзья сошлись в мрачном переулке и подались на станцию, где, миновав военные составы и кордоны, забрались в глубь длинной ржавой турбины, погруженной на двух платформах, везомой из Германии в качестве трофея.

И покатили солдат с морьяком вперед, теперь уже на восток. Две пайки хлеба, упрятанные в столовой, фляга

воды, там же налитая, дали им возможность продержаться почти сутки, и отъехали они изрядно от постылого города Львова. Но необходимость делать хоть изредка разного рода отправления выжила беглецов из турбины на узловой станции.

На станции той с почти революционным названием — Красная — стоял эшелон с моряками Дунайской флотилии. Моряки продолжали довольно бурно праздновать День Победы, пропивая прихваченное за границей имущество. Они побили и рассеяли станционную маломощную комендатуру, овладели пристанционным ларьком и вокзальным буфетом. Боевые моряки уже давненько стояли на запасном пути, так как приказом из военного округа эшелон подвергся аресту, и какая ждала его участь, никто не знал и об дальнейшей своей судьбе не задумывался.

Жорка-моряк быстро сошелся с корешами, попил, побеседовал, даже сплясал «яблочко». Из ворохом сваленных на путях и на перроне заграничных чемоданов, узлов и мешков выбрал сподручный чемоданчик с жестяными угольниками и сказал, что надо отсюда нарезать скорее, так как из Львова, сказывали железнодорожники, движется комендантский отряд, и тут будет бой — моряки-то двигаются на восток с оружием. Беглецы-доходяги удалились от мятежного эшелона и стали ждать проходящий поезд. Поезда по Красной шли без остановок, лишь сбавляя ход, этого бравому моряку Балтфлота и солдату, многожды бегавшему по фронту то за врагом, то от врага, вполне достаточно, чтобы сигануть на подножку двухосного вагона. Солдат Хахалин хром все же и завис на подножке, но боевой товарищ, как ему и положено, не оставил напарника в беде, за шкирку втащил негрузное тело напарника наверх. Обнаружилось — вагон гружен коксом и на коксе густо народишку, едущего все больше из заграничных земель, заявляют дружно, что из плена возвращаются. Заморенный, напуганный, малоразговорчивый народ, на мародеров и дезертиров мало похож. Напугавшись поначалу военных, народ, большей частью бабенки, вступили с ребятами в разговоры, расспрашивали, что и как сейчас в России, плакали, рассказывая о мытарствах своих и муках на чужбине. Так вот, союзно, в пыльных коксовых ямках, без особых помех, доехали до станции Волочиск, старая наша граница, проверочное здесь оказалось чистилище.

— Пр-р-раве-ерочка! — раздалось снаружи, из темно-

ты. — Выходи из вагонов! Вылазь из затырок. Все одно найде-ом!

Стеная, ругаясь, дрожа от страха, разноплеменный люд, роняя и рассыпая барахло, вылазил из эшелона. Кто не отвык еще от немецкой дисциплины, тот положил манатки к ногам, кто взрос при советах и не забыл еще про это, сыпанул врассыпную, подлезая под вагоны, устремлялся вдаль, на волю. Засвистели, забежали военные, где-то у выходных стрелок харкнула огнем винтовка. Одни военные трясли ремки и проверяли документы у тех, кто добровольно подверг себя осмотру, другие военные, большей частью нестроевики, обшаривали вагоны. Наткнувшись на беглецов, уютно разлегшихся на коксе, сержант, сопровождаемый двумя автоматчиками, поинтересовался, кто такие?

— Не видишь, что ли?

Шевеля губами, сержант читал госпитальные документы, справки, листал красноармейские книжки. Наткнувшись на слова: «Последствия контузии, выражающиеся в приступах эпилепсии, остеомиелит», — и думая, что писано про какую-то заразу, сержант опасливо начал озираться, искать пути отступления.

— Это чё такое?

— Припадочные мы.

— Н-но! — и сержант закричал с видимым облегчением, высунувшись из вагона: — Товарищ лейтенант! Тут госпитальники, припадочные, эпилепсия написано. Да к чё, забирать?

— Только припадочных нам не хватало!

Далее они ехали медленно, свободно, отдыхаячи. В трофейном чемоданчике оказался ровнехонько сложенный кусок шелка в милых синеньких назабудочках. Жорка-моряк сбыл его грабителям-перекупщикам на какой-то станции за пять тысяч рублей. Купили хлеба, сала, вареных картох, черешню и целую аптечную бутылку слабенького сливового вина, заменявшего беглецам воду и чай. Они даже умылись сливовым вином. Денег оставалось еще много, более трех тысяч. Друзья чувствовали себя панями и по-пански устроились в кабине трактора, на эшелон, груженный исключительно дорожной и сельскохозяйственной техникой, — охранник пустил на платформу-то — помогали госпитальные бумаги, в которых слово «эпилепсия» да и кривая нога Коляши действовали на проверяющих неотразимо. Охранник с платформы даже

и вином не польстился, сказав, что этакую коровью мочу не потребляет. В какой-то кабине у него был затаен целый ящик заграничной самогонки под названием «виски» и, несмотря, что крепости она оглушительной, солдат пил ее кружкой, заедая консервой и фруктами. Ребята для приличия поддержали компанию, но Жорка-моряк побрякал себя кулаком по голове — не выдерживает, мол, контуженая голова этакого изысканного напитка.

Жора звал Коляшу ехать в Горьковскую область, в большое село на Волге, где есть эмтээс, маленькая пимокатная фабрика, пристань, два колхоза — без работы не останутся.

— Нет, Жора, — со стесненным сердцем выдохнул Коляша, — сам себе я сделался в тягость, не хочу больше никого загружать собой. Ты в случае чего в припадок грохнешься, мне с кривой ногой быть в беззаконии. Я где-нибудь в пересылке, в нестройной ли части залягу, и ничем уж меня оттудова не поднять будет до демобилизации. Я устал, Жора. От войны устал. От военных морд. Рана моя загрязнилась, сочится, кость, видать, гниет.

Рейд по Украине подходил к концу — печальный разговор завершал его. Приближалась станция Винница. Коляша решил сдать себя властям.

— Скажи, Коляша, это ты добился, чтоб капитан нас вытурил?

— Я, Жора, я. Не хотел поганиться сам, не хотел, чтоб и ты испоганился в той червивой помойке.

— Да-а, уж из помоек помойка. Я сперва недоумевал: воротятся из конвоя храбрые вояки, в столовую не ходят, держатся шайками и все чего-то шушукаются, прячут, шмыгают по базару. Потом усек...

— Они, Жора, уже знают, с каким офицером надо идти в поход и поживиться. А бабы! Бабы — стервы! В чужое тряпье вырядились, чужое золото понацепляли. Это сколько же они лихоимства и заразы в Россию понавезут?

Подразделения военных молодцов, вооруженных до зубов, пустив впереди броневики, где и до танков дело доходило, оцепляли десяток деревень, «зараженных» бендеровщиной, в ночи сгоняли население в приготовленные эшелоны, да так скороспешно, что селяне зачастую и взять с собою ничего не успевали. Если при этом возникала стрельба — села попросту поджигали со всех концов и с диким ревом, как скот, сгоняли детей, женщин, стариков,

иногда и мужиков на дороги, там их погружали в машины, на подводы и свозили к станции, чаще — к малоприметному полустанку. Погрузив в вагоны, первое время везли людей безо всяких остановок, при этом истинные бендеровцы отсиживались в лесах, их вожди и предводители — в европейских, даже в заморских городах. Во все времена, везде и всюду, от возбуждения и бунта больше всех страдали и поныне страдают ни в чем не повинные люди, в первую голову крестьяне.

— Ты знаешь, Жора, насмотревшись на этих паскудников, я поблагодарил судьбу за то, что она не позволила мне дойти до Германии. Представляешь, как там торжествует сейчас праведный гнев? Я такой же, как все, пил бы вино, попробовал бы немку, чего и спер, чего, глядишь, и отобрал бы.

— Ох, Коляша! Чтобы испоганиться, как ты видел, неча и за кордон ходить, — и после долгого молчания еще произнес Жора: — Пропадешь ты, однако. Зачем одному человеку столько ума, таланту, доброго сердца, да еще и совести в довесок?..

— Половину ума и памяти мне, Жора, отшибло еще на Днепре, так что осталось в аккурат. Кроме того, мне от детдома досталось хорошее наследство — умение придуриваться, и ты придурь мою за ум принял.

На станции Винница моряк Жора все порывался отдать Коляше деньги — домой, мол, еду, зачем они мне. Взяв три сотни — на первый случай, Коляша обнял друга и, чувствуя, как у того заприплясывали губы, начал кособочиться, корежиться Жорка-моряк, похлопал по его худалой от приступов спине.

— Ну-ну, без дури у меня! Пить перестанешь — припадки пройдут. Заведешь бабу, кучу детей натворишь еще...

— Дак не давай жизнешке себя в угол загнать.

— Не дам, не дам!

Глазом опытного скитальца Коляша определил, где река, пошел к ней, перебрел на зеленый уютный остров среди города Винницы — на реке Буг было не перечесть их, развел костер, вымылся в речке с мылом, постирал белье-аммуницию.

Вечером к костру из тьмы мироздания выбрела любопытная утка, да такая жирная, что тендер у нее волочился по траве. Она сказала: «Кряк-кряк», — дескать, созрела я, готов ли вот ты, солдатик, попользоваться мной?.. Коляша поймал утку, свернул ей покорную шею, ощипал и зажа-

рил птицу в углях, да съел тут же половину. На другой день, дождавшись, когда подсохнет одежда, поскреб трофейным лезвием, вставленным в расщепленный сучок, усы, бороду, пришил подворотничок к гимнастерке, медали надраил, подвинул орден Красной Звезды и неторопливо отправился искать комендатуру.

Коляша топал по уютным, почти не тронутым войною улицам города Винницы, где совсем недавно бывал Гитлер, хотел увидеть что-либо, оставшееся от фюрера, но ни одной приметы, даже вони его нигде не ощущалось — такова, видать, судьба всех пришельцев — земля сама, вроде бы, с потаенной стыдливостью отторгает и стирает их следы.

В комендатуре было таклюдно, дымно и шумно, что Коляша поначалу ничего не мог разобрать: где власть, где посетители и, чтобы как-то вжиться в обстановку, оглядеться и сориентироваться, сел в угол на прибитую к стене скамейку.

На откидной барьер, сделанный наподобие сельмагов или почты, навалилась военная публика. У каждого военного горсть документов, у каждого неотложное дело, необходимые просьбы и всякая докука. Лейтенант с орденскими колодками и с планками о ранениях, потный, взъерошенный и выветренный, что прошлогодняя еловая шишка, что-то у кого-то брал, смотрел, читал, передавал документы старшему сержанту, заносившему какие-то данные в журнал, но чаще возвращал бумаги, отстраненно бросал: «Ждите!», на минуту прислонялся спиной к давно не топленной голландке с сорванной дверцей, призывал издалека безразлично и монотонно: «Не торопитесь. Успеете на тот свет. В очередь, в очередь!..»

Чувствовалась напряженность, даже внутренняя перекаленность и страшная зоркость этого человека. Вот лейтенант зацепил взглядом в толпе мордатого сержанта в комсоставовском обмундировании, с узкой портупеей через плечо, с медалью «За боевые заслуги» и значком какого-то года эркака. Сминая публику, будто использованные сортирные бумажки, сержант устремлялся к барьеру, пер на власти. Лейтенант отбросил себя от голландки, принялся смотреть, читать, проверять бумаги, отдавать их на регистрацию или возвращать, роняя: «Подождите. Минутку терпения». На сержанта, оседлавшего



барьер, почти перелезшего через преграду, лейтенант не обращал никакого внимания. Выбирая из протянутых рук, будто на митинге солидарности или протеста, листовки и прошения, он как бы ненароком обходил кулак сержанта, словно брюквенную садовку в огороде, к еде не пригодную, — с нее только семя, да и то не скоро.

— Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант! — уже в самый нос лейтенанту тыкался кулак с зажатыми в нем бумагами.

— Ты куда прешь, морда?! — отстраняя кулак, сталкивая сержанта с барьера, рывкнул лейтенант. — Тебе здесь базар?! Барахолка?!

Сержант осел, стушевался, впал в растерянность. Публика, усмехаясь, смотрела на него — что, выкушал?! Тут, брат, власть, военный порядок! Молчаливой солидарностью, негласным союзом с властью и отчуждением от повергнутого просителя каждый клиент надеялся на снисхождение к себе.

Но сержант был не из таковых, быстро пришел в себя после сокрушения и застучал кулаком по медали так, что она затрепыхалась и жалобно зазвякала о пряжку на портуpee.

— Не имеешь права орать! Я кровь проливал!..

— А я чё? Сопли?

— Кто ты знает, вон ряшку-то отъел!..

Лейтенант с усмешкой глянул на него и, дивясь явной глупости человека, чуть подзадрал рыло, повертел головой слева направо, сравните, дескать, дорогие товарищи! Публика еще больше осмелела, еще плотнее солидаризировалась с властью, начала оттеснять сержанта от барьера, став стеной между властью и страждущим, отставшим от эшелонов, задержанным на вокзалах и улицах без увольнительных, кто и без документов, несомый качаемым послевоенным беспокойством, бескрайним морем народа. И Коляшу Хахалина вот дернул черт высадиться на землю с многолюдного корабля. Ехать бы вместе с Жоркой-моряком до дому. Ухнет его этот горлопан-дежурный в какую-нибудь яму вроде львовской пересылки или ровенского конвойного полка...

— Ты видишь, в углу солдат сидит?

Коляша не сразу уразумел, что речь идет о нем. Уяснив, наконец, что слова лейтенанта направлены в его адрес, вскочил, дал выправку, на какую был еще способен. Медали на груди звякнули и разом замерли.

— Орел! — восхитился лейтенант. Коляша ел его глазами. — Час сидит, другой сидит! И ни мур-мур. А почему сидит? Да потому, что фронтовик, страдалец, окопник доподлинный! Вон у него нога кривая — всю красоту парню испортила, здоровье усугубила... А он сидит, череду ждет. Дай место фронтовику!..

И не только сержант, но и все вояки двумя стайками разлетелись на стороны. Коляша приблизился к барьеру, доставая из нагрудного кармана документы.

— Ладно. Потом! — милостиво придержал его руку в карманчике лейтенант и, не спрашивая, курит Коляша или нет, выщелкнул из пачки папиросу. — Отстал от эшелона? — как о чем-то само собою разумеющемся, молвил лейтенант.

Коляша засунул пальцем папиросу обратно, показывая на грудь — не до курения, мол.

— Отстал.

— Куда ехал?

— В Николаполь, — мгновенно соврал Коляша, заранее придумав, неизвестно почему и отчего пришедшее ему в голову название города, о котором ничего он никогда не слышал, никогда в нем не бывал.

— В Николаполь?! — назидательно поднял палец дежурный. — Никель копать. На тяжелую работу, после ранений... А вот сидит, ждет. А ты, морда! — по-новой начал вскипать дежурный, отыскивая глазами сержанта. Но тот схоронился в массах. — Я тя все одно найду! Из-под земли выкопаю!.. Я узнаю, где ты взял медаль, сапоги и по какому праву носишь комсоставскую амуницию, — тут он вдруг позвонил в школьный звонок и, когда вошел постовой с автоматом, будто сгребая пешки с доски, приказал: — А ну, всю эту шушеру на губу! А того мордоворота... Где он? Его в подвал! А ты, солдат, как тебя звать-то? Николай. Хорошее имя! А я вот Николаич буду. Да-а, Виктор Николаевич. Победитель, значит. Да вот устал победитель-то...

Лейтенант завел Коляшу в столовку комендатуры, где им было выдано по тарелке супу с раскисшей уже вермишелью, отдающей жестью, и пшенная каша с маслом. Побродив в супе ложкой и не притронувшись к каше, лейтенант залпом, как водку, выпил компот и, выбирая ложкой из стакана фрукты, сказал, мол, коли еще охота каши, можно его порцию есть или попросить добавки.

— Ты мне поглянулся. Если хочешь, то можно до де-

мобилизации остаться у нас. Служба, правда, собачья. Грязь, кровь, нервы наизусть, но демобилизация вот-вот... Словом, подумай. Переспишь в нашей общежитке — один наш парень на три дня домой отпущен. Похороны. Погулять, побродить захочешь — скажи часовому, я велел. Танцплощадка близко, хотя какой из тебя танцор? Да и трипперу много. Наоставляли трофеев оккупанты. Годов двадцать вычищать чужую заразу, а у нас и своей... Ну, отсыпайся. Завидую! Я на фронте сначала взводным был, затем ротным. Завидовал солдатам: лег, свернулся, встал, встряхнулся...

В общежитии Коляше показали на койку возле окна, чисто и аккуратно заправленную. В тряской, бесконечной дороге да и на острове Коляша вдосталь выспался, и спать ему не хотелось. На тумбочке лежала толстая книга «Кобзарь». Коляша отправился в ближайший скверик, мигом отыскал местечко потенистей, лег на траву, открыл страницу:

Рэвэ тай стогнэ Днипр широкий,  
Сэрдитый витэр завыва...

Ах ты, Днепр, Днепр! Тысячеверстная река и вечная теперь память и боль людская. Ох, и широк же Днепр! Особенно ночью. Осенней ночью. Темной, холодной, когда окажешься в воде среди людского, кипящего месива, под продырявленным фонарями небом, весь беззащитный, весь смерти открытый, и река совсем холодная и без берегов...

Рэвэ тай стогнэ Днипр широкий...

Он и стонал, и ревел тысячами ртов.

Внимание Коляши привлекли две девчущки в платьицах горошком и с маковыми лепестками-крылышками на плечиках вместо рукавов. Обе круглоглазые, тощенькие, с облезлой от солнца кожей, они играли в пятнашки, бегая вокруг скамьи, уставши, плюхались на скамейку, где лежали два пакетика с вишнями, церемонно одергивая платьишки на коленях, плевались косточками — кто дальше, целясь угодить в заплату поврежденного взрывом или гусеницей клена, и о чем-то все время перешептывались, стреляя в сторону солдата глазами. Он наблюдал, как они доставали из кульков за стерженьки ягоду, как губами срывали ее, катали во рту, и губы на испитых лицах девочек становились все более алыми от сока, худенькие их мордашки, казалось, тоже розовели.

По траве зашуршали сандалии и утихли подле него.

Коляша не слышал детских шагов, не видел девчушек с протянутыми к нему кулками. Он читал «Кобзаря» и никак не мог уйти дальше первой строчки: «Рэвэ тай стогнэ...»

— Дяденьку! А, дяденьку!

Вот Коляша уже и дяденькой стал! Сам не заметил, когда.

— Что, мои хорошие? Мои славные, что? — Коляша изо всех сил держался, чтоб не заплакать от умиления — дяденькой назвали!

— Покушайте вишен! — протянуты два пакетика, сделанные из старых, исписанных тетрадных листов, две пары глаз полны чистого к нему внимания и глубокого, еще не осознанного голубиными детскими душами сострадания, на которое женщина, видать, способна бывает сразу после рождения, может, даже до зачатия, еще растворенная в пространстве мироздания.

Неужели эти крошки уже ходят в школу? Нет, еще не ходят. Листики скорей всего вырваны из тетрадей старших братьев... а они... тоже там, на Днепре, ночью...

— Вишен? — Коляша приподнялся, сел на траву и, запустив щепотку в один пакетик, за стебелек вынул переспелую, почти черную, сморщенную вишенку.

— И у меня! И у меня! — заперевирала нетерпеливо ногами вторая девочка.

Коляша и из второго пакетика вынул вишенку, со смаком прищелкнул губами, зажмурил глаза и долго их не открывал, показывая, какие замечательные, какие сладкие у девочек вишни. Девочки понимали, что дядя маленько подыгрывает, веселит их, захлопали ладошками по коленкам.

— Вы сестрички, — уверенно сказал Коляша, — и одну зовут Анютой, а вторую?

— Галю! — подхватила Анюта и нахмурилась настороженно: как это дядя узнал ее имя? — А-а! — обрадовалась Анюта, — мы гралы близэнько, вы почулы! Вы — разведчик?

— Был и разведчиком, дивчины мои славные! Спросите, кем я не был.

— А у нас тату нимцы... убивалы людын дужэ...

— Давайте лучше вишни доедать, дивчинки.

— Давайте, давайте! Мы ще прынэсэмо! У нас богато вишен, вот хлиба нэмае. Мамо стирае бойцам, воны тро-

хи каши дают та супу, цукру раз давалы, бильй-бильй цукор!

Что бы подарить девчушкам? Ничего у солдата-бродяги нету: ни безделушки, ни сахарку, ну ничего-ничего. Он притянул девчушек к себе и поочередно поцеловал их в кисленькие от вишневого сока щеки — и они, дети несчастного времени, почували, что ли, его неприкаянность, обхватили худенькими руками за шею, прижали изо всех сил к себе и разом зашептали на уши солдату, будто молитву, заговор ли, со взрослым, страстным чувством:

— Нэ надо грустить, дяденьку! Нэ надо. Вийна-то скинчилась... Скинчилась...

Милые девочки из далекой Винницы! Почему-то хочется верить, и Коляша верит до сих пор, что судьба у них была такой же светлой и доброй, какими сами они были в голодном послевоенном детстве. В одном пакетике еще оставались вишни, Коляша давил их во рту, обсасывал косточки, бережно нажимая языком на каждую ягодку, чтоб надольше хватило ему вишен, чтобы продлилось в его сердце то ощущение родства со всеми живыми людьми, которым одарили его маленькие девочки.

За обмелевшим, заваленным военной и невоенной рухлядью прудом, среди которого упрямо желтели кувшинки и над которыми величаво и нежно клонились плакучие ивы, ударила музыка — духовой оркестр. Сразу сжалось что-то внутри, томительно засосало сердце Коляши. Не умеющий танцевать даже гопака, он пошел на голос вальса, название которого знал еще по детдомовской пластинке — «Вальс цветов». Но всегда мелодия вальса была для него неожиданной, всегда слезливо размягчала сердце. Танцы происходили в загородке, аккуратно излаженной немецкими саперами из тонкой, но крепкой клетчатой проволоки. Взявшись за проволоку, парнишки, инвалиды из госпиталей — и Коляша вместе с ними — глядели не отрываясь, как кружатся пары в проволочном квадрате, в углах поросшем травой, в середине же выбитом до стеклянистой тверди.

С мужской стороны танцевали все больше военные, и все больше хлыщи какие-то, узкопогонники, но местами и нестроевик кособочился, пытаясь скрыть хромоту, старательно поворачиваясь к партнерше той стороной лица, которая не изодрана, не сожжена, не дергается от контузии. Светится, целится глаз героя, намекающий на тай-

ность, влекущий куда-то взор ввечеру разгорается все шибче и алчней.

В комендатуре Коляшу, оказывается, ждали. Еще днем, когда дежурный лейтенант бушевал за барьером, от патрулей поступило несколько сообщений: «С проходящего эшелона орлы взяли самогонку у базарной тетки, но деньги отдать забыли». С другого проходящего эшелона какие-то одичавшие бойцы или штрафники-громилы пытались подломить ларек и склад в ресторане. «Небось, орлы Дунайской флотилии продолжают свой освободительный поход». Эшелон задержан, «представители» его заперты под замок. «На базаре при облаве учинен погром, была стрельба, удалось взять несколько бендеровцев и подозрительных лиц без документов». Но все это дела текущие и текущие, все это поддается контролю, все усмирено и утишено. А вот как быть со старшиной Прокидько? Он, как приехал, ни одного еще дня трезвый не был, изрубил все домашнее имущество, чуть не засек топором жену свою, грозитя поджечь дом, истребить слободу Тюшки, испепелить всю Винницу. Пока же, примериваясь к гражданской жизни, он дал в глаз участковому милиционеру.

Лейтенант все это выслушал с покорным терпением, привычно прижимаясь спиной к нетопленной голландке. Когда патрули выгрузили новости, послушал еще, как на высшем нерве звучит возле комендатуры самогонщица: «Хвашисты грабили! Бендэра грабила! Червоноармийцы, буйёгомать, тэж граблют!» Не дослушав до конца выступление самогонщицы, лейтенант приказал прогнать ее из-под стен комендатуры. Если тетка торгует запрещенным товаром, то пусть хайло свое во всю мощь не разевает, пусть бдит — сейчас едет до дому самый-самый бедный и опытный воин — пятидесятилетнего возраста, нестроевик тучей прет на восстановительные работы — у этого народа на теле одни шрамы, осколки да пули, но за душой ничего не водится, он чего сопрет, то и съест, кого сгребет, того и дерет. Если эта тетка попадется еще раз и будет орать на весь город антисоветские лозунги — он ей такую бумагу нарисует, что она до самой Сибири ее читать будет...

— Что касается грабителей с эшелона и жертв базарной облавы, — всех передать военной прокуратуре — и

взятки с нас гладки. Они санитары страны, вот пусть и санитарят.

Простые, деловые и точные решения, как у Кутузова в сражении. Сложнее обстояло дело со старшиной Прокидько. Лейтенант знал о нем многое, но не все. Иезуитскими методами Прокидько добыл признание у своей жены, что она не соблюла верности во время военных лет, при оккупации. Сердце воина-гвардейца вскипело, гнев его беспощаден и конечно же праведен. Лейтенант думал, что старшина снялся с военного учета и ни с какого уже боку комендатуре не подлежит, так пусть себе бушует, поджигает эту сраную Винницу со всех сторон. За один подбитый глаз милиция ему, между прочим, подшибет оба да еще нечаянно три ребра поломает. Но, впад в неистовство, старшина Прокидько совершенно перестал ощущать реальность жизни, не считался с законами морали и военной дисциплины — нигде, ни на какие учеты он не вставал, никаких властей не признавал. Буйствует! «За Собиром сонце всходьть...» — поет, видать уже явственно видя эту самую Сибирь. В комендатуру явилась делегация из слободы Тюшки, просила оградить покой и жизнь громодян от совершенно распоясавшегося старшины Прокидько. Служивого народу в комендатуре никого не оказалось. Коляше выдали заряженный автомат и просили воздействовать братским авторитетом на старшину Прокидько или уж арестовать его и доставить в комендатуру.

Пехотный старшина Прокидько, поникнув головой, сидел спиной к двери на давно не мазанном полу, среди разгромленной и порубленной рухляди. Перед ним стоял глиняный жбан, мятая алюминиевая кружка да железный таз, наполненный вишнями, сливами, надкушенными яблоками, выплюнутыми косточками. По правую руку гвардейца покоилась тупая секира, спадывающая с неумело насаженного топорща. Коляша отодвинул секиру ногой и обошел Прокидько. В серой, дикой щетине, обросший больше по лицу, чем по голове, тоже уже заиндевелой с шеи и висков, с чугунно из-под глаза к носу и к уху растекающимся синяком, с тремя рядами развешанных орденов и медалей, среди которых золотоцветом горел гвардейский значок, Прокидько сидя спал и до активных действий по уничтожению родных Тюшков и города Винницы ему было гораздо дальше, чем до больницы.

Битый, чуткий фронтовик почувствовал перед собой человека, с огромным усилием открыл один глаз, попробовал разомкнуть второй, попытка не увенчалась успехом.

— Налывай, хлопче! — хрипло произнес Прокидько.

Коляша налил, выбрал несколько грушек из фруктовой мешанины в тазу и, понюхав кружку, зажмурившись, выпил.

— Мэни тэж налий. — Коляша уставился на старшину. — Ни похмэлывшись, вмэрэть можу, — пояснил Прокидько.

Держать кружку Прокидько мог уже только двумя руками и, стучая посудиною о зубы, со стоном высосал жидкость, после чего сыро кашляя, болтая головой из стороны в сторону.

— Тютюн кончився. Закурить дай! И ахтомат у кут поставь. Ты шо, воювать прыйшов. Знайшов врага! — пытаюсь усмехнуться, старшина покривился ртом. — Дэ воював?

Коляша сказал, где. Старшина долго молчал, затягиваясь от сигарки и шурясь.

— Двадцать четвертый? А я двадцатого року, у кадровый начав, на граныце — яки мои рокы тэж? Седеть начав у сорок пэршэму роци. Як товарищу Кирпонос нас кынув, а сам застрэлывся, мы з червоноармийцив у побирушек, у шакалив прэвратилысь... — По щетине Прокидько катились и падали в таз крупные слезы. — Налый! — встряхнулся старшина, утирая ладонью лицо и показывая на жбан, — ще трохи...

Гость налил, и вояки сделали по братскому глотку.

— О-ох, що мы пэрэжылы, хлопэць! Що мы пэрэжылы!.. — короткое рыдание, похожее на кашель, сотрясло обмялое тело старшины Прокидько. Не в силах дальше говорить, он тыкал в глаза кулаком, измазанным соком вишни. — А воны тут! Воны тут...

— Андрей Апанасыч, я схожу за женою? — Коляша начал робкую разведку словом.

Прокидько ничего ему не ответил, ниже и ниже опустил он голову, и остатные слезы, застрявшие в щетине, копились в морщинах, затопляли лицо. Коляша вышел в темную уже улицу и сразу почувствовал напряженные глаза и уши по всей оробело притихшей Тюшке.

— Давай жену! Быстро!.. — скомандовал Коляша во тьму. Из-за тынов, кустов и дерев метнулась армия добро-



хотов в известную всем хату или в сарай, где хоронилась изменщица. Через минуту, чуть не сшибив Коляшу, подбирая на ходу волосы, повязывая хустынку, стряхивая сор и солому, мимо промчалась женщина и, рухнув через порог хаты, протягивая руки, на коленях поползла к мятежному «чоловику».

— Андрюшечку-у!.. — кричала она. — Коханий мий! Та вбый ты мэнэ, як суку послидню, вбый, шоб тики тоби лэгше було... вбый!.. Вбый!.. — и обхватила седую голову, целовала, ела, клевала ее и кричала, кричала, слова не складывались, женщина выла дико, смертно, будто раненая, одинокая волчица в студеное поле.

Великий воин, грозный громило, Андрей Апанасович Прокидько не удержался, забыв о гордом мщении, тоже обхватил богоданную свою жену, и они, сгребшись в неистовом объятии, теперь уже вместе выли, облегчаясь горестной сладостью всепрощения.

Коляша отсыпал из баночки табаку на подоконник, отломил от коробка корочку со спичками — все это добро на всякий случай оставил ему друг Жора, дай Бог моряку доброго пути, не раз уж табачок пригодился Коляше, — и тихо вышел из хаты.

Над землей стояла темная, мирная ночь. Над хатой Прокидько горели яркие украинские звезды, за войну хата сдвинулась не только папахой, но и всем корпусом шатнулась под гору.

Утром Коляша попросил лейтенанта отправить его куда-нибудь в другое место — служба в комендатуре не подходит ему, он не годился для нее — слишком мягок сердцем.

Лейтенант внимательно посмотрел Коляшины документы, покачал головой:

— Ну и помотало тебя! Покоя охота? Мне тоже. Со львовской пересылки самовольно рванул?

— Так.

— А напарник где? Без напарника нынче не бегают, да еще к тому же со львовской пересылки, на всю землю знаменитой...

— Домой уехал.

— Вот дурак! Без демобилизационного листа его ж загребут и в тюрьму посадят.

— Не посадят. Он припадочный.

— А-а. Ты вот что, победитель, отправляйся к Старо-

копытову на пересылку. И замри! Понял? Замри! Япошек скоро расхлещут, и конец, совсем конец! Понял? У Старокопытова отсидеться подходяще. У него порядок. Хотя сам он чудо из чудес. Ну, да увидишь.

И Коляша увидел капитана Старокопытова. Он самолично просмотрел его документы, затем Коляшу обмерял взглядом, будто портновской лентой, и сказал:

— В карантин! В чистилище! И смотри у меня! — и вперился в Коляшу глазами, которые в народе точно называют — буркалами.

Это была первая пересылка, первый порядочный резервный объект, где многое соответствовало тому военному идеалу, который давно существует в воображении советских военных спецов-идеологов, в советском искусстве и в литературе, но на самом деле его не было и нет, потому что сами спецы-идеологи находятся вдали от нужд и бед армии, они жируют и барствуют, как генералы всех времен и наций, — на отдельных хлебах, пользуются особым положением и благами, считая, что так оно и быть должно, так, если не Богом, то высшим командованием определено: одним — казарма, шишки да кашка, другим — особняки, дворцы, паек с дворцового стола и яркие лампасы, звезды на погонах жаркие, слава и обожествление на все времена.

Лучше всех об этом почти двести лет назад сказал лихой герой и поэт Денис Давыдов в коротком стихотворении с длинным названием «Генералам, танцующим на бале при отъезде моем на войну 1826 года»: «Мы несем единое бремя, только жребий наш иной. Вы оставлены на племя, я назначен на убой».

От Старокопытова, с винничкой пересылки, вместе с командой таких же, как он, забракованных, в лечении нуждающихся доходяг, Коляша Хахалин угодил в уютное местечко, куда сваливались остатки недобитых калек, как выяснилось, в скитаниях по отвоеванной земле сделавшихся сразу никому не нужными — ни родине, ни партии, ни вождям, ни маршалам, продолжающим праздновать Победу, славить себя, заодно и народ, радость и ликование которого каждый день показывали в киножурнале «Новости дня». А вот горе людское, беды и разруху показывать пока воздерживались из гуманных соображе-

ний, чтобы не травмировать чуткие, от войны усталые сердца советских людей.

В здешнем полупустом, заглушающем госпитале лечили калек недолго и плохо. Здесь со дня на день ждали полной ликвидации и потому воровали, тащили со двора все, кто чего мог унести, увезти, обменять, продать. Начальники и комиссары везли себе машинами, кладовщики и завхозы — возами, врачи, медсестры, санитары и санитарки — узелками.

В местечке стояли две военные части, и обе женские: скромный военно-почтовый сортировочный пункт и рядом военная цензура с жопастыми, в комсоставское обмундирование наряженными девицами. И в той, и в другой части кадры были уже подержанные, перестарки, и они охотно дружили, сходились и даже частенько потом женились с нестроевиками-солдатами. Ну, это уже кроме тех, кто за войну тут, в госпитальном и хитром тылу, устроил междусобойчик, даже детишек нажили в военном благоденствии.

Представитель военно-почтового пункта, набравший нестроевиков в винницкой пересылке и заскребший остатки в местном госпитале, не надул нестроевиков, точнее, надул, но не очень сильно и коварно, как мог бы. Совсем не надуть — это уж у нас невозможно нигде, тем паче в армии, человечество ж вымрет от правды, как от перенасыщения воздуха кислородом, у него, у человека, в первую голову у советского, и голова, и сердце, и легкие приспособлены к воздуху, ложью отравленному.

Местечко и в самом деле было тихое, уютное, отбитое от шумных дорог и железнодорожных путей. Располагалось оно безо всяких затей и хитростей, возле речки, к сухой поре бабьего лета превратившейся в ручеек. К речке той со всех сторон спускались пологие холмы, порой норовисто, по-бычьи упирающиеся лбом в речку, бодающие ее в бок, оттирающие в залуку, ссылая со склонов рядки садов. Зеленые вершины логов извилисто восходили к хлебным, картофельным, подсолнечным и всяким прочим полям, совсем не тучным, как во многих других местах Украины, но все же изобильным. Сама же речка в селении, загороженная во многих местах ставочками, прудами, истолченными по берегам и на мелководье скотом, усыпанными гусиным, утиным и всяким прочим пером, заросшими объединенной осокой, обсыпанными пупырьками обритых кочек, так и не становилась более в селении

речкой, делаясь сплошной зеленой лужей. За домами, вдали от селений, речка постепенно высветлялась, набирала ход, все далее отводила от себя дороги, поля, оставляя внизу стройные ряды тополей, ветел, обрубыши верб, укрывалась моросью перелесков, переходящих в лес, по роскоши своей и породам деревьев тоже напоминающий сад, но только одичавший от недогляда. В середине леса росла даже полоска хвойника, свежего цветом и соком, притиснутого к светлому ключу, раскидистым дубом, вкрадчиво нежными ясенями, грабом, угрюмо и упрямо чернеющими стволами и красно горящими кленами. Осинники здесь были голотелы, стройны и бились, трепетали круглыми макушками так высоко, что надо было заирать головы, чтобы увидеть и узнать, кто это так привычно, тревожно и родственно приветствует тебя ярким листом. И чудо, невиданное и неведомое таежникам: меж осин, берез, грабов, ясеней и кленов кряжисто возникало дерево с коричневым стволом, порой и более толстым, чем у дуба, и оказывалось оно черешней, лето круглое сохраняющей в гущине леса обжигающе-сочную ягоду. Попадались и груши с твердыми, что камень, к зимним холодам лишь созревающими плодами.

Причудлив и роскошен украинский лес, из полей, из садов и перелесков возникший, снова уходящий в поля, перелески, в сады, но долго не расстающийся с братской дубравой, со спрятавшимся в нем ключом, так густо опутанным ягодниками и кустами, что не вдруг и сыщешь его исток, сыскав же, открыв, ощутишь такое чистое, такое светлое дыхание, что невольно склонишься к воде, захочешь поглядеться в нее, притронуться к ней потными губами, заранее чувствуя, как пронзит сейчас твое усталое тело острая струя и воскреснет в тебе сила от настоящей на корнях и напитанной лесною благодатью воды, и подмигивающее ресницами травы лесное око оживит в тебе бодрость, полуугасшее желание куда-то стремиться, кого-то встретить и рассказать о тайнах леса, может стать, отворив свою собственную грудь, открыть кому-то восторженное сердце.

Ключ лесной, превратившись в ручей, скатившись к местечку, делил его напополам да еще и на краюшки. Через насыпь, вверх по лысине затыжного склона плелась старинная дорога, мощенная крупным камнем. По ту и по другую сторону тенистой поймы, рядом с дорогой стояли две школы: по левую — одноэтажная, глаголью строенная

из кирпича уже в советское время — начальная школа. По правую — кинутый кем-то и когда-то двухэтажный особняк, усилиями новых подвижников соединенный с массивным, кражистым собором.

В улочках и щелях переулков местечка лишь к середине лета высыхала и сей же момент превращалась в пороховую пыль знаменитая украинская грязь.

В начальной школе, на сортировочном пункте работало больше сотни девушек, успевших за войну приблизиться к роковому девичьему возрасту. Девушек подзадержали на неопределенное время — они должны были научить нестроевиков изнурительному сортировочному делу.

Корпус школы был вроде длинного, неуклюжего загона, разделен на отдельные купе, в которых один на другом стояли деревянные ящики, в них сотами сбиты ячейки, и у каждой ячейки своя буква — индекс крупного военного соединения. Здесь, в глухом местечке, происходила первая сортировка почты: по соединениям фронта, затем читка почты цензурой, отправка ее в полевые почты, по дивизиям, полкам, где другие почтовики сортировали почту по воинским частям фронтовой уже полосы. И, наконец-то, разобранные, исчерканные, штампелями обьяпанные письма добирались до передовой. С передовой выделялся боец за почтой в ближние тылы. И, о радость, о счастье, письмо достигало адресата, часто уже не к месту и не к сроку — выбыл адресат, известное дело: на передовой долго не удержишься.

Поток почты возрастал по мере приближения Дня Победы. После Победы просто захлестнуло военные почтовые подразделения бумажной безбрежной рекой. Полных два, иной раз три кузова мешков с почтой привозилось со станции, и среди этих пыльных, не раз чиненных мешков были кульки поменьше, понепромокаемей — с почтой служебной, как правило, «срочной». Девчонки-сортировщицы давно уже не справлялись с потоком почты. Мешки с письмами штабелями лежали в «службах», свалены были по углам и закоулкам.

В середине лета госпиталь, с которого все было украдено вплоть до деревянного пола и дверей, расформировали и тех солдат, что на ногах и с руками, из госпиталя переправили на военную почту — заменять девчат, которых вместе с контингентом военных свыше пятидесяти лет должны были демобилизовать.

В почтовом пункте, в пыльном приделе-кладовочке

распечатывала мешки с почтой, рылась в бумагах, распределяя пачки писем по сортировочным цехам, тихая мышка по фамилии Белоусова, по имени Женя, которую все тут отчего-то звали Женярой. Помогая девчонкам, недавние госпитальники все мигом перезнакомились с сортировщицами.

Сортировщицы, осмотрев мужское пополнение, с ходу забраковали половину этих кадров, отсеяв в первую голову кривых, одноглазых и хромых. Выбракованный Коляша Хахалин угодил в кладовку, где среди мешков вилок капусты торчала коротко стриженная голова Женяры Белоусовой, и поступил в нее, так сказать, распоряжение и, как потом оказалось, надолго. Хромого бойца, не могущего день напролет прыгать возле сортировочного стеллажа, навело на девицу, именуемую то экспедитором, то оператором.

Но вот война кончилась и на Востоке. Пришла пора военным людям расходиться по домам. Коляша с Женярой к этой поре уже вместе квартировали у одинокой старой женщины — за дрова и за то, что отделяли хозяйке часть своего военного пайка, она определила их в светелку, сама ютилась на кухне. Стояла осень. Урожайная. Фруктов и овощей было не переест, кое-что и на военном складе хранилось еще, кое-что зарабатывали мужики, помогая восстающим от разрухи колхозам.

С помощью пополнения почтовый пункт сумел «расшиться» с почтой, ликвидировать завалы ее. В связи с ликвидацией воинских частей, переброской многих из них на восток, часть почты активировалась и сжигалась. Но продолжали стучаться в военную стену вдовы и дети, потерявшие кормильца, а то и всех близких, не веря, что никуда уж им не достучаться, никого не дозваться, вестей ниоткуда не дождаться.

Сортировочная работа, напоминающая танцы в клетке, очень однообразная, тяжелая, к тому же и заразная. Далекая российская провинция посылала на фронт не только поклоны от родных и пламенные приветы возлюбленных, но вместе с письмами чесотку, экзему, а братские народы, в первую голову азиатские, — паршу, лишай всех расцветок и мастей, даже и проказу. Поэтому у входных дверей сортировочного блока постоянно стояли два ведра: одно с соленой водой, другое с керосином. Девчонки мыли руки перед работой и после работы. Кожа на молодых руках сморщилась, шелушилась, а в помещении

и от самих сортировщиц тащило керосином. Многие девчата от бумажной пыли и гнилого, почти никогда не проветриваемого помещения болели легкими, кашляли хрипло, будто от тяжелой простуды. Женяра же Белоусова в своей тесной кладовке и вовсе задышалась, у нее начиналась бронхиальная астма.

Вот такая вот почтовая, легкая работа поджидала ребят-инвалидов. Но местечко тихое, столовка сытная, баня в неделю раз, сады, заваленные фруктами, обилие девок, истосковавшихся по гуляньям и свиданьям, делали свое дело. В райском местечке закипела не только почтовая работа, но и воспрянули роковые страсти. Такое началось кипенье кровей, столько любовных порывов произошло, что содрогнулся б и крупный город, сошла бы с места и разрушилась от любовного накала иная дряхлая столица. Оробевшее поначалу местечко, застенчиво спрятавшееся в дерева и в листву, далее в осень, все больше и больше обнажалось, лупило глаза на разного рода гулянья и веселья, млело от музыки и песен, таило шепот и звук поцелуев в своих развесистых кущах.

На почтовой машине шоферил совершенно развратившийся за войну, спившийся, красноглазый, желтый лицом, слипшимся в преждевременные морщины так, что уж и лик этот напоминал лежалый, не раз к больной ноге привязываемый лист лопуха, Кирька Шарохвостов, по которому давно плакало место в штрафной роте или в тюрьме, но он успел поджениться, во время боевых походов сделал руководящей каким-то секретным отделом лейтенантше ребеночка. Лейтенантша имела совершенно невинный, измученный вид, да и хитра была очень, вот и не отнимали от нее Кирьку-мужа, который в угоду жене притворялся размундям, но, как только их демобилизовали, они ринулись в Ригу, захватили там квартиру выселенных латышей, чем вместе с другими, такими же «патриотами», шибко способствовали дружбе «братских народов», вскоре построили дачу на взморье, разумеется, на свои «скромные сбережения». Кирька на гражданке сразу сделался деловит, скуп, пил только по праздникам, с разрешения жены, которая устроилась в инспекцию по иностранным судам, шибко раздобрела, сделалась одной из самых богатых дам в Латвии.

Вплотную наступила осень. За нею должна была последовать и зима. Почтовый пункт, засыпанный по двору

и крыше мелкими, рот вяжущими грушами, хоть и неуверенно, начинал готовиться к зиме. Нестроевиков бросили на заготовку дров. И тут Коляша Хахалин, и сам мужик не промах, познал разворотливость и предприимчивость Кирьки Шарохвостова.

Валили лес в той самой роскошной дубраве, что баюкала в глуши своей синий ключ. За дровами должны были делать два рейса: один до обеда и один после. Но Кирька мобилизовал в помощь бригаде еще двух местных деляг, и заготовители стали делать три рейса — два в благословенное место, к почте, и один или два — во дворы громодян, где работяг уже ждала самогонка, добрый ужин и горсть денег. Бревна, заготовленные на дрова, в особенности дубовые сутунки, были тут на вес золота, потому как многие хаты и постройки нуждались в ремонте, и, поскольку наступал долгожданный мир, люди готовились строиться, обзаводиться худобой, укреплять хозяйство, на первый случай — свое, затем и колхозное.

Союз, заведенный Коляшей с Женярой, получил распространение, хотя и норовили парни взять девок на шарап, как базарные налетчики, но не больно-то получалось. Девки за войну обрели опыт обороны, обучены были, как тактически, так и практически — придерживались дистанции в поведении, целовать, даже шупать себя давали, но дальше уж только хитростью и напором можно было брать ослабелую от страсти крепость. А какая сила у недавних госпитальников? Девки ж на тыловом питании раздобрели, да еще фрукты кругом, да овощи, по квартирам молоко да сало. Все в девках вызрело и налилось, клапаны на нагрудных карманах гимнастеров уже не клапаном выглядели, но козырьком генеральского картуза.

Началась демобилизация и отправка девушек домой. Не всех сразу, малыми партиями. Сколько трогательных сцен, сколько слез и горя! Ведь многие девушки за четыре года войны стали друг другу что родные сестры, а тут еще и эти, «преемники», успевшие затуманить мозги девчонкам, кое-кому и наобещать всякой всячины, под обещания, в густом угарном тумане похитив последнюю девичью ценность, сдобное брюхо им на прощанье подарив.

Не один и не два Коляшиных корешка сутками скрывались в конюховке или уходили в леса, укрывались в ближних селеньях. Но большая часть терпеливо и честно несла крест, толкалась возле машин, обещая писать подругам без передыху письма и непременно приехать куда



надо, в качестве мужа. Когда машины, наконец, уходили, кавалеры вздыхали освобожденно, иные даже и крестились, хотя были почти сплошь безбожники. Наиболее пылкие и верные кавалеры ездили прощаться со своими кавалершами на станцию. Возвращались подавленные, увядшие, даже и заплаканные. Над ними посмеивались. Коляша сочинял частушки, припоминал анекдоты непристойного свойства.

— Как же нам-то быть, Колька-свист? — спросила Женяра Коляшу.

И он, мелко покашливая, чистосердечно ответил:

— Не знаю.

— Да как же ты не знаешь? Я же уж беременна...

— Вот как! — удивился Коляша. — От кого?

— От тебя самого!

— Но ты ж говорила, что предохраняешься. Значит, кто-то объездил тебя еще до меня — ловкие тут попались ребята...

— От тебя предоохранишься!.. — загрустила Женяра. — Дорвешься, что тебе паровоз, красным фонарем не остановить...

— Ну, коли мой кадр — рожай. Интересно все же, кто там в темноте получился? Только вот где жить-то будем? У меня на всем свете, кроме тебя, никого и нету...

Женяра предложила Коляше остаться на Украине, в местечке, — она не по годам рассудительная была и предлагала в сытом месте переждать худое послевоенное время. Коляша, вскормленный детдомовскими да военными, пусть и скудными, но дармовыми харчами, не знал и не понимал, что такое голодная жизнь, чиркнул себя ребром ладони по горлу, заорал, что во как надоела ему эта клятая Хохляндия, что устал он от нее и готов ехать хоть к черту на рога.

На рога они не поехали, двинули в Молотовскую область, в Красновишерск, лесопромышленный городок, где жила овдовевшая в войну мать Женяры, Анна Меркулова Белоусова.

**ЧАСТЬ ВТОРАЯ**



**ДОРОГА С ФРОНТА**

•

---

Не хвались отъездом, хвались приездом — говорится в народе, и совершенно справедливо говорится, по отношению к Коляше и Женяре совсем уж точно говорится.

Просидев на станции двое суток, припив с ребятами-корешами прощальную самогонку, поубавив наполовину дорожную пайку, встретив очередной поезд, на этот раз с табличкой «Одесса — Киев», и поняв, что и в этот поезд, облепленный со всех сторон муравейником военных пассажиров, им не попасть, решили они прибегнуть к испытанной «военной находчивости». Под бравую песню: «В бой за Родину, в бой за Сталина, боевая честь нам дорога...» — высадила братва чемоданом окно в вагонном туалете, слава Богу, как оказалось, неработающем, и Коляша залез в выбитое окно, выбрал из рамы остро торчавшие осколки стекла, принял на руки молодую жену, опустил ее на пол и приказал не высовываться. Уже на ходу поезда ребята сбросали в окно манатки: чемодан в фиолетовом чехольчике, баульчик с постелью и синий объемистый рюкзак, в котором была пара белья, запасные портянки, два кило луку и ведро яблок, насыпанных на дорогу сердобольной хозяйкой.

Ребята дошли до стрелок, бежали за поездом по путям, махали, кричали, двое калек, лечившихся с Коляшей в госпитале, утирали глаза, и сердечный бас их, слившись воедино с паровозным гудком, долго еще гнался вослед: «Про-о-о-оща-айте-е, дру-у-у-а-а-а...»

Слезы на лице Коляша обнаружил не сразу, вытер было

рукавом, но они опять потекли, и он уже не вытирал их, плакал и плакал, не зная, о чем и почему. Плакала и Женяра, припав головой ко вздрагивающей деревянной раме. Коляша подумал, что в раме остались мелкие стекла, она может порезаться, повернул ее к себе, прижал лицом к груди. Теперь они плакали вместе, а вместе — не врозь, скоро не уймешься.

Обессиленные, опустошенные слезами, сидели молодые супруги возле грустно поникшего унитаза, на связанной девчоночьей постельке и нехитрых пожитках. Казенную-то постельку Коляше пришлось сдать. Угодили они в вагон со старорежимным туалетом, который по величине, пожалуй, превосходил кухню в иной советской квартире. Женяра мелко покашливала — везла она с войны, из пыльной почтовой кладовки, болезнь бронхов. Коляша подумал: хорошо было бы чем-то окно завесить, но ничего под рукой нет, да и заметно сделается. Слушая стук колес под полом, звяк шатающегося в дыре унитаза, отчужденно молчали, и горесть ли разлуки с армией, с друзьями, молодостью, оставленной на войне, предчувствия ли будущей нелегкой жизни, все это так подавило их, что не хотели они ни говорить, ни шевелиться.

На исходе дня, далеко уж от станции отправления Коляша встряхнулся и нажал пальцем на распухший от слез кончик носа молодой супруги, и она ему признательно улыбнулась.

Коляша Хахалин человек какой — он не может вот так сидеть долго, бездействовать, слушать песнь впавшего в инвалидное состояние унитаза. Он выбрал из пазов рамы гвозди, остатные стекла, высунулся в окно нужника, предусмотрительно сняв пилотку и засунув ее за пояс. Холодеющим к вечеру ветром трепало все еще недлинные Коляшины волосья, освежало его тело и душу.

За окном мелькали села, хаты по одной, а где и кучкой, сколь их ни били, ни молотили, они сбегали с буторков к рельсам. У иной хаты и крыши нет, и стена уцелела всего лишь одна или только угол, но подзатянуло за годы войны жилье зеленью, обволокло бурьяном, присыпало листом. Уже развелись и бродят подле него куры, индюк нахохленно поднял голову, смотрит на поезд, грозно подергивая шеей, колебая всеми мясистыми, красными или красно-фиолетовыми гребнями и бородами: «Не лезь, клюну!» Хрюшка лежит в тени под стеной, баба, повернувшись к поезду объемистым задом и заголившись почти до

«чернильницы-непроливашки», роет картоху или месит глину; дед в картузе времен еще турецкой войны, опершись на бадог, смотрит на летящие куда-то вагоны, вспоминает, быть может, как сам когда-то возвращался с войны; силосная башня вдали, похожая на разорвавшийся многодюймовый снаряд; водокачка, что граната эргэдэ, стоящая на ручке; тракторок и волы в полях, вывернувшие землю черным исподом кверху; убранный, прореженный, истрепанный ветром, истоптанный скотом пегая кукуруза — неперемный украинский знак; подсолнушек с примороженными ухами, там и сям припоздало сияющий, обманувший в заветрии первый заморозок, уловивший тепло бабьего лета.

Какая близкая сердцу, малознакомая сторона, которую и разглядеть-то из-за боев, дыма, занятости, передвижения большей частью ночами не удалось; память, затененная провальным сном на дне окопа, на клочке соломы в сарае, на обломке доски середь болота, на еловых лапах или под деревом, или просто с кулаком под щекою, на случайной, остылой или, наоборот, на каленой до ожогов печке, соскочишь с нее, бывало, испеченный от утара и духоты, своих не узнаешь; под ракитой придорожной, под телеграфным столбом, возле камня, случалось, и могильного, возле подбитого танка, сгоревшей машины, обязательно прислоняясь головой к чему-то, в земле иль на земле утвержденному.

Однажды ночью спали солдаты под сосной, и спятился на них «студебеккер». Хорошо, мох под деревом вековой — вдавило ноги в мягкое. Пеклевану Тихонову под ноги корешок угодил — недели две с палкой ходил-ковылял, в госпиталь его не отпустили — как воевать без такого работяги. Первый раз в жизни пофилонил, вкусил безделья Пеклеван, хитрить потом стал, от работы отлынивать...

Война, война!.. Бежит она, клятая, следом, не отставая, подступает к окну то битыми вагонами, то опрокинутым паровозом, то горелым деревом на холме, то воронкой, то в вопросительный знак загнутым рельсом, то табунком могил возле линии, кое-где уже с заржавелыми плоскими немецкими касками на неошкуренных крестах...

Почти свечерело, когда одышливо пыхтящий, нервно ревущий у каждого столба и знака паровозишко припер состав на в прах разбитую станцию и в изнеможении утих, пустив пары из всех дыр. Железнодорожные строения, в

отдалении заплаты воскресающих хат, среди которых молодцом выглядел нужник из свежего теса.

Черный паровоз в черных заплатах напоминал косача, уделанного в сражении, на току, опустившего крылья, и только красное надбровье — плакат с портретом вождя на лбу — свидетельствовало о его все еще кипящем котле и скрытой внутри мощи. Часть народу, разбирая на ходу штаны, подымая подолы, хлынула от поезда в пристанционные развалины. Другая же часть, уже более разрозненно, — к гордо выпятившемуся нужнику, но он не мог вместить разом истомленных, жаждущих облегчения пассажиров. Многочисленные обремененные узлами, тюками, ведрами, мешками, чемоданами люди с криками, плачем, ахами и охами ринулись к поезду. Люди падали, спотыкались, что-то роняли на ходу и, на ходу же подбирая, стучались в вагоны, вопили, кляли все и всех на свете, мужики материли баб, бабы материли мужиков, все вместе материли железнодорожников, умоляли кого-то, указывая на ребятишек, на бинты и медали. Местами, для убедительности, пошли в ход уже и костыли.

Знакомая, почти на каждой станции повторяемая картина, на которую хоть одним бы глазом взглянуть тем, кто призвал, стронул людей с места и бросил их на произвол судьбы. Но они, те высокие люди, все праздновали Победу и опохмелялись, опохмелялись и праздновали. В голове у них был радостный трезвон кремлевских курантов. Им никакого дела не было ни до детских, душу раздирающих голосов, ни до людей, потерявших все ориентиры жизни, себя не помнящих и обреченных. Они не видели копошившихся там, внизу, измаянных людей, не слышали и желания видеть и слышать их не испытывали.

— Маты ридна! Маты ридна! — несколько раз уже взад и вперед мимо разбитого окна, по проломленному дощатому перрону, под которым пестрели стесанной корой сосновые стояки, с широко открытым ртом пробежала здоровенная баба со здоровенным холщовым мешком на спине. Военный ношенный бушлат на ней расстегнут, под вышитой нестираной кофтой катались туда-сюда гарбузами пудовые груди. Из-под цветастого распущенного платка выбились, спутались, падали женщине на лицо пышные волосы, глаза, и без того навывкате, вовсе вытаращились, алый перекошенный рот исторгал мольбу или закливание.

Коляша не обратил бы на эту растрепанную, заполош-

ную бабу внимания — на каждой станции бегало, толкалось, паниковало таких вот бестолковых баб тысячи. Но за этой бабой, подшибленно и покорно, провиснув на костылях, с трудом волочился солдат в мешковатой госпитальной шинели, цветом и формой скорее похожей на мужицкий армяк, в новых обмотках, в новой пилотке без звезды. Он остановился против Коляшиного вагона, всей своей воробыиной тяжестью обвиснув на костылях, сгорбтив шинель, обессиленно опустил голову так низко, что пилотка свалилась с его стриженной, будто у малого дитяти, лункой на темечке выболевшей головы. Подскочив к нему, баба подняла пилотку, водворила ее на место и громко, с полной уже безнадежностью и отчаянием зашлепала толстыми, мокрыми губами, спелость которых не могла погасить никакая гнетущая сила:

— Та вин же ж ранэный! Вин же ж с госпиталю!.. Вин же ж вмэрти може... Нам до дому трэба... — собирая во фразы слова, разбиваемые рыданиями, объяснялась баба в пространство. — Мыкола! Мыкола! Мыколочку, встань пэрэд поездом на колени... Помоли народ...

— Нэ могу я на колени. Нэ гнуться у мэна ноги... — не поднимая головы, с упрямой бесстрастностью отозвался Мыкола.

Баба уже не бегала, не рвалась никуда. Зажав мешок меж колен, она выла без слов, без всякого выражения, просто выла в бездушную и безответную пустоту. На крапивном мешке было ярко выведено: «Од. Смыганюк». Повидал виды этот уемистый мешок, поездил по поездкам и вокзалам да на базары.

— Одарка! — тихо, но внятно позвал Коляша.

Баба испуганно заозиралась по сторонам.

— Одарка! — повторил солдат.

Баба попалась настолько бестолковая или так уж отупела от дорожной сутолоки, что ничего понять не могла, думала, блазнится — голос ей кто-то с неба подает.

— А? Що? Кто цэ?

— Да я, я! — махнул Коляша рукой бабе, — подойди сюда, не бойся.

Она неуверенно и опасливо приблизилась.

— Давай сюда мешок!

— Ой! — испугалась баба и, покрепче ухватив мешок, отступила от вагона.

Коляша скосил глаз — паровоз набрал воды, заправился углем и, уже бодро соря искрами, клубил свежим

черным дымом за стрелкой, готовый шлепнуться буферами в буфера, соединиться с составом и попереть поезд ко все еще далекому Киеву.

— Микола! Николай! Тезка! — позвал Коляша громче и, когда инвалид поднял голову, вытянул обе руки. — Давай сюда!

Познавший фронтовое братство, инвалид, ни минуты не медля, не раздумывая, куда и зачем его зовут, приблизился к окну. Коляша забрал у него костыли, перевалил через раму окошка его почти невесомую, вроде как куриную тушку, толкнул себе за спину, на унитаз. За окном начала паниковать баба:

— Мыкола! Ты куда? А я куда, Мыколочку, а бандиты? Ой, що будэ? Що будэ?

Микола даже не поглядел в ее сторону, он отдыхивался на унитазах, по привычке, еще госпитальной, догадался Коляша, потирая соединенные вместе раненые колени.

— Да шевелись ты, бочка с говном! — рывкнул Коляша и, вырвав из крепких рук бабы мешок, кинул его себе за спину, чуть не сшибив Миколу с унитаза. В мешке что-то звякнуло.

— О-о-ой, мамочку! — не пролезая в окно, причитала баба. — О-ой, горилочка моя-а!

Уцепив бабу обеими руками, Коляша, будто пушечный пыж, втащил ее в дуло окна и брякнул на пол. Подол на Одарке задрался, обнажив множество таких достоинств, которых бы если не на роту, измотанную сраженьем, то уж на геройское отделение артрязведки младшего сержанта Каблукова всенепременно хватило бы.

— Ряту-у-уйте! — завела басом баба, все еще барахтаясь на полу.

— Ты чего орешь, Одарка?

— Ты звидкеля мое имя знаешь? — задушенным голосом, парализованно распластавшаяся на полу, спросила баба.

— Я все про тебя знаю. Даже фамилию, Смыганюк твоя фамилия.

— О-о-ой! — снова начала взывать Одарка. У нее застучали зубы. — Ты ж нэ з нашэго сэла! — но востроглазая, ходовая и бойкая баба тут же и заметила покачивающуюся в уголке туалета молодую женщину в военном и разом воспрянула духом. — Тю-у, жинца! Мыкола! Мыкола! Нэ бойся, Мыкола! — и разом перешла на заиски-



вающий тон. — Тут жинца, тут хлопэць! Воны худого нам нэ зроблят...

В это время паровоз брякнул буферами в буфера, по поезду прокатилось содроганье, состав покатился назад, но тут же произошло обратное движение, и не разорвавший сцепок, сам себя с места стронувший состав, облепленный народом, покатился со стоянки. Одарку, успешную приподняться, шатнуло в одну, в другую сторону, она рухнула на унитаз, на лету ухватив Миколу, но не уронила его под себя, знала, что тогда конец мужику, а ловко шмякнула его себе на живот.

— Пой-ихалы! — не веря своему счастью, прошептала Одарка, преодолевая неверие, с восторгом повторила: — Поихалы! У поезду! Слышь, Мыкола? У поезду! О Мыколочку... Ой ты коханий мий! — запричитала она и принялась целовать своего мужа, да все смачней, смачней, и увлеклась было этим занятием, но Коляша громко кашлянул. — А дэ це мы? — очухалась Одарка и стала оглядываться вокруг.

— В сортире!

На мгновение смолкши, Одарка испуганным голосом спросила:

— А нас нэ высадють, хлопэць?

— Не должны. Я изнутри закрылся.

— А тоди х... з им! Мэни хучь у говенной бочке, тики щоб до дому скорийше довэзти мужа.

— Одарка, просю тэбэ, нэ ругайся! — первый раз после посадки подал голос отдышавшийся Микола.

— Усе, Мыколочку! — затараторила Одарка. — Усе, мий коханий! Усе-усе! Мовчу, як та бидна цыпулька... Гэ-гэ-гэ! — обрадовалась она сравнению себя с цыпушкой и захохотала так, что наверху зазвякало железо. Но тут же спохватилась и заципнула рот концом платка. — Ой, зовсим забула... Мовчу-мовчу!

Однако Одарка была так взвинчена, возбуждена, что уняться ей было никак невозможно, ее распирало, разрывало радостью, и она тарахтела под звук уже набравших скорость колес.

— О, цэ людына! Цэ истинный патриот! Советский! Може сочувствовать своему брату! А то ж кругом одни хвашисты, бляды!..

— Одарка!

— Мовчу, Мыколочку! Мовчу, коханэнький мий! М-мых! — опять громко, со вкусом припечатала она мужу

поцелуй. Деваться Миколу некуда — прижат к стене. — Видят же ж на костылях чоловік, медали кругом у його, так нет же ж... А, курва товстожопая! А чего ж я сядю? — спохватилась вдруг Одарка и начала добывать из-под себя мешок. — Мыколочку мий нэ питый, нэ етый... Ой, ой, опять!.. — похлопала она себя ладонью по рту. — А я сядю! А я сядю!..

Поправив унитаз, она откуда-то добыла картонку, прикрыла его зев, закинула картонку хусткой — платком — и на это сооружение выложила снедь: сало, яйца, огурцы, полувытекшие помидоры, в середку с пристуком водворила чехол из-под немецкого противогаза, который, как оказалось, был лишь маскировкой — в середине его утаена многогранённая, ко дну сужающаяся бутылка. Тряхнув ею, Одарка возгласила:

— Нэ разбылась, ридна моя! — она поцеловала бутылку, попутно чмокнула своего Мыколочку: — Тоби трэба трохи выпить и закусить. Я тэж трахну, шоб дома нэ журылысь! М-мых! — снова она влепила поцелуй Миколу.— Подвыгайся до цэго стола, ишь, кушай, сэрдэнько мое!..

— Одарка! — высунувшись на едва уже сереющий свет, инвалид кивнул в сторону молодоженов.

— Ось! Ось! — подхватила Одарка. — А добрый хлопчику! А мила жинця. Просимо ласкаво поснидать з нами. Ну шо, шо на тым стулу? Шо, шо у уборной! Я ж усэ накрыла, усэ вытерла...

Женяра помотала головой и укуталась в шинель. Коляша, чтоб не обидеть людей, подвинулся к «столу», почти уже в потемках звякнули кружками старые солдаты.

— Твое здоровье, тезка!

— Тоби того ж, брат!

И пока тянули солдаты самогонку, Одарка снова расчувствовалась:

— А, ридны вы мои! Бидны вояки! А шоб та проклята война бильш ныколы нэ приходыла... — и, налив себе — слышал по бульку Коляша — не менее полкружки, — выпила, утерлась, сгребла обоих солдат в беремя, поцеловала поочередно и, аппетитно чавкая, начала есть в полной уже темноте.

Лишь бледная ночь неба и набирающего силу холода проникали в выбитое окно. Женяра робко прижалась к теплому боку мужа, он обнял ее, нащупал руку, всунул в нее кусочек хлеба с салом, мятый, мокрый помидор, обрадовался, услышав, что Женяра начала есть.

Одарка на ощупь налила по второй, но мужики уже согрелись, заговорили, отказываясь от выпивки, да разве с Одаркой совладаешь?! Она, словно танк, тараном берет. Найдя рукой Коляшину кружку, Микола прислонил к ней свою кружку, подержал и, слабея голосом, молвил:

— Будэмо жить, солдат! Будэмо жить. Так хочется жить...

И сжалось все внутри Коляши, стеснилось и заныло: Микола чувствует: недолгий он жилец на этом свете.

— Обязательно! — нарочито бодрясь, воскликнул Коляша. — Сто лет. Нет, сто не надо. Изнеможешь за сто лет от такой жизни, себе и людям в тягость сделаешься... Будем жить, сколько отпущено там, — показал солдат на дребезжащий под потолком электропузырь без лампочки. Кто-то шевельнулся рядом с ним, робко коснулся губами его щеки. «Челове-эк! — умилился Коляша, — все понимает, все чувствует. Челове-э-эк!»

А через унитаз тянулась, грабастала Коляшу совсем уж размягченная Одарка:

— Та хлопэць ты гарный! Та умнэсэнський! Да звидкэля ты взявсь? — и вlepила Коляше поцелуй, на этот раз в губы. Миколу тоже вниманием не обошла, хотя тот и вжимался за унитаз от ее натиска.

Прибравшись на «столе», определив мешок за спину, подстелив что-то на холодный пол, все еще источающий запах мочи, Одарка улеглась на бок, чтоб меньше занимать места в узком заунитазном пространстве, притулила к себе мужа своего, подтыкала что-то под него, костылями оградила от холодного и шаткого унитаза, прикрыла его своим платком и, лежа на локте, держа себя грузную почти на весу, чтоб только чоловіку было удобно, принялась байкать его, как маленького, совсем и не осознавая этого материнского действия. Могучее и доброе сердце Одарки расслабилось, тело согрелось и успокоилось, она вдруг всхрапнула, пока еще пробным раскатом, но и от него, от пробного, все железо в туалете вздрогнуло, бельмо пузыря на потолке сорвалось с петли и опасно закачалось над головами пассажиров. Одарка тоже вздрогнула, очнулась, ощупала Миколу со спины, с боков, голову его удобней устроила.

— Хлопче! А, хлопче! — шепотом позвала она.

— Чего тебе, Одарка?

— А як ты все же мое ім'я и хваміль узнал, га?

— Хэ, фамилия! Хэ, имя! Могу тебе всю твою биографию рассказать.

— Ой! — испугалась сраженная Одарка. — Нэ трэба, хлопэц, нэ трэба... — и долго не подавала никаких признаков жизни. Потом, совсем уж безнадежно, совсем уж отрешенно не то спросила, не то утвердила: — Хлопче, ты колдун?!

— Да еще какой! Я ж из Сибири!

— Из Собиру! — почти уже обреченно молвила Одарка. — Тоди понятно. Там дуже холодно и вэдмэди кругом бродють...

— И колдуны, — подтвердил Коляша. — Им запросто про человека все узнать, приворожить, отворожить, немочь накликаць, со свету свести... Хочешь, скажу, об чем ты сейчас думаешь?

— Ой, нэ надо, нэ надо, хлопче. Дюже я пуглива... А об чем? А об чем?

Женяра тряслась рядом, запокашливала чаще, дергала Коляшу за рукав шинели, хватит, мол, хватит.

— Та вин жэ ж! Та вин жэ ж... — продирался сквозь смех Микола. — Да вин же ж дурака валяет. Вин же ж хвамиль твою и имья на мешку узрив! О-ой, нэ можу! О-о-ой, нэ можу! Яка ты, Одарка, глупа была, така и осталась. Она у школи, — уже обращаясь к молодоженам, пояснял Микола, — усэ у мэнэ списувала, так сим грушп и закинчила...

— А-аж, його маты! — из деликатности осадив матюк, с восхищением громко хлопала себя по ляжкам Одарка. — О цэ уха-ары! О цэ да-а! Шо ты, жинца, будэшь робыць з им! Як жить з таким пройдохою?..

— Мучиться, — первый раз за всю дорогу подала голос Женяра. И не знала, не ведала она, сколь пророческое слово молвила невзначай.

— Тикай вид ёго! Тикай з вагону, тикай з поизду, у поле, куда подальше тикай! Й-изх, який, а? Як пидманув, га?! — Одарка в потемках нашла голову Коляши и больно потеревила за вихор, но тут же и погладила со всепрощающим вздохом. — Нэ! Нэ тикай! Бог ёго тоби опрэдэлив — тэрпи, працёй хоть за двох, хоть на соби ташшы до гробу... Вот у мэнэ Мыколочку мий, який слабэсэнький, болызны, но я, шоб кинуты йёго, ни-ни, ни божечки мий... М-мых! — опять начала целовать Миколу сама себя умилившая Одарка.

— Та будэ, будэ, — ласково остепенял жену муж. —

Трохи подрэмлемо. Устал я, и людыны ж усталы. Добрэ, шо сортир нэ дуже вонький и ниhto нэ мешае. На передовой та у госпиталях хуже бывало.

— Спы, мий Мыколочку, спы, коханий...

Они умолкли, прижавшись друг к другу. Одарка не сотрясала храпом вагон, как ожидал Коляша, думая, что вагон и с колес сойдет от такой рокочущей силы. Видимо, Микола уснул, и она, баюкая болезного, боялась его потревожить, не позволяла себе забыть, заснуть.

Холодная осенняя ночь хлесталась волнами в зев окна. Горстка звезд и половина луны гнались следом за поездом, на поворотах заслоняло, гасило небесные светила, и снова возникали они неожиданно, вроде бы с другой стороны, и снова гнались за орущим паровозом, за стучащими вагонами. «Может, это были другие звезды, другая луна? — пришло в полусон Коляше. — Но почему же? Звезд-то на небе много, а луна всего одна...» Коляша услышал, как плотнее и плотнее жметя к нему спутница его, расстегнул шинель, пустил ее ближе к своему теплу, и она, невеликая, уместилась в уютном его гнезде. «Милая. Родная! Как хорошо, что мы вместе, едем вот куда-то, несет нас поезд в будущую жизнь, в неизвестность. Я постараюсь быть тебе нужным и верным другом, — почти стихами говорил сам с собой Коляша. — У меня было много друзей, потому что я все без остатка отдавал людям, ничего, никогда не таил: ни хлеба, ни души, ни веселой натуры своей... Случалось, через силу веселился, хотел поддержать друзей. И они не дали мне умереть, вынесли, переправили на другой берег с Днепровского плацдарма, а ведь там даже с легкими ранениями умирали. Спи, родная, грейся, дыши. Тебе, однако, попался в спутники не самый лучший, но, поди-ка, и не самый худой человек...»

Проснулся Коляша от беспокойства, возни за унитазом, сдавленного шепота.

— Та, Одарку... та нэ можно. Люди ж...

— Мыколочку! Мыколочку! Я никому... ни божечки мий!.. Бильш тэрпиты нэма сил.. Мыколочку!..

— Одар... Одар!..

Одарка затыкала рот мужа рукою, грызла, терзала его, пыталась притиснуть к себе, в уголке за громыхающим унитазом:

— А-а, голубонька! А, коханий мий!.. Н-нэ могу бильш... нэ мо-о-жу! — стонала она. — Н-ну ж, ну ж!

Сувай! Сувай!.. Я сама... я сама... Аж! Аж! Укуси мэнэ! Укуси! А-э... сладэсэнький мий!..

Микола из последних сил отбивался от наседающей, обезумевшей бабы, выполз на середину туалета. И хотя туалет старого вагона просторен, инвалид лягал Коляшу негнущейся ногой в его, тоже негнущуюся ногу. Коляша загораживал всем, чем мог, Женяру, чтоб не увидела она этой ошеломляющей схватки.

— Выдчипысь! — прорычала Одарка, и Микола отлетел к двери туалета, ударился, затих.

За унитазом возилась, гребла взнятыми вверх ляжками, белеющими во тьме, по-звериному хрипела, вроде бы грызла какое-то дерево женщина. Унитаз набатно гремел, звенел пузырь на потолке, звякал о железо... Туалет, вагон, мир содрогался от мук женщины, истязающей самое себя. Громко прорыдав, скуля по-песьи, женщина начала ослабевать. Какое-то время еще подбрасывало, дергало в конвульсиях ее могучее тело. Но вот унялось, распласталось и оно, ноги, обутые в солдатские ботинки последнего размера, опали, вытянулись, унималось хрипящее дыхание. С мучительным, сонным стоном женщина пробуждалась от обморочной страсти, проясняясь сознанием. Затаившись во тьме, долго-долго не шевелилась, не подавала признаков жизни.

Поезд все стучал и стучал колесами, скрипел вагон, бился и бился об пол унитаза, никак не проваливаясь в дыру, колпак фонаря под потолком, готовый вот-вот оторваться, лязгал. Коляша плотнее прижал к себе Женяру, уверяя себя в том, что она ничего не слышала. Женяра шевельнулась, прошептала: «Что это, Коля? Ой, как страшно-то...»

Не вылезая из-за унитаза, Одарка помацала вокруг, нашарила костыли, притянула их к себе, начала прибирать одежду, зачесала гребенкой волосы, повязалась платком, еще посидела, прислонившись к шаткой стене.

— Мыкола! — наконец, искаженно позвала Одарка. — Ты, можэ, попиты хочешь?

— Ни.

Опять молчание. Опять единый звук поезда, опять за окном огоньки и свет бесконечного мироздания.

— А може, яблочка?

— Ни.

— З глазду зъихала баба... Ат, дура! А-ат, дура! У-у, курва-блядь!.. — Слышно было, как Одарка несколько раз

завезла себе кулачищем по башке. — Мыкола, а Мыкола! Иды до мэнэ! Я бильш нэ буду. Иды, а...

Куда деваться солдату-инвалиду? Зашевелился, пополз под крыло своей бабы, и она укрыла его, прижала к себе, принялась раскачивать и похлопывать.

— Ничого, ничого... дома, у садочку посыдышь, виддохнешь, яечкив, сальца поишь, лекарствив добрых здобудэмо. Я дни и ноченьки буду працювать, с пид зэмли усэ для тэбэ здобуду... Любый ты мий!.. Мы ще диток нарожаемо... Усэ у нас будэ, як у добрых людын, усэ будэ. Главно, шоб той вийны проклятой бильш нэ було... Ну, спы, спы, сонэчко ты мое ясно...

На рассвете, зябко ежась, Коляша высаживал Одарку с Мыколой на станции Чудново, от которой до родного села им еще предстояло добираться пятнадцать или двадцать верст. Но они уже были считай что дома. Одарка задом наперед, подпирая раму, протискалась в окно, приняла сперва костыли, потом и мужа на руки. Подавая Одарке мешок, почти не убавившийся в весе и объеме, Коляша, наклонившись к уху попутчицы, прочастил:

— «Ой, Одарка, вражья сила, зараз в слезы, гомонить, так злякае чоловика, шоб нэ знав вин, що робыть...»

Бесовская баба, малость отоспавшаяся, снова полная сил и бодрости, подморгнула Коляше припухлым глазом:

— Нэ буду, нэ буду лякаты чоловика, — и еще раз подморгнула: — Аж цылу нидилю...

Супруги Смыганюк стояли рядом, смотрели на Коляшу радушно и благодарно, в один голос приглашали заезжать, если случится быть на Житомирщине. Микола что-то шепнул жене на ухо, та всплеснула руками, охнула, полезла в мешок, извлекла оттуда бутылку, кус сала и полбулки мятого хлеба. Это добро она совала Коляше в руки, он отбивался, отталкивал подношения.

— Визмыть, будь ласка! Ну, визмыть!..

— Визмы, брату! — подал голос Микола. — Путь твой ще долгый, время голодно. Визмы! Цэ ж солдат солдату...

Ни Коляша, ни Микола не подозревали тогда, как пригодится и выручит молодоженов та фигуристая, буржуйская еще бутылка.

Одарка и Микола медленно взнимались по дороге, ведущей за серый, пустынный холм. На холме остановились, обернулись. Одарка вскинула над головой кулачище, киношный ли «рот-фронт» изобразила, но, скорее, уверенность дала, мол, жить будэмо.

Прошло еще сколько-то времени. Иней засверкал в полях и на встречных вагонах. Солнце доцветающим подсолнушком выкатилось на небо. На припеках запарило, в тени домов, будок и деревьев все так же холодно и уверенно искрил иней, и какие-то, уж вовсе припоздалые листья совсем сморенно, неприкаянно, возникнув вроде бы из ниоткуда, пролетали вдоль окна, пробовали лечь на землю по-за поездом, но их еще тащило за вагоном, еще вертело, кружило и разбрасывало по сторонам ворохами и поодиночке.

— Вот так и нас волочит, кружит по свету, — вздохнул Коляша.

— Пора и нам на волю из этого уютного помещения, — подала, наконец, голос Женяра, не делая, однако, никаких движений из обогретого уголка и не открывая глаз, но громче прежнего покашливая.

Коляша откинул защелку, попробовал открыть дверь туалета. Дверь уперлась в народ, стоящий, сидящий на полу, спиной навалившись на дверь «вечно занятого» туалета. Люди оживились, расступились сколько могли, чтоб выпустить пленников на волю, и тут же втиснулись в обогретый туалет с неотложной надобностью. Скоро унитаз лежал на боку, громко брякая, народ делал свои дела в разверзтую прорубь, на вертящиеся в неустанном беге блестящие колеса. Жгут мочи, смывая испражнения, лился до тех пор, пока проводники, в отдельном вагоне меняющие одесскую самогонку да тираспольское вино на тряпки, сало и хлеб, не были на какой-то станции отысканы осматривателями вагонов.

Появилось хмурое начальство. Нашумев на проводников, на пьяного начальника поезда, заставило их хоть немножко приглядывать за вагонами, руководить пассажирским населением. Проводники — мужик, опухший от пьянства, и остервенелая баба с разбитым фонарем — с упорной настойчивостью искали тех, кто выбил стекло в туалете, открыл его и наделал им столько беспокойства. Поиски ни к чему не привели. Проводники с досады начали проверять билеты, наводить порядок, посбрасывали на пол какие-то узлы, мертвецки пьяных пассажиров. С десятков едущих зайцами личностей выдворили вон, кого-то сдали комендантскому патрулю, кого-то куда-то переместили согласно документам и билетам. В результате краткой, бурной деятельности железнодорожников молодежны Хахалины оказались в середине вагона. Женяра даже



прилепилась одной ягодицей на нижнюю полку, вступила в контакт с ближними бабенками, которые в конце концов стеснили себя так, что и вторая невыразительная ягодица оказалась при месте.

Коляша и еще несколько мужиков солдатского ранга стояли, бросив локти на средние полки, и дремали в таком вот положении, потому что с того момента, когда, соскучившись по человеческому обществу, супруги покинули уютный туалет, в чем Коляша давно раскаялся, и достигли полки, прошло почти полсуток, наступила еще одна ночь, все люди должны были отдышаться.

Нога с раскрошенным коленом, не раз оперированная, долгого стояния не выдерживала, ноге ходить, двигаться потребно, а стоять на ней невыносимо — ломило все кости, таз, спину. Колено раскалялось, и горячая струна стягивалась, резала ногу пополам, наступало онемение конечности, тупая боль взяла в горсть сердце, стиснула его. И хотя Коляша перемещал тяжесть тела на левую, целую ногу — быть дальше в таком положении становилось невозможно, он чувствовал, что вот-вот упадет, провалится в гущу людей, в ноги, в узлы, в чемоданы, ведра, сумки... все тогда загремит, люди всполошатся, подумают, что мужик этот пьяный или припадочный.

Катили уже двое суток, но до Киева все далеко. Как же доехать до Урала? Как достичь обетованной русской земли и выдюжить? Там не было войны, и поезда подикаходчее идут, не останавливаются у каждого столба, не пережидают какие-то спец, экстра, особого назначения составы, не сбавляют скорость то там, то сям до пяти километров в час, потому как путь «сшит на живульку» еще во время наступления наших войск на запад, пока еще не дошли до него руки. Трусливо дрожа, ржаво скоргоча железом, поезд подкрадывался к мостам, которые держались на чем-то, чаще всего на деревянных клетках, скрепленных скобами, зыбко покачивались, прогибались под тяжестью состава рельсы над бездной, поезд готов был рассыпаться вместе с мостом и рухнуть с сонным народом в холодные воды какого-нибудь Псёла, который и на карте-то не на всякой обозначен.

Но как же радостно, как же бодро, словно жеребенчишко, вырвавшийся на волю из тесной конюшни, кричал паровоз, миновавший никому не известный мостишко через никому не известную речушку, дергал он тогда, тряс людей в вагонах: слышите, мол, слышите?! Движем-

ся! Прем вперед, может, когда-нибудь, куда-нибудь да доедем!.. Де-эржись, ребята-а-а-а! Не-э-э-э плоша-ай!

Коляша в полуобмороке застонал. Женяра потянула его за рукав бушлата на свое место. Меж ведер, в узлы, в свалку вещей, ног, туловищ засунулся Коляша и не сразу услышал свою остамелую ногу, пошевелил пальцами и почувствовал, как мелко-мелко все в нем дрожит от перетруды сердца, как само оно уравнивается, входит в берега, снимая жар с тела, раскаленного от перенапряжения.

Бывают же счастливые, благодатные минуты в жизни!

Так, меняясь местом, молодожены дожили до утра. Коляша сообразил опрокинуть вверх дном чем-то наполненное ведро, сел на него и, положив голову жене на колени, малость поспал. Взяв в перекрестья рук голову и спину Коляши, Женяра оберегала его от толчков и маленько грела руками, все еще шершавыми от мытья солевой водой и керосином.

Проснулся Коляша от бесцеремонно-наглого, пересохшего голоса:

— Эй, «маршál», в рот те пароход! Спишь, а скоро станция. Я щас ссал в окошко и семафор концом зацепил!.. Го-го-го!

Остряк захохотал первым. Он лежал на второй полке. Выше него, на третьей полке, ютился «маршál» — плюгавый сержант с наклепленными на погоны и петлицы значками, эмблемками и блескучими нашлепками. Спустившись к своему корешу, он попросил дам отвернуться и довольно ловко, привычно, видать, справил малую нужду в окошко.

— Ваша правда, «мой генерал», скоро станция! — подтвердил он. — Готовьтесь опохмеляться.

И в самом деле поезд скоро сжало тормозными колодами, дернуло, осадило, он начал сбавлять ход.

Население «купе» было разнородно. Притиснутая к окошку, спала и всю ночь всхлипывала во сне молоденькая, белобрысая девчонка. Против нее с ребенком у груди, широко открыв рот, спала женщина средних лет. Сторожко к ней прикинув, то и дело вскидывалась, что-то поправляла на бабе и на ребенке, подремывала чуткая, еще крепкая телом старуха. Подле старушки и женщины ютилось трое ребятешек школьного возраста, дальше — одетый в бензином воняющий ватник, глыбой навалив-

шись на стену, ни разу не пошевелившись, грохотал всеми частями, винтами и гайками, сам, как догадывался Коляша, хозяин семейства. Два железнодорожника, очевидно, возвращавшиеся домой с восстановительных работ, братски обнявшись, посапывали возле девушки. Между ними и Женярой, уронив руки, ноги, отвесив нижнюю губу, растрепанную косу, спала еще одна женщина, некрасиво расшеперив колени, в которых котенком лежал в комок скатавшийся фартук. Что-то зашевелилось на противоположной средней полке, в воздухе, соря крошками сохлой грязи, закачалась деревяшка с криво стертым железным наконечником.

Народ просыпался, зевал, чесался.

«Мой генерал» — блатняк, как определил Коляша по выговору, — где-то проошивавшийся войну, возвращался куда-то и зачем-то, балагурил, гоготал, чувствуя себя самым главным победителем на земле. Девушка возле окна тоже проснулась, вытерла тыльной стороной ладони губы, подобрала волосы, надвинула на глаза уголок серенькой косынки и отвернулась, прислонившись лбом к стеклу.

— Ну, чё? — свесившись с полки, приставал к ней исколотый по груди, по рукам, «исписанный» по морде бритвой «маршал». — Чё снилось-то? Кавалер? Жених? Щупал, небось, стишки на ухо шептал? «Напрасны ваши совершенства, их вовсе не достоин я». И выходит, что? Выходит, что создан он для блаженства? Езданул чемоданчик и лататы! Гага-га-а! А ты и жопу расквасила... щастье так близко, так возможно...

— Отстань от человека! Отстань! — сказала пожилая женщина, остерегавшая семейство. — Ей и без того тошнее тошного... И дети тут. Оне от немцев сраму навидались и наслушались, самолучшего, привозного... Тихона разбуду — он тя скоренько уймет! Вылетишь в окно, што воробей!

— Да я... Да...

— Тихо, «маршал», тихо! Спертая паровая и половая сила перед тобой. Гляди на детей и учитывай, «маршал», свои, возможности...

— Бабуль, а, бабуль, скоко твоему-то?

— Скоко-скоко? Зачем тебе? Ну, тридцать восемь моему Тихону.

— И уже четверо?

— Не четверо, а пятеро. Один в вакуацию с пионерлагерем попал. И где он счас, родимой? Найдем ли? — за-

сморкалась женщина, — да двоих малюток еще схоронили под немцем...

— Во-от эт-то да-а-а! Во-от эт-то рабо-о-отник!

— И работник! И заботник! Не вам, процелыгам, чета! Опора державе, надежа народу.

Тем временем поезд остановился на какой-то дымной и мрачной станции. К нему со всех сторон, будто на приступ, ринулись торговки и опять забегали вдоль поезда, от окна к окну, закричали, забренчали своими котелками пассажиры.

«Маршал» и «мой генерал», опустив в котелке деньги за окно, подняли в обмен лепешку, сорящую отрубями, вареную горячую картоху, огурцы, помидоры, полную пилотку груш и яблок.

— Во дерут, с-суки! Во дерут! Пользуются, что с вагона выйтить нельзя... — лаялся «маршал», а «мой генерал» в это время рядился: — Не-э, не-э. Ты сперва дай попробовать. Не-э, так не пойдет! Нам уж продали разок водичку! Больше не наякорите! Давай-давай!

В аптечном, грязном пузырьке, подобранном, должно быть, под ногами, подана «проба». Ее понюхали, лизнули по очереди «маршал» и «мой генерал», инвалиду-соседу, выдать, старому специалисту по напиткам, дали лизнуть.

— Да вроде бы ниче, не особо разбавлена.

— За двести, барыга! Даю двести.

— Ни-и, — раздалось из-за окна. — За двести покупай у другом мисти! В нас дровы дороже...

— Да вы ж уголь тырите!

— За вуголя стреляють.

— Н-ну, падла! Ну двести с полтиной! Ну триста, падла! Нету больше! Ну... С кого дерешь-то? С фронтовиков-страдальцев, а? Ну, ни стыда, ни совести! А ну, кореш, высунь ногу в окно! Да не ту, не ту! Деревянную! Во, с кого ты дерешь! Во кого ты, вонючка, терзаешь своей спикующией...

Бутылка, прихваченная грязным бинтом за горло, взметнулась на деревяшке вверх. «Маршал» поймал ее, будто рыбину, прижал к груди: «Оп-ппа-а-а!» — и, погладив трепетной ладонью, поцеловал в доньшко.

— М-мух, родимая! М-мух, погубительница рода человеческого! — и заблажил с подтрясом: «А без дених жиысь плах-хая, не годицца н-ни-куды-ы-ы-ы!..»

Жизнь в купе шла своим чередом, точнее, не шла, ехала. Люди встряхивались, приводили себя в порядок. Наверху пили, веселились, внизу деловитая женщина, намочив из бутылки тряпицу, обтерла лица ребятешек, свое лицо тоже утерла, из той же бутылки маленько попила. Девушка за столиком все так же притиснуто лицом к стеклу сидела, не двигалась, смотрела вдаль. Женщина потянула ее за рукав, подала бутылку. Девушка, неумело отпив из горлышка, выдохнула: «Спасибо!» Питухи сверху то и дело предлагали ей тяпнуть, протягивали кружку. Девушка никак на это не откликалась. Мать Тихона меж делом поведала молодоженам историю, приключившуюся в пути с девушкой.

В то время люди, в общем-то, не женились, сходились, как Коляша с Женярой. Бывали, и нередко, случаи, когда мужики, а то и проходимки-бабы «подженивались». Истосковавшиеся где-то в трудармиях, на путях, в казармах, в спецподразделениях девчонки, молодухи и вдовы, подхваченные всеобщим возбуждением, сжигаемые долго сдерживаемыми страстями, попавши в скопища людей, с ходу, с легу соединялись с кавалерами, пылко падали на грудь избраннику, и не раз такие вот союзы кончались несчастьем. Мошенник-кавалер уносил с собою хранимое, нехитрое девичье имущество.

Вот и эта младая спутница лишилась осчастливившего ее кавалера — ушел, смылся в ночь возлюбленный и чемоданишко прихватил. А она по мобилизации работала на восстановлении путей, ломала наравне с трудармейцами, кое-что заработала, скопила, выменяла на тяжелую рабочую пайку, ехала вот домой с небогатым, зато своим имуществом.

— Ладно еще, говорила старая женщина, — в тесноте, в многолюдстве не добрался ушкуйник до главной девичьей ценности. Имущество — дело наживное, но если у девушки пломба сорвата, — тут уж дело непоправимое.

Велись и долго будут хитроумно вестись подсчеты потерь в хозяйстве, назовут миллиарды убытков, невосполнимый урон в людях, но никто никогда не сможет подсчитать, сколько дерьма привалило на кровавых волнах войны, сколько нарывов на теле общества выязвила она, сколько блуду и заразы пробудилось в душах людских, сколько сраму прилипло к военным сапогам и занесено будет в довольно стойко целомудрие свое хранящую нацию.

Пока Коляша предавался глубоким, современным мыслям, тройца наверху опохмелилась, начала картежную битву. Валёк — так звали «моего генерала» — играл с теми, кто ехал на крыше вагона, посредник меж играющими, инвалид на деревяшке, сноровисто переправлял вверх карты с «ходом» в котелке, привязанном к изношенным обмоткам, принимал подачу обратно. То и дело слышалось: «Туфта!», «Шнекарь!», «Понтит, псина, понтит!», «Эй, на халупе!..». Валёк, вылезши в окно, ухватившись рукой за козырек водоотвода, лаялся с кем-то из верхних игроков. «Маршал» и инвалид держали его за ноги.

— Я тя спущу с хавиры и приколю к опшэстvenному нужнику финкарем, если только будешь туфтить. Веди игру честно!..

На полувосстановленном мосту с низко провисшими, негабаритными перекрытиями народ на крышах пал в лежку. Слух пронесся: несколько человек все-таки снесло под колеса, тех, кто был привязан к трубам вентиляторов иль по пьянке забылся, — размозжило.

Слухов по густонаселенному, давно и тесно живущему поезду ходило не меньше, чем по переселенческим баракам где-нибудь в таежном поселке, и прорицателей было полно, и певцов, и нищих, и воря, и торговцев разными товарами, в том числе и фотками, переснятыми с поганых немецких открыток. Игроки накупали снимков целую горсть, перебирали, комментировали:

— Ну-ну, с-эка, чё делат, а?! Наши так не умеют! Уж на что у меня маруха на Екибастузе была, на все дыры мастерица! Да куда ей до заграницы!

— Подучатся!

— Гли, гли, как он ей!.. Н-ну, падла, не могу. Терпенье мое лопається!.. Эй, ты, невеста без места! — навис Валёк с полки, тыча снимок девушке в нос. — Гли, учись!.. Как переймешь опыт, лезь сюды! Ну, чё ты? Чё ты рыло воротишь? Денег дам, накормлю!..

На том самом, полуаварийном, негабаритном мосту оторвало котелок с картами, и он, брякнув о переплеты, кружился в воздухе, пока не шлепнулся в воду:

— Полтыщи за колоду карт! — заорал Валёк голосом Карла Великого, сверзившегося во время боя с седла с криком: «Полцарства за коня!» — Ну, тыщу!..

В это время в вагон вошел отряд военных, проверяющих документы. Старший из них, видимо, был уже на-

слышан о вольнице в этом вагоне, да и Тихон, глава семейства, не подававший вроде бы и признаков жизни, при приближении патрулей вытащил пачку документов, стянутую красной резинкой и, указывая наверх, сказал:

— Вы не нас, вы их вон, шпану эту, как следует проверьте да этапом куда следует отправьте. В общественном месте им, паскудникам, быть не полагается.

Когда «моего генерала» и «маршала» повели из вагона, а присмирившему инвалиду погрозили пальцем, Валёк прошипел: «Финарь по тебе тоскует!» — рогаткой пальцев хотел ткнуть в глаза Тихону, но тот неожиданно проворно перехватил его руку и крутанул так, что в блатяге что-то хрустнуло, он осел на пол, уронив ведро. Тихон подержал его мордой к полу.

— Попадись мне — ноги из жопы выдерну!

На полках разместили ребятишек и жену Тихона. Постелив шинеленки, сунув узел с манатками в голову, супруги Хахалины легли на нижнюю полку и по переменке спали до самого Киева, куда прибыли глухой ночью, и там, конечно, никто никого не ждал.

Киевский вокзал чудом не рухнул до основания — в нем сохранился нижний этаж, и, сидючи пока на улице, в закутке, возле стенки, впритирку к военным, Коляша услышал еще одну чудную притчу, которых в те годы возникало и ходило тьма. Вокзал этот, якобы, был строен по французскому проекту. Но нашим, российским строителям, фундамент, крепления, перекрытия и прочее показались весьма и весьма хлипкими. Они увеличили мощность главных узлов вдвое или даже втрое. Немцы ж народ шибко грамотный. Он, немец, и убивает, и разрушает все по науке. Так вот, немцы заложили в киевский вокзал взрывчатку с расчетом на французский проект, рванули германской взрывчаткой, и по германскому разумению вокзал должен был разрушиться. Но проект-то французский, динамит немецкий, да вокзал-то наш, российский, и хрен возьми — обвалившуюся на него тяжесть первый этаж удержал, и народу достался весь обширный нижний зал вокзала, к которому было уже кое-что пристроено, примазано, прилеплено. На втором этаже начались восстановительные работы.

Как часто немецкий порядок, сталкиваясь с беспорядком советским, терпел сокрушительное поражение! Если

б фюрер и его сподручные учли, с каким невиданным бардаком они столкнутся, может, поняли бы, что заранее обречены, глядишь, и войну не начинали бы...

На киевском вокзале и в окрестностях его скопилось более тридцати тысяч одних только военных пассажиров. Чтобы получить по продталонам паек — булку хлеба и две селедки — надо было стоять за ними не менее трех суток. Уехать пассажирским поездом из Киева практически было невозможно. Помочь могли бы только сила, наглость и взятка — ничем этим Коляша с Женярой не располагали.

Утром, когда ожил, зашебутился народ, Коляша понял, что одну, очень большую оплошность он уже сделал — надо было ночью сходить в уборную, непременно велеть сходить туда и Женяре. Коляша простоял в очереди к заветному очку более часа. Из уборной в воронкой продавленный бетонный пол вспененным потоком хлестала моча, неся в бойких струях окурки, плевки, всякие бумажки, тряпочки.

Поток мужиков раздвоился, и второе, более шустрое крыло взяло направление в женский туалет. Оттуда тоже скоро вылился вялый, но с каждой минутой мощи набирающий ручей. Воронка среди вокзала переполнилась. Из нее устремился ручей к порогу, через порог, через перрон, на пути.

Бабенки танцевали и ныли возле своего туалета, зывали к мужижкой совести. Да куда там?! На ходу водворяя на место добро, деловито застегивая ширинки, иные военные еще и пошучивали, один зло бросил на ходу:

— Обоссали офицерские блиндажи на войне, подмочили крепкие наши тылы, теперь приучайтесь в штаны!..

— Ах так! Вы еще и глумиться! — закричала мужеподобная женщина-майор, с танками на погонах и, выхватив из кобуры пистолет «ТТ», казавшийся огромным и нелепым в ее неожиданно красивой руке, половину обоймы высадила в потолок.

— Ря-а-ату-уйте! — заорали наверху.

Произошло смятение, спрашивали, кто кого убил. Мужики шарахнулись от женского туалета. Крикнув: «За мной!» — майорша с обнаженным пистолетом вошла под низкие своды сортира, загазованного, что вредный химический цех, и оттуда в панике сыпанули бравые вояки, иные со штанами в беремя.

— Быстро, пока мужики не очухались от потрясения,



рви! — скомандовал Коляша. Женяра юркнула в женский табун.

Только на вторые сутки молодые супруги втиснулись в тесноту вокзала. «Держи деньги в темноте, а девку в тесноте!» — усмехнулся Коляша. Молодая супружница Хахалина почти не ела, не пила. На улице ночью шибко они промерзли, — раскашлялась она, жалась к Коляше, пытаясь согреться. «Не заболела ли?» — испугался Коляша. Внезапно его осенило: есть и пить Женяра старается меньше и потому, что продукты кончаются, и еще чтоб реже ходить в туалет.

На вокзале и вокруг него царило пьянство, воровство, разухабистость богатеньких военных, едущих из-за границы, и полное уныние таких, как супруги Хахалины, а было их тут большинство. Комендатура лаялась, гоняла людей с места на место, особенно сверху, где шли работы, и чтоб не обрушилось чего вниз, на людей; без конца проверялись документы. Расспросить, узнать что-либо и где-либо было делом бесполезным. Железнодорожные служащие прятались от военных, в военных же службах только надсадно орали и грозились. Тех, кто решался идти на власть грудью, скручивали, уводили под арест.

Действовала тысячелетиями отработанная беспрогрышная военная система: ты всем обязан, тебе — никто и ничем.

По вокзалу и его окрестностям катились слухи, и самый из них упорный: будут формироваться спецэшелоны из теплушек — до Урала, Сибири и Дальнего Востока, чтоб разгрузить от людского месива западные вокзалы, станции и дороги. Будто бы один такой эшелон уже ушел — до Саратова или на Москву. Но пока что по киевским путям безостановочно неслись эшелоны из-за рубежа с демобилизованным народом, не останавливаясь по той простой причине, что беспризорный военный люд брал в осаду эти поезда. Поговаривали, будто поездные бригады и локомотивы меняются и заправляются в Дарнице, за Днепром, Может, туда отъехать? Но как? На чем?

Колебания и сомнения Коляши ахнулись после совсем уж безобразной сцены, случившейся на вокзале среди бела дня. Любви тут завязывались и происходили без конца и на виду у всех. Ночью парочки разбредались по ближним развалинам, прятались и дружили там. Темный и суровый ликом офицер в окопной, псиной провонявшей шинеленке мял, мял под этой боевой шинелью податливую бабен-

ку и вдруг повалил ее на пол, разорвал на ней исподнее, начал в каком-то жутком порыве растерзывать женщину при всем густом народе. Хохот, свист, возмущение, ропот, шуточки, команды со всех сторон. Кто-то из самых веселых парней начал детскую считалочку. Бабенка не вывертывалась из-под мужика, только выстанывала, закрыв глаза обеими руками: «Господи, прости! Господи, прости!..»

Прибежал патруль. «Прекратить безобразие!» — закричал старший патрульный с портупеей через плечо. Офицер никак не реагировал на его клич. И тогда, взвизгнув и затопав ногами, багровый от стыда и возмущения, патрульный цапнул сладострастника за сапог, а тот, оскандившись, выхватил пистолет. Хватило работника ненадолго. Он упал лицом на захарканый пол, оттолкнул бабенку и, полежав какое-то время, застегнулся, протянул патрульному пистолет, указывая кивком головы на женщину:

— Ее не троньте... пожалуйста! — и пошел впереди патрульных.

Бабенка, подбирая на себе рвань, ползком-ползком к своему узлу да и на улицу и где-то уж за вагонами, на путях пронзительно закричала. Думая, что она бросилась под поезд, Коляша вместе с любопытной толпой вышел на пути. Там шла обычная маневровая работа, все было спокойно. Понаблюдав за работой маневровой бригады, дождавшись, когда паровоз остановится, Коляша угостил составителя поездов табачком, подготовленным специально на этот случай, поговорил с бригадиром о том, о сем и спросил, нет ли у них пути на Дарницу. Бригадир ответил, что сейчас вот всю подборку порожняка бригада делает на Дарницу, возможно, даже своей маневрушкой и поволокет туда сцепку, паровозу пора заправляться.

— Люди! Машинист! Механик! Увезите в Дарницу! Пропадем мы тут с моей бабенкой.

— А ты думаешь, в Дарнице легче?

— Пусть на тридцать верст будет ближе к дому, — пошутил Коляша. — У меня салишка кусок есть, самогонки немного...

— Ну, что с тобой делать, брат-кондрат? — молвил со вздохом машинист. — Поедете в тендере. Из угля голов не высовывайте! Не один ты такой догадливый. На мосту постовые сымают вашего брата, мне нагорит.

Женяру уж ничем было ни удивить, ни испугать, тем

более паровозным тендером. Как мышка-норушка, зарылась она в уголь. Коляша рядом примостился. Тронулись! Поехали!

Залязгало, загрохало над ними и за ними. Сверху искры летят, да все горячие. Душит супругов густущим смоляным дымом — сырой, паршивый уголь на маневрушки дают. На мосту, не совсем еще восстановленном, тендеришко разболтало, разбайкало, что люльку ребячью, того и гляди, вывалятся молодые люди в Днепр-реку, а в ней вода глубокая, холодная — Коляша изведал позапрошлой осенью и сейчас невольно ужасся, съежился в себе. Зато дым отнесло вниз, под колеса, закручивало его в узлы, по реке растягивало, над водой волокно.

Моргнуть глазом не успели молодожены — вот и Дарница! Выгружайся, народ! А как выгрузились супруги Хахалины, глянули друг на друга — винтом пошли, Женяра в одну сторону, Коляша в другую — так их устряпало за короткую дорогу, что и не узнавали они друг друга. Крепкие белые зубы молодой жены сделались еще белее, но смех ее перешел в хриплый, долго не унимающийся кашель. Подались к водокачке — отмыться, водички попить, поесть маленько и осмотреться, провести рекогносцировку, — как говаривали братья-артиллеристы.

Со временем Коляша прочтет и узнает, что они с молодой женой в точности повторили путь романтических влюбленных — лейтенанта Шмидта и Зинаиды Ризберг, только пламенный революционер и утонченная, книг начитавшаяся курсистка проделали путь от Киева до Дарницы в полупустом мягком вагоне, на красным бархатом обитых диванах, а освободители мира от фашизма, спасители отечества, приумножившие и без того громкую славу родных вождей и полководцев, — в грязном, водой от пыли облитом угле.

В Дарнице было чуть полегче и почему-то потеплее. Молодожены просто не заметили, что помягчело в природе, — первые холода пробно прошлись по земле и по народу, упредительно пощупав их за слабо, по-дорожному легко прикрытые тела, сделав разведку боем по лесам и полям, по царству зверей и людей, холод приник к земле, обратился в мокро, начал парить и гноить то, что удалось сшибить с деревьев, с колосьев, с зевастых подсолнухов и цветов. Чернела прель под зимним солнцем. Чернели поля

и леса по-за станцией, но ярко, празднично светилось то, чего холод не достал, не убил, не скрючил, не уронил.

Молодожены, навалившись друг на дружку плечами, сидели в привокзальном скверике, подремывая на солнышке. Тут на них и налетел суровый работник комендатуры станции Дарница, приказал показать документы. Пока начальник внимательно рассматривал бумаги, Коляша рассмотрел его. Хоть и молод лейтенант, но навоевался досыта, ордена и нашивки о ранениях виднеются за бортами распахнутой офицерской шинели, губу покривило контузией. Чем-то он очень сильно напоминал командира взвода управления артиллерийского дивизиона Пфайфера. Недолго тот воевал, не успела война научить его осторожности, воспитатели же приучали парня к бесстрашию, к жертвенности во имя идей светлого будущего. Был он из образованной семьи, его представления о доблести, о мужестве и славе были почерпнуты из книг, из бесед школьных пионервожатых и тыловых комиссаров, потому и поспешил он отдать жизнь свою и отдал скоренько, не намучившись в окопах.

И вот лейтенант, очень похожий на Пфайфера, — Коляша чуть не спросил его фамилию, — сменил суровость на милость, расспросил супругов Хахалиных, каким путем и зачем попали они в Дарницу, шевельнул кривой загогулиной плохо пробритого рта:

— Муж с женой. Это другое дело. А то милуются тут по кустам всякие... — он уже пошел, но обернулся: — Я буду иметь вас в виду.

— В виду. Иметь, — начал заводиться супруг Хахалин, но молодая жена резко дернула его за рукав, остепеняя. Ой, сколько раз ей придется повторять этот жест, сдерживающий горячность мужа. Сколько пролить слез, научая его степенности в речах, остерегая от губительных действий, да все ее усилия по перевоспитанию мужа или хотя бы пробуждению степенности и благоразумия — особого успеха не имели.

Прошла еще одна ночь.

Утром у солдат с проходящего эшелона Коляша купил булку хлеба по сходной цене и в то же утро под воздействием воспоминаний о фронтовом братстве, о светлом образе офицера Пфайфера и лейтенанта из винницкой комендатуры совершил он еще одну, весьма поучительную ошибку. Увидев, что к воинскому эшелону прицеплено три зеленых вагона с кремовыми занавесочками и воз-

ле них прогуливается чистенький, излучающий приветливость генерал-майор с круглой попкой, с брюшком кругленьким, с подбородочком репкой, луночкой украшенным, все, все, особенно детский носик, располагало если не к вольности, то уж к приветливости всенепременно. Сплетя на груди руки меж лапами расстегнутого мундира, накинутого на плечи, генерал прогуливался вдоль состава, дышал свежим воздухом. Мирная ли осень, земля ли в последнем увядании и багрянце, облик ли праздно прогуливающегося генерала и подвинули фронтовика к не совсем продуманному действию. Коляша подзаправился, подобрался и заступил дорогу генералу, который, слышалось солдату, тихо и проникновенно произносил: «Роняет лес багряный свой убор...»

— Здравия желаю, товарищ генерал! — бодро заявил Коляша, прикладывая пальцы к пилотке. Вспомнил вдруг, что везде и всюду в армии повторяют поучительную заповедь: «К пустой голове руку не прикладывают», — и тут же понял, что сделал он глупость, неизвестно которую по счету в жизни, уже и за дорогу эту немало их сотворил, но отступить было поздно. Коляша залепетал о том, что он, бывший фронтовик, ранен, едут вот с женой, тоже фронтовичкой, на Урал, деньги и продукты на исходе, так нельзя ли им, пусть бы хоть в тамбуре, или в коридоре...

Взгляд генерала медленно пробуждался, он еще не видел, не различал солдата перед собою, да и не слышал, он все еще глядел сквозь человека на багряный осенний лес и, шевеля губами, шел дальше, сквозь время, сквозь свет, сквозь солдата, так и не поняв, кто это перед ним мельтешит и издает какие-то звуки. Никогда, нигде, никто не смел заступать ему дорогу, тем более — беспокоить просьбами. Глас земной, солдатский так и не достиг его сознания, не потревожил вельможный слух.

— Извините! — жалко молвил вослед генералу Коляша, да еще чуть и не поклонился. «Э-э-эх, Колька-свист, разудала твоя голова! Размундяй ты, размундяй! Учит тебя жизнь, учит, да все никак не научит...»

Генерал подхватил спавший было с плеча мундир и, огрев Коляшу не просто негодующим, но испепеляющим взглядом, молодежато вспрыгнул на подножку вагона. Сырым плевком лепился солдат Хахалин на междупутье и вновь осознал давно известную истину: чем выше чин, тем убийственнее от него происходит унижение, и потому впредь не лезь вверх ни с какими просьбами, не нару-

шай той границы, которая пролегла меж верхним и нижним эшелонам.

— Эй ты! А ну отойди на х... от вагона! — на подножке генеральского вагона, чего-то дожевывая, повис молодой солдат, свеженький лицом, с еще только начинающимися усами, с комсомольским значком на новенькой гимнастерке.

— Ты это мне?

— Тебе, тебе! Кому ж еще? Шляется тут всякая поебень...

— Спустишь на землю. Я плохо слышу после контузии.

Солдат, чего-то ворча, прыгнул с подножки, и пока он нехотя, надменно надвигался, Коляша поднял с между-пути скошенную, вроде арабской сабельки загнутую тормозную колодку — одного удара ею достанет, чтоб отучить этого молокососа навеки не только лаять на людей, но и жевать генеральские объедки.

— А ну, повторяй за мной: «Дяденька боец! Я прошу вас, отойдите, пожалуйста, от генеральского вагона».

— Да я...

— Расколю башку. Пока твои бздилоходы тебя хватятся, ты вонять уж будешь! Н-ну! Ну! Как тебя учили в пионерском лагере? Как учат вас в комсомольской организации?

— Дяденька боец... я прошу вас...

Не дослушав молодого холуя, вымучивающего вежливые слова, Коляша брезгливо отбросил мазутом облитую колодку и сказал, хлопая его по плечу:

— Держись за свое место! Псом дворовым будешь, зато глотать жирные кости станешь, спать в конуре, под крышей, на сухой подстилке. Не то что некоторые...

Около вокзала, съездившись, засунув руки в рукава, покашливая, поджидала своего супруга посиневшая от вдруг потянувшего с Днепра холодного ветра, сиротливая женщина. «И зачем мне все это? — сокрушался Коляша, — вокзалы, холуи, бардак этот вселенский? Куда я еду? Куда меня влечет? Зачем? Семей, видите ли, обзавелся, пристяжку спроворил! Добирал бы остатки урожая в украинском совхозе «Победа», дрова воровал бы, яблоки тряс по садам, напившись самогонки, ходил бы с мужиками плакать на братскую могилу по великим праздникам...»

Среди ночи супругов Хахалиных, прижавшихся за нетопленной печкой дарницкого вокзала, отыскал запаленно дышащий сержант и приказал, чтоб они скорее, с манатками — к лейтенанту.

— Ну, вояки! — пошевелил где-то возле уха концом рта лейтенант. — Ваша скромность и смирение вознаграждены! Не надоедали мне и всем добрым людям, и за это вот он, — указал лейтенант на заулыбавшегося сержанта, — посадит вас, незаконно, в незаконный вагон, и вы, может быть, незаконно доедете до Москвы.

Оказалось, что все эшелоны с войсками, идущие из-за рубежа, имеют вагоны-прикрытия — два четырехосных вагона, в которых можно было бы уместить две сотни демобилизованных душ. Вагоны, стоящие между паровозом и эшеломом — на случай аварии или диверсии в пути, — должны «прикрыть», самортизировать весь остальной состав, словом, смертники-вагоны. В общем-то, это то же самое, что загородить собой товарища комиссара от пули врага или закрыть грудью амбразуру. То есть никакого в этом здравого смысла не было. Загородить грудью, в особенности женской, хоть кого и хоть чего можно только в кино, но загоразивать груженные вагоны пустыми вагонами — это даже для кино, пусть и самого патриотического, не годилось, потому что при экстренном торможении груженные вагоны, нажав на негруженные, просто выдавили бы их наверх, как пустые, хрупкие спичечные коробки.

Строго-настрого наказав молодоженам, чтоб в вагон они влезали без шума и никогда, никуда, ни под каким видом больше не вылазили, «даже если будут оружием пугать», ну и не выдавали бы его и товарища лейтенанта, сержант подсадил Женяру и хромого ее мужа в вагон.

— Счастливо-о! Эх, и мне бы скорее домой! Я бы хоть на чем...

Женяра с Коляшей думали, что в вагоне поедут одни, и боялись этого — полное ж бесправие, любой бандит под видом патруля пришьет и фамилию не спросит. По напряжению, которое передалось Коляше, он чувствовал, что спутница его боится тьмы и дороги, нащупал ее рукой, приободрил.

— Да закройте вы двери! Кто там? Высадят всех к херам! — раздался голос в темноте, и слабый, угольно светящийся фонарик, пометавшись по темному пространству, к радости супругов, обнаруживших, что вагон полон спящего народа, указал им в дальний угол вагона и даже

подержал там пляшущее пятнышко света. Коляша захлестнул притвор вагона и осторожно пробрался к жене — она что-то подстелила, какую-то тряпицу на хрустящее на полу стекло, шлак, угольную крошку, поймав мужа за руку, потянула вниз и, когда он прилег головой на рюкзачишко, уютно подлезла к нему под бочок.

— Я так рада, что мы едем!

— Погоди ты еще, не говори «гоп»... Не нагрязнул бы патруль.

Женушка угнездилась у Коляши под боком и уснула, греет чуть слышным теплом и даже во сне осторожным дыханием. «И чего это я психанул-то? Она-то при чем, если кругом такое творится! У нас ведь уж, если бардак, то обязательно грандиозный, если урожай — то стопудовый, если армия, то самая непобедимая!.. Допобеждались вот. Да и сам ведь вспоминал, как на фронте спать ложились обязательно головой к чему-то, солдат к солдату теснее жался, а женщина, одна на таком ветру, в такое дикое время само собой норовит к кому-то прильнуть, заслониться....»

— Поехали, механик, поехали! — раздалось за вагоном. — Сто четвертый поджигает.

— Поехали, так поехали...

Коляша с удовольствием еще послушал переключку помощника машиниста с машинистом. «На выходе зеленый». — «Вижу на выходе зеленый...» — и уснул под «зеленый», потому как не спал ладом уж несколько суток.

И когда раздалась грозная команда: «А ну, выходи из вагона! Кому сказано? — и увидел наставленные с улицы два черных автоматных дула, не сразу понял, где он, что с ним, и не вдруг опустился обратно на священную советскую землю, охраняемую самыми справедливыми строгими законами.

— Опять началось! — запричитал рядом с Коляшей пожилой, давно не бритый солдат. — Чё вы нас на каждой станции гоняете, чё нервируете? Мы вам пленные, чё ли? Враги, чё ли? Мы домой едем!..

— А ну прекрати трепаться! — гаркнул старший патруля, младший лейтенантишко, и запрыгнул в вагон, сверкнув до блеска начищенными хромовыми сапогами. — Сейчас же! Сейчас же очистить вагон!

Никто в вагоне не сделал никакого движения.

— Я кому сказал?! — младший лейтенант по-грязному обматерился. Был он в нарядном картузе, в диагональном



обмундировании, перетянутый в талии, со значками, портупей, весь вычищенный, выглаженный, праздничный.

— И не стыдно твоей сытой роже? — покачал головой все тот же пожилой солдат. — Ты посмотри, на кого орешь! Над кем изгаляешься!

Младший лейтенант осмотрел вагон внимательней. Коляша, приподнявшись, тоже осмотрел население вагона. Были здесь, в основном, военные и, в основном, битые-перебитые. Были и гражданские. Но женщина всего одна — Женяра.

— Не положено! — стараясь удержаться в повелительном, начальственном тоне, снова начал младший лейтенант. — Вагоны должны следовать порожняком. Это опасно для жизни...

— Для чьей?

— Для вашей, разумеется.

— Ну, о наших жизнях не беспокойся. Мы такое повидали, что не дай тебе Бог во сне увидеть.

— И все-таки мне придется очистить вагон.

— Это кто так думат? — наступал солдат-сосед.

— Я!

— Ну, твое «я» ишло галифо твое не прожгло, токо оттопырило.

— Вы у меня запомните станцию Бахмач! Запомните! Сейчас патрули откроют огонь.

— По нам?

— По вам!

— Вали! Стреляй! Фашист немецкий не добил, дак свой, доморощенный...

— Это ты обо мне? — побледнел младший лейтенант.

— Я — фашист доморощенный?!

— Ты, ты! Вызрел! — не унимался пожилой солдат.

— Я тебе покажу — фашист. Я тебе покажу! Огонь! — скомандовал младший лейтенант своим подручным. И те, зажмурившись, дали очередь вверх.

— Эко напугал! Ты слыхал — нет, молокосос, половицу: не страдай девку мудям, она весь видала! Прошу, дамочка, прошшэнья! — поклонился вежливо солдат в сторону совсем зажавшейся в угол Женяры.

На выстрелы примчался начальник эшелона, тоже с патрулями, ладный такой капитан, при орденах. И когда, брызгая слюной, содрогаясь, негодуя, сбиваясь с пятого на десятое, младший лейтенант объяснил ему обстановку, вывизгивая: «Приказ наркома! Неподчинение! Арест! Три-

бунал!..» — капитан вскочил в вагон, любопытствуя, осмотрел присмирившее его население, покачал головой и, ободряюще на ходу улыбнувшись, спрыгнул на мазутную землю.

— Нам они не мешают, — заявил он распетушившемуся командиришке и, одернув на нем вылезавшую из-за пояса гимнастерку, добавил: — Ну и чё они тебе? Едут люди и пусть едут. Может, пересадишь их в пассажирские вагоны?

— Это не моя компетенция.

— Во какая грамотная гнида! — снова начал заводиться Коляшин сосед.

— Я тебя арестую! — заявил младший лейтенант.

— Попробуй!

Капитан увел своих, хорошо поддавшихся орлов, но на помощь младшему лейтенанту прибыл еще один отряд. Человек уже шесть с автоматами вертелось возле вагона, требовало, чтоб, если не все, то непокорный бунтарь вышел из вагона и встал под конвой, иначе будет хуже, иначе они задержат эшелон и нагорит всем, в том числе и безответственно себя ведущему начальнику эшелона.

Кто-то со стоном попросил в вагоне:

— Да выйди ты, отец, выйди. Либо помолчи. Высадят ведь, суки, всех. Это ж такие крючки...

— Кто крючки? Кто суки?

— Ребята! — громко, на весь вагон обратился к народу Коляшин сосед. — Где-то тут граната валялась? Дайте мне ее. Тряхну я эту шушеру. Довоевывать, так довоевывать.

Сосед туптил, нагонял на патрулей холод, понимал Коляша, откуда гранате взяться? Как вдруг с другого конца вагона поднялся высокий военный, и Коляша ахнул, узнав в нем того лейтенанта, что смял бабу на полу киевского вокзала. В руке его была зажата «лимонка», и так она была стиснута, что козонки пальцев побелели. Он решительно шел к патрулям, пляшущим пальцем пытаясь попасть в кольцо запыла гранаты.

— С-сыно-ок! — бросился наперерез ему Коляшин сосед. Запнулся за кого-то, упал, ловя лейтенанта за сапоги. — Сы-но-ок! Сдамся я имя! Выйду! Пускай заарестовывают! Не надо боле крови, сынок, не надо... Я ить пошуту-ы-ы-ыл...

Патрули побежали от вагона. Споткнувшись о рельсы, двое упали, уронили автоматы и не вернулись за ними,

ползя под вагоны на карачках. Лейтенант резко закрыл дверь вагона. Сделалось полутемно. Постоял у щелястых дверей, уткнувшись лбом в железо, повернулся и сказал скрипучим голосом, опуская руку с гранатой в карман.

— Я тоже попугал, отец. Успокойся...

Возле вагона шарились, шептались.

— Дак чё делать-то?

— Не знаю. Шарахнут гранатой, имя чё...

— И красавчик наш смылся куда-то!

— Галифе новое, видать, полощет у колонки...

— Да закрыть их к херам, и все! — за дверями вагона, скрипнув, звякнув, опустилась в железный паз щеклада. — Попомните станцию Бахмач!

В вагоне сперва сдержанно, затем веселее начали посмеиваться, не зная, что железнодорожный товарный вагон изнутри не отпереть, и, если долго придется ехать, — дело дрянь, считай, что в тюремном вагоне они, только в тюремном кормят, поят и до ветру выводят, здесь же хоть подохни — никто не побеспокоится.

Сосед, по фамилии Сметанин, пробирающийся в родное Оренбуржье, ввел в курс дела супругов Хахалиных: народ в вагоне большей частью пролетарского происхождения. Те, что катили из-за границы, еще кое-что имели из провизии, имущества и трофеев. Но страдальцы-госпитальники, нестроевики и пестрый люд, отторженный от армии, ее кухонь, пусть и с негустым, но все же устойчивым приварком, трудармейцы и всякие отбракованные, — эти бедовали уже давно и променяли все с себя, вплоть до нижнего бельишка. Есть в вагоне типы потаенные. Один из них, молодой парень в шелковом кашне и театральном костюме тонкого сукна, неизвестно зачем бывавший в Германии и чего там делавший, вез, например, полный чемоданчик камешков для зажигалок и намерен на них нажить капитал. Ведь если каждый камешек продать по десятке, — Сметанин постучал себя по шапке согнутым пальцем: «Во, голова!» Другой вез два чемодана масляных красок в тубиках. Сметанин по этой причине считал его художником и жалел его, блаженненького. Были военные, нахватавшие тряпок, барахла и потому боявшиеся выходить из вагона, оставлять без присмотра добро. Они неприязненно относились к пролетарьям, которым терять нечего, кроме военных цепей, просили что-нибудь купить им на станциях или променять и за это маленько делились добытым харчем с соседями. В ва-

гоне, слава Богу, не оказалось блатных и всяких разбитных картежников вроде «маршала» и «моего генерала». Небольшое, случайное сборище случайного люда в сухогрузном вагоне, в котором возили и зерно, и уголь, и вот поставили его прикрытием, поскольку была у вагона крепкая ходовая часть, да и коробка вагона почти новая — вагону этому работать бы, добро возить, вез же он в основном барахольщиков, скрытых, неразговорчивых, и, не будь Сметанина, Коляша с Женярой куда острее чувствовали бы свое одиночество после гомонящего, военным людом набитого вокзала.

Сметанин был высокий, плоский по спине и по груди мужик. На груди его с левой стороны болтались четыре медали, подстрахованные на застежках бабьими булавками, справа — два ордена Отечественной войны, «Звезда» и гвардейский значок. Питался Сметанин одними «концёрвами», по его определению, — конскими, хотя была это обыкновенная говядина — тушенка армейского назначения. «А жир? — возражал Сметанин. — Где жир-то? На дёнышке плюнуто, лавровый листок брошен, чтоб седельный запах отшибить... Конь это, конь, кляча колхозная, выбракованная, — мне ли не знать, как колхозный конь пахнет!..»

Слово «выбракованный» было самое любимое и привычное у Сметанина. На консервы, тоже, по его мнению, выбракованные, он уже и глядеть не мог. Когда Коляша с Женярой дали ему кусок хлеба, сальца, луковицу и яблоко, он чуть целоваться не полез.

— Да милые вы мои ребяташки! — пел Сметанин. — Да ешьте вы, ешьте эту выбраковану концёрву, коль глянется. Да пошто глянется-то? Возьмут варено мясо, в банку затолкают, харчок сверху — и ешь! Како это мясо? Его уж, вроде бы, ели и высрали...

В выборе выражений Сметанин себя не стеснял. Коляша понял, что у него это самый что ни на есть натуральный разговор. Спервоначально сосед еще спохватывался, приложив руку к медалям, кланялся в сторону Женяры: «Прошу прошшэнья, дамочка!», после совсем забылся, повествовал историю своих походов совершенно свободным, великим русским языком. По тому, как большую часть времени он проводил стоя на коленях, лежа на локте, Коляша догадался, что Сметанин из пехоты, тот несколько не удивился тому, что молодой сосед угадал род его войска.

— Из ёй, из ёй! Чтоб она, блядь, горела синим огнем на сырых дровах. Кабы не Чащин товарищ капитан, давно бы я землю не мучил и воздух с бракованных концервов не портил.

Сметанин был на фронте с сорок первого года и все в пехоте.

— Уцелей-ко, попробуй! — восклицал он. — И по госпиталям валялся, и под колеса танков попадал, и в землю заживо бомбами закапывало, и отступал, и голодовал, где-то в Белоруссии даже тифом болел и чуть в заразном изоляторе не сдох... Ну, думаю, теперь-то уж меня выбракуют и, если не домой, то хоть в какую-то, не в пехотную роту пошлют. Ведь ветром же шатает, а я пулеметчик. Где мне станок унести или хотя бы и ствол? Да без меня много желающих по тылам ошиваться, воевать подале от переднего края. Хоть верь, хоть не верь, друг мой молодой, денег скопил: шил и починял обутки командирские, ну и приворовывал, конечно, где курку украду, где гуся, где свечку, где топор, где часишки трофейные подберу, зажигалки, ручки писчие с голыми бабами. Ну, думаю, как ранют, я в тылу какому-нибудь ферту все это суну — и меня хоть ненадолго дале от бойни подоржат, хоть с полгода — отойти чтоб, укрепиться нервами. Но все не за нас, ни вошь, ни Бог. Херакнуло так, что мешок мой с трофеями в одну сторону полетел, я — в другую! И вот знаш, парень, уставать я стал. Вижу, ты вон тоже изукрашен, и меня поймешь. Хожу, как в воду альбо в помойку опушенный: что скажут — сделаю, не скажут — не надо, шшэлку себе, солдатскую спасительницу, могу выкопать, могу не выкопать; пожрать не принесут — ничего, добывать не стану... Обессилился, обовшивел, седина по мне пошла, буд<sup>то</sup> плесень по опрелому пню. Все одно, думаю, до конца мне не довоевать, маяться же я больше не могу, и, чем скорее меня кончат, тем скорее душа и тело успокоятся. Домой писать промежду прочим тоже перестал. Пусть, думаю, постепенно привыкают жена, дети к мыслям о моей потере. Ну, а в таком состоянии духа, сам знаешь, на передней линии огня долго не протянешь, там ты все время должен быть, как пружина, настороже, ушки чтоб на макушке, глаза спереди, глаза сзади, желательно, и на жопе чтоб глаза и уши были и видели, и чуяли чтоб все, потому, как сам себя остерегаешь, так и сохранишься в этом аду, и чтоб не тебя фашист, а ты его убил... Ой, парень, сколько я энтото фашиста положи-ы-ы-ыл! Еже-

ли на том свете будет суд Божий, меня сразу, без допросу и без анкет, в котел со смолой. Душегу-уууб! Хожу я, значит, землю копаю, пулемет на горбу вперед на запад ташшу и чую, скоро, скоро отмаюсь. Но там, — показал Сметанин в потолок вагона, — распоряженье насчет моей выбраковки ишшо было не дадено. А вот письмо от моей бабы пришло. На имя командира части. А у нас токо-токо ротного убило, новый ротный пришел. С батальона. Капитан Чащин. Ну, новый-то он новый, да дыры на ём старые. С госпиталя он поступил. Меня к ему и вызывают. Сидит в блиндаже мужик, худю-у-у-ущий, хворый на вид весь, как ворон черный. Я ишшо подумал — осетин, небось, альбо чечен. А он меня на русском чистогане: «Ты што распротвою мать, от семьи спрятаться хочешь?» — «Умереть я хочу, товарищ капитан». — «Чего-чего?!» — «Умереть, говорю, хочу. Все надоело». — «А вот тебе! — заорал капитан, тыкая себя кулаком в ширинку. — Хуеньки не хочешь?»

Бодрое, игровитое слово-то, навроде как детская побрякушка. Я с того момента слово это полюбил и на поправку пошел, душа в mine воскресать начала. Товарищ Чащин, он с понятием, он слово-то словом, но дело делом, коло себя меня держал, навроде как вестового и писаря. Какой из меня писарь? А сапожник и шорник хоть куды — с детства к шилу да к постегонкам приученный. Обшивал, обмывал, упочинивал, обувь тачал и командирам, и солдатам. Ночей не спал. Когда и коней почишшу, когда чего поднесу, подам, покопаю, раненых соберу. И вот под крыльшком-то капитана Чащина, дай ему Бог здоровья, да под командирскими накатами очухался я, и, когда меня снова во взвод возвернули, к пулеметчикам, — голой рукой меня не возьмешь! Я уж снова весь при себе, и нюх мой от пороха и гнилых соплей прочистился. Работат!

Н-на! А ить задурел я, о-ох, задурел!.. Это коды мы Берлин взяли и загуляли все: и офицера, и рядовые, — так я уж и от памяти отстал: ночь мне, день, немец, русский, узбек, татарин — все мне собутыльники! Всех я люблю! Волокут меня к Чащину, теперь уж к комбату, майору. Ты что, говорит, старый, обалдел, что ли? Так точно, обалдел, говорю, потому как жив остался и до се этому не верю. Он меня подтолкнул к окну — это мы под Берлином, в каком-то городе стояли, на берегу реки, может, моря, кажись, Ундермунде или Мундерунде — у него, у немца, рази запомнишь.

«Чё ты видишь?» — спрашивает товарищ Чащин, теперь уж майор, а я уж привык — все капитан да капитан. «Дома», — говорю. «А ишшо чё?» — «Ишшо, ишшо? Воду, — говорю, — вижу». — «А ишшо?» — «Боле ничё не вижу, товарищ капитан. Мне бы опохмелиться, тоды бы, может, зренье прорезалось...» — «Я тя опохмелю! Я тя опохмелю! Ты что, старая кляча, не видишь, што уж лето на дворе? Ты же с весны гуляш! Куда в тя лезет-то? Струмент сапожный потерял. Иль пропил... К немке, к молодой, по пьянке подвалился, бесстыжая твоя рожа! У тебя ж четверо детей! Дочь невеста! Мне уж жопу чесали за твои художества! Под трибунал попадешь!.. Ты же в армии, мерин сивый! Что, что победа? Ну, погуляли все, люди как люди, а ты, как хер на блюде!..»

И опять, в такой погибельный момент приблизил меня к себе товарищ Чащин, уж майор, — велел мне подавать, но помаленьку, чтоб постепенно голова прояснялась и сердце чтоб от неупотребления сразу не остановилось, чтобы тоже в границы входило. И все, парень, опять наладилось, пошло, как надо, — молиться век мне и моей семье на товарища Чащина. Но тут нас хлесь в ашалоны, да в Молдавию и перевели. Тама от нас товарища Чащина отозвали. Кто говорит, будто в академию, кто, мол, по раненьям — домой. А я думаю, в Кремль его взяли, да и не ошиблись — бо-о-о-ольшо-ого ума человек! Там такие люди нужны, чтоб с умом руководить державой и направлять ее, куда надо, а куда не надо — не направлять...

Н-на, оборвалось во мне что-то, заныло, заскулило в нутрях. И давай я опять гу-уля-ать-куролеси-ыть... Но товарищ Чащин все предусмотрел. Новый комбат меня с деревни, где мы помогали колхозникам урожай убирать да смуглянок-молдаванок в кукурузе перебирать, нажравшись синего вина, — велел на губвахту посадить. Отсиделся я, отлежался на губе, мне документы в зубы, мешок концёрвов, мать бы их, маленько хлеба, маленько денег — и катись вояка Сметанин домой — от греха подалее. Ну я, само собой, с ребятами загулял. Но ребята не дали мне разойтись. Место мне в этом вагоне — из Румынии эшелон-то идет, — нашли и в вагон связку одеяльев забросили, вот оне, энти одеялья, — для коней, заместо попон служили. Матерья на их плащ-палатошная, ее простежили с куделей, с ватой ли сырцом и полевых артиллерийских коней грели. Мне сказали, там, в деревне, мол, сгодятся, там все разуты-раздеты, а из матерьи

такой хоть штаны, хоть юбки шей. До-о-о-олго я ехал на тех одеяльях один. Придут патруля, я сразу на себя генеральский вид напушу: «Имушшество казенно охраняю, попоны для коней», — и отлипнут оне. Потом народ полез-попер, мне и радостней, и веселей, да вот только от попок энтих тыловых беспокойство. Два одеяла я уж на хлеб променял. Ишшо бы надо хлеба раздобыть. Придется тебе, парень, энтим делом заняться — я худой промышленник. У нас теперича вроде как семья. Ты уж, дамочка, не обрашшай вниманья. Невыдержанный я на язык. Деревня-мама!...

Н-на-а, деревня! У ее и названье-то Кудахталовка! И жись в ей не жись, а и не знаю, как назвать... Вот лепят и лепят: «Жись до войны была! Жись до войны!» Может, кому и была, да не нашему брату. Кудахталовка наша почти в самом степу, хлебушко родится с пятого году на шестой, картошка — моих мудей не хрушшее!... Ой, опять прошу прошшэнья, дамочка молодая. Вся надежда на скот, на овцу, на ямана, да на коня, да на Ивана. А ен, Иван-то, который в двадцать перьвом годе не вымер, дак в тридцать третьем годе ноги протянул. Ладно, у нас отец мозговитый, на каку-то стройку махнул, кочергой в домне шевелить обучился, и за ту кочергу ему хорошие деньги давали. Да только выпить он у нас был большой спец. Но деньжонок все же присылал, когда и с имушшества чего. Я за старшего в семье. Семеро нас и не по лавкам, а по полу да по полатам. Из семерых четверо девок. Меня скорее женить, что б я с дому не смылся. Всего приданого нам с Грунькой: деревянна кровать с клопами возле дверей... Скрыпит, курва, што твой шкилет. На полатах девки возятся, подслушивают. А еда кака? Картошки, молоко да арженина. Девки ночью на полатах ка-ак пернут! — у нас с молодой полон рот битых тараканов... Послушай, солдатушко хромой, нас эти попки намертво заперли?

— Намертво!

— Н-н-на-а-а! Теперь нам ни помочиться, ни опростаться, ни попить?

— Терпеть придется.

— Терпе-эть? Все терпеть да терпеть... Не привыкать нашему брату терпеть, ну, а ежели как терпиловка кончится? Опеть свалка? Опеть кровь?..

— Тихо, отец. Я попробую упросить осмотрщика вагонов.

— Молчу, молчу, — Сметанин в потемках звучно, слад-



ко зевнул и уже на отходе ко сну добавил: — Эх, Кудяхталовка, Кудяхталовка, мать бы ее ети! Знаю, чё меня ждет. В Молдавии бы остаться, коло винограду, коло молдованок! У-ух, егоисты мы, мужики! У-ух, егоисты! Детишки-то как? Старшу замуж надо выдавать...

Всю ночь, как на грех, как на изгальство, гнало поезд, тащило в холодную, ветреную Россию, и только на расвете случилась остановка. Но Коляша не дозволялся никого снаружи. Мочились мужики в притвор двери, по-большому терпели. Сметанин не раз уж вежливо пукнул, заглушая звук кашлем. По вагону начало все гуще разносить вонь и звуки. А поезд все бежал, бежал. И уснул Коляша на одеяле-попоне, отделенном Сметаниным. Когда проснулся, поезд все качало, все волокло. И он опять забылся. И опять проспал заправочную остановку, узловую станцию, на которой комендантские работники открыли вагон и спутники облегчились. Киевский лейтенант, с гранатой, еще и выпил, да крепко. Лицо его, серое и костлявое, осветилось загоревшимися глазами, сталистым взглядом прожигал он все, на что смотрел. Гаденьши бахмачской комендатуры по линии передали, чтоб мятежный вагон закрывали. И спутников снова заперли, снова упрятали. Пьяный лейтенант цеплялся ко всем, задира парня с красками, говорил, чтоб тот уж сейчас начинал писать трофейными красками победные картины.

— Вон тех вон, в углу, изобрази! Пока мы кровь проливали, землю носом рыли, они, голубчики, гнездышко семейное свили!..

— Ложился б спать, товарищ лейтенант, — подал голос Сметанин. — Выпил и ложись. Зачем ты людей задираешь?

— А-а, старый хрен! Слышал я, слышал, как вылизывал ты жопу своему капитану... Выжил! Сохранился!

— За что он нас-то, Господи! — испуганно вздохнула Женяра, прижимаясь к Коляше. — Да сними ты бушлат. Пусть увидит твой орден, медаль солдатскую — «За отвагу», нашивки за ранения...

— Он и без того видит, что я не грибы на фронте собирал.

Лейтенант унялся, захрапел, но храпел как-то насто-роженно, с перерывами. Разойдется, расхрапится — и стоп! Словно вслушивается во что-то вокруг и потихоньку, полегоньку опять захуркает, погружаясь глубже в тяжелый сон.

Женяра, боясь лейтенанта, кашляла в шапку или в отворот Коляшиной шинели.

— Не обижайтесь вы на него, — сказал Сметанин, — где-то его крепко помолело, может, и в плену... О-ох, и погнуло же там народу, поугасало жизнью...

Ни с того, ни с сего, от полного уже безделья во тьме кромешной потянуло Коляшу позаигрывать с женой. Она смиренно, скорей даже испуганно отнеслась к этому, но вдруг рукой поймала руку мужа и снизу перенесла ее на свой лоб, с тихим стоном придавила к голове — лоб, лицо, голова у нее пылали.

«Заболела! — всполошился Коляша, — а я тут со своими забавами...»

— Простудилась? От стены холодно?

Женяра молчала. Коляша ее тормошил, пытался плотнее укутать.

— Не надо, — отвела она руку мужа. — Я же двое суток не ходила на двор. Я больше не могу...

— Так чё ты молчала?

— Я боялась автоматчиков... и еще... еще боюсь отстать от поезда.

— Да ты чё?! Я ж какой-никакой шофер, все правила дорожные знаю. Горит красный — стоим! Зеленый зажегся — поехали. Может, загородить тебя, и ты у дверей, в притвор, а?

— Нет, я не смогу при мужчинах. Не беспокойся. Я еще потерплю. Только пока не прикасайся ко мне... Не сердись. Ну, прости, пожалуйста...

Коляша укутал жену, как мог, и ушел к двери вагона, сел так, чтоб на него сквозило из притвора, чтоб не пропустить остановку.

Только на рассвете, где-то уже за Орлом, поезд выдохся, замер, и Коляша услышал похлопывание клапанов колесных букс — приближался осмотрщик вагонов. «Скорей, скорей! — торопил его Коляша про себя, хоть бы большой вагон не попался. Расцепку начнут...» Но вот хлопнули две крышки задних колес, сейчас осмотрщик пойдет к последней — передней паре, к паровозу, посмотрит, молотком по тормозным колодкам и по башмакам, их удерживающим, постучит, потычет щупом в паклю со смазкой, если потребуется, мазуту подольет, тампон в пустую буксу вложит — в пути паклю на растопку выгаскивают, — еще разок мазутом из чайника подзаправит, высмотрается, еще чернее измажет и без того уже чумазый

нос, вздохнет освобожденно и подумает тоскливо: «Э-э-эх, теперь бы закурить!..» Шаги хрустят по каменной крошке, усталые неторопливые шаги, — похоже, идет пожилой осмотрщик, пожилой лучше, не верхогляд, пожилой горе и нужду понимает, об девках или еще об чем таком не задумается. Как только шаги захрустели под дверями вагона, Коляша позвал в меру громко, но и не так, чтоб перепугать в задумчивость погруженного человека, — осмотрщики, замечал Коляша, все какие-то задумчивые:

— Осмотрщик вагонов, стой!

Шаги замерли.

— А? Чё? Откуль?

Коляша представил, как напуганный мужик ворочает головой, угадывая, откуда голос, может, даже на небеса поглядит — уж не Он ли окликнул работягу.

— Послушай, осмотрщик! Вагон, против которого ты стоишь, заперли гады из комендатуры. Мы не арестанты, не бандиты, мы с войны домой едем...

Какое-то время вагон напряженно ждал, за дверьми ни движения, ни звука — осмотрщик, глаз у него острый, натренированный, смотрит: пломбы иль завертки на вагоне нету, часовые поблизости не маячат, во всех, почитай, вагонах прикрытия едет разный люд, ничего особенного; спросят: «Какая станция? Далеко ли до Москвы?», когда и закурить дадут.

По задвижке стукнуло щупом.

«О, батюшки!» — отпустило Коляшу.

Дверь с рокотом откатилась в сторону, и, приподнявшись на цыпочки, ощупал взглядом население вагона мазутом пропитанный человек.

— Да-к это скоко же вы, не оправлявшись-то, едете?

Чуть не сшибив осмотрщика с ног, народ сыпанул, спрыгивая вниз. Сметанин сунул работяге заранее приготовленную консерву, Коляша — осьмушку табаку и бегом потащил жену вперед, за паровоз.

— Туда! — махнул он на вдоль ящичков автоблокировки разросшиеся, черные от копоти кусты и бурьян. Я никого не пущу! Не бойся! Паровоз отцепляют — без паровоза никуда не уехать.

Приближалась жидкая цепь семенящих мужиков, на ходу расстегивающих штаны, на шею вешающих ременья.

— Имейте совесть, мужики! В сторону, мужики, в сторону! За паровоз нельзя! — Коляша раскинул руки.

Лейтенант киевский, весь, вроде бы, из одних круп-

ных и тоже злых костей сложенный, презрительно фыркнул обросшим ртом. Паровоз, попыхивая, увез на подножке прилепившегося с желтым флажком сцепщика. Осмотрщик сидел на сигнальном столбике, курил и с чувством личного облегчения наблюдал, как военные шуруют на вагонные колеса напряженными струями, и, хотя надо было указать на непорядок, ничего не говорил, не указывал. Коляша, угодивший в цепь рядом с лейтенантом, заметил, что Создатель обделил пятерых мужиков, творя этого человека, и, пожалуй что, лейтенанту с таким богатством терпеть без бабы труднее, чем всем другим, оттого он и не совладал с собою на киевском вокзале, вот тут и толкуй о равенстве и братстве... И еще Коляша, к которому по мере облегчения возвращался юмор, думал о том, что у мужика с такой аппаратурой и характер должен быть соответственный — большой, добрый, — иначе ж бедствие, в первую голову — женщинам...

Увидев застенчиво улыбающуюся, прибранную, где-то даже умывшуюся Женяру, Коляша переметнулся мыслью на человеческое счастье, о котором всю дорогу так хлопочет род людской и сулит его советская власть, а оно так близко, так возможно!..

— Вот спасибо! Вот спасибо! — досасывая сигарку, твердил сцепщик вагонов. — Не куря пропадаем. Заправка будет, дак минут не меньше сорока простойте, можете и за кипятком сходить...

— Тебе спасибо! — помогая супружнице взобраться в вагон и поскорее спрятаться в обжитом уголке, — благодарил Коляша. — Отец, а отец! — позвал он Сметанина. — Побудь тут, я за кипятком поковыляю.

Женяра, прежде его и на шаг не отпускавшая, на этот раз не возражала, поверила, стало быть, что муж ей достался ходок: все дорожные правила знает, — с таким не пропадешь! Осмотрщик вагонов смастерил крюк из толстой проволоки и показал мужикам, как изнутри, в щель либо через люк, откидывать и накидывать вагонную накладку, чем привел в неописуемый восторг Сметанина и всю остальную публику. Теперь можно ехать, не открываясь на крупных станциях, зато ночью, на полустанках, чтоб не навлекать на себя гнев и внимание надзирательной власти, можно делать все, что захочешь. Свобода!

— Да ить не все жа скурвились, спились да изворовались за войну. Поезжайте с Богом! — в ответ на благодар-

ности молвил осмотрщик вагонов и пошел дальше исполнять свою работу.

Дальше двигались без особых приключений. Вояки, ехавшие из Румынии с вином и добром, веселились в своих вагонах, играли на гармошках и аккордеонах, перешучивались со встречными девчатами и бабами-торговками, шумной толпой высыпали на станциях, провожая тех, кто доехал «до места», обнимались, кричали, иногда и качали кого-то. Словом, почти как у задумчиво-грустного Блока: «Молчали желтые и синие, в зеленых плакали и пели...», — только вагоны были не зеленые и синие, все одинакового цвета, и на войне российские люди были все на одной. Будь Коляша в своей артбригаде, в своем дивизионе и взводе, тоже б домой с братвою, по-человечески ехал, тоже б пел и веселился да спьяну плакал. А ныне вот приходится молчать, будто чужестранцу, и оправляться ходить крадучись. Завоевал. Еще Женяра, молодая супруга, после той станции за Орлом горечи в душу добавила, шеборшилась под боком и руку мужа тащила ко лбу — легче, мол, ей сделалось, можно дальше ехать без мучений, да руку-то мужнину еще и целовать принялась. Его аж в жар бросило: «Что ты? Что ты?» — слезы в нем закипели. Он к себе прижал Женяру, зубы до хруста стиснул и дал себе слово: всю жизнь ее жалеть и заботиться всегда о ней — женщина ж, беспомощный человек.

Ехали, ехали, с пересадками, с перегрузками, с перетрусками — от Соликамска до Красновишерска трюхали на родной Коляше и такой же хромой, какая у него была когда-то, полуторке. И пока ехали, валяясь в грязном кузове, на соломе, вынутой из торговых ящиков, Коляша явственно видел два черных трупя, катавшихся по кузову, от которых отламывались горелые кости, кожа, и понимал, что кошмарные сны, которые преследуют его ежедневно, не скоро отступятся от него, память и за всю жизнь не отболит.

А между тем к концу пути Женяра, молодая его супруга, не просто покашливала, но хомкала утробным хриплым кашлем, как будто в ней поршневым насосом клапаном работал.

Мать Женяры, Анна Меркуловна, была еще крепкая и даже моложавая с виду женщина. Встретила она молодых супругов среди ночи неприветливо, почти сурово,

прикоснувшись к щеке дочери губами, поскребла довольно выразительным носом воздух, сморщилась и ткнула пальцем в Коляшу:

— Муж, небось?

— Му-уж, — прошелестела губами Женяра.

— Бракованный какой-то. Лучше-то не досталось? — и постучала себя кулаком по зевающему рту. — Лучших девчонки побойчее тебя расхватали! И кашляешь, будто колхозная кляча. Не туберкулез ли с фронта вместо трофеев привезла? Ну ладно, ложитесь на лежанку, за печь. Днем баню истоплю, тогда уж на постелю допущу.

Городок Красновишерск стоял на самом северном краю Молотовской области, да и всей России, пожалуй что. Говорили, что еще севернее есть старинные города Чердынь и Ныроб, но новожитель пермских земель Хахалин Николай Иванович не верил этому — куда уж дальше-то?

При Анне Меркуловне состоял молодой мужик из тех самых западноукраинских селян, перевоспитанием которых занимался конвойный полк. Чего-то он подсчитывал, чем-то руководил, возил в леса на лошади продукты, фураж, строительные материалы — там, в студеных горах, на глухих речках Цепёл, Молмыс, Язьва — устраиваясь жить, валили и сплавливали лес переселенцы с Украины, и не только с Западной. Кое-что снабженец не довозил до поселков, ночной порой сваливал возы и мешки в белосовском дворе, в пристройках. Анна Меркуловна щеголяла по дому в шелковом китайском халате с ярким павлином на спине и пичужками поменьше — на рукавах. Шубка на ней была с лисьим, но уже монгольским воротничком, на пальцах золотые перстни. Кладовка и подпол забиты продуктами, и, тем не менее, Анна Меркуловна — прямая человек — упредила дочь с зятем:

— Чтобы за неделю получили паспорта, определялись на работу и на свой паек. Я сама живу коровой да еще за карточку, за рабочую, — полы в общежитии мою.

Женяра виновато поникла: она знала, что им с мужем и неделю не протянуть на завоеванном, от родины полученном довольствии. Солдату Хахалину при демобилизации выплатили сто восемьдесят рублей и продовольственных талонов на десять дней. Женяре — хоть и маленькому почтовому начальнику — отвалили аж восемьсот рублей и талонов тоже на десять дней, еще билет бесплатный и новое обмундирование ей выдали. Коляша Хахалин явился на пермскую землю в пилотке и в сапогах, а тут уже

зима! Хорошо, что от Белоусова-отца кое-что осталось и от брата. Мать выкинула мягые, пыльные вещи, сказала, что люди едут с фронта как люди.

— Вон офицэр из какого-то смертша и ковров, и вещей дорогих навез, да и золотишка, а тут ровно с каторги парочка явилась: гола, нага, хвора к тому же.

Уже на другой день, не глядя на хворь, Женяра, не переставая покашливать, давя одышку, управлялась по двору, доила и поила корову, муж ее чистил стайку, колол дрова, вел себя пока безропотно, но чувствовала она, что муж нагревается, закипает и скоро-скоро, воткнув топор в чурку, решительно рявкнет: «А шли бы вы все вместе со своим хозяйством на хер!» — бросит жену и рванет из Красновишерска куда глаза глядят.

Глядя ночью мужа по голове, по отросшим, ершистым волосам, Женяра просила:

— Не спорься с мамой, Коля, не спорься. Терпи. Я же терплю. Всю жизнь. Мама у нас всегда и во всем права, и всегда сверху. Папу, брата и меня она жевала, жевала, всю дорогу жевала. Она даже в письмах нас жевала. И папа с братом, если живы, спрятались от нее. Теперь вот мы ей на зуб попали...

— Н-ни-иы-ычего! Меня не больно ужущеш! Я спереду костист, сзади говнист,— хорохорился Коляша.

Женяра, скрыв беременность, постушила на почту — таскать сумку. Коляше легкой работы не находилось, и он начал помогать приживалу Анны Меркуловны — возить в лес грузы.

Боже, Боже! Что там делалось, в лесу-то, в уральском-то!.. Переселенцы, пурхаясь в глубоких снегах, на морозе, в непривычных горах, среди холодных камней и в скалах, возле стиснутых льдом речек, погибали сотнями. Дело доходило до того, что в некоторых поселках перестали хоронить покойников. Общение с миром и жителями переселенцам было категорически запрещено, отлучки куда-либо — тоже. Вечно пьяный, одичавший комендант поселка на Цепёле, имеющий право стрелять в людей за любую провинность, в конце концов застрелился сам. Никто из барачников выйти уже не мог, и никакая сила не могла заставить людей взять в руки пилу и топор. Переселенцы съели коней, собак, кошек, толкли кору с опилками. И когда какая-то комиссия, правительственная или международная — небесными, не иначе, путями донесло глас страдающего народа до Канады — на тракторе про-

рвалась на северный Урал, опасаясь международного скандала, зашевелились внутренние каратели и палачи, возглавляемые в области генералом Зачепой, наполовину татарин, наполовину хохлом. Через несколько лет этот деятель будет избран депутатом Верховного Совета как железный чекист и истинный коммунист, а еще через года три во время денежной реформы нагреет он родное государство на несколько миллионов и, будучи помещен в закамскую психушку, быстренько кончит там свои дни, потому что орал на всю округу, мол, есть воры и повыше него и он всех выведет на чистую воду, исчезнет беззвучно и бесследно с испоганенной и ограбленной земли.

Зачеповцы доставляли продукты лишь в последний в миру поселок с подобающим месту названием — Сутяга. Далее переселенцы тащили продукты на волокушах по «точкам». Дело часто кончалось «передачей» — умерших в упряжке людей меняли те, что могли еще двигаться и тащить волокуши дальше. Переселенческие поселки на западном склоне Урала опустели. Коляша, ездивший с делягой-переселенцем в тайгу, на речки Цепёл, Молмыс и Осмыш, побывал в тех мертвых поселках. На печках, слепленных из каменного плитняка и проросших осинником, белели скелеты. Более всех поразили бывшего солдата два сцепившихся меж собой скелета: большой скелет держал в объятиях скелет маленький, кости белые так спутались меж собой, что было их не разнять.

Спустя годы, в этих местах, за что-то Богом проклятых, новые зачеповцы, борясь за светлое будущее, размещают лютый политический лагерь с лирическим названием «Белый лебедь».

Однако все это произойдет потом. А пока Коляша, потаскав мешки с мукой и солью, перетрудил раненую ногу, заприхрамывал сильнее обычного и однажды едва отодрал кальсоны от коленного сустава — рана вновь начала гноиться, из нее начали выползать белыми червячками крошки костей и полусгнившие лангетки.

Так и не удивив трудовым энтузиазмом город Красновишерск, не украсив городскую Доску почета своим портретом, Коляша Хахалин отправился на медкомиссию в Соликамск, откуда кинут был в областной центр — город Молотов, где и провалялся до тепла в госпитале.

По надсаженной, разрушенной войной стране шли



полным ходом восстановительные работы и катилась безудержная победная болтовня. Все громче, все красивей, все героичней и романтичней преподносились подвиги на ней бесконечные. И под этот звон, под песни и патриотический, все заглушающий ор косяком вымирали фронтовики от застарелых ран и болезней. И бдительными зацеповцами вычищались ряды советских людей от скверны. Людей, перенесших невыносимые страдания и муки в оккупации и в плену, нескончаемым потоком гнали и гнали на очередное перевоспитание — в лагеря, в края далекие, гибельные. Урал прогибался старым хрустным хребтом от тяжести концлагерей, на нем размещенных, от костей, в него зарытых.

Вожди и теоретики коммунизма по науке ведали, что после каждой почти войны во всех странах бывали волнения, бунты и даже революции. Поводов для ропота и недовольства у победителей фашизма было более чем достаточно. Вернувшись с войны, они застали надсаженные, голодные, запущенные, быстро пустеющие русские деревни, где продолжало царить укоренившееся в годы советского правления бесправие, по сравнению с которым проклятое на Руси крепостное право выглядело детской забавой. Двенадцать миллионов — гласила людская молва — медленно погибали в лагерях смерти, и столько же стерегло их, придумывая все новые и новые преступления ни в чем не повинным людям. Вместо обещанной, заслуженной, выстраданной, сносной хотя бы жизни, заботы о победителях — новые гонения, неслыханные зверства, страдания в концлагерях.

Брали и в войну, даже из госпиталей. Один поэт, — тихо сказывали госпитальные работники, — бывший шахтер Домовитов, над койкой которого, к несчастью его, размещалась радиоточка, выключив радио после прослушивания боевой сводки, кратко прокомментировал ее: «Вот, всех врагов посокрушали, а у нас, как и прежде, никаких потерь...» Той же ночью вместе с перепуганным дежурным врачом вошли в палату еще два врача в белых халатах, сказали, что больного переводят в другой госпиталь, переложили с кровати на носилки и унесли — на десять лет — в Усольские лагеря...

Коляша — человек битый, голосу не подавал, с героями войны всякие споры прекратил, даже против глупейших высказываний, вроде: «Вызываю огонь на себя!» или «Я бы с ним не пошел в разведку», — не спорил. Он уже

понял и смирился с тем, что и боль от ран, и больная память — это на всю жизнь, это до гробовой доски, и, когда наплывало прошлое, брало за горло, — он покорно вновь и вновь переживал и пропускал через себя, через свое усталое сердце неотвязное горе, военные будни, слышанное, виденное, в котором было уже и не разобраться: где явь, где бред. И чем больше врал про войну, сочиняли красивые слова и картины, тем больнее тому сердцу, тем горше память — от себя не убежишь, не спрячешься.

Ближе к концу сорок третьего вместо выбывших бойцов начались пополнения из западных украинцев и из тех, что с сорок первого года, с массового отступления, сидели под спидницей, под бабьей, стало быть, юбкой, — как огрызнется немец, ударит, так доблестная пехота и разбежится, оголив артиллерию и все, что позади нее. В батальоны, в роты для корректировки огня ходили обычно связист с командиром взвода управления или с командиром отделения разведки. И вот драпанула пехота вместе с ухарями-командирами и речистыми комиссарами, воюйте на здоровье двое дураков-артиллеристов! Да? Но это ж не в кино, много не навоюешь. А немцы с танками — вот они, насаждают, и тогда старший передает координаты, а связист, весь напряженный, собранный для драпа, напряженно ждет, когда раздастся на батареях слово «Выстрел!» — и затем, выдернув заземлитель, повесив телефонный аппарат на шею, ждет уже на выходе из блиндажа или в исходе траншеи, когда над головой, снижаясь, зашипят снаряды, настоящий же артиллерист, тем более телефонист, обязан отличать по звуку полет своих снарядов, и в момент первых взрывов, но лучше за секунды до них, надо вымахнуть в поле и дать стрекача, да такого, чтоб ноги земли не слышали.

Ну и что? Пробегут они на наблюдательный пункт или на батарею напрямиком, там объятъя, поцелуи, отцы-командиры картузы в воздух бросают: «Ах, герои, герои, герои!»? Да в лучшем случае комбат или кто из дивизиона скажет: «Выскочили? Живы? Ну, ужинайте давайте, и за лопаты — надо окапываться, а то нам тут так дадут, что и обмотки размотаются».

И с разведкой то же самое. Уж больно ловко и героически дела обстоят. Коляша всего один раз ходил в разведку, да вовек ее не забудет. Под Проскуровом — город такой был, и, между прочим, бригада родная, артиллерий-

ская, была поименована Проскуровской, но коли название города переменяли, сделался он Хмельницкий, то как теперь бригаде-то именоваться? Ну да ладно, разберутся, кому надо.

Значит, по военным планам должны войска фронта уже далеко за Проскуровом быть, но его еще и не видать. Застряли возле каких-то деревушек и неожиданного, настоящего, овражного леса, уходящего до горизонта. Снова контратака, и снова пехота sprysнула. Попробовали было и артиллеристы истребительного полка дерануть от орудий, следом за пехотой, да появился комполка в нарядной папахе, встал кривоного на бруствер, орет: «Смотрите, подлецы, как вашего командира полка убивать будут!..» — расчеты начали возвращаться к орудиям, стрелять; тех, кто прятался, отыскивали, адъютанты и политруки пинками гнали на позиции.

День сидят, другой сидят — ни с места. Пехоты нет. Слух катится, заградотрядчики вылавливают по деревьям в цивильное переодевшихся воинов и вот-вот в атаку погонят. В это время на передовую прикатила стая грязью забрызганных машин, и коренастый человек в кожане стремительно направился в блиндаж командира стрелковой дивизии, между прочим, гвардейской, и командир ее — Герой Советского Союза — за Сталинград. Да где вот они, те, кто насмерть стоял на Волге? Просрали, как говорил, воспитывая Коляшу в Новосибирске, важный чин, настоящую-то, кадровую армию, рассорили людей русских по полям битв и вот теперь в отребье превратившихся окруженцев, местных бздунов за родину заставляют воевать. А родина-то у них здесь, и они ее больше любят, чем ту, что за Уралом.

Одним словом, зашевелилась передовая после отъезда большого чина в кожане, говорили, сам Жуков наезжал и давал разгон. Атаковать противника надо, а где он, сколько его, какие его планы? Вот тут-то и сгодились артиллеристы, вот тут-то и выпало им заниматься не столь своим делом — идти в разведку.

Еще на Днепровском плацдарме на наблюдательный пункт третьего дивизиона упал с неба десантник с простреленным парашютом и вывихнул ногу. Его лечили и допрашивали. Парень доказал, что он был из той самой бригады, которую бездарно погубили, выбросив с большой высоты на ветер и под огонь немцев. Уцелел он только потому, что догадался прыгать с красным, а не с белым

парашютом, красный темно в ночи глядится, купол прострелили уже над самой землей. Парень был ловкий и боевой, говорил, что после того, что он пережил в небе, ему уже ничего не страшно на земле. Его оставили в бригаде, в управлении третьего дивизиона, и скоро он возглавил разведку. Ему-то и поручено было отобрать людей и ночью сходить на «ту сторону», посмотреть, что там и как, если возможность будет, взять «языка».

В число четверых попал и Коляша Хахалин, видимо, по признакам увертливости и ловкости тела, здоровенный еще мужик Герасименко, как догадался Коляша, ему надлежало тащить «языка», и, тоже боевой, в стрелковых ротах повоевавший боец Обухов.

Десантник весь день не отлипал от стереотрубы, изучал местность и противника, вел свою тройцу поздней ночью, почти под утро, уверенно, точно вывел к двум клуням, порядочно отстоящим от села. В клунях были склады, и вокруг них ходил часовой. Его-то, часового, зябнувшего в отдалении от своих, и решено было брать, да вот в жизни так заведено, что не все просто берется, что близко ведется, и с шоферской практики Коляше известно: самый длинный путь тот, что кажется коротким.

Знающий приемы десантник прыгнул на часового, сорвал с него автомат, но растерявшийся было немец так хрястнул через голову разведчика, что тот какое-то время и двигаться не мог. Коляша Хахалин, в обязанности которого входило зажать пленному рот и сунуть кляп с приготовленной для этого дела пилоткой, получил такой удар, что взрывом мелькнуло пламя из его правого глаза, упал он головой в ровик, копанный от бомбежки, следом к нему прилетел и утих разведчик Обухов. Спас собратьев-разведчиков Герасименко. По плану он должен был надеть на пленного наручники и шел на врага последним. Немец и Герасименке завез плюху, но этого так просто не сшибешь! Герасименко с испугу, не иначе, но говорил-то он потом другое и по-другому, ударил постового самоковными наручниками и попал по голове. Фриц заорал. К этой поре маленько очухался десантник, выскочили из ровика Коляша с Обуховым и попутали немца, надели-таки на руки врага самоковные наручники с пуд весом, заткнули вражескую орущую пасть, но и покой нарушили. По ним и по нейтральной полосе открылся сплошной огонь.

«За мной!» — скомандовал десантник. Разведчики поволокли немца в темень. Немец не хотел ползти, всё со-

противлялся. Десантник концом финки подгонял врага: кольнет — тот двинется, упрется — десантник снова его кольнет...

Огонь отдалялся, и разведчики не сразу поняли, что отползают в тыл, не сразу же и оценили действия старшего, — сунься они через нейтралку, их давно бы уже перебили, такой шел огонь, иль оцепили бы, накрыли и самих в плен забрали.

Десантник клонил группу в лесистые овраги.

В деревне нарастал шорох, крики, зазвенел мотор мотоцикла, собаки залаяли. Старший сказал: «Ну, фриц, прости, не уберег тебя твой бог», — и, как борова, заколол пленного. Разведчики долго плутали по лесу, слыша повсюду голоса и выстрелы. Наткнулись, наконец, на ограду из колючих растений, оцарапавшись, продрались сквозь нее и оказались в неразоренной, на зиму закрытой пасеке, где и сидели три дня, опасаясь пчел, фашистов, жевали плесневелые, мышами источенные сухари, старые соты и воск.

Тем временем наши войска перешли в наступление, продвинулись вперед. Избитая, исцарапанная, голодная разведка явилась в свою часть. Там уже и похоронки на всех четверых заготовлены.

А вот еще история, презанимательная, на этот раз из авиационной жизни, которую Коляша как-то услышал в госпитале.

В начале войны одна из наших штурмовых воздушных дивизий летала и билась на первых, примитивных «Илах». Самолет состоял из отлитой вроде сигары болванки с пропиленной в ней дырой — для пилота, приделанных к этой болванке крыльев, хвоста и не очень убойного вооружения, защиты же ни сзади, ни спереди — зачем вообще советскому воину, пусть и летчику, защита, когда товарищ Сталин и его гениальные помощники предусмотрели только наступать, громить, побеждать. Но на болванке той летали летчики кадрового состава, и немцу не вдруг удалось побивать и выжечь воистину стойкую, воистину славную дивизию, но все равно без обороны тяжелые в управлении, слабоманевренные самолеты были обречены, и в конце концов остался в дивизии один только «Ил». Все технические силы бросались на этот, избитый, издырявленный, тросы и «кишки» за собой волоку-

щий самолет, когда он возвращался с операции и плюхался брюхом на посадочную полосу. И летчики строем стояли, чтобы подняться в воздух и лететь на врага, который тучей гонялся за этим, все время воскресающим, бессмертным штурмовиком.

Будь на месте немцев наши военные заправились, они б давно уже списали в расход две или три фашистских воздушных дивизии и ордена бы получили. А немец, пока не добил, не уничтожил последний русский самолет, рапортовать не станет,— не наловчился он еще как следует рапортовать о досрочно выполненных планах, о стройках, завершенных за три года вместо пятилетки, ему, немцу, еще предоставится возможность перенять наш передовой опыт по этой части, он еще докажет, что мухлевать умеет не хуже нас, пусть и не по всей Германии, а лишь на передовой, самой ее демократической части.

Но в конце концов упрямые немцы добились упрямый русский самолет, на который молились, за который держались, за «костями» которого скрывались: штаб дивизии, политотдел, хозяйственные и технические службы, секретные, финансовые отделы, смершевцы, трибунальщики, медики и сигнальщики,— в ту пору даже в полностью авиационной части сражались один летающий к пяти обслуживающим летающего. К концу же войны эта цифра утроится, где и упятерится, потому как самолет делается мощнее, боевитей, грозней, следовательно, и военных тунеядцев и дармоедов на него навешается несметное количество.

Или история, свидетелем и участником которой был и сам боец Хахалин.

После Проскурова хорошо и ладно покатило наступление вперед на запад, и осень сухая была, фруктов и овощей урожай невиданный, жратвы от пуза, знай воюй, громи захватчика! Как вдруг — о, сколько этих «вдруг» на войне! — вдруг спотычка, заминка, остановка возле небольшого уютенького городка Староконстантинова. Станция тут была довольно разветвленная, и, должно быть, немцы не все, что намечали, успели эвакуировать.

Ну, пошла война нормальная, привычная, из пушек и минометов по городишку и станции палить начали, штурмовики закружились над целями, им известными. Город сплошь крыт рыжей черепицей, полетели вверх,

красно сверкая, искры и осколки. В некоторых местах города задымил, на станции густо поыхали и клубами огня рвались цистерны и какие-то резервуары.

За день вперед не продвинулись, город Староконстантинов не взяли. Ночью — менялась ли пехота на передовой, резерв ли к ней подтягивался, — целый батальон, ориентируясь по нашим аховым картам, заблудился на пути к цели. Он даже и не заблудился, а как-то сумел промазать передовую и углубиться в тылы врага. Утром из штаба полка запрос: сообщите, где находитесь? Какая боеготовность? Командир батальона по карте дает квадрат местонахождения, ориентиры и главный из них — перед батальоном железнодорожная станция, а вот соседей ни справа, ни слева отчего-то нету. Не прошло и десяти минут, как сам уже командир полка требует уточнений. И раз, и два, и три требует — и все выходит, что доблестный его батальон обошел город Староконстантинов, находится в его тылу, и, коли никакого сопротивления не встретили, значит, противник ночью город оставил, и выходит что? Выходит, его полк взял сам, один этот город, имеющий важное стратегическое значение по причине крупного железнодорожного узла, совсем мало разбитого нашими штурмовиками и артиллерией.

К этой поре, к концу сорок четвертого года, червоноармейские командиры воевать немного подучились, хотя людей по-прежнему не щадили и не жалели, и армия несла прямые потери на фронте, не меньшие, чем и в сорок первом, но уж зато хитрить, обманывать, карьеру лепить наловчились так, что со времен сотворения где-либо и каких-либо армий не встречалось такого. И эта вот хитрость, обман большого и даже совсем небольшого командования, тихо и «незаметно» всюду, вплоть до Кремля, — поощрялись и сходили как бы за «мелкую инициативу», а средь солдат — «за находчивость». Все чаще и чаще крупные города штурмовались и брались без надлежащей поддержки, без подтягивания свежих сил, одной армией, дивизией с ходу, с лету, «умелым маневром»: И уж, конечно, за все за это командиры армий, корпусов, дивизий отмечались и в приказе Верховного, повышались в званиях, непременно получали звезды Героя Советского Союза.

Армией, корпусом, дивизией, а если полком? Один стрелковый полк вот взял и овладел городом Староконстантиновом и важным железнодорожным узлом, — да ведь

осыпают наградами и почестями весь полк, присвоят гвардейское звание полку, и впредь полк будет называться — Отдельный, Староконстантиновский, самого ж полковника в генералы произведут, звезду Героя ему на грудь прицепят и на дивизию поставят, остарел прежний комдив, волокется вот где-то со штабом своим и войском, а тут передовой полк сверхбоевую задачу выполнил, городом овладел, о чем командир полка с утра пораньше доложил в верха и от радости загулял.

Ан, не успела дивизия подтянуться и развернуться, как батальон, забравшийся сдуру в тылы противника, попал в переплет, завязал бой с отходящим из Староконстантинова немцем, был почти полностью смят, потому как ни где, ни к кому не привязан, никем не поддержан. И в городе самом постреливают, кто, где, почему?

Пока выясняли обстановку, пока вырубали остатки батальона, вот тебе и обед. А после обеда привычно уже, в четыре часа по радио должен прозвучать приказ Верховного Главнокомандующего о наших победах, об освобожденных городах и населенных пунктах — душу греют эти сообщения, на моральный дух войска очень положительно влияют, сил прибавляют.

Коляша, помнится, с телефоном из блиндажа вылез, сидит на бровке хода сообщения, ноги свесив, греется на солнышке. И вот он, приказ, радист звук усилил. Все слушают голос Левитана, торжественно, железно звучащий. Пошло перечисление городов и городков, названия частей, их освободивших, и, среди прочих других побед, как-то особенно громко, почти оглушающе прозвучало название — Староконстантинов, и особо выделен и отмечен доблестный стрелковый полк, героическим броском его освободивший, и фамилия командира полка названа чуть ли не наперед командира дивизии стрелковой.

Связист Хахалин умирать будет, но не забудет, как умолкло все вокруг, как перестало бродить, шевелиться, дышать войско — обманули самого Верховного Главнокомандующего, самого товарища Сталина!

Коляша Хахалин поскорее с глаз вон и с собою телефон, в землю, под накат. В блиндаже, схватившись за голову, командир дивизиона сидит, не лает, ничего не говорит. Подняв голову, глянул он на Коляшу унылым взглядом:

— Вызывай комбатов, — затем протянул руку за трубкой и сказал: — Выкатывайте орудия на прямую. Не раз-



ведано? Не засечено? А я этого, по-вашему, не знаю? Засекать во время боя, бить по действующим точкам. Ага, я вам сей миг поднесу и данные, и согласованность!.. Сейчас начнется то, что у нас именуется штурмом,— погонят все стадо без разбора, так помогайте штурмующим и не давайте лишка народу губить, у нас его и так осталось...

И погнали правого и виноватого, всех, кто был на виду, на ходу и на пути повстречался. Вперед, вперед, под пулеметы, искупая позор, расплачиваясь за разгильдяйство. К вечеру город взяли, не шибко и искрошив его, да и некого особо было крошить — немцы отвели уже основные силы, оставив хорошо поставленные пулеметы на водокачке, на пожарной каланче, на вершине костела, на луковках прикладбищенского храма да на чердаках высоких домов, которых, слава Богу, в этом городе оказалось немного.

И сколько ж народу, все тех же сырых солдатиков, осталось лежать в полях, по высоткам да по зеленым улочкам тихого городка, который можно и нужно было взять бескровно!..

Коляша Хахалин этиких историй знает и слышался столько, что, ежели их порассказать,— тысяча и две ночи получится. Но он уже давно, с детства считай, знает, о чем говорить можно, а о чем помолчать следует или Женяре за печкой высказать, облегчить сердце. Чтобы не впасть во грех, он не станет ходить с выступающими героями, врать про войну, лучше стишок сочинит и пошлет в газетку, там его напечатают и три, а когда и пять рублей пришлют, аккурат на поллитру, иногда и с закуской.

В областном, не очень уютном, переполненном госпитале Коляша Хахалин с ходу освоился с культурной его общественностью и с ходу же написал стих в стенгазету под названием «Победный стяг», заделался активным читателем госпитальной библиотеки, распространителем «Блокнота агитатора» и другой политической литературы. Проводил беседы в палатах на разные темы, совершенствовался в игре на гармошке, но выступать вместе с группой бойкоязыких выздоравливающих не ходил, чем весьма удивлял бывшего начальника финансового отдела гвардейской стрелковой дивизии Гринберга Моисея Борисовича, возглавлявшего в госпитале агитационную компанию. Гринберг Моисей Борисович хотя ранен и не был,

но ежегодно проводил в госпитале профилактическое лечение сердца, печени и почек, подорванных на фронте. Коляша сказал заседающему на него активисту, что подвигов никаких на фронте не сотворил. «Да как же это так?! — изумлялся Гринберг. — Два ранения, орден и медаль имеете, кто ж тогда герой, как не вы? Кому ж тогда молодежь воспитывать?..»

В Красновишерске разрешилась девочкой Женяра и намекнула в письме, что надо бы узаконить супружеские отношения, расписаться, ребенок должен быть зарегистрирован и на довольствие поставлен. Пока она дочку везде записывает по фамилии Хахалина, однако ж всюду требуют свидетельство о браке.

Коляша длинно, путано ответил, что не отрицает он своих родительских обязанностей, и, когда из госпиталя выйдет, найдет легкую работу, встанет на квартиру, — непременно вытребует к себе семью в областной центр, потому как в Красновишерск, к любимой теще, его несколько не манит.

Тертый калач Коляша Хахалин ловок и увертлив в этой жизни сделался. Да половчей и повертче его народу развелось дополна. Все должности, где можно получать зарплату и ничего не делать или ловчить, показывая, как ее, работу, усердно делаешь, — порасхватили, и вышел Коляша на всем доступные, ближние рубежи: хватил базару — поторговал табачком, разбавляя самосад тертой жалицей и сухой полынью; ездил со спекулянтами в город химиков Березники за содой, хорошо выручился, но, как выручился с компанией инвалидов, так в компании той денежки и прокутил. Успел, правда, отправить Женяре пятьсот рублей — аккурат на булку хлеба.

И все-таки на легкую работу он попал — военкомат помог устроиться физорггом-организатором на завод имени товарища Ленина, в Мотовилихе. Физкультурный отдел завода возглавлял румяный, жизнерадостный мужик по фамилии Абальц, по имени-отчеству Карл Арнольдович, который почему-то всем приказывал называть его Ленчиком.

Привезенный с Запада и брошенный сгорать в горячий цех на Урале, он выдавал себя за немца, хотя намешано в нем было кровей с десятков. Начальство, глядя на бурного и бестолкового работягу, турнуло его на мороз — отгружать и погружать отливки — немец же! Кабы чего не взорвал! Со двора Ленчика убрало время и тигриная

ловкость. Сделался он ни много, ни мало — комендантом общежития, сперва одного, затем всех заводских общежитий. Ленчик вспоминал ту пору — это самую-то середину войны! — жмурясь, что кот. Попил он и поел сладко: кадры женские поспасал от застоя, пока не нарвался на Людку Перегудину, которая, забеременев, не полезла в петлю, не стала пить отраву, не сделала аборт, как многие ухажорки Ленчика. Она пошла к парторгу завода, а тогда еще редко ходили бабы к комиссарам, к парторгам. Тот заводской парторг был из военных комиссаров, инвалид войны. Он вместо того, чтоб уговаривать, убеждать, взял Ленчика за грудки и, багровея, сказал: если он, недобитый враг, обездолит русскую бабу и ребенка, — поедет в лес — валить древесину для лож боевых винтовок и на лыжи...

К поре пересечения жизненных путей Ленчика и Коляши у Абальцев было уже двое детей. Людка ходила разодетая в шмотки из американских подарков, прицеливалась родить третье дитя. Ленчик заправлял заводской физкультурой и жил, в общем-то, как и прежде, вольной физкультурной жизнью. К Коляше Хахалину — фронтовику, который к физкультуре был не годен и вообще ничего не умел — ни физкультурить, ни руководить, начальник отнесся по-отечески, не должно так быть, чтоб фронтовик пропадал. Распознав о его писчих увлечениях, Ленчик на первый случай организовал корпункт при физотделе, назначив во главе его Коляшу, и приказал писать отчеты в многотиражку, в областные газеты «Молодая гвардия» и «Звезда» — о громких спортивных делах на заводе имени товарища Ленина.

И пошло-поехало творчество! Прозой Коляша писал о физвоспитании, о спортивных соревнованиях на заводе, стихами же восславлял весь советский спорт, ну и не забывал выдать к женскому дню Восьмое марта, к Первомаю, ко дню Парижской коммуны стихопroduкцию. Стишки исхитрялся он писать «лесенкой», как у Маяковского, — чтоб гонорару выходило побольше. Поскольку Ленчик его угощал, он тоже был вынужден угощать своего шефа. Начал посещать литературный кружок при Союзе писателей, разок-другой вступил в творческую полемику, потом уж и завсегдаем литсобраний сделался, прослыл теоретиком поэзии и компаньоном в застолье...

И только никак не получалось помочь Женяре. Иногда это угнетало совесть поэта. Ленчик Абальц, узнав од-

нажды, сколько платят за заметки и стишки, возмущился, по-русски изматерился и подал мысль заняться Коляше судейством. Футбол хромому судить неподручно, но волейбол, пинг-понг, легкоатлетические соревнования, когда надо судить за столом или наверху, в корзине,— он вполне одолеет, пусть только изучит наставления и правила, а потом уж, на месте, соображает, кого, как, за что и, главное, за сколько судить. Меж цехами, особенно меж заводами идет соревнование, как у турков с русскими под Измаилом. За первенство профсоюзные коллективы всегда готовы «подсобить» судье в его «справедливой» и сложной работе.

Славно пошли дела у Коляши Хахалина, карманные деньги завелись, друзей полон город Молотов. Он и про Женяру с дочерью забывать начал. Но она явилась из Красновишерска сама, да еще и с ребенком.

Была у Ленчика Абальца резервная комната в одном из старых общежитий, в ней и обретался Коляша, часто, по просьбе хозяина, освобождал комнату и койку, иной раз и на всю ночь — значит, Ленчик сказал своей жене, что уехал судить областные соревнования, а она делала вид, будто верила этому, потому как Ленчик с «соревнований» привозил какой-нибудь сувенир и деньги.

Женяра — проницательный человек, сразу же угадала сущность мужниного жилья, назвала его «комнатой свиданий» и решительно потребовала:

— Вот что, друг ситный! Ты уж больно поговорки и приговорки всякие любишь, так вот есть такая: лучше жениться, чем волочиться. Айда-ко под венец, а то, я гляжу, ты здесь здорово захолястляковал, не говорю уж про нас с дочкой, вроде бы, даже и про хромую ногу забыл — петушком прыгаешь!..

Пришлось идти в Мотовилихинский ЗАГС — расписываться. Свидетелями при регистрации являлись Абальц Карл Арнольдович и Людмила Прокофьевна Абальц-Перегудина. «Сведи Бог вас и накорми нас!» — молвила свидетельница и увела молодоженов к себе, выставила на стол винегрет, соленые грибы и вареную картошку да бутылку разведенного спирта. Жених от себя, из бокового кармана заношенного бушлата поллитровку вынул. И грянула свадьба, скорая, что вода полая. Пили и пели. Коляша, уперев негнущуюся ногу в дырку детского стульчика, играл на гармошке, валясь с боку на бок, тенорил, правда, хрипловато. Как всегда по пьяни, завел он песню своей

незабываемой артиллерийской бригады, от которой только песня и осталась,— бригаду и всю Краснознаменную Киевско-Житомирскую дивизию давно уже расформировали, знамена в военный музей сдали. В смысле слова и искусства все схватывающий на ходу, он изрядно поднаторел на гармошке, так что, если даже на тротуар где усядется,— без милостыни не останется.

Солдату на фронте тяжело без любимой,  
Ты пиши мне почаще, пиши, не тревожь.  
Быть может, не скоро вернусь я к любимой,  
Но становится легче, когда песню поешь...

Когда песня дошла до середины и накатили слова:

Алена, Алена, дорогая подруга,  
От меня далеко ты — и в год не дойдешь,  
Быть может, не скоро вернусь я к любимой...—

все уж лицо Коляши залило слезами, с носу капало, в углах губ скапливалась соленая влага, гармонист тряс горькою головою, стряхивая мокро на воздух.

Все плакали, кроме трезвой Женяры. Прижав ребенка к себе, она смотрела, как уверенно, притиснув к стене стульчик с дыркой для горшка, наяривает на гармошке, поет и плачет ее ныне законный муж, и едва удерживалась, чтобы не нахлестать этого непутевого мужичонку по щекам, потом упасть ему на грудь и тоже выплакаться.

— Чтoб тебя, Коляша, пополам да в черепья, как говаривала моя мама,— жалостно проговорила Людка, утираясь бумажной салфеткой.— Вечно ты разбередишь душу, про папу моего бедного напомнишь — совсем ведь, совсем молодой погиб...— всхлипывала Людка, доставая из буфета еще одну бутылку.

— Может, хватит,— подала робкий голос невеста.

— Чего хватит? Чего хватит? Ты посмотри на моего благоверного — в него же, как в паровозный тендер,— из шланги лить надо!

Ленчик Абальц от похвалы запламенел, что праздничный кумач, обнял жену волосатой ручищей, попытался ее нежно приласкать, но она толкнула его локтем в грудь и, разливая жидкость по рюмкам, наставительно молвила:

— Вот чё я те, подруга моя дорогая, скажу. В девках ты много плакала, значит, замужем тебе выть. Забирай-ка ты своего физкультурника и увози куда глаза глядят. Сопьется он здесь, разбалуется совсем, ханыгой станет...

В дальнейшем продолжении застольного разговора Людка твердо и почти трезво заявила, что своего супруга ей уж не исправить, и она ему все равно голову отрубит или посадит лет на десять. Вот дети подрастут, и она исполнит свой завет. Пока же потерпит. Ради детей.

Самое интересное было то, что Ленчик Абальц выслушивал эти угрозы, чуть ли не зевая, — скучно ему было слушать подобные речи. Наслушался он их — кто его к смерти не приговаривал?! Советская власть — за чужую кровь; бабы — за любовь и обман; бухгалтеры — за путаную отчетность; блатяги — за мухлевание в картах; спортсмены — за увертливость и неправильное судейство соревнований на первенство завода или города...

Не вдруг, не сразу устроилась жизнь супругов Хахалиных — время приспело такое, что все устраивались, внедрялись в мирную жизнь, и этой паре никак не находилось подходящего места среди людей.

Жили они в той самой «комнате свиданий». Женяра числилась уборщицей и вахтершей в общежитии, еще подрабатывала стиркой, шитьем, упочинкой. Коляшу она устроила на почту — экспедитором, однако он и там пил, да к тому же простужался, часто болел и попадал в госпиталь, откуда выписываться не торопился. И всякий раз, завалившись в госпиталь, Коляша заставал там новых больных, раненые бойцы вымирали, а Гринберг Моисей Борисович до того долечился, что и в самом деле стал болеть, сделался плох, одряб, посерел лицом, но упрямо ходил воспитывать молодежь по клубам, красным уголкам цехов и предприятий, по школам. Жаловаться, правда, стал, что молодое поколение в школах слушает ветеранов невнимательно, более того, бросает обидные реплики из зала.

«Люди начинают уставать от вранья», — думал Коляша Хахалин, которого все чаще называли уже Николаем Ивановичем, правда, частенько шалопай Коляша настигал солидного Николая Ивановича, давал ему подножки.

Всякий человек есть человек, инвалид — тоже, и российскому человеку, хоть он и больной, хоть и в госпитале, — тоже выпить хочется, но где средства брать? Пенсию жена забирает, зарплата короче воробьиного носа — редко удается рублишко-другой утаить, выходит, надо самому вертеться, добывать денег на выпивку.

Водились в госпитале и по-за ним «стервятники» из

ветеранов, это те, что рыскали по городу, трясая инвалидной книжкой, покупали без очереди продукты, шмотки, билеты на железнодорожном вокзале и тут же продавали их по спекулятивным ценам. Коляша презирал «стервятников», плевался, ругал их, мол, позорят честь советского воина, но так грыз внутри червь, так сосал его ненасытный глист, что не выдержал он и подался к магазину «Колбасы», где уже паслось с десятков шустряков в капроновых шляпах, с колодками на пиджаках.

Коляша к этой поре инвалидность утратил — себе дорожке, пенсия-то сто восемьдесят рублей, на стакан кислоты едва хватает. Ежемесячно на комиссию — день пропадает без оплаты, восемьсот граммов хлеба по карточкам, когда булка хлеба тянула на базаре на тысячу. Вот Коляша и перестал ходить на комиссию. Не он один, многие калеки войны утратили инвалидность по третьей группе. И, ох, спохватятся они на старости лет, тратя последние нервы, примутся восстанавливать инвалидность, и у кого справки из госпиталя велись, те с грехом пополам, с проволочками, достойными строгого коммунистического учета, восстановятся. Но многие так и лягут в гроб, хлопоча о справках, так и не дождутся благ от государства, которое спохватится и вспомнит о солдатах, спасших мир и отечество от фашизма, лишь к тридцатилетию Победы, когда уж совсем проредятся колонны бывших бойцов и не так уж накладно государству будет благодетельствовать оставшихся в живых.

Выпячивая грудь с колодками, Коляша купил два килограмма сосисок и вошел в соседний, каменный двор, где перекупщиков уже дожидались торопливые люди. Женщина в грубых, какой-то химией скоробленных ботинках, желтая лицом, с пепельными натеками под глазами, заталкивая в сумку висюльки сосисок, с ненавистью глядела на продавца:

— Колодки нацепил! В штабе каком-нибудь ошивался альбо в комиссаришках... — и пошла по грязным лужам, не разбирая дороги, шурша тяжелой, как бы жестяной юбкой, тоже химией вылуженной.

Зарекся Коляша ходить с бригадами «стервятников» на промысел, но на уговоры Гринберга поддался, сделал вылазку-другую на платные вечера с патриотическими выступлениями. В доме пионеров, по наводке и подсказке Людки Абальц-Перегудовой, засекала Женяра мужа. Ну и дала ему копотил!

— Да что же это ты делаешь?! До чего же ты, Колька-вист, докатился?!

Коляша дюже поразился: Женяра вспомнила — и к месту! — его давнее прозвище.

— Я за что к тебе приластилась-то? Да за то, что ты про святое дело — про войну — не брехал, в партию в ихнюю не записался! Насмотрелась я за войну-то, наслушалась наших партийцев почтовых да из цензуры которые... Ты думаешь, где вот они сейчас? Так же, как мы, бездомовые, полуголодные, маются? Да о них-то как раз братики-энкэвэдэшники позаботились! Предложили занять квартиры в центре Риги, дали хлебные должности! Живут, жируют по Латвиям да по Эстониям! Но я им не завидую, не-эт! Придет, придет пора — вернутся прибалты из лагерей и ссылок, не все, но вернутся... И что тогда? Что, я тебя спрашиваю?

— Да откуда я знаю? — отозвался Коляша и подумал, что, если жена узнает, как он сосисками подторговывал, — тогда уж все! Тогда конец их семейному союзу!..

— А ты знай! Знай! И войну помни! А то опустился до того, что тоже по школам да по клубам пошел! Вместе с этими, что в капроновых шляпах... Тоже принялся брехать, копейки и рюмки сшибать! Хоть бы стишки свои патриотические читал, а то туда же: «Я! Я! Мы! Мы!» Герои, понимаете ли, отважные воины!.. Да как же тебе, израненному, в военное говно носом натыканному, не стыдно-то? Как же тебе не совестно?! — Женяру бил кашель, она вскочила и, показывая куда-то в темный угол, пыталась выкрикнуть: — Вот клянусь! Памятью отца клянусь! Дитем нашим клянусь: если ты будешь так себя вести — брошу я тебя! Брошу! И шляпу эту, шляпу... — она поискала глазами капроновую шляпу, нашла, швырнула на пол и принялась ее топтать, раненно при этом крича, плакала, закатиисто кашляла.

Не выдержав такого бунта и суда, Коляша прижал к себе свою Женяру, чувствуя под руками ходуном ходящие от кашля лопатки, ощущал все ее усталое, изношенное до времени тело, успокаивая кашель, гладил по спине русскую, горькую бабу, многотерпеливую жену свою богданную и, тоже заплакав, под конец беседы дал обещание, что никогда больше, никогда не будет врать про войну и ни за что ее, Женяру, ни на кого не променяет.

Уже поздней ночью, от слез и нервного приступа ослабелая, обласканная, утешенная мужем, уютно лежа на



его все еще мускулистой руке, Женяра рассказывала о самом сокровенном:

— Вот ты сперва добивался, но потом, по пьянке и в суете, про все забыл, кто был у меня первый мужчина, и как он был, и что было. И врать не стану, первый ведь первый, а второй есть второй. Привязалась я к тому мужчине и отдалась ему не только потому, что срок пришел и терпения не стало, но и потому, что всю эту тыловую публику он презирал и громил. Из госпиталя лейтенант пехоты при орденах, по ошибке, видать, к нам назначен был. Как напьется, а пил он кажин день, так и пойдет, и пойдет: «Ах вы, тыловые крысы! Ах вы, рожи поганые! Вот вы где присосались! Вот в каком малиннике пасетесь!..» Я хоть в кладовке, хоть в норе своей пыльной копошусь, но все слышу и восхищаюсь! Ездили мы с ним однажды на станцию за поступлениями, завернули в садочек — яблочек потрясти, вкусили плода, как Адам и Ева, ну и... Упекли скоро бунтаря-лейтенанта туда, куда надо, — на передовую. А я, слава Богу, осталась без последствий. Наши коты иной раз в кладовку заглядывали, так я эту погань склизкую шваброй... О-о, Господи! Ни молодости, ни цветов, ни свиданий, одни слезы. Девки на сортировке как грянут, бывало, в сотню голосов «Лучинушку» иль «Под окном черемуха колышется...» — я слезами в своем уголке зайдусь. Не раз меня и водой отпаивали, не раз и я отпаивала... И абортыв девки сами себе делали — от случайных кавалеров, и срамом занимались, сами себя удовлетворяя. Что тут сделаешь? Природа свое берет. Бог им судья. В цензуре несколько кобыл друг с дружкой грешили, дак сейчас и это не диво. Диво, что фельдшериншко наш с парнем-баянистом жил — при таком-то избытии мающихся женских тел!.. А мой лейтенант с передовой прислал одно письмо — и отрезало. Пропал, видно, — уж больно бедовый был! — Женяра помолчала, вздохнула и потерявила Коляшу за вихор. — Двое мужчин в моей жизни было, и оба охломоны, — закончила она беседу и, подетски тонко всхлипнув, уснула.

Коляша же долго еще лежал, не шевелясь, и думал о том, что жену свою он уважает, может, даже любит, да до сего дня как-то не догадывался об этом подумать. Но что жалеет он жену и дальше еще больше будет жалеть, это уж точно, это уж верняк.

**ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ**



**ЛУННЫЙ БЛИК**



---

Женяра сообщила, что есть набор на сибирские новостройки и есть места на почте нового района. Пожалуй что, пора им покидать «комнату свиданий» и весь этот уральский рай, да и устраиваться основательно, а то в гнилой общежитке и сами догниют.

И покатила семья Хахалиных с толпами, кучами, стадами на загадочную сибирскую землю. И однажды, стоя у дверей вагона, Коляша объявил жене, что проезжают они его родину, где уж нет никого и ничего — ни родных и ни родного.

В далеком горном краю супруги Хахалины устроились в новом городке гидростроителей работать на почту: она — оператором, он снова экспедитором. Не сразу, но и жилье получили, и зажили той жизнью, какую жили миллионы, сотни миллионов советских граждан, едва сводя концы с концами, из года в год простаивая в очередях за всем, что выкидывали в магазинах для продажи.

После утарного Урала в новом таежном городке здоровье Женяры пошло на поправку, но пристала пора дочери Шурке поступать в институт, в педагогический призвание ее кликало, и начали они готовиться к переезду в краевой центр. А в нем копоты, дыму и каких-то частиц и новых элементов в смеси с радиацией еще больше, чем на Урале. Но... как же! Как же! Дочь ведь мечтает стать педагогом!

Шурочка же призвание свое выявила в иных направ-

лениях — на втором курсе вместо науки обрела брюхо. Взявши хахалю Валеру за грудки, родители ее заставили «мастера» сделаться их зятем. И вот уже и Шурочка, и Валера-студент, спустившийся с первобытных тувинских гор в центр, в науку, и сынок их Игорь повисли на бедной почтовой зарплате супругов Хахалиных.

Еще в конце пятидесятых годов инвалиду войны Хахалину вырешили участок земли, и, если б не участок тот, не свои овощи — подыхать бы с голоду всему этому боевому тунейадному взводу, как называл иждивенцев и нахлебников Николай Иванович. Участок недалеко, в пригороде, и, сначала играя в огород и в землю, супруги постепенно втянулись в это дело, вырастили полезные кусты, деревца, построили избушку с печкой, двумя топчанами и столом меж ними, да и привязались ко клочку земли, ими обустроенному.

Угомонился, притих, не егозился, не искал жизненных разнообразий Николай Иванович, хотя чувствовал, что рамка той жизни, в которую он втиснут, тесна, однако люди и к колодкам, и к кандалам привыкали. Рамка, она только шею стесняет, голову же тревожит совсем по другой причине — натура-дура все еще ехать, бежать куда-то зовет. Николай Иванович укрощал себя, сколько мог, но совсем уж немолодым все же съездил в дали дальние, в святые места, за что и получил новую кличку — монах.

Будучи в очередной раз в госпитале, от праздности и безделья он возьми да и напиши однажды письмо в город Ровно, Гурьяну с Туськой, безо всякой надежды на ответ — времени-то прошло — вечность! Но как совладать с побуждениями безродного человека — искать и найти хоть какую-то родную душу на земле? А ответ-то, бах-трах, через месяц и пришел. Только на конверте, на обратном адресе, значится: Гарпина Тарасовна Гунько.

Чудеса в решетке! Откликнулась Гапка, та самая, с которой у Коляши легучий роман заводился. Она сообщила, что Гурьяна с Туськой здесь уже давно нэмае. Гурьян еще много рокив назад поихав на свежее вино до Кишинева да и потерялся. Туся ждала его, ждала и кинулась искать. И нашла все-таки — аж на острове Валааме, куда свозили безнадежных калек. Оттуда, с Валаама, Туська сперва присылала письма, интересовалась хозяйством, но потом писать перестала, по-видимому, узнала, что до своих хат начали возвращаться настоящие, по Собиру кое-где уцелевшие хозяева.

И вот еще годы спустя, выйдя на пенсию, покатила Николай Иванович в Ленинград, оттуда на туристическом теплоходе правиться к Валааму. Если б кто его спросил, зачем и почему он в такую даль едет, резонно ответить старый солдат не сумел бы.

В пути у Николая Ивановича случилось очень загадочное, можно сказать, символическое видение. После того, как туристы перестали бегать друг за дружкой по палубе, на корме отгремела музыка, под которую, кто во что горазд, прыгали, топотили, вихлялись, а которые пары в экстазе почти и совокуплялись, и усталые, разгоряченные танцоры, готовые к ночным схваткам, разбрелись по каютам, Николай Иванович придвинул витое кресло к носовой загородке, наблюдал за природой и думал о жизни. На воде озера, успокоенного, мирно дремлющего, лежало серебристое с краев, в середине медно окислившееся отражение луны. Теплоход все норовил наехать на него, расколоть, раскрошить, но пятно луны легко, играючи откатывалось от почти его достигшего железного плуга, оставляя лишь призрачный, легкой фольгой расстилающийся блик. Не отрываясь смотрел и смотрел беспокойный человек на эту затейливую игру, и то ему хотелось, прямо-таки нетерпеливо ждалось, чтобы шумящей водой теплоход смял, порезал волшебным сияющим кругом, но еще шибче хотелось ему, чтоб вечно так было: широкое, тихое озеро с пятнами островов вдали, искрящихся огнями, — и там кто-то живет! Вот так бы плыть, плыть, замороженному луной, утихшему в себе, все тревоги позабывшему, себе, только себе и природе принадлежащему, доверчиво ей отдавшемуся. В книгах это называется точным словом — блаженство!

Да разве возможно блаженство там, где есть люди, исчадьдя эти, советские охломоны, везде со своими уставами, правилами, указаниями — жить, как велено, но не так, как твоей душеньке хочется.

— Гражданин! — тронули Николая Ивановича за плечо. — Отбой был, пора в каюту. Ночью на палубе нельзя.

— Ну почему нельзя, почему? Не лунатик я, вина не пил, почти не пил, — поправился Николай Иванович. — На мачту не полезу, за борт не выброшусь.

Он говорил и в то же время смотрел, что там и как с луной-то? И вдруг теплоход наехал, разбил отражение небесного светила. Николай Иванович схватил дежурного матроса за руку и потащил на корму. Разрезанная

пополам, разбитая на куски, смятая луна растерянно качалась за кормой, но, соединяясь воедино, блики, крошки, тени, обиженно моргая, укатывались вдаль, подранком билась теплоходом поврежденная луна, укрываясь в темень берегов.

— Ты пойми, пойми, что произошло-то! Тут весь смысл нашей проклятой жизни! Мы пришли, чтобы разрушить прекрасное. И выходит, что? Ах, как бы тебе, парень, это объяснить. Жалко, понимаешь, жалко все, себя, тебя, людей, это озеро...

— Ну вот, а говорите — не пьяный. Вон какую барабу несете. Идите и проспите.

Никем не понятый, Николай Иванович ушел в четырехместную каюту, где попутчики его уже крепко спали и видели, поди-ка, уж четвертый, если не пятый, сон. В бутылке за диваном у Николая Ивановича еще было вино «Ркацители». Он его допил прямо из горла, упал, не сняв пиджака, лицом в подушку и подумал, что зря он едет на Валаам, не найдет он там среди толпы инвалидов своей братвы, не обретет успокоения. И жизнь он прожил зряшную, никчемную: ни шофера, ни отца, ни поэта — ничего-ничего из него не получилось. А ведь сулила же чего-то жизнь-то, манила в даль светлую, ко дням необыкновенным и делам захватывающим звала.

Ну, а Женяра, Шурка, Игорь? Разве этого мало — вырастить, не уморить в Стране Советов, в такое-то время дочь, а потом и внуков. Это ж у нас почти подвиг — выжить-то! Но подвиг-то, если по совести, сотворила Женяра. А зачем? Для чего? Для кого? Шурка ушла в люди, чужой стала. Игоря, гляди, так уж скоро в армию заберут, тоже чужим сделают.

Люди вон и на Луну слетали уж, а я все изображаю из себя что-то, рифмую: «клизму — коммунизму», «вперед — зовет»... И в литературные кружки перестал ходить. А ведь в Перми, в заводском кружке или при Союзе писателей, бывало, как травану насчет лада и склада, традиций русской литературы, настаивая на том, что в стихах главное — идейное содержание, и коли его нет, идейного-то содержания, то и братья за перо незачем... И соглашались — сперва дружно, потом разрозненно, потом спорить начали, потом и насмеяться. А сами-то, сами-то чего пишут? Какую барабу — эх, какое ловкое парень слово-то ввернул — несут? «Гипотенуза тела твоего распростерлась, как лоно луны». «Эрос, склонившийся с не-

бес, тыквы живота твоего катает под тихое рыданье ночи, и слышу я глаза твои, пронзившие беззвучие космоса». Ну чем, чем это лучше стихов одного участника ВОВ: «С насильем нашим не мирюся, с тоталитаризмом крепко бьюся и, если Родина поκληчет со двора, как прежде, в бой пойду я под «ура!»?

Луна взошла, светла пшеница,  
Чуть золотеет сизый дым.  
Я вновь пришел тебе присниться,  
В цветах, с гармошкой, молодым.

И ни повестки, ни вокзала,  
И смех, и губы не на срок.  
Но ты сама зубами развязала  
Солдатский узел всех дорог...

А я еще на Брянском фронте  
Убит с полротой по весне...  
Под утро спящих вдов не троньте —  
Они целуют нас во сне.

Вот написал же безвестный поэт этакое! Долго учился небось человек, много читал, обдумывал, страдал душевно и стихи не «выдристывал» к очередному «Великому» празднику — они у него в сердце закипали, в голове отливались, и раскаленные строки бумагу прожигали. Идея, о которой так пекся когда-то начинающий поэт Хахалин, в стихе налицо, без коммунизмы и клизмы. А ведь написано стихотворение в самые худшие годы тоталитаризма и всеобщего оглушения...

«Ах ты, разакты! Кто же это иссосал мою жизнь, как дешевую папироску, и окурок выплюнул... Э-эх, Коляша ты Коляша! Зря, однако, на теплоход погрузился. Роздыху не получил, но, как говорят советские критики, самокопанием занялся».

Грустные думы, ночные картины и вино расслабили Николая Ивановича так, что спал он до самой пристани, монастыря, издали красиво на Валааме глядящегося, не зрел, сразу уперся взглядом в кирпичные, временем, водой и людьми искарябанные, гнилой зеленью объятые стены.

Никаких инвалидов на Валааме уже не было. Они, как сказал монах Ефимий, не так давно переселены под город

Медвежьегорск, который на Беломорканале. Монастырь возвращен подлинным его хозяевам, кои потихоньку, с Божьей помощью возвращаются в свою поруганную, проматеренную обитель, изгоняют из нее дух мучения и нечисти, замаливают людские грехи, ремонтируют помещения и службы.

Отец Ефимий был в монастыре вроде ротного старшины или колхозного бригадира, распорядился хозяйством, наряжал на работу. Отставшего от теплохода Николая Ивановича, уже носящего какое-никакое брюшко, тоже впряг в работу, и он, терзая больную ногу, таскал носилки с лопью кирпича, мусора, которого инвалидный дом нагромоздил на острове целые курганы и не все в этих курганах давалось огню.

Ночами отец Ефимий учил Николая Ивановича молиться, потому как из-за своей пролетарской сути он не умел и лба перекрестить, не знал ни одной молитвы. Стоять на коленях, да еще на одном, было утомительно, болели кости, ломило спину. Но мучения эти были не то что сладки, они утешающи были и происходили в каком-то другом человеке, о котором Николай Иванович и не подозревал, что он находится в сердечке сердца. Главное — покой, вкрадчивый, врачующий покой посетил душу Николая Ивановича, и он с каким-то слезливым чувством повторял за отцом Ефимием: «Огради мя, Господи, силою честного и животворящего креста и сохрани нас от всякого зла».

Молитвы были складны, легко запоминались, это тебе не вирши про Кремль, про Сталина и про партию — их он перечитал целый вагон и сам насоставлял — собрать, так толстый том получится. Молитвы, говорил отец Ефимий, сотворены с Божьей помощью святыми мучениками и отшельниками, не гонялись они за славой, не ставили имен под своими творениями. «И гонорару не требовали!» — подхватил сшибатель стихотворных рублишек по газетам и многотиражкам.

Питались монахи постно, не изобильно: рыбкой, которую бреднем вытаскивали из озера, обрезаясь об шипучую и острую осоку. Тут поэт-стихотворец услышал редкостное по точности слово — «мудорез» — монахи-то бродили в осоке без штанов. Картошечка с постным маслом, свекла, морковка и много капусты. Монахи, и молодые, и старые, были все поджары, туго запряжены по дамским талиям, не курили, не пили, разве что квас. Брюшко Николая Ивановича скоро опало, начал он втягиваться в



тихую, трудом наполненную жизнь. Но однажды, когда причалил к Валааму теплоход с туристами, торопливо собирался.

— Семья у меня, дети. Так что спасибо за приют и ласку, и, потупившись, признался отцу Ефимию: — Нет, отче, такая жизнь не для меня. Я уж, как и многие советские граждане, развращен, разбалован нищенской вольностью, привык мало работать и мало получать. Молитесь уж не за нас, за детей наших — может, хоть они спасутся от этой блудной и распаскудной жизни...

На прощанье Николай Иванович поцеловал крест на груди и руку монаха. Отец Ефимий перекрестил его вслед.

Всю дорогу держался Николай Иванович, не пил, крестился прежде, чем приняться за трапезу, дома заявил, что чуть было не сделался монахом, едва не остался на острове Валааме навсегда — служить Господу нашему. Он приобрел в Покровской церкви икону Святой Богородицы, напечатанную на бумаге, за десять рублей, крестился на нее перед обедом и отходя ко сну.

Домашние ухмылялись, не верили в его святость.

— Не срамил бы, блядун и пьяница, молитвы-то, не гневил бы Господа — Он и без того на нас, российских, давно сердитый... — пеняла Женяра мужу.

На что Николай Иванович, строжась, отвечал:

— Не веруешь — не надо! Другим же веровать и душу очищать не мешай! — и строго, видать, кому-то из монахов подражая, поджимал губы, седой щетиной обметанные, — бритва у него была электрическая, киргизского производства, она шибко шумела, но не брала волос под корень.

Умерла теща, Анна Меркуловна. Ехали на далекую Вишеру долго, канителью, едва к выносу тела успели. В доме хозяйничал все тот же хваткий чутрей, и при нем была молчаливая, но все видящая женщина, якобы родственница, управлявшаяся по хозяйству, довольно уже обширному. На нем-то, на хозяйстве этом, надорвалась Анна Меркуловна, которую, сказывали соседи, постоялец крепко поколачивал. Он ее, ослабевшую духом и телом, и забил-таки до смерти. Откупаясь от загребущего постояльца, вдова Белоусова переписала на него хозяйство, счет в сберкассе, все, кроме дома, — боялась женщина, дога-

дывались дочь с зятем, что больную он мог и выбросить из дома.

Хотели супруги Хахалины дожить до девяти дней кончины матери и отвести поминки, но взматерелый, грузный, с облезшей головой поселенец, глядя медведем изпод костлявого лба, сказал:

— Чего до дому не идэте?

— А ты чего до дому не идешь? Чего тут присосался? Боишься, что на родной стороне кишки выпустят за дешишки твои прошлые? — взвелась Женяра.

— Мэни и здесь добрэ. Ничого тут вашего нэмае! Вымэтайтэсь!

— Плати за дом, и мы плюнем тебе в обмороженные глаза и уедем.

— Скики?

И Женяра назвала, для нее, почтового работника, получающего сто десять рублей и перед пенсией перевалившего за сто сорок, немислимую сумму — три тысячи рублей, — ровно столько, сколько не хватало дочери и зятю, копившим на «Жигули».

— Обрадовала ты бендеровца, обрадовала! Он-то думал, тысяч двадцать сдерешь! — сказал Николай Иванович жене уже в вагоне.

Вообще-то он за все дни пребывания в Красновишерске рта не открыл. Вошло уже в привычку: когда тихая с виду жена гневалась и выпаливала скопившийся заряд — супруг должен был терпеть и молчать.

— Чего же ты промолчал, такой находчивый и смелый?

— А чего тут скажешь? Тут, как интеллигентно выразился гениальный пролетарский поэт, должен разговаривать товарищ маузер! А я, как ты знаешь, насчет маузеров и прочего ныне воздерживаюсь.

Женяра знала, что он терпеть не мог пролетарского поэта, особенно в последнее время.

Когда вышел на пенсию Николай Иванович и появилась у него прорва свободного времени, он чаще стал ходить в библиотеку, приобщался к серьезному чтению, и, чем больше он приобщался, тем отстраненней от слова трескучего и дешевого себя чувствовал, — прочирикал дар свой маленький, за фук отдал, играя в поэтические пешки, искал легкой жизни и в поэзии, не задумываясь

над тем, что большинство гениальных поэтов рано умирали, перекаливая свою жизнь, сжигая ее в пламени, самими же возженным, или были перебиты за дерзость, за честь, за ум и талант черными завистниками, обделенными Создателем талантом и разумом.

Более других его много лет назад потрясла преждевременная смерть Николая Рубцова, стихи которого он не только читал, запоминал, но и пел под гармошку, изобретая собственный мотив. Не без ехидства, с целью уязвления Коляша сказал Женяре: поэта Рубцова руками задушила женщина.

— Женщина! Понимаешь?!

— Да как не понять? — отозвалась Женяра. — Если бы ты знал, ведал, сколько раз мне хотелось тебя удавить... — и, помолчав, добавила со вздохом: — Видать, и в самом деле есть Бог. Уберег Он меня от этого тяжкого греха.

Коляша Хахалин, стихоплет и плут, под видом библиотеки ходил в те поры на вечера «Кому за пятьдесят» и, выдав себя за горького вдовца, обгулял там парочку еще годных в дело бабенок. Однако со временем всякие походы «на сторону» и любого рода отклонения прекратил, весь отдавшись созданию личного земного рая на загородном участке. Наезжавшая на участок в неурочный час, иногда и в ночной, — чтобы захватить супруга с какой-нибудь ухажоркой в отдельной-то избушке, — Женяра с годами ревнивые подозрения отбросила. Коляша, вечный пролетарий, детдомовщина, неумеха, так «заболел» землей и так на ней устряпывался, что не только про баб, но и про поэзию думать сил у него не хватало.

Но вот вырос и начал плодоносить сад с кедром, огород рожал, как у некоторых земледельцев — героев соцтруда, плодovито. Ослабла трудовая повинность, самому себе назначенная, снова появилось время на раздумья, бессонницы подступили снова, и снова Николай Иванович задавал себе вопрос: отчего, почему не сложилась его жизнь, как он хотел бы ее сложить или так, как назначил Создатель? Отчего он уподобился тем, кто, съевши пять эшелонов харчей и выделив эшелон дерьма, исчерпывали тем самым явление свое на свет, сами становясь удобрением? «А вы на земле проживете, как черви слепые живут, ни сказок о вас не расскажут, ни песен о вас не споют». Кто-то должен быть в этом виноват? Кто-то и ответить за это должен...

Серьезные книги давали ответ уклончивый, часто пу-

танный, серьезные писатели-мыслители, прежде всего величайший смутьян Лев Толстой, — сами мучались теми же вопросами, какие почти столетие спустя, на другом конце России донимали хромого инвалида войны Николая Ивановича Хахалина.

Тогда-то и пошел он искать ответа и виноватых на сборище недобитых, снова в банды собирающихся большевичков, — эти всегда знали на все ответы, и путь в светлое будущее всегда был им ясен: перемоги себя, растопчи ближнего своего, наступи сапогом на хрустящую его грудь и спокойно, гордо следуй дальше — великая цель всеобщего счастья человечества оправдывает любые средства, любые жертвы...

Так было, такая мораль торжествовала. Но все переменялось, все подверглось сомнению, и, если бывшие партократы неистовствуют, борются, значит, перед ними открылись новые цели, появился более ясный и прямой путь в будущее — по кривому-то они уже шли.

Нет, ничего не переменялось, лишь сделалось явным, дозволенно изрекалось — отомстить всем, кто валил или молчанием и терпеливостью своей помогал валить идею коммунизма, кто оттер в сторону сытых борцов за правое дело.

Нестриженная, с бантами и флагами кучка век доживающих борцов копошилась возле пьедестала огромного каменного изваяния Ленину, который на самом деле был карликом и о котором Бунин — волшебник русского слова, никого не страшась, в удушливые смертные годы писал: «Маленький, картавый, нерусский, с недолеченным сифилисом».

Шустрый малый с раздвоенным ликом: сверху — крыса, ко крысе подставлен зад сытой хохлушки, — по фамилии Кащенко, под ручку помогал взгромоздиться на камень очередному мятежному оратору, который снова звал народ русский ко крови, поносил режим, современных палачей, брызгая натуральной слюной.

«Э-э, пареваны-большевики! Э-э, товарищ Кащенко! При режиме вы бы уже давно с вырванными языками лес валили в глуби здешней тайги...»

Малый этот беспробудно пил в молодости, валялся на улицах, под забором, должно быть, по этой причине остался он при пионерском теле, и вот приросла, прикрепи-

лась крысино-хохлацкая морда к фигуре недоноска, не прощающего человечеству пропитую юность и молодость, мстящего всем за то, что его, как и весь русский народ, спаивали.

Но вот метнулся угодник-шестерка в гущу толпящегося, потрясающего кровавыми знаменами сборища, среди которого было две примелькавшиеся стервятницы и один стервятник с гармошкой, по найму шныряющих по разного рода сборищам, мелькали они даже и в столичной хронике, да и остальной народ лицами был мучительно знаком старому солдату, — вдруг ударило по башке: «Да в конвойном ровенском полку я их всех видел, рожи-то у падали этой везде и всюду совершенно одинаковые!»

Кащенко влек под локоток лошадеподобного, с лошадиной же отвислой губой, местного вождя народов — Рванова, негромко, но внятно повторяя: «Дорогу будущему президенту! Дорогу будущему президенту!» — и вышиб два-три аплодисмента из негустой толпы. Рванов — типичный советский проходимец, плод той системы, созданию которой он способствовал и небескорыстно служил. Будучи директором крупного комбината, отравляя небо, воду, землю газами, химией и всякой иной заразой, морил детей, десятки лет гнал военную продукцию устарелых моделей, разорял государство и народ, конечно же, «не знавший», что творит, выпускает халтуру, зато есть работа, зарплата подходящая по сравнению с «мирной» зарплатой остальных совграждан. Сам голова сделался генералом, академиком, от самонадеянной тупости выдал он народу книгу под названием: «Я — Рванов». Самодержец всея Руси писал — «мы», а этот вот сразу «я». Дела на его заводе, морально и материально устарелом, шли ко краху, и пройдоха этот вместо того, чтобы покаяться вместе с партией, его и крах этот породившей, доказывает с помощью блудного пера таких шестерок, как Кащенко, что было все хорошо, а его предприятие до ручки за несколько лет довели демократы, и ничего ему не остается, как по наказу народа идти вверх и наводить там порядок. По за трибуной, среди своих, Рванов, правда, талдычит, что миллионов десять-двенадцать рабочего скота придется пустить «под жернова», зато уж остальной народ достигнет наконец блаженных берегов с надписью: «Светлое будущее».

Следом за Рвановым грузно и грозно шагал еще один защитник русского народа, с подходящей фамилией —

Фурчик. Этот занимал когда-то высокий пост в местных партийных сферах и не мог никому простить, что в одночасье его лишился.

Никто из этой троицы не имел ни ума, ни талантов никаких, они даже гвоздя забить не умели и по этой причине могли только руководить, а для них руководить — значит говорить. Вот и говорили, не разумея смысла, гремели голосом и звали народ теперь уж к «светлому» прошлому, не понимая даже такой малости, что «в обратный отправившись путь, все равно не вернешься обратно», что, роя яму для других, как правило, ее копатели угадывали туда если не первыми, то в очередной шеренге.

Сколько Коляша видел снимков убийц возле убитых, особенно немецких солдат возле трупов русских. Страшно! Но Коляша ни разу не видел снимков: русских возле убитых ими врагов. Больше того, за время пребывания на фронте не помнил он, чтобы кто-то из наших изъявил желание сфотографироваться возле убитых. Правда, и фотоаппаратов у русских не было, но при желании чего нельзя сделать? А желания-то ни у кого и не возникало. Помнил он несколько случаев, и себя тоже, когда солдатам хотелось взглянуть на того, кого они убили или предполагали, что убили, и на всех такая «встреча» производила гнетущее впечатление. Какое все-таки тяжелое дело — убивать! А любоваться убийством, позировать — это уж верх всякого бездушия иль безумия. Но эти вот, что громоздятся на пьедестале памятника самого страшного убийцы двадцатого века, смутьяна и безбожника, — эти могут, эти убьют, и ногу поставят на грудь поверженного, и будут позировать, ибо зло, взлелеянное большевиками, взматерело, укрепилось, сделалось безглазо и совсем бессердечно.

И вот сюда, к этому вот сброду, подался бывший солдат, инвалид войны — за утешением. Ай-яй-яй, Николай Иванович, Николай Иванович! Сам же ведь сочинил когда-то: «Поэтом можешь ты не быть, но и свиньей быть не обязан».

Пошел, поковылял Николай Иванович с площади и вдруг почувствовал, как продевается рука под его локоть. Рядом шагал Гринберг Моисей Борисович, вечный его спутник по госпиталям. Ну, что да как, да какими судьбами здесь, в Сибири? Дочка с семьей, оказывается, здесь. В санэпиднадзоре трудится, зять в торговой сети. Внучка уже местный институт культуры заканчивает, внук — ло-

велас, на шее матери с отцом сидит, делает вид, что в университете учится, на самом же деле к чернорубашечникам примкнул и борется за освобождение русского народа из-под ига демократов.

Они зашли в дорогое кафе под названием «Марианна» при городском парке и выпили дорогой иностранной водки под названием «Горбачев». Перед тем, как выпить первую, Николай Иванович снял шляпу, поискал нужный угол и перекрестился, чем потряс Моисея Борисовича. Махнули по второй, Моисей Борисович постучал по бутылке ногтем:

— Ирония судьбы: борец с алкоголизмом и коммунизмом удостоился такой вот боевой памяти, — и, опустив глаза долу, добавил: — А что крестишься, Николай Иванович, — весьма одобряю. Надо ж кому-то и наши грехи замаливать.

Николай Иванович читал: водку «Горбачев» производил русский купец по фамилии Горбачев, сейчас она варится в одном лишь месте — в Берлине, но насчет иронии судьбы возражать не стал — уж чего-чего, ироний на Руси всегда было достаточно.

Старые вояки допили бутылку. Их изрядно развезло, и они, поддерживая друг дружку, вышли на улицу. На площади ораторов уже не было, но от памятника, изваянного скульптором Пинчуком, разносилась песня: «Смело мы в бой пойдем за власть советов и как один умрем...»

— Снова умирать зовут, но когда-то ж надо и жить?..

— Нам от коммунистов, фашистов деваться некуда, но тебе, Моисей Борисович, детям твоим и внукам можно в Израиль податься.

Гринберг, видно, много уж думал над данным вопросом, потому и ответил без промедления, резко:

— Где он, тот Израиль? И шо я там потерял? Я, — Моисей Борисович постучал каблуком в криво налитый, как бы черными коростами покрытый асфальт, — я на этой земле произошел на свет и в ней покоиться буду. Дети ж и внуки пусть сами решают свои задачи. Хватит-таки, что их за нас все время уверху решали...

Где-то, что-то они еще добавляли. Гринберг Моисей Борисович был менее, чем Николай Иванович, разрушен, может, по еврейской натуре хитрил, не допивал до дна, но товарища по войне не бросил, доставил домой.

— Экие красавцы! — всплеснула руками Женяра и домой Гринберга не отпустила, бегала к соседям, звонила,

чтоб дети и внуки не теряли отца и деда, беседовала с фронтовиками, которые в пьяном виде смотрели телевизор и матерно комментировали происходящее на экране.

За папой, Моисеем Борисовичем, утром приехала все еще моложавая, но уже усатая дочь по имени Эра. Посмотрев пристально на едва живых ветеранов, она принесла из машины шкалик коньяку, два «сникерса» и, понаблюдав, как трудно опохмеляются, мучительно восстают к жизни престарелые вояки, потягивая сигарету, криво усмехнулась:

— Пили бы уж лучше мочу.

Ох, ох, ехидная дамочка, не забыла ведь, напомнила о давнем, еще на пермской стороне происходившем увлечении госпитальников. Где-то они прослышали о чудодейственном свойстве мочи и принялись ее хлестать пуще, чем водку, надеясь выздороветь, омолодиться и дать еще дрозда в этой жизни. Инвалиды и ветераны войны время от времени поддавались психозу самолечения и то употребляли где-то дорого купленное мумие, которое часто оказывалось обыкновенной смолой, то, потев и прет, пили травы с медом, непременно собранным с донника, то гонялись сами, но чаще гоняли жен и детей за маральим корнем иль вываренной жидкостью из оленьих пантов. И дело кончилось тем, что дошли до мочи. Главный врач госпиталя, все уже чудачества и увлечения своих пациентов перетерпевший, зная, что ему не побороть их: нет на земле упрямей и психоватей инвалидишек этих, — печально говорил опившимся мочой и сплошь запивающим ее водкой или самогоном:

— Вы уж хоть не свою мочу-то пейте. У вас же давно вся трубка гнилая и перетряхнутая. Берите хоть у детей, что ли.

Эркина моча тоже была в ходу, она сама ее и заносила по пути в школу. Моисей Борисович, по-братски смеясь, говорил, чтоб не сэкономили «лекарство» — дочь у него зассыха. И вот бывшая зассыха, под зэка стриженная, за рулем автомобиля, в плотно ее фигуру облегающем свитерке, кожаная куртка на ней с молниями, желтыми нитками простроченная, сигаркой дымит, над стариками насмехается.

— О-ох-хо-хо-о-о! Время, время! — обнялись на прощанье заслуженные люди. Что-то бесконечно горькое, даже пространственно-печальное было в расставании двух подгулявших стариков, может, уж и чувствовали они, что могут



на этом свете более и не встретиться... Женяра банку маринованных огурцов и малинового варенья банку в Эркину машину сунула. Интеллигенция ж. Все с базара да втридорога. А тут плоды со своего участка, Эрка не покичилась, поблагодарила за подарки.

И вот лежит Николай Иванович в своей хорошо натопленной избушке. Под шорох дождя за окном, кустов шептанье пытается уснуть.

Днем приезжала Женяра, помогала прибраться на зиму — сгребали листья, ботву и всякий мусор. Дымно горела куча на меже огорода. Она и сейчас, под дождем, еще сочится изморным, белесо во тьме плавающим дымом, и что-то тлеющее в куче время от времени воспрынет, займется качающимся огоньком, попрыгает пеплушкой и упадет в кучу, спрячется.

«Так вот и наша теперешняя жизнь дотлевет, — справляя малую нужду в кусты крыжовника, меланхолично размышлял бывший солдат, слушая, как за дверью, возле печки покашливает Женяра. — Говорил, к костру не лезь — дыму много, а она в ответ: «Я так люблю осенний костерок, и осень люблю, и все это». — А вокруг в недвижимом воздухе плавали, стелились над огородами дымы, тихое солнце покоилось над дальними горами и лесом, словно не хотело оно закатываться, жаль ему было покидать эту землю и людей, так ему радующихся весной, летом, даже осенью этой, покойной и прозрачной. «Не хочу, не хочу, чтоб Женяра умирала... раньше меня... не могу я без нее. Господи, внемли, не отвори лика Своего от нас. Я, как капусту срубим и увезем, схожу в церковь, помолюсь, свечу поставлю... Я еще не забыл монастырь и молитвы... Господи!..»

Управившись в огороде и вокруг избушки, супруги Хахалины в две руки сняли с плиты бак с горячей водой, здесь же, в избушке, у порожка обмылись в детской ванночке. Обтирая супруга, Женяра как бы нечаянно тренькнула рукой по его сморщенному органу:

— Сникнул боец, устал сражаться с нашим братом.

Николай Иванович со снисхождением усмехнулся:

— Он, как нонешний необольшевик, воспрынет, когда надо.

— Да уж, — ободряюще хмыкнула Женяра и достала

плоскую бутылку с иностранным вином-настойкой из по-иностранному же расписанной холщовой сумки.

Николай Иванович повертел бутылку, по фасону напоминающую ту посудину, в какой на фронте изредка выдавали мазь от вшей, и вообще прежде содержали в такой посудине разную смертельную химию, не смешивая ее с другими сосудами, совсем иного полезительного направления. Он, конечно же, сразу догадался: бутылка эта — презент от зятя.

Дождавшись, когда муж размякнет от заморского вина, Женяра снова заведет разговор о продаже главного их богатства — этого загородного участка с синеньким домиком-конурой.

Зять — парняга, спрыснувший из горячего цеха алюминиевого завода и занявшийся коммерцией, сперва перекупал в издательствах книги, с добавкой развозил их в «Жигулях» по районам, к поездкам и на разные сборища, ныне подсел: народ, какой побогаче, насытился книгой, народ, которому не до книг, сам торгует по улицам чем попадая и ворует, где чего возможно украсть. Зять, на лице которого сыпь от былых прыщей, словно от пороха, малообразительный, туповатый, развернуться среди деляг не смог, опустил до жалкого челнока, занялся перепродажей разной мелочевки, но замашки менялы-толкача обрел. Охота ему сменить «Жигули» на хотя бы подержанный «мерседес» и на нем въехать в компанию крутых парней. Вот он через тещу и действует, напиток бодрящий шлет.

Николай Иванович к старости стал со всем согласный, потому как кругом и во всем виноватый. Но с участком уперся, намертво встал на этом рубеже старый солдат. «Если тебе, — говорил он Женяре, — с твоими дряхлыми легкими не терпится пожить на кухне у зятя с дочерью и поспать на драной раскладушке — действуй! Но только после того, как снесешь меня на кладбище и закопаешь так глубоко, что я не смогу вылезть — тебя пожалеть...»

Николай Иванович решительно отставил дорогую бутылку, опустил на карачки и выкатил из-под своего топчана алюминиевую лагуху с настойкой, каковую местные дачники-инвалиды и просто зрелые умом люди навострились варить из ягод и дрожжей так, что итальянскому «Амаретто» иль молдавской «Фетяске» умолкнуть надобно и не вонять на русской земле. Женяра собирала на стол, искоса наблюдала за мужем и ни в чем ему пока не

перечила. Молча стукнулись кружками, отхлебнули напиток, который шибал не только в нос, но и во все отверстия, какие имеются на теле человека, пронзал тело бодрящей свежестью, сминал организм, крадучись, подползая к голове, трогал и мучил разуменье человеческое, расшевеливал его на шалости.

Когда выпили по второй, по третьей и неторопливая, благостная трапеза подходила к концу, Женяра сказала, кивая на иностранную бутылку:

— Может, потом, ночесь захочется, так ты эту иностранную мочу и выпьешь.

По голосу жены Николай Иванович угадал, что сегодня она не будет допекать его просьбами насчет продажи участка и расстанутся они мирно. Он останется до морозцев на посту — караулить капусту — срубают ночами бичи и проходимцы всякие овощ, хозяйка же поедет домой — доглядывать Игоря, который учиться не хочет, но чуть родители отдалятся, зазывает девок в квартиру, крутит магнитофонишко, и чего они там одни-то делают — пойди, угадай. Здоровенный оболтус, а на огород не загнишь, прибраться в доме не заставишь. Все стены над кроватью его украшены в чулки лишь одетыми девками, немца Шварценеггера меж них поместил внучоночек. Значит: дед бил немца, бил и добил, внучек из него идола сделал...

Вычитав о том, что у Николая Рубцова был любимым поэтом Тютчев, Николай Иванович добыл однотомику давнего поэта и навсегда влюбился в стихи, чеканные, мелодичные и такими чувствами наполненные, что и объяснить невозможно. Иногда он баловал Женяру, читал ей вслух.

— «Вот бреду я вдоль большой дороги, — закинув руки за голову, наизусть читал самое любимое стихотворение жены Николай Иванович. — В тихом свете гаснущего дня... Тяжело мне, замирают ноги... Друг мой милый, видишь ли меня? Все темней, темнее над землею — улетел последний отблеск дня... Вот тот мир, где жили мы с тобою... Ангел мой, ты видишь ли меня? Завтра день молитвы и печали, завтра память рокового дня... Ангел мой, где б души ни витали, ангел мой, ты видишь ли меня?»

Лежали порознь на топчанах. Молчали. И осень по-за окном, молчаливая, вздыхала последним теплом; сеялись листья со старой белоплодной ранетки. Когда-то успела состариться и она. Николай Иванович хотел нынче вы-

корчевать ее — свету бы в избушке больше сделалось. Копнул, а корень-то у деревца еще крепкий, лишь сверху гнилью тронутый. Пожалел яблоньку хозяин. И правильно сделал — она вон своедельному вину-то ароматище и крепость такие придает. Козырем кроет всю остальную мелкоту. Листья реют за окном, последние листья нынешней осени. А весной, как белоплодка зацветет, — какими запахами она окрестность оmyвает!

— И чего ты стишки забросил? Может, тоже до жалостной какой души достучался бы, — тихо молвила со своего топчана Женяра и, не дождавшись ответа, добавила: — Зять-то, Ваня-то, твои стихи хвалил.

«Не обошлось все же без зятя любимого, — сморщился Николай Иванович. — Они: дочь, зять, жена, действуя союзом, решили доконать хозяина. На поэзии!»

Пошла мода издавать книжки за свой счет. И вечно начинающего поэта Хахалина решили свалить: продать дачный участок и издать за половину денег стихи, а вторую половину пустить на «мерседес». Да Николай Иванович, может, с годами и не помудрел, зато окреп характером. Собрал газетные и альманашные вырезки, прочел старые блокнотики и впал в полное удручение: отдельные строчки, даже стишата, если их подладить, посидеть над ними, — можно читать в домашней обстановке, но лучше — в пьяной компании. Однако на люди выносить это лежалое, затасканное добро?..

Чтобы все же не сразу признать свой творческий крах, Николай Иванович накупил бледно и бедно изданные сборнички, чаще всего печатаемые в районных типографиях. Из глубин ящиков столов не было вынуто по Сибири ничего, что залежалось потому, что не понято, не принято временем и цензурой из-за сверхгениальности продукции, не пускаемой в «столицы». Из кухонных столов и домашних заглазников вынута все и всех повторяющая стихоплетия районного масштаба, в которой воспевались березки, цветы-незабудки, чаще же всего слышался чуть внятный лепет по покинутой родной деревне, тоска по сгнившему крыльцу, поросшему травой, которого касалась когда-то детская босая ножка. Убогая поэтическая, сама себя выпестовавшая, на всех и на все обиженная глухая провинция прилюдно обнажилась, показывая рахитные ноги, винтом завязанный патриотический пуп на вздутом от картошки животе.

Тем бы и утешился Николай Иванович, не попади ему

в столичном журнале обзор книжек, тоже изданных за свой счет там, в пространный святой Руси. У «них» — усек он — не одна мелкотравчатая дребедень выходит из-под оттесненного на обочину потока литературы. «И на развернутом, на звездном свитке надмирные мерцали письма». «Как скоро минет ночь, из поллитровки брызнет рекой народный стон, и зашумит камыш. Иль это глотку жжет зарею новой жизни, или в углу скребет о чем-то скорбном мышшь...» «Толклись вчера, бегут сегодня — сореволюционная власть — в иссохшую ладонь Господню всадить по шляпку медный гвоздь...»

Доконал Николая Ивановича, довел до мысли не продавать участок ради какой-то, никому не нужной книжки такой вот распростецкий стих: «Сына взяли и мать больная. В комнате солнечной темно, а на улице праздник — Первое мая. Вождем завесили ей окно». Вот чтобы написать насчет окна, которое завесили вождем, надо и жизнь прожить другую, и, пожалуй что, другим и родиться.

В Перми знавал он двоих шалопаев, пьют, девок пиорчат, шалются и каждые два года выпускают по сборнику стихов. В здешнем издательстве, а то в столичном, и каких стихов! Он завидовал им, поносил, где можно. Но вот дозрел понять, что шалопаи — шалопаями, а поэзия от кустюма и примерного поведения мало зависит.

Николай Иванович растопил своими стихами печку, оставив лишь одно, недавно как-то само собой сложившееся: «Ах ты, Женя-Женяра, жена дорогая, мы на свете вдвоем, больше нет никого. Наша жизнь изошла, наша жизнь догорает, дыма нет, и уголья в печи дотлевают давно. Пусть на сердце печально, но кругом так светло. Ради этого света, ради доброй печали прошагали мы жизнь, не скопивши добра. Ну и что? Мы такое с тобой повидали, что за нами, дай Бог свету светлого детям, столько ж в сердце печали, столько ж в доме добра!..»

Женяра увидела лист на столе, шевеля губами, прочла и тихо заплакала. «Ну вот, мне и самый дорогой гонорар! Его даже не пропьешь...» — вздохнул Николай Иванович.

Женяра искренне, как всегда, вздыхала: нужда, дети, жизнь нищенская, инвалидная не позволили учиться, развиться и сделаться поэтом ее мужу. Ох, Женяра, Женяра! Святая и добрая душа! Не запомнила она стих, который, тыкая пальцем в изболелую ее грудь, орал стихоплет Хахалин давно еще, в Перми: «Не верь, не верь поэту,

дева, его своим ты не зови. И пуще пламенного гнева страшишь поэтовой любви...»

Столик был прикреплен к стене укосинами. Николай Иванович просунул руку меж укосин и столешницей, тронул мягкие волосы жены — к старости они еще пушистей стали — тоже, видать, вянут. Женяра прижалась щекой к руке мужа и не стала больше ничего говорить. Да и куда деваться-то? Век, худо ли, хорошо ли, изжили, и роднее родных сделались. Супруг иной раз еще потянет за рубашку жену к себе, она, хоть и ткнет его локтем: «Когда на тебя и уем будет?!» — переберется к нему и, если драгоценный внучек Игорь не доведет и по дому не утряпается, приступ астмы не мучает, — куда тебе, с добром, рассамоварится, распышется, хоть и северных кровей, но южанкам в страсти не уступит. В простое молодость провела, потом аборт замучили, ныне только и поиметь бы удовольствие, но отчего-то после каждого «сиянца», как называет это дело сосед по даче Костя Босых, с годами как-то не по себе делается, неловкость накатывает — ровно бы с родной он матерью грех поимел... «Муж жену береги, как трубу на бане!» — вроде вот нелепая поговорка, а коль к месту, так и в самый раз.

Дождь на дворе расходился, четко било каплями в заплату из жести — починял телеантенну, искрошил лист шифера и залатал дыру, разрезав и распрямив старое жестяное ведро, — где шиферу-то взять и на что — все уходит на немощную семью дочери, которая и ликом, и ухватками удалась в покойную бабу, Анну Меркуловну, Царство ей Небесное, задрыге. Себе от двух пенсий супруги Хахалины оставляют на хлеб, на сахар да на постное масло, на молосное не стало сходиться. Дорожает жизнь. И чем больше и скорее дорожает, тем шибче отчуждение. Люди, разодетые в иностранное, дети, как попугайчики. От машин иностранных и ларьков с товарами в городе не протолкнуться. И все злей, все неистовей, все вороватей делаются российские люди. Капусту в сорок шестом и в сорок седьмом охраняли? Да в те полуголодные годы и в голову никому не приходило унести ее с поля, разве что колхозную, по пути если. А тут рассаду с полей воруют, картошку выкапывают, скот режут и увозят. Приходится охранять стада отрядом с карабинами. И ведь что интересно. Осень — золотая, урожайное лето замыкающая, в двух районах картофель в полях остался. В газете объявление: берите, копайте за так. Некоторые

поля даже и комбайном подкопали — собирай. И что же? Толпы хлынули на тучные поля богатых ассоциаций?! Хера! Толпы на вокзалах и на базаре барахлом трясут, ворованной капустой торгуют, ягодами втридорога. Да взять этого же внука, Игоря, бабкой вконец избалованного. Он что, пойдет картошку в полях собирать? Да он скорее пристукнет кого-нибудь, оберет в узком месте...

Кап, кап, кап — бьет дождем в жесть. Вот и над крыльцом тесина шевельнулась — гвоздь расшатался, не забыть бы завтра прибить — заснуть мешает, кажется, кто-то ходит, за капустой крадется...

Надо бы подняться, участок обойти, покашлять. Ай да алах с ней, с капустой, и со всем этим хозяйством. Все равно Женяра после смерти мужа подарит эту «виллу» детям, те, ветрогоны, продадут участок богачам. Богачи снесут избушку либо временное отхожее место в ней сделают, обезьянничая, возведут что-то похожее на иностранную хоромину. Но главное — срубят кедр, а он такой молодец, такой пышный, такой бобер в шерсти! Лет через пять-семь шишки выдаст!.. Да не дожить уж садовнику до своего ореха, не дотянуть...

Ныла раненая нога, и он искал ей место. Вот, кажется, угнезвился, в мягкое, в теплое костью попал, боится пошевелиться. Ладно, нога ранена, кость разбитая почти всю послевоенную пору гнила, усохла нога, кость проело, в воронке черный паук паутину свил из фиолетовых и багровых жилок. Царапины, раны, ушибы, которых за жизнь накопилось лишковато, болят, зубы посыпались, лечить, сверлить, горечь всякую глотать приходится. Но еще ничего, еще в меру, да в норму — так и винца дернет своего, водочки с друзьями или с зятем этим наглым и хватким по праздникам пузырек раздавит.

Бутылку ту, иностранную, после отбытия Женяры с последним автобусом домой он почти прикончил. Расслабило, рассолодило человека, думал, сразу и уснет, ан там брякнет, тут стукнет, капли в жесть бьют, яблочко остатное покатило по крыше, в стекло приветно тюкнуло. Ладно, если яблочко. Но коли птичка — она, говорят, к смерти в окно людское стучится...

В мороси и ветоши туманной дремоты-полусна Николая Ивановича чаще других мучило видение: фашисты снова в России, дошли до Урала, и их медленно оттуда прогоняют. И вот рубеж, с которого Коляша начал воевать. Ему тяжело думать оттого, что он знает все про

войну, — как долго, как трудно изгонять зарвавшегося чужеземца. Весна зеленью сочится, птицы от песен изнемогают, мирные поля, леса, а в небе взрывы. За Окой котлован, и чувствует он — в крепком этом котловане засели они, и надо их долго гнать, далеко гнать, снова гнать...

Все же хорошо расположен участок Хахалиных. Женья воды из речки принесла, успела почти засветло уехать, чтоб тот кавалер не разгулялся шибко в квартире. Главное достоинство старых участков — это речка Грамотушка, текущая среди садов. Раньше, говорят, в ней водился пескарь, гальян, даже харюзок попадался. А сейчас Грамотушка летами едва на поливку накапливает воды. И только вспомнил Николай Иванович про речку, только мысленно ее узрел, как всплыло: «Село стоит на правом берегу, а кладбище — на левом берегу. И самый грустный все же и нелепый вот этот путь, венчающий борьбу и все на свете, — с правого на левый, среди цветов в обыденном гробу...»

Кап, кап, кап, гынь, гынь, гынь — поет мотор машины, вьется фронтальная дорога, растянувшаяся на всю жизнь...

Нет, видно, с ходу не уснуть, и выпивка не помогает, и припоздалое общение с женой не ко здравью и успокоению. Тоже вот противоречие: в молодости, за рулем так и долило сном, хоть спички в глаза вставляй, а ныне не спится, мается товарищ Хахалин...

Что же, что же еще-то помогает, кроме дороги-то и звука ноющего мотора? Отбыть, уехать, уплыть в беззвучный, беспокойный старческий сон. А-а, поэзия, стишки: то они баламутят, то в умиление ввергают, то мечтательность навевают, с той мечтательностью нисходит на человека благостный сон.

«Улетели листья с тополей, повторилась в мире неизбежность. Не жалея ты листья, не жалея, а жалея любовь мою и нежность...» — как трогательно-то, как складно!.. За что же дура-баба удавила мужика, приземлила поэта на самом взлете? Ах, бабы, бабы! Мору на вас нету! Гапка из тьмы взошла, что месяц полуночный... И сколько Коляша тех баб познал! Но Элочку и Гапку — первых в жизни своей женщин, помнил и поминал всегда с трепетом и душевным подъемом. Да и есть за что — это ж не женщины, это ж эрэсы, то есть «катюши», — ка-ак на-



чнут пламенеть — вся земля горит и колыхается, держись, мужик, за весло, кабы в волны не снесло...

Кап, кап, кап, гынь, гынь, гынь — идет дождь, едет машина, едет, выются верстами строчки: «Когда пробьет последний час природы... — кап, кап, кап... Состав частей разрушится земных... — гынь, гынь, гынь... — Все зримое опять покроют воды... Отчего же не каплет-то? Не бьет в железо? А-а, ветер налетел, отклонил струйки дождя, кабы снег не принесло... Что ж, может и снег выпасть — через несколько дней Покров, и самое время снегу быть. Снег на Покров, стало быть, зима теплая будет, бают старики. Не дай Бог зиму лютую, студеную, ведь и в нынешние-то, в сиротские-то зимы трубы по городу лопаются, парит везде и всюду, люди мерзнут, дети болеют и мрут. Во! Снова — кап, кап, кап, — сла-ава Богу... «И Божий лик изобразится в них»...

Гынь, гынь, гынь, гы-ы-ы-ынь, — тянется и тянется дорога во тьме, и нету ей конца, и даже сон не может одолеть ту давнюю, словно в другой жизни пролегшую дорогу. Старый солдат поднапрягся, вспоминая молитву на сон грядущий, которой старательно учил его отец Ефимий. Казалось ему, молитвы он основательно забыл, как успел забыть Туську с мужем, где-то затерявшихся в бурной жизни и скорей всего канувших в ней, да и сам отец Ефимий, остров Валаам с черными фигурами монахов на берегу, будто тени, виделись тоже где-то в другой жизни, может, и в ином мире. Но лунный блик все так же явственно качался на воде, катился впереди теплохода. «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших... А мы вот материмся в мать-то, выходит, и в нее, в Божию Матерь... — ворвалось в молитву, будоража ее успокоительное действие. Николай Иванович осилился, отринул думы про грешное... — «и всех святых помилуй нас. Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны...» — шевелил губами Николай Иванович, вышептывая Божеское, и в то же время слушал чутко: не крадется ли сквозь дождь и шорохи враг какой за капустой. И понимал: молитва и суетность несовместимы, не проникла молитва в душу его, как Тютчев или тот же Рубцов, скользит Божеское по поверхности башки и скатывается с нее, как брызга с вилка капусты.

Мать-перемать, все-таки вставать придется, вокруг грядок пройтись — враги, кругом враги и воры, какой уж тут сон, вина своего да иностранного надулся, тоже жмет, на улку позывает, — где тут Бога дозваться, достучаться до Его небесных врат. В штаны бы не напустить. Грешен, грешен, батюшко, ладно хоть к раскаянью готов, маяту души и тяжесть тела испытывает гнетущую. Чего дальше-то будет? Главное, не заболеть бы, не залежаться и как придет ОНА — сразу бы, как ту капусту, хрясь топориком под корень — и отдаться Богу на милость, в распоряжение верховное. А там уж Он сам распорядится, кого куда определить, в нужное направление направит...

Но главнее всего, чтоб жива была Женяра. Уснет он вот так и не проснется... Она по Божьему завету оплачет его, снарядит в дальний путь, потом и сама рядышком тихо ляжет. Чего ж ей одной-то тут делать? Неинтересно одной, пусто одной...

Вон у тихого пенсионера Зайцева, домик которого за речкой, умерла жена — и потерялся он в жизни, никому совсем не нужен, даже и богатому внуку...

Прошлой зимой, да на исходе уже зимы, собрались они сюда с Костей Босых — соседом по огороду, в котором сам он ничего не делал, только, раздевшись до трусов, рубил окучником беспощадно крупный сорняк, материл правителей на весь белый свет, крыл Рейгана, Саддама Хусейна, когда и Ким Ир Сену попадало, и нашим всем по очереди. Ныне Ельцина кроет Костя почем зря. А в огороде работала его Аннушка, этакая мышка-норушка, с Женярой скорешившаяся по причине характера. Жену свою в молодости Костя тоже обижал, а ныне уж ни гугу — боится остаться один. Подались они за город, намереваясь затопить избушку, но главное — выпить на раздолье и всласть наговориться. У ворот инвалидного садового объединения «Луч» сторожа встретили, точнее, он их встретил, зная, что у парней этих с собою непременно есть кое-что. Ну, ла-ла-ла, то да се, как тот, как этот, у Зайцева за речкой его однофамильцы изгрызли всю вишню и все ранетки, огород весь исколесили, а его вот нет и нет, с самой осени, с октябрьских праздников. Может, заболел, а может... Тут инвалидишки переглянулись меж собой и, ничего не говоря более, ринулись по целику за речку...

Костя Босых этого Зайцева презирал за угодливость, за тихий нрав и голос, едва слышный. Они и познакоми-

лись-то бурно. Существовали тогда еще хитрушки под названием «магазин для ветеранов». Их магазин был отгорожен от народа фигуристой железной решеткой, у которой от открытия до закрытия толпился русский люд, ждал, когда подвезут чего-нибудь съестное в продажу, кроя иной раз и этих дармоедов за фигуристой решеткой, к которым, как везде у нас, поналепилась куча: афганцы, герои каких-то других войн и вылазок, в Эфиопию, в Египет и еще куда-то, — мудрая партия, как всегда, мудро поступала, откупаясь подачками. Участникам и инвалидам ВОВ преподносилось это как милость и выглядело так, будто вожди от себя и от своих деток отрывали последнее и отдавали страдальцам.

Томятся как-то инвалиды в магазине, и дерни за язык этого Зайцева нечистый. Всегда за цветками в уголке жался и отгудова тихонечко вопрошал: «Кто последний? Я за вами». И вякнул из ухоронки своей умильным голосом: «Вот спасибо товарищу Брежневу, пайку для нас подешевле вырешил...» В магазине в ту пору как на грех и на беду случился Костя Босых. Занимая очередь, он всегда и везде грудью вперед, голосом орет громким, да и есть отчего быть голосу — в боковом кармане старого бушлата у него плоская фляга — для хоккея, он из нее пьет хоть где, хоть с кем. Вот выпил, вытерся рукавом, горлышко фляге вытер и, не спрашивая Коляшу, хочет он или нет, посудину сунул. «Э-эх ты! — загремел Костя на пенсионера Зайцева. — Ты и на фронте, и в тылу сироткой был, вот таким сиротой и пред Богом предстанешь! Пайку вырешили! Спасибо партии родной, дала по баночке одной! А я, распротвою мать, воевал за то, чтоб прийти в магазин и на свой трудовой аль на пенсионный рубель купить все, чего душа пожелает! Па-а-аайку вырешили!..» «Котя, Котя! — тербила его за рукав в платочек укутанная, кроткого вида женщина. — Ну чё ты его оглушаешь? Исправишь ты его сей миг, што ли? Перевоспитаешь?..»

Костя Босых только этой женщины слушался, только ей внимал. Укротив себя, побулькал из фляжки, на которой было выгравировано: «Советский хоккей лучший в мире на все времена!», кинул руки по спинке диванчика, меж двумя цветками ременного вида, поставленными для красоты и эстетизма в прихожей «блатного магазина».

Долго еще бурчал Костя, комментируя поведение не только Зайцева, но и тех, кто, отоварившись, выпячивал-

ся задом в дверь, продолжая кланяться и благодарить благодетелей-продавцов.

Внук у Зайцева и тогда уже был деловой: минута в минуту, чуть ли не в самое жерло магазина вметывалась красная машина, и в шарфах до задницы, в волчьих шапках и в дубленках, ворвавшись в помещение, внук с женою волокли старика Зайцева к весам, затем, дружной компанией вывалившись в прихожую, быстро разбирали старый, поди-ка еще фронтовой, рюкзак: «Это тебе, дед, потреблять нельзя — гастрит; это тебе, дед, есть вредно — печень; это, дед, влияет на склероз, это — на почки; от печенья толстеть будешь, правнуку ты его даришь...» И в результате «чистки» рюкзака оставался дед Зайцев с перцем, горчицей и кетчупом, назначение которого он не знал. До женитьбы долго гонял и мучил внук деда: наедет с бандой девок и парней, отправит деда домой, чтоб не мешал веселиться. Потом, когда женился, переместил деда в совгород почти на постоянное местожительство.

Дверь в домике Зайцева заперта изнутри, окно льдом заросло. Нашли лом, дагнули дверь — и дохнуло на инвалидов тухлой волной тления: под одеялом, в полушубке, в солдатской шапке, завязанной под подбородком, стеклянистым инеем покрытый, смиренно вытянув руки в рукавицах, лежал почерневший старичок с небольшим, изъеденным мышами, лицом. Жил и все славил: «Партия! Партия! Сталин! Сталин! Ленин! Ленин! Вперед — народ!» Под конец уж только внука: «Вадик-Вадик!..»

Едва нашли старики того Вадика. В новых спальнях кварталах он пребывал. Ехать за город не хотел. Костя Босых, Николай Иванович зашлись в ярости, затопали так, что хрустали в квартире забренчали и ведро с бутылкой виски с полки сорвалось. Жена внука Зайцева, в голубом атласном кафтанчике, в атласных туфельках, выскочила и заорала: «Вы что, хулиганы, в тюрьму захотели? Сгною старперов!» Коляша, к разу вспомнив незабвенного солдата Сметанина, деловым тоном воззвал:

— Костя! Давай гранату! Тряхнем давай этот рай напоследок!..

Костя рукой за пазуху, железной пробкой зазвенел об хоккейную флягу, будто кольцо из чеки гранаты вынимая.

— Мужики-ы-ы-ы! Да вы что-о-о-о-о? — завопил Вадик и откинул в глубь квартиры бойкоязыкую жену. — Любые деньги, мужики! Лю-у-убы-ые! Похороните деда!

Похороните! Я его любил и помнить буду, но я смерти боюсь, мужики-ы-ы-ы...

— А мы, думаешь, не боялись ее, когда моложе тебя, под огнем, в окопах драгли?! А ну, собирайся, курва!

Они заставили-таки Вадика хоронить деда, пусть и в закрытом гробу, заставили и жену его, и малого их сына на кладбище быть. Заставили и поминки в кафе «Изумруд» справить. Чуть только Вадик или его повелительница сопротивление оказывать начнут, Николай Иванович глянет на Костю Босых, и тот сразу за пазуху лапой. Хотели даже заставить Вадика и девять дней справить, и сороковицы, но тут уж взмолился сам Костя:

— Коляша, Николай Иванович, мы ведь спьяну и в самом деле прикончить можем этого поганца. Да ну его... к аллаху!

...О, как же длинна, как бесконечна осенняя ночь, что та давняя и дальняя дорога на фронт.

Благословенна и проклята будь она.

*Овсянка — Красноярск.*

*Сентябрь 1994 — январь 1995*

**ОБЕРТОН**



**Повесть**

•



Зовут меня Сергей Иннокентьевич Слесарев, хотя я на самом-то деле Слюсарев, но, прокатывая человека по калибрам армейской жизни, дорогая наша действительность постепенно снимала или целесообразно стесывала топориком с человека все умственные и прочие излишества, чтобы он не портил строя, не изгибал ранжира, ничем не выделялся из людского стада. Малограмотные хлопцы с Житомирщины иль с Волыни, которым не дано было выбиться в полководцы иль хотя бы в старшины, приспособили себя в писари и тут уж царили, включая на всю мощь те полторы извилины, которыми наделил их Создатель.

Поначалу я сердился, возражал, сопротивлялся, если искажали мою фамилию, но когда получил красноармейскую книжку перед отправкой в сталинградскую мясорубку, махнул рукой: не все ли равно, убьют меня Слюсаревым или Слесаревым — какое это будет иметь значение перед историей? Мать с отцом живут по адресу, заключенному в пластмассовый патрончик, и узнают, а не узнают, так почувствуют, что это их сын, Сергей Иннокентьевич, сложил свою голову на Волге или где-то еще дальше.

Так же вот, как я, безвольно отдаваясь казенному упрощению, военному бюрократизму, наш народ постепенно исказился не только в личном документе, но и характером, и обликом своим. Нынче почти над каждым русским дитем висят явственные признаки вырождения. А



началось-то все с буковки, с какого-нибудь родового знака, с вялого нежелания сопротивляться повсеместному произволу.

Работая после войны слесарем вагонного депо, я по ротозейству, свойственному людям задумчивым, не успел назвать другого кандидата, и меня избрали в профсоюзный рабочий комитет. Знакомясь с бумагами, я с удивлением узнал, что в нашей бесправной стране еще существуют остатки дотлевающей демократии. Администрация предприятия обязана каждый год заключать с рабочими коллективный договор. В этом важнейшем для жизни трудового человека документе я обнаружил, что рабочий люд сам постепенно уступил всякие свои права родному государству, сделался бесправным большей частью по своей лени и бездумию. Из колдоговора каждый год исчезали пункт за пунктом, параграф за параграфом. Одним из первых исчез из договора пункт о праве на забастовку, продержавшийся на иных крупных предприятиях аж до середины тридцатых годов.

К той поре, когда мне довелось отбывать профсоюзную нагрузку, никто уже колдоговора, вывешенного в профсоюзном комитете, в партбюро и кое-где в цехах — на досках объявлений, — не читал. Собрания по заключению колдоговора проводились всего раз в год, но и тогда, чтобы собрать кворум, начальники цехов закрывали душевые вместе с чистой одеждой, никого после смены домой не отпускали до тех пор, пока не будет утвержден собранием важнейший трудовой документ. На вопрос, как голосовать — за каждую статью и параграф отдельно иль за весь договор сразу, — следовал неизменный ответ: «Сразу!»

Ну, я забежал вперед. Рассказ мой или личное воспоминание не об этом, не о правах и бедах трудящихся, а о любви, о несостоявшейся любви, объехавшей, облетевшей иль прошагавшей мимо меня. Ах, как я завидую тем моим братьям-фронтовикам, которые так жадно вглядываются в военное прошлое, и там, средь дыма и пороха, средь крови и грязи, замерцает издали им тихой, полупогасшей звездочкой то, чего нет дороже, то, что зовется совершенно справедливо наградой судьбы.

В сталинградской мясорубке меня не дорубило, лишь покалечило. Долго я путешествовал по госпиталям, долго и много шарились в моей трубе усталые хирурги, чего-

то отрезали, удаляли, пока наконец, облегченного, не возвратили в строй.

Осенью сорок четвертого года, на одной из многочисленных высот, в Карпатах, я был тяжело ранен осколком авиационной бомбы — раскрошило в бедре мою кость, в боку выбило ребро, камнями изборозило лицо. Я потерял много крови, пока на перекладных и попутных транспортах доставили меня в медпункт, затем, уже в санпоезде, — в стационарный госпиталь. «Жизненно важные» центры, как писалось в истории болезни и говорилось врачами, оказались не задеты, мясо же на молодом теле нарастет. Однако ж и молодое, беззаботное тело способно гнить при тех лекарствах и снадобьях, которые имелись в госпитале, да и во всей тогдашней медицине, обслуживающей рядовой состав: гипс покрепче, марганцовка и мазь, похожая на солидол, стиранные бинты, — лечись, героический боец, если хочешь жить.

А что делать? И лечились, и выздоравливали, пусть и не вдруг.

Весной сорок пятого года я был комиссован в нестроевики и направлен на военно-почтовый пункт в местечко Ольвия, что на Житомирщине, может, и на Подолии, — я сейчас уже не помню, — где женское поголовье почтовиков, назначенное к демобилизации, жаждало замены, чтобы поскорее вернуться домой.

Ольвия — благословенный райгородок, стоящий чуть поодаль от железной дороги и от всяких других важных и беспокойных магистралей. Вкалывающих бок о бок почту и цензуру отцы тыловой части навострились устраивать добротню. Ольвия, совсем почти не тронутая войною, была тем райским местечком, где можно было отъедаться, стрельбы не бояться, офицерам заводить романы, иногда заканчивающиеся женитьбой, и солдатам — правда, реже — случалось встретиться с любовью, этим вечно обновляющимся даром Господним.

Увы, увы, дар великий, дар бесценный умудрился я профукать — один раз по бесшабашности молодой, другой раз — уж точно — по вине нашей беспощадной, извилистой, лучше сказать старомодно, по причине изменчивой бесчувственной судьбы. Мало это, очень мало для человеческой жизни — всего два сближения со счастьем, и оттого еще жалче прошлого и хочется, опять же как в старину, воскликнуть: «Ах, если б можно было повернуть прошлое вспять!..»

Почта текла еще потоком, однако напор белых волн ослабевал, успокаивалось взбаламученное море, оседал на землю дым войны, умолкало слово, исторженное тоскующим человеческим сердцем. Но в бывшей начальной школе, где располагался почтовый сортировочный пункт, оставались еще завалы пыльных мешков с письмами, штабелями сложенных в экспедиционных кладовых, вдоль стен и меж столов сортировки.

Не передохнув, не осмотревшись, нестроевики попали в обучение, включились в работу. Ничего сложного в той работе не было: в секции, в этаким квадратном купе, сделанном из грубо сколоченных ящиков, по алфавиту были встроены соты и в те соты надо было забрасывать вынутые из мешков письма. Казалось бы, какая хитрость: помнишь алфавит — и шуруй из ящичка «А» к ящичку «Б» и так далее до ящичка «Я». Мечи письма попроворней, не путай буквы, не кидай конверты мимо сотов.

На перекладинке купейного косяка, в которое меня определили, виднелась бумажка, на ней написано: «№ 6 — Некрасова Софья Игнатьевна. Прожогина Тамара Алексеевна». Для удобства экспедиторов писаны, точнее, для раздатчиков писем на сортировку. В той секции, где мне предстояло работать, куда определил меня начальник сортировочного цеха лейтенант Кукин Виталий Фомич, прыгали, точнее, по воздуху летали и неуловимо бросали письма две девушки, сделавшие вид, что никого они не ждут, начальника с «новеньким мальчиком» не слышат и так сосредоточены на работе, что все их помыслы поглощены трудом и только трудом, нужным Родине.

— Софья! Тамара! Вот вам ученик, второго не досталось. — Лейтенант постоял, подумал, глядя на вдохновенную работу сортировщиц, шмыгнул остреньким носом, приложил ладонь ко вбок зачесанной блеклой, вроде как мокрой челочке и добавил, удаляясь: — Пришлют еще бойцов, добавлю и второго...

Я стоял у входа в секцию, по которой, клубя пыль, металась девушка. Хотя и горела лампочка, спущенная с потолка на длинном шнуре в ящик почтового купе, я не вдруг различил, что одна девушка — блондинка, вторая же — черная, будто муха, и летает по тесному пространству тоже, как муха, даже почудилось, что она жужжит. Девушки дали вдосталь полюбоваться вдохновенным их трудом. Муха фукнула носом или ртом, развеяв перед собою пыль, выдвинула из-под стеллажа вделанную в него

толстую доску и села на нее. Следом то же самое проделала и напарница Мухи. Обе они были в застиранных сатиновых фартуках, расширенных до размеров халата мешковинами, пришитыми по бокам. У обеих работниц волосы подобраны под платочки. Странная самодельная спецовка делала их похожими на работяг с какого-нибудь вредного завода. У Мухи волосы не держались взаперти, лохмы или кудри торчали отовсюду. У ее напарницы волосы закатаны в валик над шеей и стянуты за ушами. Лица девушек угрюмы, в подглазьях тени. «Пыль!» — догадался я.

— Ну, здравствуй, работник! Проходи, хозяином будешь, — насмешливо сказала Тамара-Муха и подала мне руку. — Давай знакомиться. Меня зовут Тамарой. — Собралась представить подругу, но та остановила ее взглядом, поднялась с седухи-доски и тоже подала мне руку:

— Соня.

Я поискал глазами, где бы присесть. Тамара взлетела со своего сиденья, приткнулась задом на кромку низкого стеллажа, подставленного под ящички с сотами.

— Садись! — похлопала она по столешнице. — В ногах правды нет...

— А в чем она есть? — попытался я завязать разговор.

— В чем?! — переспросила Тамара. — А вот поработаешь в этом месте, — покрутила она головой по купе, в котором медленно оседала пыль и становилось светлее, — узнаешь. А сейчас слушай и запоминай...

Тамара начала посвящать меня в премудрости сортировочной работы. Соня сходила за ведром, принялась зачерпывать ладонькой воду, разбрызгивать по полу. Пол, покрытый слоем пыли и мелкими-мелкими крошками бумаги, воду не принимал — она скатывалась в капли, в комочки, в пластушинки. Соня полосами размазывала серую смесь, выметала в коридор валик из пыли и бумажного мелкого хлама.

В этот день Соня и Тамара пощадили меня, не загрузили работой. Поскольку все почти ученики после совместного труда двинулись провожать своих наставниц — а жили они в снятых для них хатах, — я тоже увязался за Соней и Тамарой и дорогой скуповато поведал им о себе. Узнав о характере моего ранения, девушки в голос заявили, что я хоть и хороший парень, но надо мне подыскивать другую работу: эту мне, раненному в ногу, не выдержать.

Меня и в самом деле хватило на неделю. Я до того

наскакался по купе, что раненая нога начала опухать, на лбу — от боли — горохом прорастали и катились за воротник крупные капли, а там и температура поднялась. Я занедужил. Девушки делали работу за троих, если сказать поточнее — делала ее Тамара. От нее, от Тамары, я узнал, что у Сони начался туберкулезный процесс, который она всеми силами скрывает, чтобы без осложнений демобилизоваться и уехать домой, где ждала ее мама и должен был с фронта приехать жених.

Чтобы не быть совсем уж тунеядцем, я вызвался помогать хотя бы экспедиторам. Девушки, обрадовавшись, затащили в свой закуток экспедиторшу Любу, которая имела звание старшего сержанта, отвозила отсортированную почту в цензуру, иногда ездила на станцию за мешками с почтой, по-нынешнему сказать — была челноком. Девки-подружки хотели, чтоб я попал на «чистую» работу и заменил Любу в переправке писем из почты в цензуру, откуда, как я скоро уяснил, Люба не торопилась обратно, так как в строгой цензуре ее, как и на почте, тоже обожали. Слух шел: один цензурный начальник в чине майора, потерявши голову, предлагал Любе сбежать куда-нибудь, но Люба будто бы заявила, что не оставит своих девочек и ее не только трусливый тыловик-майор, но даже пехотный генерал куда не сманит.

Должность у Любы была не пыльная, почти вольная, и ей навешали общественных нагрузок до завязки: была она секретарем комсомольской организации, общественным информатором, ведала библиотекой и еще чем-то. Однако все эти нагрузки Любу нисколько не угнетали и на здоровье ее не влияли.

Поскольку Любе препоручили меня, то и нагрузки ее как бы сами собой переместились на меня, лишь комсомольское дело отпадало: я как-то умудрился не вступить в комсомол, да и информатор из меня тоже не получился — редко видел я газеты, радио почти не слушал, но библиотеку принимать отправился охотно.

Библиотека размещалась в пристройке к школе, имела отдельное крыльцо и вход с торца школы. Этим входом пользовалась и экспедитор Женяра Белоусова, боковушка которой помещалась в бывшей школьной кладовке. Люба делала сообщения насчет текущего момента, взобравшись на длинный, вроде бы тоже нестройной стол первичной сортировки; обшарпанный по углам, безропотно принимал он всю войну на спину свою тонны писем. С

этого стола, распиная на нем пачки писем, Люба рассказывала военные и всякие новости, поскольку сообщалась с миром и людьми шире, чем запечатанные в сортировочных купе девчонки.

В пыльном и мрачном помещении сортировки я не разглядел Любу, думал, стану ездить на машине в цензуре, тогда и подивлюсь на нее. Ан выпало мне ездить в кузове, Любе — в кабине. Что тут узрешь? Лишь принимая библиотеку, сидя рядом иль за столом, перелистывая книги, проявил я некоторую решительность, пристальной разглядел свою начальницу.

Крупная, будто рюмка всклень, до краев, стало быть, налитая деваха носила себя по земле бережно. Обутая в хромовые сапоги, плотно облегающие икры, обтянутые тонкими чулками, с фигурой как бы обвалившейся под грудь, которую достойно было назвать грудью бойца, до того ли она гордо себя возносила, что комсомольский значок, бабочкой лепившийся к клапану кармана военной гимнастерки, торчал лишь древком знамени, и для того, чтобы прочесть буквы «ВЛКСМ», следовало взобраться если не на дерево, то хотя бы на скамейку. Ко всему этому назревшему до последней спелости телу была приставлена пышная головка с неожиданно бледной кожей и оттого кажущейся беззащитной шеей. На голове Любы женским приспособлением, скорее всего, обыкновенными бумажками, смоченными пивом, иль накаленным над пламенем гвоздем, взбодрены были над ушами и надо лбом небрежные локоны иль даже кудри. Волосы темно-орехового цвета, и без того пышные, как бы сами собой радостно растущие, густо восходили наверх, вроде даже и подпушек иль кедровая прохладная тень на голове угадывалась. Но все эти достоинства Любы не главные, главное — и описать невозможно, большая решимость для этого требуется. Даже глаза Любы, серые глаза с четко очерченными зрачками, как бы чуть сонные от переутомленности, и курносый нос, и щеки со слегка выступающими скулами, овеванные не румянцем, а яблочной алой мглой, и подбородочек, будто доньшко новенькой детской игрушки, — все-все эти детали лица, сами по себе — загляденье, являлись все же второстепенными по сравнению с несравненными губами Любы. Яблочко или две спелые вишни, зажатые во рту, персик пушистый, ярчайший заморский фрукт — все-все слабо, все блекло, все ничтожно в сравнении с теми губами. Признаться, не единожды

утрачивал я присутствие духа в приближенном разглядывании Любы, и сердце мое, стронувшееся с места и откатившееся в какой-то совершенно пустой угол, не смело оттуда возвращаться, потому как неодолимо влекло меня впитаться в эти перенапряженные от яркого пламени губы, раскусить их, ожечься.

«Ах ты, Господи, Боже мой! — думал я в смятении, боясь долго глядеть на Любу. — Это сколько же мужиков она уже свалила и свалит еще, искрошит в капусту и схрумкает!..»

С удивлением и с обвинением человечества за слепоту его узнал я от наставницы моей Тамары, что в жизни Любы, не считая школьных, пионерских увлечений, случился лишь один роман — с непосредственным начальником, Кукиным Виталием Фомичом, да и тот роковой: во время передислокации почтовой части, в запущенной хате, у какой-то знахарки с березанских болот, за банку тушенки Любе сделали аборт.

С тех пор не только Кукина, но и всяких прочих мужиков Люба на выстрел к себе не подпускает.

Муха-цокотуха, выболтав мне много девичьих историй, заодно поведала и свою: попутал ее моряк-злодей... а она — архангельская, на море и моряках помешанная. На 1-м Украинском фронте моряк — явление редкое, увидела парня в матроске, в бескозырке, втюрилась в него и с ходу отдалась, без последствий, правда.

— Да я-то что? Вон Соня у нас...

А Соня все чаще оставалась дома или, посортировав почту полдня, уходила с работы. Тамара делала работу и за нее, летала по сортировке, что-то напевая, и чудилось, на просторе сортировочной клетки ей одной-то еще спорее работается. Клубилась пыль вокруг этого мохнатенького, все время жужжащего какой-нибудь мотив, до последней худобы износившегося существа.

Зла не ведающий человек, скорый на любое дело, на язык и мысль, Тамара любила стихи, особенно Есенина и Кольцова, а Соня — прозу и вообще литературу серьезную. В армию Сою взяли из университета. Среди военных подруг в сортировке Соня была, пожалуй что, самой образованной. Не глядя на болезнь, она потихоньку готовилась по присланной ей программе — продолжать учебу в университете.

Тамара порхала по клетке, а я в свободное время читал ей по книжке Никитина «Звезды меркнут и гаснут»;

«На заре туманной юности» — Кольцова; «Отговорила роща золотая березовым, веселым языком» — Есенина.

— Сереж, а наша-то роща уж совсем отговорила или как? — всхлипывала порой Тамара.

— Да что ты? — бодрился я сам и бодрил Тамару. — У нас еще все впереди! У нас еще ого-го! И найдешь ты своего моряка иль другого из моря вытащишь...

— Может, из канавы?

— Ну и что! — дурачился я. — Отмоешь, отскоблишь, ты у нас вон какой трудолюбивый человек!

— Ага, ага, вон какой, а сам на Соню да на Любу только и пялишься, а я — мимо тебя, мимо ребят...

— Так и я мимо... Соня — не по нашей ноге лапоть. Люба — тоже. Поговорку помнишь: «Гни березу по себе»?

— Помню. Пошли на ставок.

И мы пошли на ставок. На кисло-зеленой воде ставка густо напрела куга, осока и стрелолист, объединенные скотом до корней, — коровы забредали по пузо в воду и вырывали водоросли, сонно жевали их, выдувая ноздрями пузыри, обхлестывая себя грязными хвостами.

Тамара, разгребши ряску и гниющие водоросли, стирала с мылом и полоскала халаты, свой и Сонин, затем, скинув с себя верхнее, оставшись в бюстгальтере и трусах — если это изделие, сработанное из байки и мешковины, можно назвать трусами, — стояла какое-то время, схватившись за плечи, и, вдруг взвизгнув, бежала в мутную, ряской не затянутую глубь, с маху падала на воду. Черным утенком, быстро, легко, не поднимая брызг, плыла она, рассекая кашу водяной чумы, свисающей с высунувшихся, нарастивших островок подле себя обгорелых коряжин и обглоданных комков водорослей, пытающихся расти по другому разу.

— Бр-р-р-р! — стоя на мели в воде, обирая с себя ряску, отфыркивалась Тамара и принималась водить по неровному костлявому телу обмылком, ругательски ругала при этом пруд, Украину, нахваливала архангельскую местность.

— Не гляди! — командовала она, направляясь к огрызненным кустам, чтоб развесить на них мокрую спецовку и белье.

«Было бы на что!» — фыркал я про себя. Прикрывшись понизу казенным полотенчиком с печатями, пришепнув ладонями грудишки, наставница моя грелась на незнойном уже солнышке, устало подремывая.



Когда солнце опускалось за дальние холмы, Тамара, вздрагивая, натягивала на себя волглое белье, поверху набрасывая шинеленку, совала под мышку скомканные халаты, и мы медленно поднимались по выпеченному за лето до трещин косогорчику в улицу, к хате, в которой Тамара и Соня дружно жили. Наставница моя, шутя или всерьез — не поймешь, бросала, что я, как и все подбитые доходяги, с каждым днем разевающие все ширше рот на Любу, на других девушек, в том числе на заботницу свою, смотрю ладно если как на сестру, но что — как на колхозного заезженного одра.

Я вяло отругивался, сестер у меня никогда не было, я всегда об этом сожалел, даже вроде тосковал о сестре. В благодарность за утешение Тамара обещала пристроить меня к постоянной, непыльной работе, себе же попросит помощника не столь ущербного.

И пристроила. И себя, и меня. Тихий, вежливый парень из братской в ту пору Молдавии угодил к Тамаре в наместники, и она уж его не выпустила из-под своей власти, соединилась с ним вплотную — после демобилизации в качестве жены уехала с ним в село под Бендеры, где быстренько родила двух смугленьких детей. Узнал я об этом уже дома, из письма ко мне.

Вместе с Мишей к Соне и Тамаре сунули еще одного бойца — Коляшу Хахалина. У него не разгибалась нога в колене, и он выдюжил на сортировке меньше, чем я, — всего три или четыре дня.

В коридоре, на приемке и разборке, работала славная девушка Стеша. Еще дальше, в конце коридора, была отгорожена кладовка, и там, в клетке без окон, без дверей, меж пыльных мешков с письмами, восседала Женяра Белоусова, имевшая звание сержанта и громко именовавшаяся экспедитором. Вот к ней скоро и был сослан Коляша Хахалин, парень хоть и шибко хромым, зато неунывный. В полутьме и уединении Женяра с Коляшей естественным ходом воссоединились, и этого как бы никто не заметил.

Ну а я... ох, надо дух перевести, — я долго принимал у Любы библиотеку. Библиотека была не большая, но и не маленькая, собранная со всех концов России с помощью и при содействии тыловых библиотек, шефствующих над почтовой военной частью. Предполагалось, что в книж-

ном уюте я, как бывалый боец, сразу нападую на такой аппетитный кадр, девчонки предостерегли библиотечаршу насчет моральной выдержки, и потому Люба держалась со мной холодно, однако скоро уяснила, что перебрала лишка в смысле соблюдения нравственности, заметила, что я и без того перед нею робею, как и всегда робел перед женским сословием, Люба смягчилась, взгляду и голосу придала приветливость и порой уж не говорила, а как бы ворковала, рассуждая о книгах, о культуре, делала уклон на любовные романы. Видя, что и это не подвигает меня к решительности, как бы ненароком касалась меня коленками под столом и однажды, зачем-то потянувшись к стеллажу, так придавила мою голову грудью с комсомольским значком — чуть шея у меня не сломилась и темечко, едва заросшее после госпитальной стрижки, едва не проломилось: так в него воткнулся болт не болт, но что-то твердое и до того раскаленное, что меня аж в жар бросило.

— Продырявишь башку-то! — сорванным голосом пошутил я.

— Не продырявлю. Башка у тебя дубовая. А продырявлю, так заживлю! — бодро заверила Люба и поцеловала меня в темечко, да еще и погладила по голове.

После таких ободряющих слов и действий я с табуреткой подвинулся ближе к Любе, и она не отодвинулась. Наступили сумерки. Свет мы не зажигали. Я, осторожно подкрадываясь, поцеловал Любу в шейку ее нежную, после и до губ добрался, до тех невероятных, редкостных губ, что манили к себе пуще спелой малины. Я, конечно же, воображал, что может статься с мужчиною, награжденным поцелуем этаких яростно-жарких губ. Но слабо, ничтожно слабо оказалось солдатское воображение, чтобы выразить чувства, пронзившие меня. Тут только поэту пушкинского масштаба хватило б таланту и силы выразиться до конца и объяснить словами мое ошеломленное, полуобморочное состояние. Обмерев, сидел я, обняв Любу, и не верил привалившему невероятному счастью своему. И не иначе как от неверия даже отстраняться начал от Любы, пока еще не ясно, однако тревожно сознавая всю гибельность момента. От непосильности поцелуя сердце, замершее во мне, неуверенно водворялось на свое место и так разошлось, расстучалось, что Люба услышала его и, гася звук и трепет, приложила ладошку к моей разгоряченной груди. В потемках, в тайнстве густого украинско-

го вечера мы целовались с Любой до беспамятства, и я уж начал было кренить ее на спину, шариться под обмундированием, как в самый напряженный момент Люба поймала мою руку, отвела ее в сторону от горячо дышащего места и резко от меня отстранилась.

— Хватит! — Прерывисто подышала и уже почти спокойно добавила: — Сладкого помаленьку, горького не до слез.

На заплетающихся ногах прибрел я в солдатское общежитие и, сбросив сапоги, упал лицом в подушку, набитую соломой. Что это со мною было? Солдатики беззлобно подшучивали: допоздна, дескать, принимал библиотеку, устал, укатался, бедняга. Какие уж тут танцы? Какие развлечения? До койки добрался живой, и на том спасибо библиотекарше.

К этой поре братья мои доходяги сплошь определились в судьбе своей. Сама обстановка, само помещение — эти деревянные клетки — способствовали соединению людей попарно. Как работали, так в большинстве и распределились. Девки уж и покрикивали на «одноклеточников» своих, и ревновали, и заботились о них: стирали, подворотнички подшивали, пуговицы и медали чистили, следили, чтоб по утрам и вечерам парни непременно мыли руки соленой водой или керосином, иначе чесотку или экзему через письма поймать могут. Девахи, которые посообразительней, уже и рокировку даже на квартирах сделали — вместо напарницы подселили к себе стажера-кавалера...

Но резвились в Ольвии и вольные казаки. Попавши в малинник, ели они ягоду только с куста, порой и не с одного, да охмутать себя не давали. По местечку ходили табуном, орали под гармонь соленые частушки и прибавляли соли по мере приближения к помещениям цензуры; зорили сады, за кем-то гонялись в темноте, добывали самогонку; завалившись в клуб, куражились, задирались, по пролетарской привычке затевали драки с «белой костью», которая являлась на танцы с цензорского холма. Там, на холме, тоже в школе, но уже средней, обретались кавалеры, в большинстве имеющие офицерские звания, румяньенькие, иные уж и с брюшком, некалеченые, небитые, — и в первой же драке они изрядно навешали дохлякам; старшине Колотушкину и нос набок своротили...

Орлы наши, да и то не все, знали только приемы штыкового боя. Энкавэдэшники же владели приемами руко-

пашных схваток, и успех явно был за ними, но фронтовики-отчаюги сдаваться не хотели и готовились к новым сражениям. Меня поражало, как быстро и незаметно парни перешли на «мирную рельсу» и образ жизни вели уже по деревенским умным законам — где барачным, а где и арестантским. В общежитии появились ножи, кастеты, наган.

Почувствовав неладное, командир нашей почтовой части майор Котлов провел беседу со вновь прибывшими, делая упор на то, что пока мы еще военные и трибунал располагается неподалеку, штрафбаты не отменены и работы у них по восстановлению народного хозяйства много. Зная, что едва ли вонмут его разумным словам отважные воины, не очень доверяясь рассудку, майор Котлов велел назначить патрулей с красными повязками на рукавах. В цензуре тоже предприняли соответственные действия — назначили своих патрулей с пистолетами, новыми, в бою не обгоравшими.

Мир в Ольвии, хотя и шаткий, был восстановлен.

Разборка завалов почты продолжалась. Работали и свехурочно, работали из последних сил и терпения, веря слухам и письмам фронтовых подруг, что в той-то части, в том-то соединении девчонок уже отпустили по домам. А здешние почтари все еще парятся в пыли и духоте потому, как их смена, эти фронтовые кавалеры, работать не хотят, жрут самогонку да девок портят. Некоторые хитрованы вроде Сереженьки Слесарева пристроились в тепленьком местечке, подкатились под тепленький бочок к разным Любушкам-голубушкам и о нуждах предприятия ничего знать не желали. Но девки зря волокли на меня: я не только караулил библиотеку, помогал Стеше и Женяре раздавать по сортировочным клеткам пачки писем, но и... плоское катал да круглое таскал — уж гимнастерка лоснилась от пота и грязи. Интеллигентная же библиотекарша не изъявляла желания ее постирать. Тамара — опять же Тамара — содрала с меня гимнастерку:

— Совсем ты, братец мой, заослеп! Совсем тебя змея та подколотная запустила да заездила. Гитлер тебя ружьем подшиб, игрунья эта толстомясая любовью добивает!.. Лизаться завсегда готова, а обиходить бойца, пожалеть — тут ее нету! Завтра же и штаны принесешь — зашью. А то обносился, как пленный румын. — Все это говорилось громко, чтоб люди слышали и понимали, кто тут чего сто-

ит и кому есть сестра, старшая сестра, и кто есть «змея подколодная».

Миша-молдаванин заворуженно смотрел на летающую по клетке соратницу и слушал речи ее, словно стихи из хрестоматии. Глаза его темно-виноградного цвета светились молитвенной умиленностью.

Пыль, вздымаясь над сортировочными клетками, плавала, клубилась вокруг лампочек под потолком коридора. Пыль на стенах, на окнах, которые всегда были с двумя рамами и не открывались даже летом, сохраняя военную тайну. От духоты и непросветности на девчонок наваливались тоска и досада. Проплясавши возле сортировочных ящичков юность свою, кто и молодость, они прониклись ненавистью к службе своей и работе, впадали в истерику, швыряли пачки писем на пол, и, случалось, разносился вопль по сортировке: «Не могу-у-уу больше! Не могу-у-у-у!»

— Перестань! Уймись! — через заборки клеток тонко орал на бунтовщицу начальник Виталя Кукин. И кто-нибудь из активисток тут же впристыжку:

— Не одна ты тут такая цаца! Каково на фронте-то было нашему брату? В грязи, в холоде, среди мужичья...

Каково-то оно было на фронте, предстояло узнать сортировщицам от своих стажеров-доходяг. Не все они речисты и памятьливы, не все умели и хотели рассказывать, но девичьему бунту молча сочувствовали, и он часто тут же угасал, дело заканчивалось тем, что кто-нибудь зывал: «Споемте-ка лучше, девчонки!» Были тут и украинки с прирожденной певучестью, и одна из них, когда и все разом заводили песню. Сотня давно спевшихся, по клеткам распределившихся сортировщиц, изливая душу, возносилась голосами до такой пронзительной высоты и слаженности, что коробило жалостью и восторгом спину, шевелило волосья на голове, каждый корешок по отдельности, мелким льдом кололся под кожей.

Как пели! Как пели эти отверженные всеми, вроде бы забытые, в бездонный омут войны кинутые девчонки. Захлебывались они от песен своих слезами, давились рыданиями, отпаивали друг дружку водой. Сказывали, Виталя Фомич Кукин пытался запрещать пение во время работы, но его грубо срезали:

— А в уборную, поссать, гражданин начальник, можно? — И замерла готовая взорваться сортировка.

Начальник побежал жаловаться командиру части.

— И что у тебя за привычка лезть к людям в душу? — сказал майор Котлов, вроде бы человек недалекий, мужиковатый, но у него в Челябинске остались две дочери, и он, думая о них, примерял к ним судьбы этих военных девчонок.

Однажды уломали девки спеть Любу. И тут же зашипели: «Она, когда поет, не любит, чтоб на нее смотрели», — и поудергивали парней в свои клетки. Я законно обосновался в клетке Сони и Тамары с Мишей-молдаванином.

Люба, будто на политинформации, взгромоздилась в коридоре на стол. Сортировка замерла.

Во далеком поле, во чужой сторонке.

Вроде и не из глотки, не из груди, не из чрева человеческого, а из самого пространства возникал густой звук. Мужским почти басом заполнилось казенное помещение. Звучащей небесной дымкой обволокло все сущее вокруг, погрузило в бездну всяческих предчувствий — беды ли неотмолимой, судьбы ли непроглядной.

Какой же силой наделил эту женщину Создатель, обобрав полроты, а может, и роту бедных женщин! «Растет камышинка, горька сиротинка», — выдохнула песнопевица с той неизъяснимой тоской, коя свойственна лишь давно и много страдающей женщине да птицам, в чужедальные страны отлетающим осенней порой. Откуда же Любе-то ведать о той женской вечной тоске и страдании вечном?.. Откуда?!

Камышинку эту ветер-стужа гнет,  
Ты не плачь, не сетуй, вновь весна придет.  
Не грусти-ы-ы-ы, вновь весна придет.

Что-то переместилось в голосе, сошел он совсем уж с горького места, среди которого, взняв обгорелую трубу, стояла печь с задымленным челом, и из нее, из трубы той, разносило по опустошенной земле вой, стон иль просто ввысь посланный вздох.

Тревожно и сладостно было сердцу, щемящий холодок проникал в него, как чей-то зов, как слабая надежда на спасение и утешение. Люба-то знала, чего ждут от нее девчонки, потрафляла растревоженно замершему люду, надежду на лучшую долю переносила из сердца в сердце.

«Обертон!» — со смесью жути и восхищения прошептал в своей каморке начальник сортировки Виталий Фомич Кукин — он учился когда-то музыке, понимал маленько в ней и знал музыкальные термины.

А я, кажется, начинал уяснять, отчего не льнут к Любе парни, к такой ее вроде бы домашней и доступной красоте. Не-до-ся-га-е-мо! Помилуй и пронеси мимо этакой тайной силищи слабого духом мужика, меня прежде всех.

Так и я, девица, камышинкой горькой  
На ветру качаюсь и от стужи гнусь.  
На чужой сторонке плачу да печалюсь:  
Кто меня полюбит? Кто развеет грусть?

Достигнув какого-то края иль обвала за далью, за тьмою, плачем не то одинокой волчицы, не то переливом горлицы за дубравой оборвалась песня. Песня оборвалась, но звук все бился, все клубился в тесном пространстве и, не вырвавшись из него, опал туда, откуда возник.

Какое-то время в сортировке ничего не шевелилось, не шуршало, казалось, любое движение, стук, шаг неизбежно что-то обрушат.

— Ну, Любка, подь ты к чертям! Тебя наслушаешься — так хоть удавись...

— А ты не слушай, коли сердцу невмочь, — крикнул кто-то из парней и захлопал в ладоши. — Н-ну, молодец, Люба! Н-ну, творе-ец!

— Кабы я не молодец, так и Вика Кукин был бы не засранец! — громко отозвалась Люба, спрыгивая со стола. Нарочитой грубостью, громом обрушившегося с высоты тела разряжала она обстановку, снимала гнетущее впечатление с народа, возможно, и с себя.

Иссякал поток писем с фронта и на фронт. Капитулировала Япония. Война на земле остановилась. Надолго ли?

В действие вступал как бы в тени все время державшийся лейтенант Кукин. Назначено ему было в боевых походах вести политчас, и он-то, находясь тогда в тесном контакте с экспедиторшей и библиотечаршей Любой, поставил ее политинформатором, оставляя за собой главное воспитующее дело — политчас.

Будучи главным начальником над почтовым бабьим эскадром, держал он сортировку строго: бить — не бил, орать — не орал, но как глянет в упор, поведет усами и бородой из стороны в сторону — тут же кадр его описается в казенные штаны.

Но вот настали иные времена, и повалил в часть мужик, пусть и неполноценный, пусть увечный, а все же

мужик, и военные девки, всю войну ждавшие избавления от оков, пусть и не общевойсковых, хотя бы от гнева своего начальника, воспарили духом, сделались дерзкими, бойкими на язык, хохотали много и бесстрашно. Правда, завалы почты несколько остужали их пыл и вольность, даже политчас какое-то время не проводился: все силы были брошены на окончательный, победоносный штурм письмо-почтового потока.

За это время произошли резкие изменения во взаимоотношениях старых и новых кадров, прежде всего на сортировке: купе, как я уже заметил, располагали к воссоединению пар, и чем они плотнее воссоединялись, тем непослушней делались.

Еще недавно безропотные почтовые кадры восприняли пополнение не только как защитников Родины, но и просто мужиков, о которых в народе говорится: «За мужа завалюся — никого не боюся», считали их судьбою к ним ниспосланными на личную защиту. Хотя девки и соблюдали почтение к начальству, прежде всего к непосредственному, но ох и вольны, ох и веселы, ох и бойкоязыки сделались! В строй не собьешь, команды вроде не слышат, в столовую не строем, но под ручку со стажером норвят следовать. Гуляя по Ольвии вечером или по саду — глаза отводят, не приветствуют, честь не отдают.

«Не рано ль, голубушки, демобилизовались?! Не рано ль из железных военных рядов вышли?!» — думал Виталя Кукин и, возобновив воспитующие беседы, обязал всех, и прежде всего вновь прибывших сортировщиков во время обеда иль после работы в обязательном порядке присутствовать на политчасе, который порою растягивался и на два часа.

Политчас чаще всего проводился в просторном коридоре сортировки. Если же погода располагала, уходили в сад, сгоняли с поляны коров, очищали от лепех траву и, разлегшись на вновь зазеленевшей от рос и дождей муравке вперемежку с девками, ореззевшими духом и налившимися телом, невинно с ними заигрывали: то теребнут, как в школе бывало, за вихор, то шлепнут по мягкому месту, то поздним желтым цветком проведут по смеженным глазам. Иные парни уже по-хозяйски, открыто нежились, положив голову в ласковые женские колени. Словом, блаженствовали отвоевавшие, много перестрадавшие бойцы, достигнув долгожданного берега. И осень, как по заказу добрая, теплом и лаской реяла над людьми, и



поздние яблоки, но чаще груши со стуком падали-катились вниз, сшибая с дерева последние листья.

Толя-якут, не знавший, как еще выразить товарищам, и прежде всего подругам, чувства любви и дружбы, собирал фрукты по саду в кем-то забытую корзину, высыпал их к ногам своей напарницы Стеши. Стесняясь такого, явно первобытного, внимания, объятая чувством коллективизма, царящего в почтовой части, Стеша взывала: «Девчонки! Ребята! Берите яблоки, берите груши! Тут так много! Берите!..»

К этой-то публике, блаженствующей на полянке, хлопывая по ладони красным блокнотом, на котором значилось слово «Агитатор», и приближался лейтенант Кукин с намерением пусть не сразу, не вдруг, идейно просветить ее, внушить важность передовой социалистической идеологии и значение текущего момента.

В ту пору, когда Виталя Кукин не был еще лейтенантом и агитатором, ослепленный ярким светом бурной действительности, в которую он в судорогах и материнских столах сподобился явиться, казенного спирту хватившие больничные повитухи-акушерки правили мокрому младенцу головку и вместо того, чтобы лепить ее с боков, хряснули бесчувственной ладонью по темечку и сплющили головку, а вместе с нею сплющилось и все остальное: лоб заузился, переносица расползлась, нос поширил и вознесся вверх, рот сделался до ушей, — все сместилось на лице младенца, лишь на подбородок не повлияло. Виталя Кукин боролся с изъянами своего лица посредством усов и бороды, старался придать облику своему мужественное выражение, полагал, что усы и бороды затем и носили русские офицеры — чтоб выглядеть внушительно.

Помкомвзвода Артюха Колотушкин по мере приближения агитатора замечал, как лейтенант робеет, с опаской ступает на поляну. Подпустив его на определенную дистанцию, командир Артюха Колотушкин вскакивал с земли и, придавая первачом сожженному голосу полководческую зычность, командовал так громко, что ввергал пропагандиста в испуг:

— Вста-ать! Хир-р-рна-а-а! — Прикладывая руку к пилотке, побеждая хромоту, Артюха следовал навстречу военному пропагандисту. — Ты-ыщц лейтенант! Военно-почтовое соединение эс-эс-сака, номер сорок четыре дроб шашнадцать, для проведения политчаса собрано!

— Вольно! — кивал головой лейтенант Кукин. — Разрешаю сесть.

Церемония эта военная очень нравилась Витале Кукину. Особое удовлетворение он получал от слова «соединение» — неизвестно почему и отчего возникшего в вечно хмельной голове Артюхи Колотушкина. Агитатор воспринимал его значительность, указующую на мощь ему вверенной военной силы в патетическом, так сказать, смысле, столь свойственном Советской Армии, где громкое слово имело силу решающую.

Отец Витали, Фома Савельевич Кукин, работал начальником железнодорожной станции. Мать на той же станции ведала кадрами. Шишки оба. Сына они воспитывали с уклоном на новоаристократический интеллект: отдавали его в студию для художественно одаренных детей, даже в балет приспособляли, затем в местное музыкальное училище, которое он с натугой закончил, сносно брэнчал на пианино, писал заметки в армейскую прессу, рисовал стенгазеты как для родного почтового пункта, так и для военной цензуры, считал себя в здешних военных кадрах многогранно развитым и самым умным офицером. Да так оно, пожалуй, и было. Порученное ему партией агитационное дело выполнял Кукин со всей ответственностью, тщательно готовился к проведению политчаса, из-за чего подолгу засиживался в библиотеке, где и увенчалась его агитационная работа неожиданным успехом. Молоденькая, цветущая библиотечарша, тоже с интеллектуальным пошибом, не чуждая романтизма, пала жертвой яркого пропагандистского слова.

В до антрацитового блеска начищенных сапогах, с портупей через плечо, с кобурой, на которой было отчетливо видно тиснение щита и меча, подтянутый, серьезный лейтенант Кукин зачитывал своим слушателям переписанные из блокнота военного пропагандиста новости, пересказывал международные события и свои соображения по их поводу.

Народ дышал чистым воздухом, подремывал, кто украдкой откусывал от яблока, кто перешептывался с подругами. Артюха Колотушкин, упав лицом в раскоренье старой яблони, делал вид, что слушает, на самом же деле, спал, но не храпел и время от времени делал движения раненой ногой: то сгибал ее, то разгибал — беспокоит, дескать, рана.

Однажды потянуло пропагандиста рассказать о бое-

вом пути его героического «соединения», как бы между прочим сообщить о том, как на станции Попельня его однажды чуть не убило: осколком бомбы выбило стекло в здании сортировки и угодил тот осколок в стену, прямо над головой начальника.

— Это ж надо! — ахнули вояки, по два, а то и по три раза раненные. — Это ж!.. Еще бы метра три ниже — и такой умной головы как не бывало!

— Сорок сантиметров! Я лично мерил! — переходя на доверительный тон, уточнил лейтенант Кукин.

— Господь Бог лично тебя стерек, лейтенант!

— При чем тут Бог? Предрассудки это.

— Э-э, не скажите, товарищ лейтенант. Вот у нас в части случай был, — завлекал в ловушку пропагандиста затейник и весельчак, маленько и стихоплет, Коляша Хахалин. — Оторвало одному бойцу голову... Он ходит, ходит, ищет, ищет... А голова в крапиве лежит, матерится: «Во, хозяин! Собственную голову найти не может!» Воины переднего края, считай братья родные, — голову на место, она громко требует: «Благодари товаришше, обормот! Не пособи оне да Бог, валяться бы мне в крапиве...» А если бы кто поумней — подобрал голову-то, ведь без головы, дураку, воевать пришлось бы...

— Я ценю юмор, — кисло улыбнулся пропагандист, — но, товарищи!..

— Эт чё?! Без головы-то воевать не диво. Примеров тьма, — подхватывал ко времени проснувшийся Артюха Колотушкин. — Только в связи без головы нельзя — трубку телефонную не на что вешать. — Девки знали, какой юмор их ждет от Артюхи Колотушкина, воспринимали его трудно, плевались, покидали поляну. Артюха же Колотушкин вдохновлялся пуще прежнего: — Остальным всем без головы способно — доказано это и нашими полководцами, и германскими тоже. А вот без мудей не сможет воевать даже и советский непобедимый воин. Опять же в нашей части случáй был: один связист-ротозей наступил на мину и оторви же ему яйца — частое, между прочим, на пехотной мине повреждение, — да и забрось же их на провод!.. Охат, прыгат связист, дотянуться до проводов не может. «Бра-а-атцы-ы! — вопит. — Как же я буду без мудей такой мудака?! Помогите!» Бойцы-связисты матерно ругают подвесную армейскую связь, то ли дело своя, полевая, — она в поле на земле лежит, потому и зовется полевой. Надо лестницу, а где ее на передовой взять? Свя-

зисты — первейшие трепачи — раззвонили по всему фронту о происшествии. До штаба даже весть докатилась. Звончок оттуда: «Врага тешите? Трибунал высылаем!» — «Лучше лестницу!»

Давай на верхах согласовывать вопрос насчет лестницы с политотделами, с членом Военного совета фронта, с первыми и вторыми отделами, с финансистами, с технарями. Но... без согласования с Кремлем никто решить вопрос не берется. А яйца так на проводе все и болтаются. Связистки и разные регулировщицы сбежались, колибер прикидывают; особняки шустрят: не сам ли себе боец членовредительство учинил? Технические спецы изучают мощь вражеской мины, чтоб противопоставить врагу свою мину, чтобы если ударит, так не только муди фашистские, но и весь прибор — в брызги! Начальник политотдела фронта первый раз за войну на передовой появился — с намерением утешить бойца отеческой беседой. «Боевой листок», говорит он пострадавшему, по поводу этого сражения уже нарисован, передовица в газету пишется, насчет лестницы лично он проследит — чтобы изготавливали ее из лучших сортов древесины, оформлены документы на предмет представления его к медали «За боевые заслуги»...

Виталья Кукин понимал: над ним глумятся и — о, ужас! — вроде бы глумятся и над передовой идеологией!..

Мы, однако, дошутились бы: часть энкавэдэшная, в основе своей стукаческая. Но... спасли нас кони и начавшаяся демобилизация.

Началось возвращение людей домой. С лета еще началось, но в нашей почтовой части — только-только. В цензуре и вовсе пока не шевелились. Нужен, нужен контроль, узда нужна развоевавшемуся, чужой земли повидавшему, фронтового братства, полевой вольности хватившему, отведавшему чужих харчей и барахла понахватавшему русскому народу. Без контроля, без узды, без карающего меча никак с ним не совладать и не направить его в нужном направлении. Без этого он и прежде жить не умел, но теперь, после такого разброда, — и подавно.

Почтовики блаженствовали в полубезделье, крутили с девушками романы. Виталья Кукин открыл при клубе кружок танцев, организовывал разные развлекательные игры и соревнования. Это у него получалось гораздо лучше, чем политчас.

Корешки мои госпитальные — доходяги — вовсе перестали посещать библиотеку и читать книги. Да и мне скоро сделалось не до книг. Опухшие от сна — на конюшне велось всего пять лошадей, одна верховая и четыре рабочих, — начальники конюшни, сержанты Горовой и Слава Каменщиков, мобилизовали резервы. Угодил и я на конюшню и жить стал вместе с начальниками в пристройке конюховки, где стояли нары, толсто заваленные соломой, с заношенными простынями и байковыми одеялами. Была нам выделена отдельная стряпка из местных крестьянок. Военных женщин уже никакой работой не неволили — их партиями отправляли домой. Однако наших наставниц и цензурных щеголих еще много шаталось по местечку, танцевало и пело в клубе, обнималось по садам и темным переулкам.

Баня в местечке была одна. В пятницу ее топили почтовики, в субботу — цензорши. Солдаты стучали в стенку кулаками, залезали по лестнице на чердак, намереваясь высмотреть в чердачный люк, где у цензорш чего находится. Когда мылись наши девки, им приносили из колодца дополнительно воды.

Не раз случалось, кто-нибудь из наших ребят «нечаянно» затесывался в редко сбитый из досок предбанник и «нечаянно» сталкивался там с нагой или полунагой сортировщицей. Вышибленный оттуда, боец сраженно тряс головой: «Ребя-а-а-а-та-а! Погибель нам!..» — «Бесстыдники окаянные! Ошпарим шары, будете знать!» — кричали девки из бани, но особой строгости в их криках не выявлялось: глянулись им волнение в сердце поднимающие мужицкие шалости. Толя-якут, тот самый, что сыпал яблоки к ногам самой беленькой, самой застенчивой девушки Стеши, упорный следопыт и охотник, достиг своей цели, вытروпил голубоглазенькую жертву, по цвету глаз в голубой халат одетую. Поверху халата Стеша повязывала фартук с оборочками из цветного лоскута. Не глядя на постоянную пыль и головную — до глаз — повязку, Стеша умудрялась оставаться опрятной, беленькой и даже нарядной. Она завистливо поглядывала из коридора на бегающих, хохочущих и поющих подружек-сортировщиц, особо в кладовку, где царствовала ее подруга по ремеслу Женяра Белоусова и помогал ей в делах Коляша Хахалин — парень хотя и хромым и непутевый, но все же парень, кавалер. Норовя быть поближе к удачливым подругам, Стеша пускалась на маленькую хитрость — раздавая

для сортировки письма, говорила каждой из них: «Я тебе хо-рошие уголки подобрала!» Хитрые русские крестьяне и поселковые ловкачи, обороняя личные секреты, прошивали уголки письма нитками, проволокой, иные даже струнами. Сортировщицы ранили пальцы, особенно рвали руки цензорши, которые непременно должны были уж если не прочесть письмо, то хотя бы «распороть».

Отбой в солдатской общаге, как и положено, — в одиннадцать, подъем — в шесть. Но младший лейтенант Ашот Арутюнов и его помощник, помкомвзвода старшина Артюха Колотушкин, в такой ударились разгул, что войско свое кинули на произвол судьбы, в общежитии объявлялись на рассвете, падали на постель, часто и амуниции не снявши. Столоваться с рядовым составом командеры перестали — кормились где-то на стороне, обретались в хатах у вдов или у военных постоялок. С прудов начали пропадать гуси, утки, со дворов — куры. Докатился слух, что и бараны, и телки терялись. Волокли вину на бендеровцев и всяких лихих людей, но ясное дело — без наших боевых командиров тут не обошлось. Да нам-то что до этого? Солдатня тоже волокла все, что плохо лежало. Сортировщицы блудили и в почте — выбирали табак, денежки, кисеты, цветные открытки, что каралось как на почте, так и в цензуре строгими мерами, даже вплоть до трибунала. Но послепобедный разброд и шатание в армии, предчувствие близкой демобилизации, сама себе разрешаемая воляность совсем развалили дисциплину и в такой законопослушной, бабски-покорной части, как наша, по словам Артюхи Колотушкина — «соединение за номером сорок четыре дроб пашнадцать».

Однажды утречком невыспавшиеся бойцы трудно поднимались с жестких казенных постелей. Арутюнов и Колотушкин, как положено комсоставу, спали отдельно, на железных кроватях, все остальные — на общих нарах. Кривоногий Артюха Колотушкин на этот раз спал об одном сапоге, в полуснятых комсоставских галифе, заеложженных на коленях, — раздеться у него не хватило сил. Арутюнов снял сапоги, штаны и гимнастерку, но отчего-то держал ее на весу, за погон, — видать, совсем недавно он стискивал что-то живое, драгоценное, и не хотелось ему выпускать добро из рук.

Кое-как поднялись, разломались воины, ополоснулись из ведра у колодца, а командеры спят. Без командира куда же? Хоть Артюха, да нужен: в столовую без старшего не

пустят. Спал старый разведчик и ходок Артюха боязно, и когда его тряхнули, подскочил на койке, рукой зацапал вокруг себя, оружие нашаривал, огляделся, на разутую, на обутую ногу посмотрел. «Где я?» — спросил. «На Украине», — ответили ему. Воздев взор, Артюха Колотушкин простонал: «Господи! Как от Вологды-то далеко-о...»

Не строим — какой уж тут строй? — сбродом поднялись вояки в горку, к столовой, и слышат: «циколки» — так уничижительно почтовики и почтарки звали цензорш, — столпившись на крыльце своей столовой, хохочут, тыкая пальцами на наш солдатский строй. Чем дальше на горку топали бойцы, тем шире разливался хохот, иные «циколки» аж взвизгивали. Цап-царап — хватались бойцы за ширинку, и у кого она не застегнута, на ходу принялись приводить себя в порядок. Однако смех не утихал. И тогда Артюха Колотушкин — отец, командир и защитник солдата — взялся оборонять свое войско:

— Щё тут смешного? Бойцы на защите Родины изранеты, вот и храмлют.

Тут уж и наши девки, столпившиеся на крыльце почтарской столовки, располагавшейся рядом с цензорской, покатались со ступенек, что переспелые тыквы. А из строя, мелькая кальсонами, метнулся под гору, в общежитие, Толя-якут. Это он до того домилвался со своей Стешей, что от переутомления продолжал дремать во время подъема — сапоги надел, гимнастерку надел, даже подпоясаясь, но штаны надеть забыл. В столовую Толя не вернулся, на работу не явился. Было решено выслать в общежитие Стешу. Долго ли, коротко ли она утешала своего кавалера, но привела его за руку в сортировку, поставила среди коридора, сама рядом обороной встала.

— Мы, когда демобилизуемся, распишемся, — громко, чтоб по всем купе слышно было, объявила она. — Вот. И нечего! — На этом месте речь Стеши прервалась, она залилась слезами. — Мы с Толей в Якутию поедем, там якутины живут... Оне, как азиаты, мясо сыро едят и... рыбу. Страшно вон как! А вы?!

Девки изо всех клеток повысыпали — утешать и поздравлять Стешу. Мужики били Толю-якута по спине. «С тебя пол-литра!» — говорили. Дело кончилось тем, что Стеша и Толя-якут перестали таиться. Демонстрируя дружбу народов, ходили по местечку, держась за руки, и на работе все чего-то шушукались. Стеша уж и покрикивать на Толю начала, а он, как бы испугавшись, обалделый от

счастья, стучал сапогом о сапог и звонко выкрикивал: «Слушаюсь, товарица командира!» Северяне — мужики надежные, не то что их старшие братья-русаки — сходятся да расходятся, сиротят ребятишек. Одной крепкой семьей в Якутии будет больше.

Я, конечно, тоже не хотел угнетаться одиночеством. Высматривал симпатию, внезапно подбортнулся к поварихе Фросе, приносившей обед на конюховку. Она, в отличие от военных почтарок, жила на отшибе скромно, одиноко, грустная, малоразговорчивая, вроде как сытым кухонным паром ее разморило иль угорела она до полусна. Раз, другой, кругами, по садам и закоулкам, проводил я Фросю домой, затягивал ее в затень. И она давала себя увлечь, позволяла обнимать и целовать. Я уж начал планировать свою жизнь дальше, но Фрося вдруг стала меня чуждаться, опуская глаза, роняла, что ей опять до самой ночи, если не до утра, дежурить на кухне, да и дома дел много.

Я пробовал приклеиться к свободным военным девушкам, но и они, пройдясь со мной по улице Ольвии, вежливо уклонялись от дальнейших гуляний, особенно по саду. Тогда я подумал, что причиной всему была моя хромота, хотя она почти уже не замечалась, мое будто когтями исцарапанное лицо. Но ведь были среди моих корешков куда более хромые, кто с поуродованным лицом, кто со стеклянным глазом, — и ничего, находилась и им пара. Самоистязание, только оно могло помочь моему горю — я подменял дежурных на конюшне, возил с полей сено, солому, ходил пилить и колоть дрова в хату, где жили Тамара и Соня, чистил конюшню, а в вечернюю пору пел во весь голос прощальные песни, наводя тоску и на себя, и на лошадей; читал книги при свете фонаря и не ведал, какие козни творятся вокруг, какое давление оказывают на девчоночье поголовье тайные силы. И все из-за меня.

Бывшая моя напарница, преподобная Тамара, всё про всех знавшая, могла бы мне кое-что объяснить, но она была так занята своим Мишей-молдаванином, так прыгала на своих мушиных лапках вокруг него, так его стерегла, что уж боялась спугнуть свое нечаянное, оглушительное счастье.

Из-за границы, то ли из Румынии, то ли из Венгрии, а может, из наших ликвидированных воинских частей поступали и поступали в Ольвию лошади. Почему к нам, в почтовую часть, гнали и гнали лошадей — объяснить ни-



кто не хотел. Военная, опять же, тайна... Слава Каменщиков, которого чуть не оженшили на дочери хозяина, по-нашему, по-конюховски, чуть было не осаврасили, — Слава объявил хозяину и хозяйке, у которых был на постое, что отец его лежит в госпитале, шибко плохой, а семья у Каменщиковых большая — надо ее поддержать, кроме того, он надумал учиться на филологическом факультете. Хозяева зауважали Славу за слово «факультет» и отпустили его на свободу.

Увернувшись от семейных оков, Слава боялся уже заводить знакомства с девушками, кроме того, он был назначен старшим конюхом, меня же зачислили его помощником. Коляшу Хахалина Слава со смехом назвал заместителем по культуре.

Весело, бесшабашно жили мы до поры до времени. Но день ото дня работы становилось все больше. Днем возили с полей зеленку, овес, косили отаву по речке, ночью один из нас дежурил возле конных дворов с заряженной винтовкой, потому как слухи, пока только слухи, о действиях бендеровцев в здешних местах докатились и до Ольвии. Сколько тоски и страданий вынесло мое молодое сердце, когда я, сидя на копне соломы с зажатой меж колен винтовкой, слушал доносящуюся из клуба музыку, сердце рвущие вальсы, фокстроты и танго. После окончания танцев в клубе, парочками, где и гурьбой, разбредались люди кто куда. Иногда гуляк заносило во двор сортировки, и они там хохотали, пели, свистели, парни взбирались на деревья, трясли груши, к холоду сделавшиеся сахаристыми; шныряли по окрестным садам, хотя особой надобности в том и не было: общественный сад Ольвии гектаров в двадцать и пришкольные сады ломились от яблок, груш и поздней сливы.

Но от жизни куда спрячешься? По Ольвии ездить мне приходилось не только на телеге, на возу, случалось гарцевать и на великолепном жеребце, непринужденно постегивая кончиком ременной узды по сапогу. И только тут мне дано было постигнуть смысл существования конного человека, форс гусара, величие полководца. На коне, и только на коне, а не на обляпанном грязью «виллисе», тем более на суетливой «эмке», может предстать и смотреться по-орлиному военный командир. И хотя я никогда не был командиром, даже в ефрейторы не вышел, жеребец мой в званиях не сёк, он чувствовал человека спиной и всячески старался, подлец, выявить не только свое ве-

личие, но умел также подчеркнуть значимость и красоту наездника.

По Ольвии он не просто ступал, он, точно балерина, не стуча копытами, то пританцовывал, то сдваивал шаг, то рассыпал его в легком галопе. Голова жеребца гордо взнята, шея выгнута, глаза, в зависимости от того, на что падал его взор, наливались и сверкали красным пламенем или кровью. А уж если встречу попадалась женщина, в особенности молодая, — вздымался ввысь и, конечно же, вздымал вместе с собою и седока. Не скрою, мне передавалось от коня его аристократическое совершенство и достоинство. Я тоже приосанивался, упершись в стремяна сапогами, тоже пытался быть стройнее, выше, чувствовал себя красивым молодцом — в седле ж не видно, что я худ и крепко бит войною. Артист из конского сословия порой заигрывался, войдя на мосток, начинал вдруг пятиться, вроде бы боясь упасть вниз, косил глазом в бездну полувысохшего ручья, давал мне возможность повелительно прикрикнуть: «Н-не бал-луй!» — и за мостиком рвал в галоп, чтобы промчаться вихрем мимо помещения цензуры, коли в сторону обратную — мимо сортировки.

Ах, юность, юность, войной спаленная, в боях изжитая, в бредовых госпитальных палатах пропущенная, — никак ты не хочешь сдаваться без веселого баловства, без того, чтобы умчаться навсегда, не сверкнув серебряной подковою.

Заворачивая как бы по некоей надобности во двор сортировки, я трепался с ребятами, стрелял глазом в девчонку, заходил «в гости» к своим наставницам, Соне и Тамаре. Улучив момент, Тамара шепнула мне: «Сегодня по корпусу Люба дежурит. Одна! Подчаска не берет, чтобы тебя видеть», — и отскочила, потому что глаза Миши-молдаванина начали наливаться свинцом ревности.

Ну дела! Видать, на жеребце-то, на высоком кожаном седле я и в самом деле смотрюсь что надо!

Со Славой Каменщиковым мы сдружились так, как могут дружить лишь фронтовики, — по-братски. Обиходили мы помещение, даже украсили его занавесками и заграничными открытками по стенам. Подражая ближнему начальству, тому же лейтенанту Арутюнову и старшине Артюхе Колотушкину, поставили железные кровати, отчего Фрося, стряпка наша — ничего, правда, не стряпавшая, только разогревавшая еду, принося ее с общей кухни, — зауважала нас еще больше. Ребята зарились на

наше помещение. Артюха Колотушкин пробовал было и девок приводить, да Слава осадил Артюху: «Здесь служебное помещение, а не случной пункт!» — и укатился Артюха на кривых своих ногах искать уединение в другом месте.

Я сообщил Славе насчет свидания с Любой, и он охотно согласился дежурить по конюшне хоть всю ночь, если будет надо, и служебное помещение освободить по первому требованию. В клуб и на гулянья Слава не ходил, и не потому, что напугался, когда его чуть не оженали, главным образом от горя: в госпитале умирал его отец. Строгий, прибранный, самостоятельный парень Слава Каменщиков.

Я около него тоже подобрался, но, проявляя тонкое понимание момента, волокитство мое Слава терпел и подсоблял как мужику, чем мог, хотя порою и ворчал на меня.

Дождавшись темного вечера и опустения улиц Ольвии, подался я кружным путем, через густой сад, к сортировке. Стегая прутиком по сапогу, беспечно напевал я: «Нет на свете краше нашей Любы, темны косы обвивают стан, как кораллы, алы ее губы, а в глазах лаз-зурный оке-ан...»

— Вот так дурень! — сказала из темноты Люба и, поднявшись со скамьи, где сортировка делала перекуры и трепалась, обняла меня, прижалась горячеей щекой к моей щеке. Вышло это так ласково, что отпала всякая охота ерничать и выкаблучиваться. Долго мы стояли в обнимку, не шевелились и ничего не говорили.

— Что ж ты бросил меня? — прошептала Люба, не разнимая рук, грея мою щеку и шею своим теплым дыханием. — Я жду, жду...

— Зачем я тебе, Люба?

«Зачем я тебе, такой ладной, многими талантами наделенной молодежи, изуродованный, надорванный войной мужичонка, не имеющий ни образования, ни профессии — ничегошеньки-то ничего, кроме надежд на будущее...» Уразумевши, что все эти мои мысли Люба тут же разгадала, я вдруг брякнул, что буду учиться в университете, на филфаке, хотя, чему на этом филфаке учат, даже смутно себе не представлял.

— С семью-то классами на филфак?! — вздохнула Люба и, отстранившись, дотронулась губами до царапины на моем лице.

— А я справку достану или подделаю.

— Какую справку?

— Что десятилетку кончил.

— Говорю — дурень! — поерошила Люба мои чуть уже отросшие волосы и потянула меня на скамейку.

Мы сели, и нечего стало делать. Мне в голову ударило — держаться на шутливой, дураковатой волне, и я начал рассказывать о единственной пока своей, безгрешной, госпитальной, любви. Но с заданного тона я скоро сбился и повествование закончил грустными словами:

— Я ей даже ни одного письма не написал.

— Все по причине самоуничтожения?

— Чувство вины меня гнетет, боюсь, много слез на бумагу накапается.

— Ах ты, дурень, дурень!

— Но она скоро замуж выйдет — чтоб мне досадить.

— Откуда ты знаешь? Вы же, говоря старомодно, в переписке не состоите.

— Я чувствую.

— Гос-споди! Вот ненормальный-то!..

Мы еще посидели. Я достал из кармана по яблоку. Похрустели яблочками. Я бросил огрызок во тьму и рассмеялся, придавая смеху беспечность.

— А знаешь, Слава пообещал нам освободить помещение, если что...

— Что — если что? Не Виталя ль Кукин напелл вам чего, на подвиги надоумил?

— А чё, у тебя было с ним? Или треплются?

— Что было, то сплыло. За войну много чего случилось — все не упомнишь. Хватило ума без глумления рассказать о своей нескладной любви, чего я, откровенно говоря, боялась, так вот и держись благородно и не ляпай грязью святой дар.

— Вот так свидание! Роковое какое-то... — нервно рассмеялся я и придумывал, как дальше-то быть, чего ей молвить.

— Роковое! Батюшки, слово-то какое нашел старинное и редкое, будто бульжину с военно-полевой дороги выворотил...

— Со мной трудно, Люба. Я ж пригородная шпана: днем, на свету, — удаль, ухарство, показуха; наедине с собой — смирен и почтителен.

— Ты хоть с женщиною-то был?

— Был. В станице одной, кубанской.

— И это тебе далось трудно?

— Да. А откуда ты знаешь?

— Знаю. Вижу.

Люба напряглась и отстранилась от меня, полагая, что уж тут-то я со всей солдатской откровенностью попру. Но в это время в клубе умолк баян. Народ начал разбредаться по садам и хатам. Я хотел окликнуть мимо проходивших корешков, но Люба прикрыла мне рот соленой ладошкой — почта уже не ходит, но девчонки по привычке моют руки соленой водой или керосином.

Во двор сортировки никто не заглядывал, видать, Тамара провела серьезную профилактическую работу.

Прославленная украинская ночь звездным небом укрывала землю так плотно, что кипы дерев за речкою, где тремя-четырьмя окнами светилась цензура, гляделись облаками в небе, и только пики островерхих тополей не теряли своих очертаний, стойко и четко отпечатывались в осеннем, холодом веющем поднебесье, по земле, особенно густо из сада, плыли запахи мреющего листа и подмороженных яблок.

Доходяги наши, проходя мимо сортировки, блажили, свистели и ухали — проводили девок и потопали в общежитие: завтра с утра всем на конюшни — воздвигать пристройку. Арутюнов, кого изловил, гнал домой, тонко выкрикивая: «Прекратите!» Сделалось тихо, и от звезд иль от краешечки луны посветлело, желтые поля на холмах за Ольвией тоже посветлели и как бы придвинулись к домам, уже погасившим лампы, дальний лес, обозначившийся по-за полями, похож был на темную тучу.

— Ты знаешь, — после долгого молчания нарушила завораживающую тишину Люба, — госпитальным сестричкам, няням надо бы посередине России поставить памятник из золота, не только за то, что они лечили, грязь, гной и вшей с вас обирали, но и за то еще, что помогли вам мужчинами стать... — Люба опять чуть отстранилась, вглядываясь в меня из темноты.

— Во! Отморозила! И взаправду ты мудрец!

— Мудрец! Какого же хрена вы презираете своих спасительниц? Мерзости про них говорите? Ах, Слесарев, Слесарев! Пропадешь ты, однако, невоспитанный, от народа отсталый...

— Да ладно пугать-то, — буркнул я. — На фронте пугали, пугали... Теперь ты допугиваешь. — Я снял с себя шинель, укрыл Любу и себя. Шинель объединила нас, ближе сделала. Люба прижалась ко мне, и я прижался к ней.

— Ну ее, эту войну. Да и все прочее. Научи лучше меня петь «Камышинку».

Люба не решалась нарушить ночь, помедлила, потом кашлянула в кулак и негромко запела, как бы только для себя. Понятно: если грянет во весь голос — остальные груши в пришкольном саду осыплются, лампы, которые еще светятся в хатах, — погаснут.

Так и я, девица, камышинкой горькой  
На ветру качаюсь и от стужи гнусь,  
На чужой сторонке плачу да печалюсь:  
Кто меня полюбит, кто развеет грусть?

«Не гнись, камышинка, не грусти, девица. Со родной сторонки веет вешний ветер, он тебя согреет, он развеет грусть», — подхватил я, и закончили мы песню в два при-таенных голоса.

Тихо. Тепло оттого, что мы греем друг друга. Подмывает сердце. Люба не шевелится. И ей одиноко, и ее сердце болит. Я пробно притиснул Любу поплотнее, давая понять, что люблю сейчас и ее, и эту ночь, и мирно спящую землю, и звезды над головою, и последние огоньки светящегося селения Ольвия, да сказать об этом не смею. Да и надо ли что-то говорить? Я ведь под смертью ходил, убили бы — и ни Любы, ни ночи этой, ни сонной Ольвии, ничего-ничего для меня не было бы...

— Прилетит ли тот теплый ветер? Согреет ли? — прошептала Люба. — Ты про любовь свою вспомнил, да? Не надо. Не думай. Я здесь, я с тобой.

Я нашел в темноте руку Любы, благодарно пожал ее.

Долго сидели мы, затем целовались и забыли о всяких горестях, о недавнем отчуждении. И начало у нас мутиться в головах. И начал я шариться по Любе, и дошарился до того, что Люба почти уж опрокинулась на скамейку, как вдруг со стоном отстранилась, зажала лицо руками:

— С ума сошли! О-о-ой, дураки-иы-ы-ы! Оба! Если уж чему быть, так не здесь же... не по-походному... — Когда унялось сердцебиение и немного прояснилось сознание, Люба погладила меня по голове: — Ну, прости! Ну еще раз прошу: не думай о девчонках и обо мне дурно. Конечно, зацепило кой-кого на боевых путях... Но, клянусь тебе, половина, если не больше, наших девчонок таскают свою перезрелую невинность, как чугунную гирю, — не каменные ведь, и любви им хочется, и плоть эта презренная томит, терпят, хотя и блудят в трепотне, в частушках-по-

сказушках, которые онанизмом тешатся, две-три парочки лесбиянством занимаются...

— Это что еще за зверь?

— Это когда женщина с женщиной живут.

— Да ведь срам же!

— Жизнь разнообразна... Ничего-то ты не знаешь. Да и не надо тебе об этом знать. И народ наш пусть не все про войну знает. Крепче духом будет, чище телом.

Свидание наше не получило надлежащего завершения. Оба-два — умельцы наводить тень на плетень. На прощанье Люба чмокнула меня в ухо и ушла спать в сортировку. Закрывши дверь на железный засов, проходя мимо окна, увидела, что я не ушел, резко распахнула раму и облокотилась на подоконник:

— Иди ж, иди.

— Нагрянут бендеровцы, унесут тебя в лесок.

— У меня ружье. Вот! — подняла Люба винтовку из-под окна, будто из-под подола, вынула боевое оружие.

— Откуда винтовка заряжается?

— Раз оружие женского рода, значит, со ствола! — рассмеялась Люба и махнула рукой. — Да ну тебя!

Вместо того чтоб уйти, я приблизился к окну, обхватил Любу и с неуголенной жадой впился в ее губы и чуть не вытащил постового наружу.

— Да иди же ты, иди! — смятым голосом произнесла Люба. — Кажется, губу прокусил. — И с наигранным озорством пообещала, закрывая окно на шпингалет. — Не будет у тебя женщины с именем Люба! Не будет! Попомни мое слово...

И не было. Закон ли природы иль высших сил происки — уж коли по небесному штатному расписанию определено вековать тебе с Зинойчкой, то Зюечки тебе уж не видать. Я вон сколько на своем боевом, курортном, дотоддыховском и прочем пути встречал Анечек, но ни одной из них принадлежать мне не дано было, все кренило меня к Дарьям, и прикренило-таки к одной из них... и роптать нечего — с законами природы не заспоришь. Пока вот тискал я да целовал Любу в глуби Украины, Дарья, предназначенная мне, возрастала во глубине России, училась, развивалась и неотвратимо надвигалась на меня.

Осень сделалась просторная и прозрачная, к душевному покою она совсем не располагала. Бодрящая осень. Жизнь победоносная.

Вычислив, что соседняя, все еще действующая, часть

почти обезбавилась, мужичье там находится в неприбранности и разброде, но к боевым действиям каким-никаким еще годно, цензорши вспомнили об юбилее своего подразделения и по этому случаю затеяли комсомольскую конференцию с гулянкой, по нынешнему, просвещенному, времени называющейся на иностранный манер — банкет, если еще ближе к нашим дням — презентация.

Увы, мне и моему другу Славе Каменщикову не суждено было присутствовать на торжествах. Так и не повидав родного дома и семьи своей, в госпитале скончался Славин отец. Родителями и войной наученный почитать не только свое, но и чужое горе, я друга своего не бросил. Я придумал заделье и увел его от конюховки к общежитскому колодцу — ополоснуться, если же баня, в которой перед юбилейным торжеством омывались «циколки», не выстыла, и постирать кое-что.

Возле общежития с ноги на ногу переступал и громко негодовал сержант Горовой, назначенный Арутюновым дежурить в общаге:

— Во гадство! Повезло так повезло! Сам, армянская морда, гуляет, девок щупает. А я чего щупать буду?! И Колотушкин туда же... Н-ну, друг Артюха! Ну, отцы командеры! Я вам этого не забуду!

Мы с другом вызвались освободить braveго сержанта для более занимательных дел. Он аж подпрыгнул и, направляясь на ходу, бегом ринулся в гору: «Я вам выпить принесу и закусь принесу-у-у».

Не успели мы замочить в корыте портянки и белье — бац! — гости к нам. Две девицы: миловидная, пышноволодая шатеночка с улыбчивым ртом, в котором поблескивали два золотых зуба, и ма-аленькая, беленькая, но вся такая решительная подружка ее. К удивлению нашему, они оказались из цензуры, сбежали с праздника. От бега иль от внутреннего возбуждения — у маленькой румянец во все лицо! Попросили попить. Я достал из колодца свежей воды, ковшом разлил по граненым стаканам, случившимся в общежитии по случаю пьянки. Культура! Девицы плюхнулись на скамейку возле стены, обмахиваясь платочками, разговоры разговаривают о том о сем, отчего это мы не на празднике, интересуются. Слава в предбаннике мокрым бельем шлепает, об стиральную доску дерет его, будто сук на сердце тупой ножовкой перепиливает. Это он нарочно — чтоб гости ушли. Последнее время он прямо стервенеет, если я с девками вяжусь, лишь для Любы



исключение делает. «Не всей же армии праздновать да веселиться, — отвечаю я так, чтобы в предбаннике слышно было, — кому-то надо и работать, и добро сторожить.» Толкую я и вспоминаю, где эту маленькую слышал и даже видел. И вспомнилось: во тьме, среди грязи случилась занятая наша встреча.

Гарцую я, значит, по местечку на своем жеребце, джигитом не джигитом, но выдающимся человеком себя чувствую. Гордо мне и вольно на боевом горячем коне. Хочу — еду шагом, хочу — скачу, да так, что всякая тварь бежит прочь, всякая птица — будь то курица, будь то воробей — с криком разлетается на стороны.

Уж до середины Ольвии я догарцевал, как вижу: тащится через мосток с чемоданом и постелью, завязанной ремнями, крепкая телом женщина, одетая в военное, с погонами лейтенанта. Ну и тащись, мне-то что? Тем более она — не наша, из цензуры тащится.

— Эй, парень!

— Чего тебе, эй, девка?

— Я не девка, я баба. Ну-ка подвези мои вещи!

— Может, и тебя подвезти? — принимая чемодан на седло, игриво хохотнул я.

— Я не умею на лошадях ездить — упаду и тебя уроню.

— На машине привыкла?

— А ты как угадал?

— Зад расплющенный.

— А-а! — пощупала она себя и тут же спохватилась, погрозила мне: — Ты эти вульгарные штучки оставь своим девицам, я — женщина серьезная.

— Ух ты! — Я бесстыдно уставился на встречную и обнаружил, что она совсем не старая и в глазах ее, голубовато-водянистых, окруженных белыми ресницами, безсовство, чуть конопатое лицо дышит бабьей зрелостью и таким самой себе присвоенным чувством превосходства над всеми, кого она зрит.

Звали ее Раей Буйновской. Она переезжала на другую квартиру, так как в хату, где она жила, явился с войны хозяин, и хозяйка попросила квартирантку выселиться, «шоб нэ так тисно було».

Переночевав несколько ночей в цензурной вошебойке, Рая нашла пристанище у одинокой, еще не старой вдовы. Увидев меня, хозяйка заявила, чтоб никаких парубков квартирантка не водила, но, поскольку был я на коне, поинтересовалась, не привезу ли ей дров.

— Кто ж возит на таком иноходце дрова?

В тот же вечер явился я к Рае в гости, помог ей собрать кровать, прибил над кроватью старый гобелен с оленем, насадил валяющуюся посреди двора секиру, расколол несколько чурок, которые из-за сучков хозяйке не давались, принес с огорода мешок с фруктами, рассыпал их в сенцах на полу, — в хате сразу густо запахло яблоками, пообещал бабке привести войско — копать картошку, может, и дров привезу. Хозяйка так расположилась ко мне, что напоила нас с Раей чаем. Сама, допив чай, перекрестилась и ушла за перегородку, пожелав нам доброго вечера.

Мы вышли с Раей на крыльцо, долго, хорошо говорили. Рая — ленинградка, потеряла в блокаду родных, молодого мужа убили на фронте — они и детей заиметь не успели. Когда я уходил, Рая поцеловала меня в лоб, поблагодарила за труды, за добрый вечер, сказала: если я захочу, могу приходить, но не за тем, за чем к девкам ходят, а чтоб душу отвести в приятной беседе.

Возвращаясь в конюховку, что-то я напевал довольно громко, вызывая ответные голоса собак из дворов, сбивал первый сон громодян в хатах, погасивших лампы. Из переулка вынесло меня на поперечную улицу. Дальше всякое движение застопорилось, грязь, густо замешенная в «корыте» улицы, не просыхавшая меж каменными заборами, тынами и под навесами деревьев, кисла тут и летом и зимой, вбирая в себя всякую живность, от мотылька до человека. Я пощупал сапогом дорожную хлябь, сунулся туда-сюда — везде вязко. Но как-то ж люди да и скот ходят, добираются до своих хат и дворов? И не сразу, но понял: скот бродит по пузо в грязи, люди же — где держась за тыны, где за тычины, за жерди, где — за выступы и щели в каменьях. По скользкому раскату меня сносило в «корыто», и я уж прикидывал, что, если надумаю идти к Рае в другой раз, опущусь к ее хате садом — там хоть за стволы деревьев держаться можно.

И только я наметил дальнейший план жизни, как тут же, во тьме, столкнулся нос к носу с человеком женского пола и понял, что женщина меня не испугалась, военная потому что, да и не раз, поди-ка, сталкивалась она так вот, среди грязи, под тенистым забором, со встречными путниками.

— И как же нам теперь быть? — игриво спросила женщина из темноты.

Я намек понял, но от тына не отпускался. Завязался разговор. Меня потянуло — в который уж раз за последнее время — похвалиться своей начитанностью, потому как больше-то хвастаться было нечем. Последняя книга, которую я одолел, была «20 тысяч лье под водой». Я и прежде читал эту книгу, но под менее загадочным названием, там «лье» называлось километрами, и это шибко опресняло название. Стою я, держась за тын, перед незнакомкой в непроглядной ночи и засоряю ей мозги, повторяя: лье да лье, лье да лье. Но на «лье» долго не удержишься, тем паче что я и по сю пору не знаю: длиннее это километра или короче? В разговоре установилось, что ночная незнакомка из цензуры квартирует неподалеку со своей верной подругой и та ее уже заждалась. Ну да ничего, не каждую ночь на глухой улице удастся повстречать молодого воина и поговорить про литературу. Я развивал мысль о том, что за войну отечественная культура заметно пошатнулась, ее надо укреплять, и как бы между прочим сообщил собеседнице, что после демобилизации поступаю в университет, на филфак. Филфак филфаком, но надо и домой идти, скоро заступать на дежурство. Если опоздаю, Коляша Хахалин или Горовой допрос учинят: на филфачке иль на хохлушке залежался?.. Дался им этот филфак! Девки, которые еще не разъехались, парни, да и сам майор Котлов чуть чего: «Ну, эти филфаковцы!»

Я обреченно отпустился от тына. В конюховке долго отмывал из дождевой бочки сапоги, одновременно докладывая начальнику своему — Слава Каменщикову, — где был, чего делал. Слава не без укоризны молвил:

— Опытный вроде воин, а по площадям бьешь. Тебе, хоть и рядовому бойцу, должно быть известно, что стрельба по площадям малоэффективна. Ну зачем тебе толпа девок? Ты что, султан какой? Ты простой советский калека, и дай тебе Бог с Любой управиться, не пасть в бою. Надо ж кому-то на конном дворе дежурить, животных кормить, поить...

Все время, пока наши гости, девицы из цензуры, охлаждались водичкой, Слава бухал за стенкой корытом, доской стиральной будто пулеметом строчил. И гости не засиделись, поблагодарили за водичку, удалились туда, откуда доносились звуки музыки.

Нет, сегодня нам решительно не дано было завершить стирку, ополоснуться горячей водой и отдраить друг друга волосяной вехоткой, так как толсто зарастали мы око-

ло коней грязью и пылью. Только-только начали мы оба два разболочаться, чтобы и амуницию, пропахшую потом и назьмом, замочить в корыте, как видим: из-за клуба вывернули и явно к нам спускаются люди военного вида.

— Осмодеи! — послышался наигранно-веселый голос Любы. — По ним девки сохнут, ночей не спят, а они прячутся, сердце ихое рвут на лоскутки и во, — потрясла она подштанниками, развешенными на груше: чтоб скорее сохло, перенесли мы белье с городьбы на солнце, — стирают... Тогда как бабы за счастье сочли бы обиходить спасителей отечества, кальсонину нюхнуть... Ну, здравствуйте, мальчики! Здравствуйте, орлы-филфаковцы с конюшни, как кличет вас полководец Котлов. — Она поцеловала нас поочередно в щеки и отступила в сторону: разведя рукой, как бы церемонию представления продемонстрировала: Мишу-молдаванина и Тамару, да в отдалении смущенно теребящую комсоставский пояс военную девушку с волной чисто промытых волос. Белые узенькие погоны со сверкающей эмблемой — змейкой меж двумя полосками и двумя каплями янтарно светящихся звездочек — украшали это милое создание.

— Самые счастливые на сегодняшний день в Ольвии, кубыть и на всем белом свете, супруги Тамара-несмеяна и святой Михаил! — продолжала Люба представление. Тамара, прикрывшись рукой, прыснула. Миша, в одной руке державший бутыл, заключенную в прутяную изгородь, в другой — новый вещмешок, снисходительно улыбался. — А это, ну, подойди, подойди, красавица. Они хоть и конюхи, назьмом пропахшие, — парни славные, книжки читают, на филфаке собираются обучаться конскому делу! А это подружка нашей Сонечки Некрасовой. Заехала вот. А Соня прийти не может.

Мы со Славой на ходу подпоясались, прибрались, сдернули бельишко с груши, снова перевесили за баню, на ограду. Но там, в тени, белье и до ночи не высохнет. Да черт с ним, с бельем! А лейтенантша-то, лейтенантша — можно сдохнуть и не воскреснуть! Вот и ее небось такой же, как я, дурак любил, обнимал и прочее. Где их, умных-то, на всех набраться. Славика, однако, на сей раз недобровать, хоть он и кремень мужик, хоть и не хочет жениться, хочет учиться... на филфаке. Недобровать, недобровать! Тряхни, Славик, тряхни всеми «Славами», всеми «Звездами», всеми «Знаменами» и медалями, да так, чтоб все наши гости рот открыли, увидев, какой герой

перед ними, хотя с виду простой человек, на конюшне работу ломит.

Что-то Люба сегодня очень уж раздухарилась, колоколит и колоколит, накрывая на стол, прыгает, галдит, того и гляди, чего-нибудь на ней из туго ее облегающей одежды от резвости лопнет!..

— Люба! Поди сюда, — поманил я ее на улицу и сказал, что у Славы большое горе и только по этой самой причине — только по этой! — подчеркнул я, мы не пошли на празднества в цензуру.

— А вас никто и не приглашал! — заявила Люба. — Больно гордые оба и девок боитесь, а их там штук двести. Что предупредил — спасибо.

Общежитский стол накрыт простыней, украшен сорванными возле общежития желтыми подсолнушками-пасынками, оставшимися на обезглавленных будылях. «Как это красиво! — удивился я. — Подсолнухи в виде букета!» Чистые кружки, молдавское виноградное вино, присланное Мише родителями, спирт, выделенный военной медициной на дорогу лейтенантше, курица вареная, опять же молдавская, колбаса американская, помидоры, огурцы, лук, вареные кукурузные початки и хорошо пропеченный ржаной каравай.

— Дорогие подруженьки и друзья, Сережа, Слава! — подняла кружку Люба. — Подписаны документы второй очереди, пора домой Тамаре и Мише, пора мне и Соне. Мы за это и выпить собрались. Но оказалось, что у Славы такое горе... Война продолжается и долго, видать, еще не кончится. Так выпьем стоя за еще одного павшего русского солдата.

— Спасибо! — промолвил Слава, и глаза его наполнились слезами. Он с трудом вытянул из кружки разведенный спирт, сел, укрывши одной рукой глаза, другой начал щипать хлеб.

Миша продекламировал что-то похожее на «Коку маре, маце куру».

— Миша сказал: пусть смерть и горе уходят, жизнь и радость остаются, — пояснила Тамара — она готовилась к жизни в Молдавии, овладевала языком мужа. — Так, Миша?

— Прыблызытэлно.

Выпили еще, потом еще. Славика не пробирало, компания не складывалась, веселья не получалось.

— Вы меня, ребята, простите, — сказал Слава, поднял-

ся и ушел, показав мне глазами, что белье соберет и досушит в конюховке.

Выпивку мы так и не осилили. Мишка еще не окреп после госпиталя, захмелел, начал клевать носом. Попытка возбудить в нем энергию бодрой песней про смуглянку-молдаванку успехом не увенчалась. Зато за речкой, на холме, веселье разрасталось и уже начало растекаться по садам и закоулкам Ольвии. Тамара увела Мишу спать. Лейтенантша сказала, что после дороги хочет поваляться, почитать да и Соня дома одна.

Дальней улицей мы с Любой вышли за околицу, в поля, местами не убранные. Медленно и молча двигались мы на солнце, клонившееся к закату, брели каждый сам по себе, со своими думами, со своей усталостью и в то же время объединенные осенней тишиной. Не хотелось нарушать ее. Дорога, выгоревшая за лето, по обочинам снова зазеленела от все чаще перепадающих дождей. К дороге ластились, клонились отяжелевшие овсы. Приветливо желтели ясные полевые цветы осени: куль-баба, яснотка, ястребинка. Сквозь замохнатевший осот на волю выбрался упрямый цикорий. В проплешинах овсов небесно сияли мелкие васильки, если мы задевали сапогами межи, в глубине их начинали потрескивать и порскать черными семенами дикие маки.

— Тебе хоть жаль немножко, что я уезжаю? — наконец заговорила Люба.

Я пожал плечами и вымучил вежливый ответ:

— Немножко жаль.

Мы приблизились к мохнато среди полей зеленеющему, кое-где уже запламеневшему островку, огороженному колючей проволокой. К нему, точнее, в него вела едва приметная дорога. Среди островка, под ореховыми деревьями, опутанные вьющимся растением с черными ягодами, стояли давно не беленные строения, трансформаторная будка без крыши. Кинутая техника, машина без колес, тракторный скелет, теплицы с выбитыми стеклами и водонапорный заржавелый бак. Далее — тоже ржавая сетка. Навстречу нам, громко лая, выметнулась рыжая собачонка. За островом с неухоженным, полуодичавшим виноградом виднелись гряды с вилками капусты и оранжевыми туго налитыми тыквами. Из дощаного строения с провисшей крышей вышла баба в расшитой украинской кофте, с подоткнутым подолом и, подрубив рукою лицо

от ослепительно сверкающего уже на кромке земли солнца, настороженно смотрела нам вслед.

— Взял бы да и украл мне кисть винограда, — молвила Люба и, когда я начал озираться, отыскивая лазейку в спутанной проволоке, насмешливо добавила: — Не надо. Настоящий кавалер без раздумья ринулся бы на преграду. Нас-то-ящий! — Она свернула с дороги, спокойно приподняла бухту проволоки, пролезла около столбика в густые заросли. Явилась с двумя увесистыми кистями глянцеви́то-черного винограда. — Мы к самообслуживанию привыкли. Когда-то здесь была опытная станция садоводческого совхоза, дальше — бахчи. При немцах полный порядок соблюдался. Они поставили по краям две виселицы и вроде никого не повесили, но никто не смел сунуться в эти владения, ну а после — виселицы унесли на дрова, а мы ох и полакомились арбузами, виноградом, вишенъем, орешками... Вы в окопах лапу сосали да сухари глодали, а мы тут, ведомые энкавэдэшниками, жировали да пировали. Циколкам, как вы их кличете, всю войну вместо табаку шоколадик выдавали, и я возле них лакомилась, гли, какое тело нагуляла!

— Ну и жируй дальше. Чего стальничаешь-то? — Я отчего-то наедине с Любой снова построжел, напряжение во мне нарастало, вызверяться начал. — Кто вам и вашим покровителям указ?

— Совесть!

— Х-хэ, совесть! — Я послушал сам и дал послушать Любе далеко на просторе звучащий баян. — Тела вот много вы тут накопили на шоколадах-мармеладах да на фруктах, но вот насчет совести... Зря фрицевские виселицы спалили, зря!

— Перевешал бы всех?

— Всех не всех, но кой по кому веревка плачет.

— Мало еще вам смертей, мало вам еще крови?..

— Не тебе об этом рассуждать.

— А кто яму для других роет, сам в нее и попадет, как в тридцатых годах было.

— Да ты-то откуда про это знаешь?

— Оттуда! — При этих сердито ею сказанных словах Люба свернула к разоренной скирде, плюхнулась на солону, лежит, ладонью от солнца прикрывшись, виноград зубами рвет, косточки далеко выплевывает и ровно не замечает, что юбка ее военная заголилась так высоко, что уж застежки черных резинок видно и чего-то дальше ре-

зинок белеется. Справная! Ляжки ядреные, грудь так ходуном и ходит, того и гляди, гимнастерку разорвет! Нарочно, зараза, так развалилась, нарочно и разговор неприятный завела. Дразнится. Я пошарил по ее телесам и, когда она выпялилась на меня, сердито поддернул на ней задрвшуюся юбку и откусил от кисти сразу горсть винограда, и захрустел косточками: мне сейчас хоть камень дай — искрошу зубами.

— Ой! — Люба села, вытаращицалась на меня и со змеиной усмешкой спросила: — Тебе меня хотца, да?

Я лупанул в нее виноградной кистью:

— Стерва ты, больше никто!

— Хочется, хочется, — продолжала Люба, утирая ладонью лицо, — и не меня персонально, просто бабу. Любую. Ба-бу, ба-бу-бы — первобытного человека первые слова. Все это естественно, требования природы. И на первой встречной бабе ваш изголодавшийся брат и погорит! И ты погорись, помяни мое слово! Вы, которые конопатые, — самые есть страстные и ревнивые, — щекотнула она меня, отчего я повалился на солому.

У меня, пока Люба предрекала мне ближнюю судьбу, созрело решение тоже ее подколоть: понял я, дескать, понял, на чем вы с начальником сошлись. На демагогии. На дурословии. Виталя если в отставку выйдет, в школе самодеятельностью будет заправлять иль марксизмом-коммунизмом в захудалом вузе, а ты хвостом перед хахалями будешь вертеть...

Но я смирил себя: вечер-то уж больно хороший наплыл и свидание наше, судя по всему, последнее.

— И все-таки ты, Любовь... как тебя по батюшке-то?

— Представь себе, Гавриловна.

— Любовь Гавриловна, все-таки ты есть большая стерва. Большая...

— Не больше других.

Солнце уже половиной диска увязло в мутной тине горизонта, вторая же половина еще светилась красной окалиной, сжигала проступившие соломки, колосья, колючки с черными шишками. Край неба, тоже налитый красным во всю ширь, упорно и зловеще горел, и темень, вдавливающая его в землю, казалась стелющимся по небу дымом.

Установилась наконец полная тишина, вроде даже слышно стало, как в скирде осыпаются зерна с колосьев и под дородным телом Любы, ломаясь, хрустит солома.



Собачонка, обеспокоенная нами, перестала тявкать, и сразу забегали по винограднику птицы, шурша листвой, стуча клювами, они подбирали падалицу винограда на земле. Малая птаха, устроившаяся на ночь в ореховом древе, реденько роняла похожий на кругленькие ягоды голосок с настойчивым призывом всем успокоиться и спать ложиться. Ширился, густел и как бы приближался с полей звук цикад. Мерклый свет одиноко светящегося окна в глуби дерев и виноградника вовсе задал в кущи и запутался в их переплетении. Меня пробирало ознобом — без белья ведь на рандеву попал, а мундир солдатский, бесхитростно-убогий, не греет и не красит человека.

— Пошли давай, чего уж... — буркнул я и от вечерней стыни, не иначе, зазевал во весь рот.

— Да не зевай хоть! — стукнула меня кулаком по башке Люба. — Скажи лучше, как жить-то?

— Чего я тебе, вещун какой иль комиссар, который наперед знает, куда идти, чего делать, как жить. — И не удержался все же от изгальства: — Свали какого-нибудь начальника, лучше генерала — они таких сиськастеньких обожают, — и живи себе в сытости и довольстве.

— Да ты-то, пехтура, откуда знаешь генерала? Небось за версту его зрел и драное галифе со страху обмочил.

— Зато ты зрела всех во всей красе изблизя.

— Н-ну, дурак. О-ох и дур-ра-ак!

— От дуры слышу!

— Если же я хочу жизни другой?

— Какой такой ты жизни хочешь? Я слышал, у тебя мать — известная певица в Москве. Учиться сможешь. Работу по душе найти сможешь. В театры ходить станешь, музицировать, в ресторанах с хахалями пировать!.. Это мне с мазутным рылом по мазутной части служить. Отец у меня — вагонный слесарь, мать — вагонная малярка. Мать держится огородом, ждет домой работника. А что я умею, что могу? Соответствовать фамилии, какую мне ротные писаря изобразили, — Слесарев.

— А как было?

— Слюсарев.

— О-о, мамочки! О-о, ми-ылочки-ы! — Люба поворошила мои волосы, теребнула за ухом: — Сере-ож! А все ж таки и тебе, и мне хочется жизни не жвачной, духовной...

«Я не то хочу, да молчу», — снова потянуло меня уязвить ее — мужика, мол, тебе здоровенного с жеребьячьей ялдой хочется, а не того, у которого рана сочится.

— Хочется и мне, — переждав приступ раздражения, заговорил я, — чего скрывать, лучшей доли, вольной воли, выгнуться бы и тоже в столице иль где дыму и грязи меньше жить, чистую работу править. — Вздохнул: — Бога бы попросить об этом, да ведь богохульниками были и остались. Я уж забыл, с какого плеча крестятся, а ведь мать учила, на колени ставила, лбом в пол тыкала...

— А я, может, уже и молюсь.

— Сектантка, что ли? С комсомольским значком на титьке!

На щеку Любы неожиданно выкатилась слеза, зажглась, закровенела, засветилась на исходящем солнце. Люба слизнула слезу.

— До чего ж соленая!..

Я сразу же размяк, погладил Любу ладошкой по голове, прощения таким образом взыскаю.

— Редкие слезы всегда солонны, — почему-то угодливо получилось у меня.

Люба обняла колени и до глухих сумерек, быстро и густо наплывающих с полей, сидела не шевелясь. Я не смел ее тревожить. Мне первый раз пришло в голову, что чем человеку больше дадено таланту, тела и души, тем ему труднее вековать среди людей и вообще тащить себя по этому неприветливому свету, зовущемуся отчего-то белым. Может, Люба предчувствует чего-то? Что наломает она дров в гражданской жизни, я и не сомневался: привыкла жить в родном коллективе, где она не то чтобы царила, обласкана была, всегда на виду, всем необходима, и лелеяли ее, привечали, принимали со всеми загогулинами уже подпорченного характера. Но какая женщина без загогулин?

— Пойдем, Люба, домой, — тронул я девушку за плечо. — Не хочца больше с тобой ругаться.

— Пойдем, пойдем. Ты ж без белья, еще простынешь.

Когда мы миновали островок опытной станции, в глубине которой светилось тусклое оконце, и птичка, разойдясь, уже соединила капельки, рассыпая их звонкими бусинками, начали спускаться к местечку, Люба, явно не желая слышать баян, не желая видеть праздничных людей, предложила:

— Давай постоим еще маленько.

— Давай постоим, чего ж.

— Вот и хорошо. — Люба коснулась моей щеки, держала ладонь на шрамах. — Хорошо было бы, если б

характер твой еще смягчился, чтоб раны твои заросли, сердце ныть перестало... — будто молитву произнесла она и коснулась ладошкой головы: — Вот и волосы твои уж отросли, они мягкие у тебя.

— Раны уже заросли.

— Неправда ваша, — возразила Люба, — штанина желтая от гноя, свищи сочатся, осколки выходят, а ты на конюшне навильники ворочаешь. Если рану засоришь — сдохнуть можешь, и мне тебя жалко будет.

— Раз уж раньше не сдох. Между прочим, ты меня так раззадорила на соломе, что я и про рану забыл, мог бы и умереть на тебе.

— Прекрасная смерть для мужчины. Великий художник Рафаэль, читала я где-то, испустил дух подобным образом. Ладно. Довольно болтать глупости. Зайдем в санчасть, перевяжет там тебя моя подруга... Какой длинный вечер! Какой тревожный свет все еще прожигает небо. Уж не пожар ли где? Пойдем давай, пойдем.

Зловещим светом налитой, бритвенно острой полоской подрезало холмы, подровняло лес на горизонте. Свет уже не мерцал, не двигался. Он остывал, погружаясь в темную глубину. Еще не проснулись ночные птицы, еще звезды не разгорелись в полный накал, лишь мерцали в вышине бесцветными маковками — перепутье меж тьмою и светом.

Мы шли на огни селенья, спустились к речке, и когда уж за речкой, на подъеме, вступили в коридор сомкнувшихся тополей, Люба притянула меня к себе, коротко и больно поцеловала, перевела дух, сказала: мол, очень хорошо, что я завтра рано утром уезжаю гнать лошадей в дальний совхоз и не приду ее провожать, — уж так жалки, так утомительны прощальные вздохи, выпрашивание адресов и фотокарточек, обет писать и помнить друг друга вечно... Зачем?

Я не спросил у Любы, откуда она узнала, что мне назначено поутру гнать лошадей; и когда поздней уже ночью я шел из санчасти в конюховку, так мне сделалось тоскливо, так жалко себя, что захотелось побыть одному. Я свернул в сад, долго и неподвижно лежал на остывающей в ночи земле, слушал, как притихает боль после перевязки раны, отходит сердце, защемленное в груди, вроде и поплакал, потому что, когда очнулся, лицо было влажное.

За речкой, в ярко освещенном помещении, в бывшей

средней школе, по саду и в ограде сортировки все еще звучали песни — военный народ прощался с войною.

От речки наплывал ознобный воздух, из глубины сада веяло густо перевитыми запахами осени.

Осень перевалила на исход.

Кони в нашу почтовую часть все прибывали. Военные ведомства, занимающиеся репарациями, не интересовались, есть ли конюшни, корм в данной части, им главное — рассовать трофейное имущество, снять с себя ответственность, переложить ее на другие погоны.

Нестроевики, брошенные на конюшню, не справлялись с работой, поили лошадей из ручья раз в день, а со временем перевели лошадок на самообслуживание — выгоняли их в чистое поле. Крестьянские парни жили при лошадях — в шалашах, среди лохмато колеблющейся кукурузы. К пастухам навевались пастушки, иные там и закрепились. Арутюнян, Артюха Колотушкин и Горовой — все руководили наиболее боееспособным звеном нашего войска, распоряжались и лошадьми: подвозили дрова, солому, буряки, отвозили назем в поля, грузы по столовым и ближним деревням. Когда началось распределение лошадей по ближним колхозам и совхозам на зиму, наши начальники взялись именовать себя уполномоченными, подозревалось, пару лошадей, если не больше, наши уполномоченные прогнали мимо цели — уж больно вкусно ели и пили, пастухов с невестами угощали. С полей доносило запахи мясного варева. Маленько перепадало и нам: уполномоченные боялись Славы Каменщикова, умасливали его всячески.

За лошадьми приезжали представители совхозов и колхозов, порою даже сам голова прибывал, с подарками на подводе: самогон, хлеб, сало.

Из совхоза «Победа», куда приказано было отправить пятнадцать лошадей, не приехал никто, лишь пришла в часть телеграмма: «Нетерпением ждем». Кони меж тем начали партизанить, выели все вокруг вплоть до стерни на полях, добрались до опытной станции, до местечковых огородов и дворов, вели себя довольно агрессивно — оккупанты же!

На другой день после большой гулянки по Ольвии стоял стон и плач. На станцию уезжала большая партия демобилизованных, среди них отправлялись на Урал Коля-

ша Хахалин с Женярой Белоусовой и Толя-якут со Стешей — в недосыгаемо далекую Якутию. Мечтали поехать на станцию провожать своих невест мои помощники, Ермила Головатый и Кирила Чириков. Но их не отпустили. С вечера получил на нас сухой паек наш строгий начальник — Слава Каменщиков, отметая всяческие сантименты, майор Котлов погрозил кулаком женихам, заодно и мне: «Если лошадей растеряете или пропъете — будет вам трибунал».

Солдаты, как миленькие, на рассвете погнали лошадок по пыльной дороге снова на запад. Главное было — поскорее миновать хутора и лес в истоке речки. Но, попавши в лес, лошади встали, начали кормиться травой, падалицами диких груш, яблок, даже желудями, будто уж и не кони они, а поросята иль козлы. Опыт в обращении с лошадьми у меня уже накопился, я велел Ермиле и Кириле разжечь костерок, ложиться спать. И сам, Любовью Гавриловной измученный до ломоты в костях, собрался вздремнуть, пока табун наш подкопит сил для дальнейшего пути.

И помощники мои совсем сникли — не видать им своих невест. Ермила и Кирила — парни деревенского, обстоятельного ума и склада, как припали каждый к своей девке, без охов и вздохов, без чтения литературы обработали материал — накачали девкам по брюху, однако дали перед этим слово, что распишутся. Но что она, та расписка, тот штампик в красноармейской книжке и бумажка под названием «Прошлюб», — иные бойцы-храбрецы тут же, по отбытии суженых, в жены записанных, выдирали страничку, чтоб не портился облик красноармейского документа, потому как все записи в книжке потом перекочуют в паспорт, рвали ту страничку с регистрацией, пускали клочки бумаги по ветру.

Узнав, что женихи наряжаются в «командировку» перед самой их отправкой, невесты Ермилы и Кирилы считали это коварным обманом и происком, коих в последнее время по Ольвии случилось немало, собрались жаловаться командованию. Но какое тут командование? Демобилизованные ж, никому ж не принадлежат, кроме женихов. Ультиматум был: если женихи не явятся проводить суженых, не подтвердят прилюдно, что приедут к ним в качестве мужей, страдалицы покончат с собой — удавятся во дворе сортировки, на старой груше, — пусть полюбуются и командование, и хитрованы женихи, и май-

ор Котлов из окошка кабинета на дела свои, пусть знают, до какой крайности они довели честных девушек, и пусть их жертвы предостерегут доверчивых подруг...

Я всю дорогу измывался над женихами. Они сначала похохатывали, потом вяло отлаивались, зло на конях сносили. У костерка они сидели смиренные, после похмелюги лица у них отекали, ели они вяло, а я подзуживал: если они плохо будут кушать, вовсе обессилеют, малосильные мужья кому нужны. И стих Коляши Хахалина припомнили кстати: «С работой колотишься, гресишь — торопишься, ешь — давишься, хрен когда поправишься». Ответом мне были молчаливо-печальные улыбки парней. Костер нагорел, Ермила и Кирила накатали на угли картошек; конь, румынский видать, подкрался, хватъ горячую картошку из костра. Работяги мои сгребли по хворостине и так лупили коня, гоняя его по чаще, что он человеческим голосом, по-русски закричал: «Бля буду, больше воровать не стану!»

Я сказал парням, что нехорошо так: животное не виновато в том, что они невест не проводили. Парни мне в ответ: «Твоя зазноба, Любовь Гавриловна преподобная, тоже отбывает домой, и тоже небось сердце болит?» Я им заливаю, что поручил свою зазнобу Коляше Хахалину — с ним никто не пропадет, достал из продуктового мешка бутылку с самогоном, налил им и себе в кружки, брякнул: «Я себе в «Победе» невесту сдобуду, если табун на ход направите, может, отпущу вас с Богом». Парни громко заверили меня, что шкуры с оккупантов спустят, но заставят их уважать дисциплину и ходить строем.

Русские парни, воевавшие в пехоте, не по разу раненные, Ермила и Кирила, в отличие от меня, и к жизни стремились основательной. Соединятся вот со своими сужеными и дальше будут идти по Богом им определенному пути, заниматься крестьянской работой, ребятишек творить, если, конечно, не уморят их, победителей, голодом, не поймают в поле с колосками, с ведром мерзлой картошки и не сгноят в строговоспитательных заведениях спасенного ими отечества.

Кони, пришедшие из-за границы своим ходом, дисциплину знали, к табуну привыкли и, подкормившись в лесу, трусили и трусили себе, по-солдатски, на ходу мародерничали — где с межи, где в перелесках травку состригут, колосок, метелку овса. К полудню была завершена большая часть пути, нарисованного мне на казенной бумаге с грифом и номером нашей почтовой части. Доку-

менты на лошадей, мои документы и всякие сопроводительные были в планшете, уделенном мне майором Котловым. Планшетка, надетая через плечо, била меня по боку, тыкалась в бедро. Жеребец мой возил, видать, командира лихого и форсистого, хлопанье чужой планшетки удостоверяло его, что и сейчас на нем гарцует человек немалого чина...

Достигнув населенного пункта, жеребец снова приосанился, глаза его налились диким пламенем. Приосанился и я. Перегон коней оказался не таким уж трудным делом. Довольный собою, радый за своих помощников, я улыбался в неотросшие усы, вспоминая, как Ермила и Кирила взгромоздили на свои хребты седла, бегом хватили в обратный путь, а я еще и свистнул им вослед.

Кони рысцой и, как мне показалось, охотно миновали в прах разбитое селение. Я еще раз дал лошадям напиться и покормиться на околице мертвого селения, сам маленько подкрепился, настороженно озираясь по сторонам, — в таких вот развалинах, среди ломи кирпичей и головешек, горелых печных труб, хат со спаленными крышами, с выбитыми окнами, сорванными дверьми, подходяще скрываться братьям-самостийщикам.

Села, как и люди, оживали от войны по-разному. Иное село тут же после отступления оккупантов начинало струить дымки из печей, возле побитого жилья уже сложены в кучу мало битые кирпичи, древесная ломь на топливо, горелые доски, выпрямленные гвозди и скобы, угольники стекла. Кто мог, копал землянки под жилье. Чумазые ребята просили у солдат хлебца, из сожженного бурьяна выметывался петух, преследуя курицу, — единственная пара, уцелевшая в селе. Петух непременно настигал убегающую курицу и, справив свое петушье дело, привстав на цыпочки, упоенно орал: «Вот так, братья по разуму, надо возобновлять живое поголовье, вот так надлежит порушенную жизнь восстанавливать!»

У этого побитого села ни улицы, ни таблички, хоть бы угольком написанной, ни дымка из печки, ни голоса с подворий. Но жизнь в нем угадывалась, пряталась она в зарослях бурьяна, в одичавших садах и пустых огородах, в дорожках, едва начавшихся и тут же смолкающих.

Одиночный выстрел, затем вялая пулеметная очередь, донесшаяся с полей, добавили хода табуну — коняги-оккупанты многое уже испытали за войну, иные побывали в пристежках и обозах. Одна лошадь заприхрамывала, сби-

лась с хода и, как ни старалась наддать, отставала от табуна и уже издалека подала обреченный голос.

Начались полуубранные, где и вовсе не убранные поля. Кони снова взбесились, не обращали внимания на плеть, которой я их лупил, на отборнейшие матюки. «Они ж нерусские, они ж из-за границы, нашего языка не понимают», — заметил еще Кирила. «Успели парни к проводникам или нет?» — мимолетно подумалось мне. Вплыл табун в поле, погрузился в овсы, кони опять вели себя помародерски — выдирали стебли с подгнившими корешками. Черными снарядами выметывались из-под копыт коней тетерева, с клетотом вздымались с земли конюки, отяжелевшие от мышатины, табуны голубей и воронья растревоженно закружились над полем, где животные, не разумеющие моего языка, беспощадно истребляли совхозное добро, и если бы в помощь мне не прибегло несколько увеченных войною мужиков, не знаю, что бы я делал...

Нахватавшись в дороге пыли, в поле — овса, лошади, почуяв жилье, сами свернули к длинным саманным строениям с неряшливо залатанными пробоинами. На задах конюшни, которую я определил по кучам свежего назьма и по истолченной копытами земле, стояли обгорелые, упочиненные жостью и вновь выдолбленные из осин колоды, наполненные водой. Несколько строений маячило на невысоком, выдутом ветрами холме. Среди горелых, кое-где и кое-как залатанных досками построек красовался барак, собранный из деревянного барахла, со старыми и новыми рамами. Должно быть, общежитие. Редкие столбы с полуобгорелыми проводами, полуючищенные от коры свежие бревна, прутьики недавних посадок в засохших лунках, полуразбитая техника. В центре селения осанисто, даже с вызовом громоздился новый комбайн, и возле него возились, чего-то закручивали, били молотками два парня в военном, изрядно изношенном, обмундировании. Вот, пожалуй, весь пейзаж совхоза «Победа», мимоходно охваченный взглядом.

Однако поля вокруг были вспаханы под зябь, пыльной зеленью светились озимые на лоскутьях пашен. Вызревший хлеб, овсы, кукуруза, подсолнечники — где убраны, где и не тронуты еще. Много не убрано картошки, сахарной свеклы. На скошенных полях паслось стадо коров, овец и коз, оживляя пестротой осенний пейзаж. Среди селения, в глубоко разрытой, полувывсохшей луже, лежали кабан и чушка, о чем-то умиротворенно похрюкивали.



Ключьями бумаги белели курицы, над наново срубленной в центре селения избой струился дымок, наносило пареной капустой — значит, столовая. А где столовая, там и контора, решил я. Из конторы, сильно прихрамывая и улыбаясь, спешил мне навстречу человек в галстук и старой шляпе — директор совхоза Вадим Петрович Барышников, бывший командир стрелкового батальона, — знал я о нем от наших командиров. Войдя в середину табуна лошадей, сгрудившихся вокруг колод, он теребил их за гривы, похлопывал по шеям, что-то высказывал им почти с рыданием, затем бросился обнимать меня, будто я пригнал ему в подарок личных рысаков.

— Ну, парень! Ну, парень! Ты и не представляешь, чего сотворил! Ты же урожай наш спас! Нас спас! Да что толковать? — А сам, будто веслом загребая ногою, спешил уже к соседнему крыльцу, громко звал: — Лара! Лара! Ты посмотри, посмотри, что тут творится!

С крылечка спускалась миловидная женщина с усталым, загорелым до черноты лицом.

— Лариса! — протянула она мне руку. — Жена этого счастливого начальника, по совместительству агроном, счетовод и секретарь комсомольской организации. Партийной у нас пока нет. — Вздохнула: — «Ох, как многого у нас еще нет... Пойдемте.

— Гостя накормить, напоить и вообще... — распорядился начальник нам вслед.

Мы пошли к стоящему на отшибе дому, в одной половине которого жила семья директора совхоза из трех человек: Вадима Петровича, Ларисы и голозадного карапуза. Он ходил возле скамейки и ладошкой пришепывал свежее собственное добро, чтоб никуда не делось.

— Воло-о-дя-а! — вскрикнула Лариса и бросилась к ребенку. — Ну как не стыдно?! — Володя, сияя глазенками, протянул к матери руки. Она подхватила его под мышки и, держа в отдалении от себя, смущенно говорила: — Извините нас! — унесла его за занавеску и, брякая ручкой, ворковала: — Дядя вон приехал, лошадок привел, а ты что натворил? Какими подарками его встретил?!

Малый повизгивал от щекочущей воды, радовался тому, что мама пришла, и неожиданно произнес: «Тя-тя!»

— Дядя, дядя, мое золотко, радость моя, мученье мое, — вытерев пеленкой, клюнула Лариса малого в заднюю и, бросив мне на колени пеленку, подала свое сокровище: — Подержите этого разбойника, а то он не

даст мне заняться делом. — Она сразу оживилась, помолодела лицом и, отринув усталость, радовалась вслух: — Это он третье слово сказал! Говорил только «мама», «папа», теперь вот и «дядя»! У-ух ты, умница моя! Ух ты, ушкунник сибирский! — забирая у меня ребенка, чмокала его всюду, наговаривала Лариса, водворяя малого в неуклюжую деревянную качалку. Малыш ревел во весь богатырский голос, тянул руки к маме.

Я выковырял ревуна из качалки, поглядел на него и сказал, как командир Арутюнов: «Прекратит!» Малец перестал плакать, прижался ко мне. Конечно же ему хотелось к матери, но и дядя, на худой конец, ничего. Поскрипывая пустышкой, Вовка приник щекой к моей груди. Я никогда еще не держал детей на руках и вроде как обомлел. А мальчик усмирился и начал задремывать. Я слышал, как толчками бьется мое сердце, и подумал: это мешает дитю заснуть. А может, наоборот, привыкший к груди отца, к биению его сердца, малыш чувствовал себя спокойней. Я начал ощущать себя так, будто принял дитя в себя, во мне пробуждалось неведомое доселе томление и умильность — так вот оно как! Внимая доверчивой теплоте малыша, я плохо слышал Ларису, хлопотавшую у плиты за дощатой заборкой. А она рассказывала мне историю совхоза «Победа» и только начавшуюся историю семьи и жизни Барышниковых. Совхоз «Победа» — типичное восстанавливающееся после войны и разрухи хозяйство. Все почти с нуля, все требует рук, силы, хозяйственной смекалки. А где ее набраться вчерашнему офицеру и недавней студентке? Помощи пока ниоткуда никакой. Вот первая ощутимая подмога — лошади. Главное, нет людей. Скота тоже мало. Земли запущены. Машинный парк — старье. Сдали в прошлом году первый урожай свеклы — купили комбайн; у военных выменяли на мясо автомашину.

Вадим Петрович по образованию агроном, но незаконченный, — с третьего курса сельхозинститута призвали на войну, дважды ранен, в звании старшего лейтенанта демобилизовался по ранениям в 1944 году и направлен на восстановление хозяйства в западные, отвоеванные у врага, районы. Лариса родом из Омска. Папа — речной капитан, мама — учительница средней школы, преподает русский и литературу. Лариса тоже училась на агронома, их институт шефствовал над госпиталем, где лечился Ва-

дим Петрович. Там и скрестились их пути, и дошефствовала она до разбойника этого горластого.

— Пал боец? Положите его, положите. Конечно, очень трудно, — продолжала Лариса разговор, занимаясь у плиты, — но духом люди не падают, надеются на лучшее. Недавно целый отряд девушек прислали, репрессированных. Угоняли их в Германию. Домой отчего-то пока не пускают, да у многих никакого дома и нет — потерялись они в миру. А девушки хорошие, работают безотказно, только очень уж они запуганы. А красавицы, как на подбор! Это ж надо, как фашисты умели сортировать людей! Для тяжелых работ, для оборонного дела, для утех и забав — все расписано, всему нормы и стандарты определены! Хозяйство, конечно, восстановим, жизнь какую-никакую наладим. Но как с девушками-то? Кому они нужны с переломанными-то судьбами, где-то уже и расхристанные. Вечер настанет, запоют в красном уголке за стеной, — хоть в лес убегай...

Лариса еще не успела справиться с ужином, как появилась помощница и с порога заявила:

— Меня Вадим Петрович послал, — спинывая с ног старые солдатские сапоги возле порога, объявила она. Вовка, заслышав голос, тут же воспрянул ото сна, сел в качалке и заорал с новой силой. Гостыя кинулась к нему, суюкая на ходу: — Да сиротиночка ты моя! Да лапонька милая! Бросили тебя родители, бросили! И ты их брось, когда вырастешь! — Наговаривая, она утирала малому слезы, осыпала его звонкими поцелуями.

Малый обхватил девушку за шею, прижался к ней. Лариса бегала с посудой из кухни к столу, раздумывая, в белом платке, и кивала мне — слышали, мол, чего говорит наша няня. Вовка-подхалим тут же взял на слух и выдал четвертое слово: «Ня-ня!»

— Няня, Вовочка, няня, мой миленочек! — подхватила девушка счастливым голосом.

— Изабелла, познакомься с гостем.

Я бросил в таз недокуренную сигарку, отмахнул дым к двери и напряженно ждал. Девушка с ребенком на руках приблизилась ко мне. Конечно, я не на луне рос, не в глухом скиту жил, в небольшом российской городке с узловой железнодорожной станцией зимогорил. Туда на стройку стекался пролетарский народ отовсюду — домну возводить, и уже выработал племя не племя, расу не расу, но народишко крепкой породы, иначе ему было бы не

выжить в нашей стране, не заломать фашизм, может, и не шибко выдающийся умом народ получился, но от пес-троты наций красоты и стати набрался. Петляя по земле после фронта и госпиталей, вращаясь, так сказать, в мас-сах, немало повидал я красивых женщин, хотя бы, на той же Кубани любимая моя медсестра была не последнего ряда, одно время даже самой красивой на всем белом све-те казалась. Но то, что я увидел!..

В древности правоверные мусульмане в некоторых странах падали ниц и не смели поднять лица до тех пор, пока не проедет мимо высоко на лошади сидящий ясно-ликий султан или падишах. Кто смел поднять лицо, тому тут же отрубали голову: не смотри на солнце — ослеп-нешь!

Это я о гостье, об Изабелле, на бумаге речь веду, в натуре-то я тогда онемел, усох и чуть от удивления не сдох...

Она приблизилась ко мне, церемонно присела, вроде бы книксен сделала, я пребывал в столбняке и не сразу ответил на приветствие, для себя неожиданно сунул ей руку и почувствовал маленькую ее, беспокойную, от зем-ляной работы шершавую ладонь. Спекшиеся губы девушки чем-то обесцвечены, тонкая кожа лица иссушена, ныне-то я знаю — пудрой, косметикой, — голова повязана си-ренивым лоскутом, концы его обвиты вокруг шеи. Сосу-щая печаль исходила от увядшего лица, подчеркнутого не-брежной сиреневой повязкой с почти стершимися золо-тистыми скобочками — лоскуту надлежало украсить это блеклое, в печаль погруженное существо. Девушка не хо-тела, чтоб ее пристально рассматривали, загородилась Вовкой, с хохотом подбрасывала его: «Воты ка-ак! Воты ка-а-ак!» Вовка взвизгивал от страха и восторга, хватался за нянькин нарядный лоскут, но она ловко уклонялась от рук мальчика.

— Кавалер наш с разбором! — выглянув из-за заго-родки, улыбнулаеь Лариса. — Не всем руки подает! Пред-почитает Беллочку, засыпает под ее песни, песни же у нее, как она утверждает, — режимные. Ну да ничего. Скоро парни демобилизуются, будет и на нашей бедной улице праздник! Будет и у нас много детей! Построим детсад, определим туда работать нашу няню.

Вадим Петрович, шумно, с извинениями ввалившийся в дом, за столом угощал меня буряковой самогонкой, гостью — тоже, говорил и говорил о совхозных делах,

перескакивал и на другие темы, на судьбы людей, страны, возрождение мирной жизни — главная это сейчас забота, и разговор везде и всюду одинаковый.

— А что, дорогой наш гость, — захмелев, поинтересовался Вадим Петрович, — скоро ли твоя демобилизация?

Я ответил — вот-вот. Престарелые воины, женщины и необходимые народному хозяйству специалисты — первая очередь. Во вторую пойдут те, у кого три ранения и чей возраст вышел из армейских норм, да и другого разного люда много подпадает под вторую очередь, потом и третья подоспеет, и четвертая — чего ж такую армию зря кормить? Выпивка и рассуждения мои настолько смелым меня сделали и уверенность такую вселили в меня, что я уж открыто глядел на Изабеллу, даже предложил выпить за гостью.

— Ой, давайте, давайте! — восторженно воскликнул хозяева. — Она у нас отходит помаленьку.

Я не вник, от чего Изабелла отходит, да и зачем ей куда-то и от чего-то отходить? Перед таким дивом только и остается вздохнуть о несовершенстве слова перед природой: слову-то писчому тысячи лет, природе ж и творениям ее — миллионы.

Всякая прекрасная женщина прекрасна прежде всего глазами — этому женскому «струменту» дано не только светиться на лице, но и проникать в тайну, которой часто и сами-то женщины пугаются, а уж нашему брату мужику, верхогляду, только и остается — отвести глаза в сторону, чтоб не ожечься о встречный взгляд. Глаза Изабеллы, будто на египетском древнем рисунке, унесены почти на щеки, вроде как отстранены от лица. Темный обод глазниц, прячущий глаза взатень, да еще и цвет глаз сумеречного отлива, лампадным желтым светом подсвеченных из глубины, придавали им запредельное значение. Такие глаза бывают только у колдуний. Бархатные шнурки черных, от висков начинающих бровей вытягивали и не могли вытянуть глаза на положенное место. Нос с по-зверушечьи чуткими ноздрями, темнеющий пушок над губой, вызывающе вздернутый подбородок со вмятинкой — все как бы рассеяно, разбросано и присутствовало на лице только потому, что согласно природе обязанно здесь присутствовать. В просверке молнии, не сгорая, не вздрагивая ресницами, отпечатывается в моей памяти этот незавершенный лик вроде как от ацтеков или инков дошедшего или, уж точнее, долетевшего до нас создания, на котором ле-

жало то же, как у древнего народа, покорное ожидание беды и согласие принять ее безропотно.

— Значит, тебя три раза стукнуло? — услышал я Вадима Петровича и очнулся. — Многовато. Такой молодой. Но мы, старые вояки, жилистые! Выдюжим! Устоим! Поработаем на благо отечества нашего. Ты, дорогой, вот о чем подумай: как демобилизуешься, подговорил бы пяток товарищей, пусть и без профессии, но с руками, с ногами, — и к нам! А?! Мы быстренько вас на механизаторов и полеводов выучим. Сейчас каждому военному скитальцу важно место свое в жизни обрести. Оженем. Вот хотя бы Беллочка наша — работы никакой не боится, детей любит. Ты бы пошла за него замуж? — спросил вдруг Вадим Петрович.

— Я хоть за черта, хоть за дьявола! — с исступлением произнесла Изабелла.

— Ну, Беллочка, зачем же за дьявола-то? За кого попало мы тебя не отдадим! — улыбнулась Лариса, стараясь снять неловкость.

— Ко мне фашисты ночью приходят.

— Все еще!.. — ужаснулась Лариса и плотнее прижала Вовку, присосавшегося к прикрытой платочком груди, посапывающего в ласковом материнском тепле и уюте.

— Да! — еще громче и резче отозвалась Изабелла, поискала глазами стакан с недопитой самогонкой, схватила его и крупными глотками, словно воду, выпила содержимое до дна и тут же со стоном откинулась на стену.

«Видали?!» — взглядом показала хозяйка на Изабеллу и покачала головой.

— Ты все-таки подумай над моим предложением, — гнул свою линию Вадим Петрович, тоже изо всех сил стараясь рассеять неловкость. — Зарботки у нас постепенно стабилизируются, спецовку выхлопочем, общежитие соорудим, но как семьей обзаведетесь, даю слово коммуниста, тут же построим дом, выделим землю.

— Налейте мне еще! — дернулась, отлипла от стены гостья.

— Беллочка! Не надо бы тебе больше, — ласково попросила Лариса и понесла Вовку в качалку. — Дурно будет...

— Еще хочу!

Вадим Петрович, подавив вздох, плеснул в стакан Изабеллы самогонки и в наши кружки линул по глоточку.

— Тебе, Вадим Петрович, однако, тоже довольно, —

негромко, но повелительно произнесла Лариса, задерживая легкую занавеску над Вовкиной качалкой. — Завтра много работы: документы на лошадей оформлять, сбрую где-то доставать или шить, телеги излаживать, волокуши ли для начала в лесу нарубить...

И тут все время вертевшийся вопрос: кого же, кого же напоминают мне Лариса и Вадим Петрович? — разом разрешился: супругов Мироновых, незабвенных Ивана Кузьмича и Василису Егоровну — обитателей и защитников Белогорской крепости, — я совсем-совсем недавно перечитывал «Капитанскую дочку».

— Ничего, ничего, Ларочка! Все найдем, изладим, — потирая руки, отвечив Вадим Петрович, настороженно следя за Изабеллой, которая, не дожидаясь компании, высосала из стакана самогонку и снова ничем не закусила, снова откинулась затылком к стене, погружаясь в бездонное свое одиночество.

— А вы что так мало ели? — вернувшись к столу, спросила меня Лариса. — Правда, разносолы у нас... мясо случается, но рыбы нет. А я так люблю рыбку — привыкла. Папа капитанил на Иртыше, дома у нас всегда была разная рыбка.

— Да уж... Но ничего, ничего, пруд выкопаем, карпов или карасей, на худой конец, разведем.

— Я петь хочу! — встряла в разговор Изабелла.

— Ну и попой, попой, раз хочется. Только не очень громко, Вова уснул. Ох уж эти песни ваши, — со вздохом молвила Лариса. — Лучше б плакали...

Изабелла, прежде чем запеть, демонстративно выдержала заколку, и сиреневая материя опала на ее плечи, обнажив шею с голубыми жилками, голову с едва отросшим, воронью отливающим волосом. Не знала Изабелла, что прическа ее с остро выхваченными клочками волос — прическа невольника — лет через тридцать делается модной, и русские дамы и девки, не ведая, чего бы еще с собой сотворить, чем себя выделиться, сделаются похожими на недавно выпущенных из тюрьмы зечек.

Изабелла же демонстрировала безобразие свое, совершенное над нею унижение. Уже на наших контрольных пунктах, борясь со вшивостью, обкорнали всех невольниц, «из оттуда» возвращающихся, мстили им за то, что они служили врагу, развлекали в бардаках и казармах гитлеровских молодцов в то время, когда советское воинство истекало по окопам и землянкам спермой от онанизма.

Уж унижать человека — так унижать: сперва уничтожить его оболочку, потом и до души добраться. Лесопильное племя гнуло к земле, растаптывало всякие зачатки человеческого достоинства, с особым сладострастием терзало оно беспомощных, несчастных женщин. С каким нетерпением девчонки рвались «домой» из неволи, хотя многие из них и не знали, уцелел ли дом. Остался ли кто в этом доме или хотя бы на этом свете? Но Родина-то, край любимый, люди, русские, украинские, кавказские, — они же есть, и разве они не пожалеют, не простят ни в чем неповинных девчушек, ведь не они бросали армию и Родину, это армия и Родина бросили их на произвол судьбы? Чужеземцы-оккупанты, творя всеюдное зло на завоеванных землях, делали с людьми все, что хотели.

Но на пути к дому встали стеной так называемые органы, где орудовали орлы похлеще гестаповских костоломов. Они раздевали девчушек — для дезинфекции и унижительного осмотра, вытряхивали вещички, отнимали что поценней, дешевенькие украшения, безделушки растаптывали. Врачи и санитары, заранее к этим кадрам враждебно настроенные, бранили их, пинали, гоняли, оскорбляли, после осмотра куда-то уводили больных венерическими болезнями, слухи ходили — расстреливали.

Прошедшие сквозь жалости не знающие контроли и проверки, уже в советских пунктах, на казенных нарах девчонки «обслуживали» родных хозяев. Сламывались, кончали жизнь под колесами поездов или в петле, но большей частью искупали «вину» трудом, и ладно, если под началом такого вот добряка, как Вадим Петрович. А если энкавэдэшное отродье, привыкшее мясничать в трибуналах, тюрьмах да лагерях, сражаться в цензурах, станет руководить «бывшими», перевоспитывать их? Вадим Петрович и Лариса всячески избегали опасных тем в разговоре, но невозможно легко и быстро излечить больную психику недавних детей, срastить изломанные судьбы.

— Песня тоски по родине. Автор неизвестен, — объявила Изабелла, будто со сцены, и, завывая в конце фраз, речитативом начала выпевать свою боль и ненависть, стука кулаком по столу:

Где твоя любимая, товарищ?  
На чужой томится стороне.  
Там теперь немецкие солдаты  
Ходят по родной твоей земле.



И твоя любимая за марку  
Куплена и в дом отвезена.  
Стряпкой, полемойкой иль свиаркой  
Трудится с утра и дотемна.  
Рыжая, озлобленная Грета  
Бьет хлыстом, кто под руку попал,  
По глазам, которые ты где-то  
И когда-то жарко целовал.  
Пусть святая месть тебя тревожит,  
Не дает покоя на пути.  
Немца ты обязан уничтожить!  
Немцу ты обязан отомстить!

Примитивная, душу рвущая самодеятельная поэзия невольников. Внемлет ли ей кто? Слышит ли кровью и слезами умытого брата своего? Не слышат! Не внемлют! Исполнительница с мокрыми губами, пьяные слезы размазывающая по лицу, — это вот кому предназначено? К кому обращено?! Да, да, и ко мне, и ко всем нам, умеющим легко друг друга предавать и так же легко забывать предательство.

Лариса не выдержала, бросилась обнимать, целовать девушку:

— Бедненькая моя! Бедненькая моя!

Изабелла жалости не принимала, она вроде как стерженела и, уже беснуясь, с вызовом выкрикивала еще одно творение, на мотив баллады «Когда я на почте служил ямщиком». Уронив голову на стол, Изабелла выкашливала: «Поганый тот фриц мое тело терзал... он грудь мою белую грыз, и кусал, и все нехорошее делал...»

Долго содрогалась худенькая спина девушки после того, как она утихла. Так в госпиталях утихали контуженые после припадков.

Вадим Петрович, израненный вояка, задрал лицо, глядел в потолок. Лариса гладила песнопевицу по голове, вела ее к рукомойнику и, умывая, наговаривала: «Не пей больше, моя хорошая, не пей, не терзай свое израненное сердечко». Отрезвевшая, погасшая Изабелла помогала Ларисе убирать со стола, старушечьей, подшибленной походкой бродила по избе, складывала посуду в новый цинковый таз.

— Ну вот и отужинали. Спасибо, Белла! Спасибо, Лара! — Вадим Петрович поднялся из-за стола и направился к кровати, отделенной занавеской. Склонившись к Вовке, коснулся его личика губами.

Лариса стелила мне постель на полу, в углу возле окна, поясня:

— Здесь воздух свежее — нажарили печку-то, — и стеснительно промолвила, чтоб укрылся я своей шинелью со вдернутой в нее телогрейкой — больше нечем, и все время с беспокойством взглядывала в сторону Изабеллы, напряженно ждала, когда она кончит мыть посуду. — Белочка! — не выдержала Лариса. — Ты к себе пойдешь?

— Нет! — резко отозвалась гостья. — Я очень боюсь темноты.

— Рядом же. Гость проводит, если хочешь.

— Нет! — еще резче возразила Изабелла. — Я хоть с кем боюсь темноты.

— Н-ну, хорошо, хорошо. Вот тебе шинель Вадима Петровича, Вовкино одеялко и половичок. Стелись, где тебе удобней. Командир мой уже готов, и я умыкалась. — Уже за занавеской, пошуршав одеждой, она нежно добавила, укатываясь за спину своего «командира»: — Только донесет голову до подушки — и готов. Ох-хо-хо! Ну, спокойной вам ночи. А Вовка-то вон как разметался, сопит. Му-ужи-ык!..

В незанавешенное окно струилась разжиженная темнота. Изабелла, видел я, приосев ниже окна, снимала через голову кофточку, спускала юбку, вот опала, будто узенький ивовый листок, в душный омут избы.

Сделалось так тихо, что стало слышно, как Вовка во сне терзает пустышку, как вкусно сопит носом Вадим Петрович. Скоро к нему подсоединилось деликатное, в лад вторящее дыхание Ларисы.

— Солда-ат! — послышалось из темноты. — Ты почему меня боишься? — Я притаился, соображая, отвечать или не отвечать. — Не бойся. Я не заразная. Всех заразных отсеяли, лечить погнали. Может, и уничтожили... Солда-ат! Ты не спишь?

А, батюшки! А, матушки! Что ж делать-то? Вот искушение так уж искушение! Я потянулся к брюкам, за кисетом. И тут же от бокового окна птичкой перелетела ко мне тонкая фигурка, приткнулась рядом и так больно притиснулась коленкой к незасыхающей ране на бедре, что я невольно дернулся и замычал от боли.

— Что? — не поняла Изабелла и спохватилась: — Ой, прости. Прости, пожалуйста! — припала к моей щеке губами, стала торопливо ее целовать. — Прости! — и суетилась рукою по бедру, нащупала рану, взялась ее гладить,

все плотнее прикикая ко мне, и будто в бреду что-то повторяла. Я притиснул ее лицо к груди, в которой гулко билось мое сердце, и, не владея уже собой, вроде бы успокаивал ее иль себя:

— Что ты? Что ты? — а сам искал губами ее губы, и когда опалился ее ртом, со мной произошла мужская слабость. Я «поплыл», как говорится среди мужиков. Тело мое, натянутое струной, разом расслабилось. Я почувствовал мокро, и тут же все во мне увяло.

— Что ж ты так волнуешься-то? Зачем торопишься? Давай полежим, покурим, и все у нас будет хорошо, все будет хорошо-о, — гладила и успокаивала меня Изабелла. А я отдалялся и от нее, и от себя под этот шепот. Я не просто уснул, я улетел в уютное, птичьим пухом выстеленное гнездо.

Проснулся от солнца, бьющего мне в лицо через стекла окна. В доме никого-никого, даже Вовки, не было. Я вздохнул с облегчением и поспешил к умывальнику. На столе, под полотенцем, был накрыт для меня завтрак. Мухи прикикли к теплой кастрюле и заснули. Толченые с молоком картошки и бараньи ребрышки я слопал, даже не присев на табуретку.

Сдача лошадей затянулась, хотя у пленных лошадей в табличках значились всего лишь номера, пол, да и эти краткие биографии были писаны мной и Славой Каменщиковым. Коням предстояло не только обрести хозяев, но также получить имена, конюшню, право на гражданство в совхозе «Победа».

Можно было бы и домой ехать, но Вадим Петрович все еще не терял надежды сагитировать меня и через мое посредничество моих товарищей в совхоз. Взаяся показывать земли совхоза, хозяйство, высказывался о больших перспективах. Если по совести, то у него пока одни перспективы и были. Военские части на первых порах забили колья, помогли подготовиться к зиме и к посевной. Но первый, удавшийся, урожай убирать было некому и нечем.

Девчата, одетые большей частью в бывшее в употреблении солдатское обмундирование, трофейное и отечественное, глухо повязанные платками, шарфиками, которые в пилотках, которые в мятых зимних шапках, работали на бурьяках. Некоторые местные сахарозаводы делали

сахар и при немцах, делают его без остановки и сейчас. Они охотно принимали на переработку сахарную свеклу, хорошо за нее платили. Пока это была главная статья дохода в совхозе «Победа». Вадим Петрович нахвалиться не мог своей женой Ларисой, по весне подсаказавшей руководству хозяйства как можно больше земель отвести под буряки.

Выводками сидя вокруг костерков, девушки обрезали свеклу, в костерках пеклись картошки и буряки. Одни труженицы тасили за космы плод из земли и бросали его в бурты, другие споро обсекали свеклу, сбрасывали буряки в кучу, ботву кидали в быками запряженную арбу, объезжающую поля, — на корм скоту.

Вадим Петрович ездить на лошади без седла не умел, отбив зад, переводил дух у костерков, беседовал с народом, вздыхал возле нетронутых и почти уже всюду осыпавшихся хлебов, но бодрил себя и свои кадры: «Ничего, ничего, было бы что убирать».

Два пожилых украинца вязали березовые волокуши. Березки привезли они из лесу еще по росе и сообщили директору, что видели в дубраве пьяных вооруженных людей. Одичавшие от безделья и самогонки чужаки привязывались к совхозным рабочим, угрожали расправой. Вадим Петрович встревожился, но мужиков успокоил: мало ли сейчас шляется по земле всякого люда с оружием, отряды самообороны, может, разнуздавшаяся какая воинская часть, может, и бендеровцы, отжатые войсками с соседних западных лесов. Доходили слухи о налетах на села. Но слухи всегда были и будут, агентство ОБС — «одна баба сказала» — работало и работает безотказно.

Во время обеда Вадим Петрович предостерег меня, чтоб, если вечер застигнет в пути, ночевал в каком-нибудь укрытии и не двигался в потемках. Из области обещали прислать в совхоз вооруженную охрану — остерегать хозяйство, директор надеялся, что та команда и урожай убрать поможет, и красавиц здешних поразвлечет. В том, что девчата тут были на подбор, я успел убедиться. Изабелла, кроме диковатости, пожалуй, ничем не выделялась среди них, разве что черкесской иль эллинской породой, потому как выяснилось, что родом она с Южной Украины, а там кто только не обретался: и греки, и сербы, и татары, и молдаване, и Бог знает кто еще. Молодость и угнетенную, но не сгубленную до конца красоту девчат не могла скрыть даже грязная, разномастная одежда и чумазые от «пече-

нок» лица. Но при «чужих» держались девушки отчужденно и неприветливо, из мужчин одного только Вадима Петровича и знать хотели.

Есть у великого трагического художника Михаила Савицкого, прошедшего весь ад фашистских концлагерей, страшная картина «Отбор»: лежат кругом голые застреленные женщины. Живые, тоже нагие, в кучу сбившиеся девушки с ужасом смотрят на мертвых и жмутся друг к дружке. На красавиц, плотоядно пляясь, скалятся фашисты с автоматами. Эти вот девчата, и Изабелла тоже, прошедшие подобный «отбор», конечно же, воспринимали человеческую мораль, веру в Бога и любовь к ближнему, и доверие иначе, чем все остальные люди. Что же творилось под грязными солдатскими пилотками, под арестантскими суконными шапками в головах этих девушек? Хочу, чтоб все, кто забыл ужасы войны, кто без содрогания взирает на дела вновь возрождающегося немецкого и российского фашизма, тоже почаще смотрели бы на полотна Савицкого из лагерного цикла и попристальной взглядывались в картину «Отбор».

— Ты чем-то обидел Беллу? — отводя взгляд, спросил у меня Вадим Петрович за обедом.

— Нет, — поспешно отозвался я.

— Вот и хорошо. Вот и молодец. Не надо их обижать, они уже так обижены, так растоптаны, что всем миром не избыть, не замолить нам этот грех.

Вадим Петрович помялся, посоображал и постучал в стенку конторы. Явилась Изабелла. Вокруг глаз ее лежали тени, еще темнее, и лампадный желтый свет едва мерцал в глуби глазниц, губы засохли, сморщились, на унылом облике девушки отстраненность иль уж отрешение, лишь кокетливый сиреневый лоскут все так же красовался на ее ушастенькой голове. Изабелла остановилась возле порога и, избегая моего взгляда, вопросительно смотрела на Вадима Петровича.

— Лариса в поле. Убери со стола и пойдем провожать гостя.

За околицей совхозного селения, заметно обнажившегося, — кони примяли и выели заросли, догадался я, — Вадим Петрович разохался: уездился, дескать, с непривычки, даже спина «села», — пожал мне руку и отправился в обратный путь. Будто киношная казачка, держалась за стремя Изабелла и какое-то время шла рядом с конем, настороженно прядяющим ушами.

— Ну что, солдатик нецелованный, но весь уже израненный? Прощай! Нет, до свидания! Пригоняй еще лошадей. Пешком приходи. — Оглянулась, далеко ли ушел директор, торопливо попросила: — Наклонись! Наклонись! — И когда я свесился с седла, поймала меня за голову и поцеловала в губы опеченными до твердости угольев губами. — Я поняла: тебя никакая девушка не ждет, так я буду ждать, — и, утираясь ладошкой, добавила: — Правда-правда!

Застоявшийся, хорошо накормленный и напоенный жеребец потанцевал, пофасонил и сразу пошел в намет. Изабелла тоненькой, неподвижной былинкой стояла среди сохлого бурьяна отцветшего, лохматого спутника пожара — кипрея, среди крапивы, полыни, лопухов. Сиреневый лоскут издали казался цветком. Я приподнялся в стременах, вскинул руку вверх и еще успел заметить, как обрадованно замахала мне в ответ девушка.

Придерживая ретивого рысака, я неторопливо ехал, покачиваясь в седле, помахивая ременным поводком, глазел вокруг — из-за коней вчера некогда было любоваться пейзажем. Среди желтеющих и черно вспаханных полей возникали прозрачные пролески; вдали, по холмам, свежebelенные хатки выступали из зарослей и садов, виднелись желтые, тоже свежей соломой крытые крыши, которые я путал со скирдами, опаханнкими плугом. Еще не висел волглый полог тумана над полями и селениями, но все-все вокруг подчеркивало осеннюю грусть на земле. В безгололье погружалось сельское царство, отходило от военных разрывов, от горя, бед и пожаров. В небесах было просторно, прощальные голоса перелетных птиц еще не оглашали небеса, лишь воронье волнами накатывало на поля. Покой селится всюду. Тихим сном и белым снегом бредил Божий мир.

И я утих в себе. Да и что, в конце концов, случилось? Если произошло неладное, так не по моей вине и воле. Я слышал, такое бывает со многими переростками, в первую очередь с теми, кто характером дерган, у кого воображение паче соображения и кто хочет получить от жизни больше, чем она может дать. Вон Ермила с Кирилой не алкали сказочных чудес, не лезли к лакомой и брыкливой Любе иль еще к кому, ей подобной, подсмотрели пару по своему скачку, обработали ее ко взаимному удовольствию, точно украинское родливое поле перед посевом, и укатали в родные места — жизнь налаживать, плодиться.

А тут сплошные наваждения: госпитальная сестрица с закидонами, бесовская библиотечарша, и все на пути сплошь какие-то заговоренные, изуроченные, еще в молочном детстве с печи упавшие...

Жил бы парень тихо, да по люду лихо.

С полей, от недалекого уже леса наплывали сумерки, сгущая и сужая пространство. К ночи мне до Ольвии не добраться — промиловался. В полях и по-за кустами чудилось какое-то движение. По мне, одинокому всаднику, по хорошей цели стрелили. «Дурак стреляет, Бог пули носит», — что-то меня последнее время в народную мудрость заносит — не к добру это. Надо останавливаться, ночевать. Я достиг того самого, в бурьяне утонувшего, селения, где побывал вчера и где, если и захотят, не вдруг меня същут вероги всякие.

В глубь селения решил я не забираться. Приподнявшись на стременах, долго озирал в вечер погружающиеся окрестности — ни дымка, ни огонька, но тревога во мне не убывала, чутьем битого фронтовика я осязал скрытую опасность. Близкую.

Крайняя хата, с чуть заметными признаками жизни, была из бедных бедная: с раскрошившимися стенами, с крышей, рухнувшей вместе со стропилами, с черной соломой, мхом и грибковой сыростью превращенной в навоз. Хата и внутри имела вид еще тот: пол не мазан, печь черна, окна забиты где чем. Поначалу мне показалось, что в хате никто не живет, но на холодной, полуразвалившейся русской печи обнаружилась старуха, которая, спустившись на свет, оказалась вовсе не старухой, а женщиной средних лет, но так же, как огород и сад за хатой, до крайности запущенной. Она дожигала сарай и изгородь, рубила, но больше ломала во дворе и в саду все, что могло гореть, и мне велела наготовить дров, сама, держась за поясницу, клохча, словно курица, мокро кашляя, пошла с чугунком — накопать картошек.

Печка с искореженным челом нехотя разгоралась. Я принес из полузавалившегося колодца воды, нечистой, гнильем засоренной, зато холодной, напоил коня и, привязав его за хатой ко кривой яблоньке, натеребил из копешки сена, задал ему на ночь, для себя бросил на пол охапку овсяной соломы, принесенной из скирды, кем-то сметанной на скошенном поле — люди все же в селе живут и маленько работают.

— Польни нарви, а то блохи спать не дадут, — посоветовала мне хозяйка.

Засунув чугунок с картошкой в печь, она подседа к печи, сведенные простудой пальцы засовывала в самый огонь — грела. На женщине был растрескавшийся кожух, из щелей которого торчала грязная шерсть. В свете огня, падающего из печи, пляшущего на лице женщины, гляделась она и вовсе запущенно: нечесаная, немытая, вроде как из пещеры явившаяся.

Кроме стола, шаткой скамейки, двух мятых солдатских кружек да нескольких обсохших ложек, в хате ничего не было. Даже привычная скрыня в углу не стояла, не виднелось и иконок, прикинутых расшитым полотенцем, — ничего-ничего не было. Ни солома, ни пыльцу сеющая полынь не заглушали застоялого избяного духа. Свинячья вонь распространялась из таза, в который ходила по нужде хозяйка и, видать, забывала его выносить.

— Надо, так выплесни, — нехотя разжала она рот. — Хлеба и соли у меня нету.

Я с отвращением выбросил таз в бурьян, распахнул дверь хаты, на грязном столе застелил угол вещмешком. Выложил хлеб, соль, говяжьки консервы — свой паек Ермаила с Кирилой не съели и до половины, торопясь к своим возлюбленным. Сахарок да банку с повидлом я оставил в доме Барышниковых — для Вовки, все остальное собрался тоже оставить, но Вадим Петрович и Лариса сложили добро обратно в мой вещмешок, сказав, что они при доме, при хозяйстве, а мне — солдату — предстоит путь-дорога.

При виде еды хозяйка воспрянула духом, маленько прибралась, ела торопливо, обжигаясь картофелю. Я вымыл свой котелок и вскипятил чаю, наломав в него одичавшего в саду смородинника, выбрал из сена сухие стебли мяты и зверобоя.

Хозяйка и чай пила охотно, по-ребячьи причмокивая. Согрелась. Отошла, разговорилась. В основном переселенцы из Мордовии живут, точнее, жили в этом селе с названием странным, завозным — Подустонь. Было здесь отделение совхоза «Жовтень», но в войну и сам «Жовтень», и отделение его были разграблены, разбиты, село сплошь выгорело. Мужиков-переселенцев, которые не ушли с Красной Армией, немцы заставили служить в полиции, баб — работать на свекле. Муж хозяйки и старший сын состояли полицаями, и советские каратели их расстреляли. Младших еще двое, не знает, где они, — может, на трудрботах, может, в тюрюме. Хату эту крайнюю граби-



ли все кому не лень, да и грабить-то особо нечего: что велось в хозяйстве — куры, овцы, корова, швейная машинка, инвентарь, одежонка, — все пропили отец с сыном еще до прихода оккупантов. Хата на отшибе, потому и не сгорела.

Совхоз «Жовтень» — ныне зовется «Победой» — привлекает к работе всех, кто может двигаться. И ей велено привлекаться, да суставы у нее болят и нутро хворое: бил ее муж и сын бил, случалось, палкою бил бригадир — он при Советах начальствовал и при оккупантах старшим полицаем состоял. Немцы? Нет, немцы не били ее и не пользовали. Червоноармейцы тоже не били, но пользоваться пользовали: на отшибе живет, кричи — до кого докричишься?

Помереть бы поскорее, отмучиться, да где-то заблудилась ее смерть.

Что-то вырвало меня из сна, подбросило с подстилки. Я схватил топор, с вечера положенный в головах, под солону, и не сразу понял, где я и что за красный свет ворочается в хате. То разливался он огненной волной до углов хаты, то мелькал в квадратах как попало застекленных рам, то проваливался в заоконье, выхватывая из ночи ветви деревца, дрожащие на нем последние листья и несколько яблок, вроде бы игрушечно вертящихся, сверкающих в просверках издали мелькающего огня. За стеной хаты храпел и рвался с привязи жеребец. В проеме дальнего окна маячила фигура хозяйки, с завыванием бросавшей кресты на грудь:

— О, Господи, Го-осподи-ы-ы-ы! Милостивец Ты наш и Вседержитель! Когда же эта проклятая война кончится?

— Она уже кончилась. Не накаркивай! — обуваясь, взревел я испуганно и сердито.

— Вон, смотри! — отодвинулась от окна хозяйка.

— «Победа» горит! — ахнул я. — Совхоз горит!..

— Совхоз.

Я набросил на плечи шинель со вдетой в нее телогрейкой, которыми укрывался, схватил вещмешок с изголовья и, на ходу его завязывая, бросился из хаты. В это время грохнулась вовнутрь дверь вместе с деревянной заложкой и с улицы раздалась команда:

— Назад! Всем к стене лицом!

Я бросил вещмешок на голос, отпрянул от двери, упал

на пол, катнулся к топору. Успел еще заметить, как хозяйка, трудно поднимая неразгибающиеся руки, покорно становится к стене лицом.

Хату, хозяйку, меня, прижавшегося в углу с занесенным над головой топором в руках, осветили пятнышком света.

— Спокойно, солдат, спокойно! — В хату ступили двое военных, держа наизготовку автоматы. Второй военный тут же спянулся, вышагнул за порог и остался в проеме двери.

— Где же вы раньше-то были?!

— В другом месте были.

— Не успели? — засветив лампу, выкладывал я на стол документы перед лейтенантом, с головы до ног утряпанным грязью. — Все-то мы опаздываем, все-то у нас делается не к месту да не к разу, — корил я военного.

— Не успели, солдат. К сожалению, не успели, — просматривая мои бумаги, вздохнул лейтенант. — Не скули. Не до тебя.

— Что там? — кивнул я на окно, хотя ответ уже знал заранее, боялся его, но надеялся ошибиться, на чудо опять надеялся.

— Худо, солдат, худо. Совхоз, урожай — все сожжено.

— А люди? Люди-то хоть спаслись, убежали?

— Никто. Ни одна душа не спаслась. Ночь же. Все спали. Все перебиты... Директора с семьей подперли в дому и сожгли живьем.

— И Вовку?! — вскрикнул я. — И малыша?!

— И малыша.

— И девчонок?

— Фрицевских подстилок изнасиловали и тоже перебили, сколько-то увезли с собой в лес. Про запас. И лошадок твоих угнали... — возвращая документы, снова вздохнул лейтенант. — Утром мы эту падаль зажжем в лесу. Они и лошадок перебьют, и девок истребят... Совсем осатанели. Ты вот что. До рассвета никуда. Всюду наши патрули по дорогам и селеньям — еще застрелят, не разобравшись в потемках. Пароль: «Прибой». Ответ: «Жасмин». Если не ответят, значит, под видом патрулей расползаются по углам оборотни лесные. Топчи их лошадьё и скачи дальше. Оружие выдать, к сожалению, не можем. — И еще раз осветив хату фонариком, покрутил головой: — Ну и берлогу ты себе выбрал! — и уже с улицы крикнул мне: — Домой подавайся! Домой!

«Сидите по селам! Самогонку жрете! — хотелось за-

орать мне. — Потом «Жасмин» вам! Домой скачи!» Вовка! Во-о-овочка-а! — успевший сказать миру всего четыре слова, и няня, и мама его Лариса, и добрейший Вадим Петрович, так явственно напоминавшие мне защитников Белогорской крепости и разделившие горькую их участь через сотню лет... Милые мои! Мученики русские. Да когда же судьба-то будет милостива к нам? Ведь еще вчера вечером, сидели, гутарили, мечтали о будущем — и вот... Да неужели это правда? Изабелла, бедная девчонка! Небось терзают тебя в лесу, галятся над тобой пьяные самостийщики?.. За чьи же это грехи тебе такие муки? Разве для этого предназначено было тебе родиться, выжить? Люди! Люди! Разве мало вам того моря крови, того моря слез, что мы пролили за войну?

Мимо хаты в заросшую на всполье дорогу прошел бронетранспортер, легкая самоходная пушка, несколько крытых машин с солдатами, молча курившими или дремавшими под брезентовым тентом.

Утром, еще по росе, я выехал из селения Подустонь и услышал за полями, за обрезом земли, на котором исходным дымом курился совхоз, как гулко ударила раз-другой пушка и донесло издали звуки разрастающегося боя.

Неспорым шагом ехал я по обочине дороги, сбивая росу с наклонившихся колосьев и кустов, и не чувствовал холодного мокра, глядел, как восходит солнце в той стороне, где утихала стрельба, как плавно и мирно кружится над холмами птица, орет просыпающееся жадное воронье, рассаживаясь по скирдам, как табунки щеглов и овсянок с треском, будто трассирующие пули, разлетаются во все стороны перед конем.

«Господи! — стоном стонало мое сердце. — Если ты есть, как же допускаешь такое? Неужто люди натворили так много худого и страшного, что ты нас уже не прощаешь иль не поспеваешь за нами, говноедками и зверями, углядеть? Но ты же вездесущ! До какого предела, до какой черты ты нас допустишь? Иль кара твоя справедливая уже свершается повсеместно? Но Вовку-то, Вовку-младенца за что, Господи-ы-ы?!»

Я два или три дня лежал в конюховке пластом. Слава Каменщиков отнес на демобилизацию мои документы в штаб части, сдал их, принес еды и бутылку водки. «От самого Котлова!» — сообщил он. Страшная весть уже

достигла и Ольвии. Майор Котлов не велел меня трогать, приказал даже выдать какие-то деньги — за командировку. Работы у почтовиков не стало. Река писем иссохла, лишь вялые ручейки заносило еще в пустующий, гулкий зал сортировки. Многие письма уже ехали вдогон солдатам и офицерам, отпущенным по домам. Те письма, у которых не было обратного адреса, активировались и сгорали в костерке за зданием начальной школы. Ветер разносил огарки страниц по косогору, на тех огарках все еще жили, разговаривали с отцами, матерями, братьями и сестрами, с невестами и женами, с заочными симпатиями люди русской земли, посылали еще ответы от мертвых к живым и от живых к мертвым.

Я купил на командировочные деньги водки, пил с друзьями и без друзей, пил до бесчувствия. Убегал за Ольвию, в поля, и кричал, кричал в сторону совхоза «Победа»:

— Во-о-овка! Вовочка-а! Отзовись! Покличь дядю! Белочка! Простите нас! Простите меня-а...

Майор Котлов признал белую горячку, дал приказание привязать гуляку к койке. Когда я отошел, командир и отец наш велел мне сходить в баню, после чего провел со мной личную беседу с упором на то, что война горя породила много, его ни слезами, ни вином не зальешь! Что нельзя мужику раскисать. В данной ситуации следует рукава засучить — и за дело браться. И назначил меня с реденьким уж отрядом солдат помогать восстанавливать опытную овоще-фруктовую семенную станцию, необходимую сельскому и народному хозяйству.

Виталья Кукин вручил мне письмо.

— От Любы, — как-то по-старушечьи поджав рот, отчего он сделался еще ширше, сказал начальник сортировки. — От Любови Гавриловны — перед отъездом передать велели-с.

В нарядном конверте оказался лакированный квадратик, и на нем одно лишь слово: «Сер-реж-жа-а-а!» — ниже — циферки, которые я сперва принял за число и месяц, но то оказался номер телефона. Через Кукина мне была передана просьба: как только я вернусь с отгона, написать ей письмо, длинное-предлинное. Я, человек отзывчивый, сел во время дежурства и написал Любе письмо, с шуточками, с прибауточками, с попыткой освежить мысли слогом, в котором я так наблатыкался, переписыв-

ваясь на фронте с заочницами. Вот примерный образец моего фронтового творчества:

«И дни, и ночи в небе гудят наши красnozвездные соколы, а на земле снова весна! Снова цветут сады и где-то заливаются соловьи, томимые любовным призывом. Но у нас поют пули, одни только пули и "до смерти четыре шага", однако, не глядя на это, мы беспощадно сражаемся с врагом, стремительно идем вперед на запад и твердо помним слова прекрасной песни: "Кто ты, тебя я не знаю, но наша любовь вперед." и т. д».

Вот и подстерегла меня любовь, да еще и Гавриловна. Хи-и-итрая баба! Умеет тушить пожары без брандспойтов, умеет укрощать сердца одними смехуечками. Ну, на эти штуки и мы горазды, их у нас — что вшей в солдатских кальсонах.

Ответ не заставил себя долго ждать. Люба, тоже в непринужденном тоне, сообщала, что не так уж и страшно в миру, как казалось издавека. Устраивается работать по «прежней линии» — в отделение связи. Пока. А там будет видно, может, и другое что подвернется или она по службе продвинется. Думает поступить на подготовительное отделение в библиотечный институт. И, в чувствах своих поостывши, она разобралась, поняла, что для нее я был как брат (двоюродный, — усмехнулся я). Всю жизнь ей не хватало брата, и она печалилась по нему еще до Ольвии. У местечкового фотографа выпросила она мою фотографию, с уже отросшим чубчиком. Мама сказала: «Такой еще лопухонький мальчик, напрягся перед аппаратом, прячет растерянность или изъян?!»

Ну это уж слишком! Изъян — ладно, но чтоб еще и растерянность?! Да я на переднем крае нечасто впадал в растерянность, иначе б погиб.

Письмо в клочки и по ветру.

Начальник сортировки, товарищ Кукин, помогая мне избавиться от постоянного наваждения, взял меня однажды за пуговицу:

— Любовь Гавриловна — девица крученая и верченая, она может окончательно запудрить тебе мозги... — Пропагандист Виталья Кукин, чуть было не убитый на войне, впал в привычную нравоучительность. — По секрету, как земляку, — эта особа чуть было не разрушила мою семью. А я ведь и постарше тебя, и... — он покрутил рукою возле головы — и поумней, догадался я.

Письмо от Любы, дурацкий разговор с товарищем

Кукиным все же задела меня за живое, заскребло ретивое, навалилась на меня теперь уж как постоянный недуг беспросветная тоска.

Мне все придется собирать заново — начинать жизнь, биографию и даже любовь. Учиться надо. Учиться, учиться и учиться, как завещал Ленин. Не обязательно грамоте, не обязательно в университете, на филфаке, на курсах каких-нибудь, профессии обучиться бы, с помощью которой возможно добывать кусок хлеба. А там время покажет. Жизнь куда следует направит. Глядишь, и до загадочного филфака доберусь...

В предзимье почтовая наша часть ликвидировалась. Последние солдаты были отправлены по домам. Майора Котлова, узнал я, послали в отставку, но тут же назначили на место погибшего директора во вновь из пепла встающий совхоз «Победа».

Дома лежал отец с осколком в животе и с поврежденным позвоночником — бывший вагонный слесарь, бывший фронтовик. Мать забрала отца из инвалидного дома и не сообщила мне о своем благородном поступке. Она уже устала от страдающего, беспомощного мужа и, самой собой, обрадовалась сыну, вернувшемуся с войны, надежде русского дома, избавителю от тяжестей, от полуголодной, бесправной жизни.

А что я мог? Мне и самому надо бы ехать в областной госпиталь: рана на бедре все сочилась, гнило мясо, — но я вынужден был устраиваться на работу, и раз фамилия моя стала Слесарев, соответственно ей и определился я в слесари, нагадал когда-то в беседе с Любой свою судьбу — и вот, как в чудной сказке, все сбывалось.

Угодил я в обучение к племяннику отца, Чикиреву Антону Феофилактовичу, которого отец в свое время тоже обучил тяжелой и маркой профессии вагоноремонтника.

Антон Феофилактович был славен тем, что бревно автосцепки в сто девяносто семь килограммов поднимал и вставлял в вагонное гнездо самостоятельно, и только тогда, когда попадался вагон со старорежимной дурой автосцепки в двести с лишним килограммов, звал на помощь товарищей по работе. Ну а раз приставили к нему ученика, более он в каких-либо помощниках не нуждался. От тяжелой работы, от мазута и грязи рана моя было загноилась, но потом, с испугу — не иначе, начала засыхать,

пошелушилась какое-то время желтой луковой шелухой и затянулась сморщенной бордовой пленкой. Вот что значит стахановский труд! Я и хромать-то почти перестал, на танцы похаживал в горсад, пил там с парнями и дрался в спянной шайке железнодорожного поселка с городскими парнями дрался, не зная, за что и почему, скорее всего, по звериному инстинкту — за самок, но дрался без люто́сти, ножей и кастетов не применял, видно, прыть и драчливый зуд укротила во мне война.

Когда я получил разряд слесаря среднего ремонта, теперь уж не наставник, бригадир мой, Чикирев Антон Феофилактович, подвел меня к грубо, в прогонном рубанке вытесанной рамке, крашенной вагонным суриком, которая называлась Доска почета, заявил, что не сходит с нее с начала третьей пятилетки, завсегда имеет больше всех слесарей заработку, из премий и прогрессивок не выходит и мечтает вставить и скоро-таки вставит золотые зубы, купит радиоприемник «Мир». Как бригадир и родич, будет он доволен и рад, коли я помещусь рядом с его фотографией и тоже оттудова никогда не сойду.

Разочарование ждало Антона Феофилактовича: случилось то самое профсоюзное собрание, когда я пролопушил, не назвал раньше себя кандидатуру на неоплачиваемую должность цехового профкомовца, и заделался я как бы шестеркой от рабочего класса, голосующей за все, за что только предложат голосовать.

Мирная жизнь набирала обороты и была отмечена небывалой активностью трудящихся масс: проходили всякие разные слеты, конференции, семинары, совещания, собрания, заседания, и везде, как неугасающий маяк, но если точнее — как огородное чучело, всенепременно должен был торчать представитель от рабочего класса, стало быть, профсоюзник.

Наставник мой и бригадир Чикирев Антон Феофилактович, вечный ударник и последователь шахтера Стаханова, машиниста Кривоноса, ткачихи Краснощековой и летчицы Гризодубовой, роптал, матерился, но терпел мое частое отсутствие в бригаде, даже не настаивал, чтобы меня прогрессивки и премиальных лишали.

И потянулись день за днем, год за годом. Когда-то мать мечтала: «Нам бы только дожить, чтоб хлеба досыта». Наелись наконец и хлеба досыта. Мать простиралась в мечтах дальше: «Дожить бы, когда женишься, я бы внуков понянчила, да еще бы отца по-божески похоронить.

Зажился. Устала я от него», — правда, этого мать не говорила. Но я угадывал, да и слышал, как она ночами просила Господа прибрать страдальца.

Отец и сам вроде как хотел избавить нас от своего присутствия, но это на людях. Когда же оставался с нами наедине, сатанел, матерился, бросал в мать горшком. Две клетушки-комнатки, кухонька с плитой в стандартном деревянном доме, построенном еще в тридцатых годах, размножению не способствовали. Молодые родители когда-то и такой жилплощади радовались, но ныне — одну клетушку предназначили мне, во второй зимогорили мать с отцом, раздражались друг на друга, все чаще и громче ругались так, что мать обреталась больше на кухне.

Отец отмучился в пятидесятых годах. Слабая здоровьем, забитая жизнью, мать, комкая платочек, сказала: «Вот, Сережа, и жилплощадь ослобонилась, можно теперя жену приводить. Дверь в перегородке прорубите, ширше квартера сделается, а я при вас, я на кухоньке, я не помешаю. Мне бы только внуков по головке погладить...»

И я уважил мать, женился; повторяя и дальше путь отца, выбрал малярку из вагонного депо, по имени Даша. Мать опасалась, что я приведу в дом грамотейку, потому как считала меня шибко начитанным и, раз я — профсоюзный деятель, речистым. В войну все грязные и сподручные работы в депо выполняли девчонки, кто из ФЗУ, кто по найму. Дарья моя тут хлеб свой первый добыла, тут выросла, тут и состарится. Обыкновенная русская баба, в меру ревнивая и бранчливая, в меру экономная и обиходная, годная, если нужда заставит, работать день и ночь на свой дом и семью.

Родились дети, девочка и мальчик — больше-то нам не потянуть с нашим слесарско-малярским прибытком. Всех остальных детей Дарья снесла на помойку, сперва тайком на поселковую, а после разрешения абортсменов сбросали их в больничное емкое корыто советской медицины.

Мать души в Дарье не чаяла, до гроба была для нее и для внучат добровольной, покорной рабой.

К этой поре успокоилась и моя память. Переписка с военными друзьями сошла до поздравительных открыток к праздникам. Однажды на открытке-развороте с красным знаменем и красными гвоздиками бывший майор Котлов известил торжественно, что среди нового поселка совхоза «Победа» трудящиеся возвелиobelisk и на нем поименно перечислили всех героически погибших труже-



ников первого послевоенного призыва, только девчонок не перечислили, означили их в конце списка «и др.», потому как справки, им выданные при возвращении из Германии, посланные в область — для уточнения сведений и дальнейшего оформления гражданских документов, — где-то с концом затерялись, вспомнить же и подтвердить имена погибших молодых тружениц некому.

Дольше других велась у меня переписка с Тamarой, которая каждое письмо начинала бодрыми словами: «Привет из Молдавии!» Со Славой Каменщиковым изредка перебрасываемся письмами и по сю пору. Слава заламывал жизнь пожалуй что тяжелее нас всех: поднимал братьев и сестер, лечил мать и все время вкалывал на земляных и бетонных (дорогих!) работах, чтоб заработку хватало на пропитание. Он так и не женился из-за семьи, но мечту о филфаке не оставлял и поступил в Пермский университет, где, между прочим, вместе с ним в аспирантуре набиралась ума Соня, только уже не Некрасова, а Потапова. Лейтенанта своего Соня с фронта дождалась, оба закончили университет, оба в нем и работают — преподают. Растят они девочку, иногда, редко правда, почтовые однополчане встречаются, калякают о прошлом, надеются на будущее, не обязательно светлое, но хотя бы мирное.

Шли годы. Никаких «бурь и порывов мятежных» в моей жизни не происходило. Утром вместе с женой топали мы на работу, о чем-то говорили, чаще молчали. В депо разбегались; я оставался возле ворот, где начиналась раскатка «больных» вагонов. Это значит, матерясь и кашляя, смурные со сна и после пьянки ремонтники, объединенные в бригады, облепив вагон, натужно катили его туда, где определено ему стоять и ремонтироваться.

Чикиреву Антону Феофилактовичу раздавило хрящи меж позвоночником и тазом, но он по-прежнему норовил быть передовиком социалистического соревнования и однажды уронил автосцепку себе на ногу. Долго, чуть не полгода, лечился. Будучи в больнице, свету и отдыха никогда не выдавший бригадир мой огляделся: вокруг люди разные ходят, даже женщины в белом попадают. Как-то разговорился с одной молодой сиделкой в ночное время, улестил ее. Понравилось. Долго он потом, под видом перевязки, хаживал в старый барак или водил свою занубу в лес, по грибы. Инвалидность ему не дали, хотя и оттяпало ударнику половину лапы, лишь перевели на более легкий труд — на текущий ремонт, под крышу. И я за ним туда же: устал, иззяб я на холоду, возле железа.

Но доконали и меня дальний мой родич, Чикирев Антон Феофилактович, и Слава, мой далекий друг, своими жизненными примерами. Я засел за учебники и сперва заочно, затем отучился два года на очном отделении в железнодорожном институте, получил звание инженера и стал работать сменным мастером в родном депо. Впереди маячила вершина моей карьеры — начальник цеха текущего ремонта вагонов. С молодых-ранних лет запрофсоюзив, я так с профсоюзной линии и не сходил. Это давало мне возможность сблизиться с элитой вагонного депо, присутствовать на разных слетах, собраниях, совещаниях, организовывать спортивные мероприятия.

Ставши инженером, в чистое одетый, часто и при галстукке, я попадал на лекции и селекторные совещания в отделение дороги, где открыл, что более чванливого и спесивого народа, чем железнодорожное начальство, нет на всем белом свете. И это закономерно — железнодорожники забалованы с царских времен: машинист паровоза — фигура, а уж инженер-путеец — вельможа. Вот и я маленьким вельможей заделался. Я был избавлен от многих омрачающих жизнь обстоятельств, хотя бы от получения зарплаты в толпе грязных слесарей, кузнецов, плотников, литейщиков, маляров, в узком и душном коридоре толкающихся возле деревянной бойницы, в которую совали ведомость для росписи и деньги в горсть. Редкая получка тут обходилась без мордобоя. Когда были построены душевые, я ходил уже в отдельную кабину, где всегда велась горячая вода, даже мыльце розовело в отдельной раковинке, тогда как чумазые, усталые работяги, намылившись, не раз били железом в батарее — требовали горячей воды и справедливости. Иногда, так и не достучавшись ни до кого, смывали работяги грязь холодной водой и, стуча зубами, расходились по домам. Я куда-то писал, хлопотал и в конце концов добился, чтобы душ в депо не только у начальства, но и у работяг действовал нормально.

Все шло тихо-мирно, и вдруг мой бывший бригадир, Чикирев Антон Феофилактович, отмочил номер! До того он окрылился любовью, что неожиданно для всех сделал изобретение: клеткой выложил старые шпалы, и поскольку не мог уже поднять с земли автосцепку, сперва взнимал ее и всякое грузное железо, которого на вагоне, особенно на четырехосном, много, на клетку, с клетки уж плавно, как не знаю что, вводил хобот автосцепки в раз-

верстую железную дыру. Такое ловкое начинание подхватили все слесари нашего депо, о нем писала газета «Сталинская путевка». Я вместе с техническим отделом оформил изобретение своего бывшего начальника документально. Антону Феофилактовичу вырешили премию в размере среднемесячного оклада-заработка. А он возьми да ту премию и утай. Не на пропой, нет. Он брошку с дорогим уральским камнем-самоцветом купил и отнес ее своей шмаре, да у нее навсегда и остался.

Карточку вечного передовика соцсоревнования с Доски почета скovyрнули, и долго на ней зияла квадратная дыра. Так как в партии Чикирев не состоял из-за раскулаченных вятских родственников, его прорабатывали на общем профсоюзном собрании, срамили, стыдили, особенно ярились труженицы депо. Антон Феофилактович Чикирев от бабьих речей краснел и потел, мужикам же прямо в лоб закатал: «Сами-то в голове блудите, духу мало потому что, а меня любоф постигла. Я, ежели хотите знать, зубы пастой чистить начал, нашшот табаку и вина воздерживаюсь. Увольнять?! Дак увольняйте! Я хочь в огонь, хочь в само пламя...»

Э-э-эх, как кипело вагонное депо! Какие страсти раздирали его здоровый коллектив на части! И моя Дарья сбесилась, давай следить за мной: Чикирев — родственник, хоть и дальний. А что, если его разлагающий пример заразителен? Чужало сердце вещуньино, что беда иль напасть караулят ее, но за каким углом — угадать не могла.

Да не за углом, не за поворотом — в столице нашей Родины, самом блудливом городе страны, чуть не сторела наша семья.

Поехал я в столицу делегатом на профсоюзный съезд, тот самый, где один выдающийся подхалим увековечил себя тем, что назвал главного профсоюзника и кукурузника так, как никому еще и никогда никакого вождя назвать не удавалось: «Дорогой товарищ Никита, дорогой товарищ Сергеевич, дорогой товарищ Хрущев!» — сказал и будто спелую грушу с дерева снял — в виде Золотой Звезды!

Уставши от аплодисментов и пустопорожней болтовни, принялся я развлекаться — ходил в театры, на концерты, и не только по пригласительным билетам съезда, но и на свои денежки. Однако мало мне было этих развлечений. Я забрел в большой собор — на службу. Пели в том соборе народные артисты, и так пели, что меня потя-

нуло к чему-то уж и не святому, хоть бы к светлому, душу очищающему. Я испытывал беспокойство, и память моя нашептала мне подходящее для покаяния место. Тот телефон я запомнил наизусть еще в сорок пятом году — о, незабвенные дни, промелькнувшие в благостном местечке Ольвия! Мужская притчеватая душа помнила о тайности. Она, душа моя, ждала убоготворения и в то же время пужалась его. Сердце мое скользило обмылком в груди, рука, сжимавшая телефонную трубку, запотела — я бы уж и рад был, если б телефон не ответил, но из запредельности лет, из ветхозаветной тайности, не иначе, раздался голос Любы:

— Слушаю вас!

Во мне все, даже дыхание, заклинилось. Я не мог сказать слова, дыхнуть не мог — нечем дыхнуть мне.

— Слушаю вас! — повторили нетерпеливо.

— Ой, Люба! Постой! Погоди! — вместе с пробудившимся дыханием вдруг возник и голос, правда не мой, какой-то чужой, с хрипом и сипом. — Пожалста! — почему-то с кавказским акцентом попросил я.

— Это не Люба, — сказали мне сдержанно, — это ее мать. А вы кто?

Следующим утром я не пошел на съезд. Я пешком топал из гостиницы «Россия» на улицу Неглинную, в гости к Любиной матери. «Вам обязательно надо побывать у меня! — сказала она вчера и, вздохнув, добавила: — А Любы нет, давно уже нет».

Я оказался в старой, запущенной квартире, тут все пронизано было запахом тления и книжной пыли. Трубы в наростах ржавчины, выступавшей из-под толстого слоя краски, по-змеиному опасно шипели по всем углам, в туалете отдаленно рокотала вода. Просторная квартира, заставленная стеллажами с книгами, какими-то этажерками, вешалками, массивными шкафами, столами; на стенах фотографии в резных деревянных рамках; несколько старых картин. В гостиной — письменный стол с потускневшей бронзовой инкрустацией и потускневшие же подсвечники, витые из меди и серебра, подставки, светильники, мраморная пепельница и мраморная же фигурка греческого дискометателя. И много цветов. На столе, на подоконниках, на этажерках. Цветы ухожены, защищены, политы, цвели радостно и благодарно. В горшках,

повешенных на шнурках, выющиеся растения опускались кистями до пола.

— Вы, Сережа, осваивайтесь тут, фотографии смотрите — в этой древней кладовке много занимательного, есть кое-что и любопытное. А я стряпней займусь. Я вас скоро не отпущу, до тех пор не отпущу, пока не наговорюсь.

Наталья Дмитриевна похожа на дочь и в то же время отдалена от нее, как бы недопроявлена. Все, что в Любе цвело, румянилось, рвалось наружу, в пожилой женщине было уже успокоено, если не усыплено. Сотворенные как бы из одного металла, струганы были эти люди разными инструментами. Обширная в кости Наталья Дмитриевна как бы сплющилась телом. Она перехватила мой взгляд и тут же с маху отгадала, о чем я думаю:

— Я, как и многие певицы, дородна была, да вот убыла... — Ямочки на ее щеках цвели, раздвигая морщинки, делали лицо приветливым.

Я с пристальным вниманием и неразумным любопытством провинциала рассматривал в гостиной картины, фотографии, книги, благоговей перед святой стариной, даже руки убрал за спину, чтоб нечаянно чего не тронуть, и вдруг замер, увидев портрет Сергея Яковлевича Лемешева, еще того, молоденького и звонкого, времен фильма «Музыкальная история». По углу фотографии размашисто, но разборчиво написано: «Натуся! Какое счастье петь на сцене этого великого театра! Большой театр, 20 ноября 1940 года».

«Господи! Куда я попал-то!» — в жар меня бросило, восторгом кожу на спине скоробило. Дыхание придержав, я заглянул в следующую комнату. Там, в переднем углу, под иконостасом, сверкающим золотом и серебром, горела тихая лампада, и я, как всегда при виде икон и негасимого огня, притих в себе. Среди комнаты стоял рояль, на рояле — фотокарточка, по уголку затянутая черным крепом. Непривычно кроткая, застенчиво улыбающаяся девушка в темном платье с кружевным воротничком глядела на меня, и в этой девушке я едва узнал Любу. Может, оттого, что видел ее только в военной форме.

— Первая и последняя гражданская фотография Любы, — сказала неслышно вошедшая в комнату Наталья Дмитриевна. Ни обычного простолюдного всхлипа, ни враз возникшей слезы, рукой или платочком вытираемой, лишь бездна скрытого страдания в голосе.

Моя мать, слезой-то облегчаясь, обсказала бы, что и

как было, как мучился человек, как она терпелива, бережна была к нему, как Бога молила избавить страдальца от болезней, а ее от горестей — и услышал Милостивец ее тихую молитву, прибрал сиротинку, взял на небо душу его, косточки же в земелюшке остались — чтоб оплакивали, не забывали любезного друга своего богоданная жена и родной сын.

Тут ни стоны, ни вздохи. Интеллигенция! Все же простолюдинам легче живется на этом сером свете, из горя да бед сотканном.

— Что ж случилось-то? — не выдержал я.

— Ямщик, не гони лошадей, — пропела Любиным, все еще густым и низким голосом Наталья Дмитриевна и, подхватив меня под руку, повела в прихожую, молча кивнула на туалет и ванную. В туалете унитаз был в середине зачищен серебряной пластинкой, мне показалось — расплющенным портсигаром. В ванной раковина склеена сикось-накось, зато вешалок, полотенец и тряпиц на стенах — не перечесть. Возле зеркала на подставке — флаконы с духами, пенальчик с кисточками, щеточки, пилочки, дорогая, подсыхающая косметика, бижутерия и разные женские штучковинки; когда-то трудилась в доме домработница, скорее всего из бедных родственниц. Без нее у знатной певицы все, кроме цветов и кухни, пришло в запустение.

Кухня, видать, была самым жилым, душу успокаивающим местом, потому здесь, словно в цирке, радостно и пестро: деревянные квадратики-подставки, прихватки, симпатичная кукла на чайник-заварник, медный, до яркости начищенный самовар, горшки, колотушки, сковородники, связки луковиц и красных перцев и множество разных забавных безделушек. И цветы, цветы...

В зеленых кущах я едва различил деревянную иконку, треснутую повдоль.

Стол был заставлен по давней российской хлебосольности мясными закусками, рыбой, соленьями, моченьями, кувшинами с напитками, бутылками иностранными и русскими. Наталья Дмитриевна, прежде чем сесть, перекрестилась на иконку, пошептала молитву, искоса глянув на меня, как бы сказала: «Лоб-то перекрестить рука отвалится?» Мать еще и добавила бы, если не в настроении: «Он, Он ведь, Творец наш, подарил тебе жисть, два раза...»

— Ну, — потирая руки и поигрывая заискрившимися глазами, молвила хозяйка, осветившись ямочками на

щеках. — Я не пьяница, я — замоскворецкая хлебосолка. Как, смею думать, вы заметили по фото — работала я в Большом театре. А в Большом и поют, и пьют по-большому. — Наталья Дмитриевна наговаривала и разливала водку и напитки. — По обычаю старорусскому помянем близких, — опустив глаза, вымолвила она и с неподдельным изяществом выпила рюмку до дна. — А-ах! — выдохнула она. — Погубительница ты наша! — и, проморгавшись, налила по новой из квадратной хрустальной бутылки. — Теперь за вас, гость мой нечаянный!

После обеда расположились мы с Натальей Дмитриевой за журнальным столиком в средней комнате. Никаких магнитофонов и проигрывателей, никаких пластинок, ни лент — ни в кухне, ни здесь я не заметил, даже радио выключено.

— Ну что ж, Сережа, слушайте — за тем ведь и пришли. История семьи нашей, как и многих русских семей, и затейлива, и горька. Муж мой, Гавриил Панкратыч Шарахневич, родом из Белоруссии. Объемный, крепкий добряк, он и инструментом владел объемным — играл в оркестре нашего театра на контрабасе. На гастролях, еще будучи студентом Московской консерватории, в знойном Черноморье, поднял он однажды меня вроде бы шутливо в воздух и, тут же опустив на бережок, подмял всерьез, за тот подвиг я его потом всю дорогу подминала по-бабьи весело и беззаботно. После консерватории я попела в хоре, в массовках поучаствовала, арию пажа «Сеньор, извольте одеваться» исполняла, затем поучаствовала в конкурсе Большого, и, представьте себе, не без успеха. Дочку мы с Гаврилой сотворили сдуру, еще будучи стажерами театра, сотворили мимоходом, играючи. Наши полубеспризорные театральные дети большей частью росли за кулисами в театре. Отец безмерно любил и баловал Любу, но в годы всеобщего затмения, когда дочка была еще школьницей, забрали моего Гаврилу... по национальному признаку: фамилия еврейская, говорит — белорус, имя русское, а начальник у него — дирижер, да еще и по фамилии Гаук. Я думаю, под дирижера или под руководство театра и рыли яму — зачем им сдался контрабас Гаврила. В шутку я называла его «бандурист Гаврила». Был силен и упрям, поклеп делать не хотел, на допросах, догадываюсь я, вел себя «неправильно». Может, кому по мужицкой простоте и по морде дал, его и затоптали сапогами или живьем изжарили. Нянька — двоюродная сестра мужа — сбежала

обратно в деревню. Девчушка наша околачивалась где попадя. Летом, на время гастролей, Любу отправляли в лагерь, в пионерский, подросла — в юношеский. Меня не тронули и дочь мою не водворили в спецлагерь, думаю, из особого почтения вождей к нашему театру.

В поле да на воле подмосковных лесов возрастало, набиралось мудрости наше дитя. Мама пела, резвилась, романы крутила — чего уж там! На войне, среди девчонок из крестьянских и рабочих семей, чадо мое, конечно же, выделялось умственностью и нахвтанностью от культуры, точнее, от культурных коридоров, от захламленного закулисья. В части была она постоянно в центре внимания, явилась, голубушка, из дружного коллектива в столицу — никого кругом и мама почти чужая, даже и к ней надо привыкать. А прилаживаться-то она не приучена. Надо, чтоб к ней прилаживались, — это да, это пожалуйста! И ничегошеньки за душой: ни образования, ни профессии, ни настоящей культуры, ни умения ладить с людьми. Сырой человек, но с претензиями ко всем людям, ко всему миру. Шибко ругались мы с нею на первых порах, прости меня, Господи! Начала она и от меня отдаляться, не успевши привязаться. Поступила на почту, дохнула почтарского, привычного, воздуха, ожила, записалась в хор работников связи — хор не с миру по соломке, почти академический. И жить бы тихо, да, как говорится, от людей лихо. Мужики ж треклятые выются вокруг — меду им хочется. Кстати, благодарите Бога, что вас она не запутала, позавлекала — и оставила. Норов! Норов мой, фактура папина. Встречались мужики и достойного уровня, на все готовые ради такой крали, но... у крали-то будущее украли. Я уж спустя много времени узнала о ее в боевом походе совершенном подвиге. Это угнетало ее. Постоянно, неотступно. И почту, и хор она вскоре бросила — прискучили. Перешла в органы, пригревшие ее еще на войне, — вес-селяя работка. Мрачнела. Возлюбила одиночество.

Вдруг загуляла! Да как загуляла! Будто с возу упала. Ночами где-то шлялась. Появились у нее деньги. Попивать стала. К пьяной-то к ней и прилепись военный, опять же из органов, по роже — вурдалак, по натуре — насильник. У него на холостяцкой квартире она и кончила себя. Застрелилась.

Наталья Дмитриевна рассказывала и все наливала да наливала в рюмки. Закончив повествование, ослабела, свернулась на диване, натягивая на себя плед, бормотала:



— Я сейчас, Сереженька, сейчас, подремлю минуту, и мы еще... мы еще погугарим... Не уходите, пожалуйста. Не уходите!

Спала Наталья Дмитриевна долго и тяжело. Проснулась уже в сумерках, вскрикнула: «Кто здесь?» — вспомнила, ссохшимся голосом проговорила:

— Больше эту окаянную водку пить не будем. Наладим чаек. Ча-ае-ок. Вы на меня не сердитесь? — заглядывала она виновато снизу вверх.

— Да что вы, Наталья Дмитриевна?! Что вы? — Я обнял ее осторожно, поцеловал в голову. Она приникла ко мне, обхватила слабыми, вздрагивающими руками, и я вдруг, сменяя слова, торопясь, рассказал ей о совхозе «Победа», о встрече с Беллой, которую я оставил средь дороги, о том, как страшно все погибли...

— Ни следочка, ни памяти! — плакал я, и теперь уж Наталья Дмитриевна утешала меня:

— Ах, Сереженька, Сереженька! Мальчик ты мой, мальчик!.. Чего же это мы, люди русские, такие неприкажные, такие спозаброшенные... За что судьба так немилостива к нам? У вас есть дети? Я все болтала, болтала, соскучившись по собеседнику, и не спросила вас ни о чем. Простите меня. Любите их, детей-то, жалейте. Может, хоть они не повторят судьбу нашу, может, милосердней будет время к ним.

Поздним вечером, перед уходом, я спросил:

— Что такое обертон, Наталья Дмитриевна?

Она не глядя, через плечо, сунула руку в стеллаж, вынула из толщи книг том энциклопедии с отгоревшим золотом на корочке и корешке, полистала и прочла: «Обертон — ряд дополнительных тонов, возникающих при звучании основного тона, придающих звуку особый оттенок или тембр...»

Наталья Дмитриевна, человек проникательный, деликатный, не спросила, зачем мне это знать.

Я заторопился в гостиницу «Россия», собрал вещички и первым же самолетом улетел домой, не дождавшись конца профсоюзного съезда и попустившись банкетом — главным событием любого российского общественного мероприятия.

## РАССКАЗЫ

•



---

## РАЗГОВОР СО СТАРЫМ РУЖЬЕМ

Охотиться, точнее сказать — таскаться с ружьем, я начал рано... В 1935 году, когда мне шел одиннадцатый год, наша семья, ведомая папой, год назад возвратившимся с великой стройки Беломорканала, никогда, нигде не находящая пристань свою, в поисках лучшей доли и длинного рубля, рванула в Заполярье, в Игарку, где отбывала ссылку раскулаченная семья деда Павла.

По прибытии в Игарку папа с новой мамой подкинули меня в семью деда, обретавшуюся в переселенческом бараке, в комнатке метров в десять-двенадцать, и спал я под столом, потому как другого места мне не сыскалось. Барак был двухэтажный, набитый народом под завязку. Особенно много здесь было ребятишек: крестьяне плодились и в деревне, и в ссылке, что кролики. В комнате деда Павла над единственной кроватью, «на ковре» — пестрой, из лоскутов сшитой пластушинке, гордо висело одноствольное ружье с патронташем; на подоконнике в консервных банках маялись герани и даже цвели летней порой. Это и были главные украшения спецпереселенческого жилища.

Однажды днем, а раз был день, значит, произошло это где-то в марте, по бараку разнесся слух, что на барачной помойке и вокруг нее бегают видимо-невидимо куропаatok, и я, уже давно с вожделением поглядывающий на ружье, снял его и патронташ с «коврика» и ринулся вон из барака. За мной нарастающей волной катилась ребятня, зиму-зимскую обретавшаяся в коридорах, потому как в комнатах играть негде, на улицу морозы не пускают.

Леса приполярные, хилые, вокруг Игарки были вырублены из противопожарных соображений и от комара; пеньев-кореньев вокруг тьма, на вырубках изобильно росли голубика, морошка, густел кустарник ивового стланика и карликовой березки, и, когда в глухие зимы мелколесье в уреме заваливало глубоким снегом, птица слеталась на вырубки, где снегу было поменьше, да и выдувало его — кормилась тут. Куропаток довольно успешно ловили силками, но чтобы стрелять — не слышно было — припас дорогой, да и ружья редко у кого велись, спецпереселенцам их иметь и вовсе не полагалось.

Я думаю, дед мой — хитрован держал ружье незаконно, он скорее всего «подмазал» кого следует и получил нужный документ.

И вот, не сознавая сложностей классовой борьбы, всей серьезности текущего момента, вольный казак, охваченный, даже ослепленный азартом, гонялся я с ружьем за куропатками в надежде настрелять их целую кучу, ибо совсем недавно слышал, как сын доктора Питиримова, у которого бабушка служила прислугой, одним выстрелом снял в лесу с дерева семь птиц.

Куропатки, где бегом, где лѐтом, отходили от меня к недалекому лесу, там птицы поднимались на крыло и рассаживались по березняку. Белыми комками были густо обвешаны приземистые заполярные березы. Птицы на них сидели спокойно, иные ощипывались, иные лениво срывали клювом почки с ветвей. Я выбрал дерево с особенно густо обсевшими его птицами и поднял ружье. Со всех сторон сыпались советы «знатоков» — целить под брюхо птицы, но лучше в «центр», крючок спусковой не рвать, а давить на него плавно, но самое главное: плотнее прижимать приклад к плечу, иначе так толкнет, с ног свалишься «к едрене фене». Изю всех советов мне больше всего запомнился последний, и я до сих пор приклад прижимаю так плотно, что того и гляди плечевую кость отломлю.

А тогда, как я ни прижимал к себе приклад, как ни унимал волнение свое, ружье качалось, будто стрелок не на снегу стоял, а на волнах плавал. Руки мои совсем окончели, палец, лежавший на спуске, прилип к железу, и, порешив, что сойдет и так, я зажмурился и давнул курок. Грянул выстрел. Я не упал, не пошатнулся, а когда открыл глаза, обнаружил, что передо мной плавает черный дым, но куропатки с дерева не падают. Они как сидели, так и

сидят, которые поджали лапки, которые шеи выгнули в мою сторону, будто спрашивали, чего это я раздухарился-то, зачем шум в зимнем, мирном лесу поднимаю, лишь с пяток птиц снялось с березы и отлетело в глубь леса.

Парни, пережившие вместе со мной минуты напряжения, пока еще не обзывались, не подначивали меня, лишь настойчиво советовали «подкрастись» еще ближе к березе, и я, ссутулившись, вобрав голову в телогрейку, начал «крастись». По мере моего приближения птицы срывались с дерева, отлетали от меня, большинство из них и на деревья не садились, красиво планировали на снег и начинали бегать, наговаривая «фирь-фирь». Порешив, что на «полу» попасть в цель будет проще, опять я зажмурился и пальнул в бегающих, вроде как играющих птиц. Пальнул раз, другой, третий. Парни кричали: «Дай я! Дай я!», но, увязая в снегу, ухая по пояс в сугробы, совершенно потеряв голову, гонялся я за куропатками и палил, палил, пока один дровосек (несмотря на изобилие деревянных отходов с лесозаводов и вообще всяких дров, практичные спецпереселенцы летами корчевали пни на вырубках и зимой, когда на морозе дерево колется легче, умело распластывали пеня-коренья и для жару добавляли их к заводским дровам), так вот пожилой дровосек остановил мою пальбу, сказал, что всех птиц сразу никак не подшибешь, надо целиться в одну, следует ее посадить на мушку и тогда уж, зажмурив лишь один глаз, но не оба, «надавливать на собачку».

В патронташе у меня остался один патрон, и этим последним патроном я сшиб одиноко сидевшую на елке куропатку.

Объяснения с дедом описывать не могу по той простой причине, что речь его состояла из сплошных матюков, хотя матюки для чалдонского уха все равно, что для интеллигента музыка — с колыбели привычные, и если они вдруг остановились бы, много бы на этом свете чего остановилось. Ведь не зря же деревенские бабы жаловались, что в войну начали матерно выражаться только потому, что кони с места не двигались, не понимая никакой другой речи, кроме той, к которой приучили их мужики.

Главное и горькое дело заключалось в том, что дед спрятал патронташ и гильзы, и только ружье по-прежнему красовалось «на ковре». Несколько порченных гильз я все-таки отыскал, и вместе с парнями, которые где-то добывали маленько пороху, дроби и пистонов, мы тайком

заряжали патроны, волоклись за бараки, в поле и попеременно выстреливали их.

Не помню, добыли ль мы куропадок и сколько их поранили, одаривая едой тоже шустрящих на вырубках и вокруг помоек песцов.

Отец ружья мне не давал вовсе, потому как считал себя великим охотником, говорил, что ружье, как и «жану богоданную», доверять никому нельзя, и еще, не иначе, как исходя из личного опыта, увещевал меня наставлением того, что кто стреляет и удит — из того ничего не будет.

Рыболовецкая бригада во главе с двумя мужиками добывала в Енисее сетями и переметами «красную рыбу» — осетра и стерлядь — километрах в пятидесяти выше Игарки, и к нам, под «узаконенное крыло» явился сноровистый браконьеришко — дед мой Павел. С ружьишком явился, и я уж так перед ним выслуживался, так ему помогал во всем, так его умасливал, что дал он мне ружье и пять патронов с наказом, чтобы на пять патронов пришлось не менее десяти-двенадцати уток.

Уток на ближних озерах, непуганых, ко мне, удильщику, привыкших, плавало до полночи, но я отчего-то затеял порешить гагару, которая надоела мне своим громким поведением: то она крикала беспрестанно, то плакала, стонала и норовила снять с удочки рыбу, подныривая под мой плот.

Я высадил в гагару все выданные дедушкой патроны. Папа мой пожал плечами, дескать, иначе и быть не могло. Дед сказал: «Придурок советский», и, перемежая непечатные выражения доступными словами, объяснил мне: гагару и настоящему-то охотнику редко удается добыть, что мясо ее в пищу не годится — воняет рыбой, а уток, прежде чем стрелять, надо было подпускать ближе, дожидаться, когда они сплывутся в кучу, и лупить в самую серединку табуна. Наука деда была ясна и доходчива, но на практике неосуществима, потому как более он мне ни ружья, ни патронов не давал.

И лишь ближе к осени, снова появившись в нашей бригаде, дед смилостивился и дал мне ружье с пятью патронами и опять поставил задачу — принести не менее десяти-двенадцати уток.

Но снова планы рухнули, снова охота моя завершилась скандально.

На чуть отдаленном от Енисея озере, окруженном с одной стороны ягельными холмами, красно облитыми брусникой, а с другой — плотно подступившими кедрами, по берегу — чернолесьем, уютными полуостровками и островками убранном, жили лебеди, ко мне уж немного привыкшие. Одного из них я без труда и без пощады застрелил. Заряды у деда были слабые, дробь самодельная, и я помню, как лебедь долго пытался поднять голову с воды, как, плавая кругами, хлопал, бил крылом и вода словно бы пенилась от белого пера.

Дед лупил меня по башке и по чему попало лебедем до тех пор, пока тушка птицы совсем не обнажилась и все вокруг не побелело от пера, а я целый день потом сплевывал пух изо рта. Куда дед девал мою добычу, я не знаю, но на озеро он со мной ходил и, стоя на берегу, сняв фуражку, кланялся сторожко в отдалении плавающим лебедям: «Ангельские птишки, лебедушка-мать,— простите этого малого дурака, ни Бога, ни креста на ем... и тыркал меня в бок: кланяйся и ты, дурында такая, отмаливай свой тяжкий грех...»

Отмаливал, долго отмаливал, и по сию пору, наверное, не отмолил. Но наука дедова пошла впрок: в лебедя больше никогда не стрелял.

Охоту в Заполярье, в особенности в отдалении от города, и охотой в те годы считать было нельзя. Птицы, особенно во время перелета, было так много, что не составляло никакого труда ее добыть столько, сколько нужно. Мне, вскорости переместившемуся в детдом-интернат, доводилось глазеть, как осенней порой на мысу Самоедского острова стоя, городские пьяненькие охотники весело вышибали птиц из тучей налетающих табунов уток и как они черными комками сыпались на отмель, шлепались в грязь, в воду. Парнишки вместо собачонок подбирали битую птицу в грязи, гонялись за подранками на лодках.

Мой дед к этой поре загинул — утонул на рыбалке, ружьишком разжиться не у кого было, и лишь однажды, приехав на каникулы в станок Карасино, где папа работал засольщиком рыбы, выследил я одинокого гуся, выпросил у папы ружье и великим старанием, немыслимой ловкостью добыл его. Поскольку удача такая случилась в детстве единственная, она крепко отпечаталась в памяти,



я описал ту охоту на гуся подробно и, как мне кажется красочно, в своей книге «Последний поклон».

И все. На этом заканчивается первый этап моей охотничьей жизни.

Второй этап, вынужденный, наступил через много лет, уже после войны, году так в сорок седьмом.

После демобилизации, в 1945 году я оказался на родине жены, в промышленном городке Чусовом, стоящем на реке Чусовой, — красивейшей реке Европы, описанной Маминым-Сибиряком, ныне погубленной лесосплавом, отравленной промышленными отходами. В реку Чусовую возле городка впадали еще две реки, начинающиеся на западном склоне Уральского хребта, — Вильва и Усьва. Вот на Вильве-то, в восемнадцати верстах от города, располагался покос моего тестя. Многолетняя рабочая семья тестя, утерявшая на войне и по причине войны пятерых детей, продолжала жить коровой и огородом. Тесть, поднявший на пару с тещей девятидетную семью, — это в советах-то! — при вечных нехватках всего, начиная с хлеба и кончая одеждой, был уже крепко надорван, изношен, и ему требовалась на покосе помощь.

Однажды в конце августа и отправился я в местечко Узкие, возле которого и располагался покос тестя. Идти надо было по старой, почти на всем протяжении выкошенной телефонке\* и за восемнадцать верст перевалить восемнадцать гор и горушек. В большой тоже семье брата тещи велось ружье — одноствольная переломка, и хотя я хорохорился, мне, дескать, после фронта ничего не страшно, все же на всякий случай — медведь вдруг нападет, лихой человек повстречается, — всучили мне ту переломку и к ружью патроны — полный карман.

Хотя и утомительна была дорога, но так красива, а я был так еще молод и бодр духом, что одолел восемнадцать верст одним боевым броском, да еще на подходе к Вильве подстрелил рябчика. Выводок, и довольно большой, вспорхнул передо мной и рассыпался по опушке леса, но сколь я ни напрягался, ни единой птицы увидеть не мог. Так бы и пошел дальше, как вдруг из-за ствола березки выглянул рябчик и по молодости своей любопытно разглядывал меня, дивовался человеком, которого явно еще ни разу не видел. Я тщательно прицелился, выстрелил и попал в голову рябчику. Помню, долго я сидел, разглядывая свою добы-

---

\* Телефонная просека.

чу. Рябчик был молод, наряжен и мягок — два чувства обуревали меня: первое — чувство добытчика, второе — чувство жалости.

В Узких, куда меня переправили на лодке, на красивом берегу стояло два дома с обширными надворными постройками — дом лесничего и метеоролога, следившего за уровнем воды в Вильве. Был здесь когда-то лесоучасток, но из-за отдаленности замер, оставив несколько пустых, уже завалившихся построек и множество вырубок с гниющим лесом и отходами, которые почти ежегодно горели, а от них выгорали богатые леса вокруг, со временем сюда доберутся еще передовые отряды строителей социализма и подчистую выпластают леса и сплавят модем по Вильве, половину древесины утопив в пути.

Но пока здесь было раздолье: ягод — бери не выбе-решь, дичи на вырубках и по речкам, втекающим в Вильву, да и по самой Вильве — стреляй не перестреляешь.

Не помню, чего я еще добыл в тот раз, но Узкие и здешние окрестности надолго сделались для меня землей обетованной, много радостей и красот мне подарили.

Однако с ружьем дела обстояли худо, с припасом — и того хуже. Дробь с двоюродным братом жены, который и владел переломкой, мы научились катать, но где взять порох, пистоны? Денег, мною и женой зарабатываемых, едва хватало на хлеб, на молоко для ребенка и на дрова.

Но хранил нас Бог и помогал не только на войне, не оставлял, доглядывал и после войны. В соседнем городке Лысьве жили крестный и крестная моей жены. Людьми они, в нашем понимании, да и в нашем ли только, считались состоятельными, имели свой дом на красиво называющейся улице Цветочной. Огород и садик у них был, радиоприемник и необходимое имущество, но главное — у крестного было ружье «тулка», выпуска тысяча девятьсот двадцать четвертого года — моя ровесница! На ту ровесницу я поглядывал тенденциозно: снимал ее со стены, гладил, протирал тряпочкой. Бывавший со своим ружьем всего несколько раз на охоте, добрейший, мирный человек, крестный жены тем не менее успел подпортить его: он пробовал выстрелом вышибить пробки, которыми были заткнуты стволы ружья. Стволы, естественно, раздуло, но какой-то умелый человек стволы обрезал, посадил на прицельную линейку новую мушку — и ружье, почти новое, чуть тронутое в стволах раковинками от того, что его не

чистили, не смазывали лет десять, жило на стене тихой жизнью.

Не имевшие детей, крестный и крестная любили мою жену, как родную, она же обожала их с раннего детства. И на меня отблеск той любви пал, и я был согрет и облакан в доме крестных. Однажды крестный протянул мне ружье и торжественно сказал: «Владей! Оно тебе нужнее». Да уж — к той поре мы дожили до ручки в промерзающем по всем углам и щелям флигеле, жена простудила груди, и ей сделали операцию, пропало молоко, и мы уморили и схоронили первого ребенка, и второй ребенок, скоро народившийся, едва теплился...

Поскольку вместе с ружьем мне были отданы все принадлежности: много заряженных патронов и пустых гильз, полторы пачки пороха, мешочек с дробью и пистонами, я немедленно отправился в первый выходной на старую телефонку, потому как никакого другого леса не знал, никаких иных путей по Уралу не ведал.

За войну, когда люди истребляли друг друга безо всякой пощады, природа, в первую очередь, российская, получила неожиданный отдых, охотников не было. Налетки, прежде всего самые оголтелые, городские,— живность не тревожили, и по лесам нашим, мало вырубленным, развелось много зверя, птицы, и потому в первое послевоенное время не запрещалась весенняя охота на птицу, в том числе и на боровую.

Среди прочего ружейного прибора оказался и рябчинный манок.

И вот, ничего-то в лесу не умеющий, очень плохо стреляющий, принялся я ходить на охоту, но, кроме рябчиков, ничего добывать не мог, да и рябчиков-то брал только потому, что их в лесу множество, а я научился довольно сносно пицать, подманивал их и лупил почти в упор, при этом терял подранков оттого, что патроны были снаряжены дымным порохом, заряды ослабли, пистоны давали осечки.

Пожалуй, из той первоначальной поры запомнился мне более других один выход на охоту. Было это весной, и дожили мы с женой до того, что кончилась у нас картошка, даже семенная, пайки хлеба не хватало, и на охоте я оказался с узелком соли в объемном брезентовом мешке голубого цвета, который был выдан мне при демобилизации. К мешку добавлены были продовольственные тало-

ны на десять дней и сто восемьдесят рублей денег — булка хлеба в ту пору на базаре стоила тысячу.

Это все, что я заработал у родного государства и отца-генералиссимуса за три ранения, полученных на фронте, за голод и холод, за окопную работу, за все страхи, за кровь, за страдания.

Мешок был бесхитростен и крепок, но ни одного на нем кармана, ни одной пряжки, зато объем, зато удавка — крепки. Первое время я бросал в мешок убитых птах, еще теплых, горбушка хлеба, отделенного из дома, пропитывалась кровью, облипала пером, но я все равно его съедал с большим аппетитом. Жена моя, вышедшая из семьи, где не было ни рыбаков, ни охотников, ни матерщинников, в первое время впадала в полную растерянность, в недоумение и ужас от того, что богоданный муж ее молодой уходит на целые сутки, чаще всего на воскресенье, в лес и явится или пропадет там, пойдя угадай, научилась теребить птицу, опаливать на огне и варить рябчиков. Не зря говорится в народе: «Нужда намучит, нужда и научит». Сшила она мне холщовые мешочки: под хлеб, под соль, под картошку и под дичь, а я подобрал на свалке жестяную трехлитровую банку из-под сгущенки и соорудил из нее котелок, хороший, кстати говоря, котелок, скороварный, легкий, сильно гнущийся, но и запросто, кулаком, распрямляющийся.

И вот: в котелок мой засунута ложка, узелок с солью и пустые мешочки. Иду, в глазах, точнее — в глазу, потому как правый глаз изуродован на Днепровском плацдарме, и стреляю я с левого плеча, в глазу зрячем и незрячем — тоже — плавают радуги, слева яркая, справа пожиже и почти бесцветная. Малокровие, авитаминоз по-научному, но надо идти, надо добывать еду. К обеду я подстрелил трех рябчиков и на какой-то горе присел на валежину — передохнуть, но встать не могу — обессилел. Однако я — фронтовик, недавняя окопная землеройка, имевшая последнюю военную профессию — полевого связиста, каторжнее и смертельней которой и не придумать, осилился, развел костерок, снял с двух рябчиков кожу вместе с пером, зачерпнул в ближней луже снеговой воды и стал терпеливо ждать варево. Ах, как вкусно ударило паром из котелка, когда он закипел.

Очевидно, я успел вздремнуть у костерка. Рябчики хорошо уварились. Я не рвал их зубами, я ел неторопливо, подсаливая мясо щепоткой соли, и запивал его дочти

что ароматным бульоном, в котором плавали две-три жиринки.

Я не то, чтобы наелся, я ожил, силы во мне воскресились, искры из глаз сыпались резе и радуги исчезли.

Рябчик — это дар Божий человеку, в первую голову таежному. Никогда не встречал я рябчика грустного, больного, в гнусе, во вшах. А ведь в чащобе живет птаха, выше вершин большого леса не взлетает, в детстве и зимой по опушкам кормится, в молодости любит по полянкам бегать, на просеки и прогалинки выскочить, в ягодниках пожировать, ловили его в прежние годы силками, возами возили в столицы Европы, у добытчиков-промысловиков купцы покупали по гривне серебром за пару, в Европы свозили по рублю за пару. По причине того, что рябчик вьет гнездо на земле и хоть искусно прячет, зоркие зверьки яйца и птенцов выедают; в лесу — ястреб-тетеревятник нападает. Чтобы не известись рябчиному роду, чтоб не быть ему переводу, кладки рябчиха делает большие — я встречал до одиннадцати яичек в гнезде. Много тепла такой кладке требуется. Повсеместно эгоистичные птенцы мужеского полу, прежде всех бабник-селезень, обязанностей родительских не исполняют, но петушок с рябчихой повсеместно делят заботу о потомстве. Когда самка отбежит покормиться, петушок, чтобы не остыли яйца, смилив мужскую гордыню, садится на гнездо. Дальше уже забота родительская о птенцах, быстрые ноги, стремительное крыло, редкая и для птиц способность прятаться и маскироваться — все-все за то, чтоб жил, велся, свистел и размножался житель таежных крепей — верная выручка арестанта и просто любителя пострелять пернатую дичь.

Не раз, не два в жизни и я выручался таежной пищей и всегда поражался могуществу ее. Ну, откуда, от чего этот дивный вкус рябчиного мяса? Да еще и силу такую содержащий, ведь летом и осенью, если урожайный год, попитавшись ягодами, переходит он на ольховую сережку, на березовую почку, и хорошо, если поблизости речка с чернолесьем, когда поклюет мерзлой рябинки, черемушки ли пощиплет. А уж самые везучие, возле пашен уродившиеся, в овсы с опушки выбегут, метелочки пошелуют, зернышками зоб набьют.

И эта, считай что «Божьим духом» питающаяся птаха, резва, весела, такая приспособленная к лесообитанию, такая необходимая в таежном деле. Скольким людям спасла жизнь эта, по всем российским лесам обитающая, птаха!

И мне, и моей семье, она, можно сказать, также жизнь сохранила.

По мере распространения лесозаготовок по многотрадальному Уралу, расширения электросетей, телефонных линий, железных дорог и арестантских лагерей отступила тайга к склонам хребта.

Но вот и на хребте зазвенели пилы, застучали топоры, застонали деревья. В первые послевоенные годы я бродил в окрестностях города, чаще по привычной старой телефонке, которая осенней порой была похожа на праздничную улицу. Выкошенная летом, к осени свежо зеленеющая отавой, она по ту и по другую стороны, ровно бы украшена была красными полотнищами и флагами, по низу — кустарники краснотала, волчатника, дикой акации, ивы, калины, повыше — черемшаник, вербач, ольха, еще выше, — сплошь здесь растущая рябина, и дальше, еще выше, — уж смешанный лес, в котором по взгорьям темнел густой ельник в смеси с пихтачом; и как-то независимо, стройно, чаще всего борами росли сосняки. По склонам же гор шумели, радовались себе и радовали подлунный мир пестрые березняки и осенями ярко полыхали осинники.

До них пока еще не добрался беспощадный топор лесосека и всё и вся сминающий трелевочный трактор. Зная по телефонке все гривы, все ложки и ягодные полянки, ключики и ручьи, где соответственно времени и погоде велись выводки рябчиков, я без особого труда добывал за выход штук восемь-десять рябчиков. Но с каждым сезоном рябок становился осторожней, реже, ходить за ним надо было дальше и дальше, спускаться по склонам и распадам в речки, иногда, если удавалось уехать на поезде или уйти из дому в субботу, пораньше, доводилось и ночевать у костерка, чтобы утречком, когда рябчик охотней, чем на вечерней заре, отзывается и идет на манок, заняться охотой. Рябчик, кстати, большой лежебока и ранним утром не вылетает на кормежку и не учует парочку до тех пор, пока хорошо не ободняет. Самый, пожалуй, беспокойный, сварливый обитатель наших лесов — это дрозд. Он трещит до позднего часа, а если чем обеспокоится, и ночью затрещит, и утром, только отбелится небосвод и рассвет начнет сеяться по лесу, он уже перелетает с дерева на дерево, с куста на куст — кормится и трещит, трещит.

Однажды осенью я увидел человека, спускающегося под гору по телефонке. Он останавливался у каждого уце-

левшего столба и палил вверх из ружья двенадцатого калибра, и скоро я убедился, что он расстреливает последние, уцелевшие на столбах фарфоровые изоляторы-стаканы. Сидючи на пеньке среди просеки, я дождался стрелка, и он объяснил мне, что прошел телефонку «скрозь» и никого не только не подстрелил, даже в глаза не видел, так что ж ему теперь, патроны домой нести? Я попросил парня не палить хотя бы в дятлов и воронов и потопал дальше, до Узких, все время держа пищик в губах и работая им. Реденько из глуби леса робко и одиноко отзывался рябчик, но не летел на пищик, а начинал окружать меня, стало быть, бегать в отдалении «по полу». Чтобы подманить его и при этом остаться незамеченным, надо было потратить много времени, у меня его в тот день не было, и первый раз я дошел до Узких без единого выстрела. Навстречу мне попалось до десятка охотников, ругательски ругающих телефонку и дающих слово, что более они сюда «ни ногой».

Но и в других местах — а обходил я и объездил Западный Урал уже достаточно широко, птицы становилось все меньше, зато ширились, набирали ход лесозаготовки и по телефонке началась прокладка дороги на север Пермской области, все за тем же лесом гналась индустрия, опустошавшая российские просторы. В эти годы случилась трагедия уральского кедра, растущего, в основном, по самому хребту Урала и по западным его склонам. Две с лишним тысячи лет, как доказывала наука, потребовалось для того, чтобы сибирский кедр сложными путями переселился из Сибири на Урал, и всего несколько лет, чтобы передовые советские трудящиеся героически истребили его.

Поначалу лесозаготовители тихо хитрили и, якобы не отличая кедр от сосны, с хвойными породами вываливали его. Но вот сознательная общественность поднялась на защиту кедра, и звонкий голос молодого писателя, то есть мой, звучал возмущенно на страницах прессы, на всевозможных научных конференциях, собраниях и совещаниях, но все это возмущение, весь пыл патриотизма нашего оказался бесполезным и, что особенно горько сознавать... вредным.

Дело в том, что Уральские горы — «старые горы», скалистых обломов, утесов и всяких останцев, которыми надлежит любоваться на среднем Урале или в наших родных Саянах, довольно мало, горы здесь покрыты неглубоким почвенным слоем, который и дал жизнь лесу, но у леса

того, стало быть, и у кедра тоже — корни «стелющиеся». Лес на хребте Урала может стоять и расти только «семейно», ограждая друг друга от повальных ветров и бурь, лес выживал, хотя и падало его много. Ходить по хребту, заваленному валежником, мог только лось и беглый арестант, трогать, заготовливать лес на хребте было большим государственным преступлением, но коли государство в основе своей преступно, что ему еще одно какое-то преступление, тем паче, что и вели лесозаготовки на хребте большей частью обитатели сталинских лагерей и не все же там отбывали срок по напрасному обвинению.

Лес вываливали, плавил по рекам, топили, волокли по болотистому хребту трактора, по кабину в грязи — дело в том, что нижний, почвенный слой лежал на «луде», значит, на камне. Время, столетия, постепенно его разрушая превращали камень в крошку, в дресву, в песок и в саму почву. Кедр, защищенные, отбитые патриотами природы, оставляемые лесозаготовителями, стояли здесь до первого большого ветра, затем происходил сплошной ветровал и «дело с лесом» заканчивали пожары. Так получалось, и до сих пор у нас получается: хотим как лучше, а выходит как всегда. Этой поговорки я у Даля не встречал, значит, наших времен поговорка, временем нашим закономерно рождена.

Чусовские охотники, побив птицу в окрестных лесах, начали проникать в глубь Урала, аж до самого хребта, по речкам, с помощью самими же изобретенного моторчика-весла, он громко пыхал, тихо вел лодку, но зато ни перекатов, ни шиверов, ни порогов не признавал. Тут и заводской, подвесной мотор приспел и, на горе русской природе, начал совершенствоваться, набирать мощи и скорости, дошел до машинки под названием «Вихрь», который дал всплеск такого широкого и беспощадного браконьерства, что застонала русская земля, заплакали реки и дубравы наши.

Я не имел ни лодки, ни мотора, потому как из техники владею только электрическим выключателем, который работает сверху-вниз или влево-вправо. Еще похаживал я в разбитые, опустошенные пригородные леса, приносил пару рябчиков, но и пустой начал возвращаться домой, сделав в воскресенье километров двадцать-тридцать по лесу и по вырубкам и новым просекам. Нечаянно открыл охо-



ту под самым городом; за вильвенским железнодорожным мостом были поля подсобного хозяйства металлургического завода и вокруг них, по болотным зарослям развелись табуны тетеревов! Это тоже загадочное явление нашей жизни. Все в окрестных лесах повыбито, расстреляно, разогнано, имея охотничий азарт и много припасу, молодые охотники остервенело расстреливали стаканы на столбах, хлестали канюков, кружащих по полям, лупили во все, что шевелится. А в двух километрах от города вечерней порой, низко стелясь над перелесками, крадучись вылетают в поля тетеревиные выводки и, весело почирикая, бегают по овсам и теребят их. Я соорудил в конце дальнего поля шалашик и стал хаживать в него; за вечер, бывало, подстрелю парочку косачей или тетерку и доволен собой и своей смекалкой. Да недолго «улыбалась мне удача» — или мои скромные выстрелы были услышаны, или работяги с подсобного хозяйства растрепались, но нагрянули в поля шайки охотников, натренированных в стендовой стрельбе, что били влет хоть бутылку, хоть кепку, вальдшнепа, мелькнувшего меж дерев, болотного ль стремительного бекаса, бурундука, любопытную молодую белку без лишних раздумий валили в одно мгновенье.

Открылась канонада, и, набирая размах, раздавалась она до самой зимней поры. Удалые стрелки за вечер выбивали до десятка птиц каждый, и когда на следующую осень я завернул на поля подсобного хозяйства, то увидел вдаль, на вершине осинки, одинокую тетерку. Она, приподнявшись на лапах, вытянув шею, весь вечер глядела на поле с овсом, но слететь в него так и не решилась.

Еще мне доводилось провести отпуск в Узких или в глухой деревушке на реке Чусовой, отыскать не подчистую выбитые выводки рябчиков, хотя птица везде, даже где люди появлялись нечасто, сделалась осторожной, ловкой и недоверчивой. Еще забирался я в глубь лесов с кем-нибудь из «омоторенных» охотников и рыбаков, но к охоте я стал терять интерес, потому что привык по лесу бродить в одиночестве, поступать как мне хочется, стеснялся я моей неумелой стрельбы с левого плеча, «на три метра с пробегом», как говаривал мой покойный дед.

К этой поре я уже начал сочинительствовать, выпустил первую книжку, работал в редакции местной газеты, где один опытный охотник, стрелявший на стенде и ежедневно, вместо физзарядки, упражнявшийся с ружьем, свел меня на местный «охотничий ток», что приютился на дет-

ской технической станции, где по вечерам собирались местные, природой одержимые мужики, играли в шахматы, в бильярд, но главное — трепались о походах по лесу, об охоте, рыбалке, и здесь же мастера-преподаватели, которым не составило бы труда и блоху подковать, начали делать из спортивных бамбуковых шестов удочки под загадочно звучащим названием — «спиннинг», а также катушки к нему и блесны. Катушка, которой я пользуюсь до сих пор, у меня «чусовская» и несколько блесен еще есть, а тогда, до появления спиннингов в продаже, это была такая редкость, что на реке зеваки собирались толпами — посмотреть на невиданную диковину.

Однажды в город привезли из Венгрии ружья, и редакционный охотник посоветовал мне купить новое ружье, так как «тулке» крестного я дал такие нагрузки за прошедшие годы, что она хоть и держала вид и бой, но выглядела уже старушкой, пусть и заслуженной.

Новое ружье знаменитой немецкой марки «Зимсон», корпорация которой имела отделения во многих странах Европы и снова начала выпуск своей продукции в том числе и в Венгрии, было бескурковое, легкое, с ореховым ложем, конечно же, с отводом для правого плеча. Но мне приходилось с этим мириться — я хоть с левого, хоть с правого плеча стрелял худо, особенно по двигающейся цели, и по-прежнему болел болезнью старовременных охотников: жалел припас, оттого и не пристрелял новое ружье, а снарядил патроны согласно инструкции уже бездымным порохом и отправился — от газеты «Чусовской рабочий», где я «вел», в основном, лес и транспорт, — в леспромхоз на реку Койву. Вместе с Вильвой и Усьвой она начинается на Бассегах — так называется одно из самых красивейших мест на Западном Урале, и я уже написал и напечатал очерк об этой троице, назвав его: «Реки-сестры». Сестры — Вильва и Усьва — текли вместе, порою почти соединялись, но норовистая Койва, только начавшись, отворачивала в сторону, текла и жила отдельно и впадала в ту же речку Чусовую, но километрах в шести-десяти выше Чусового.

На беду этой реки и горемычного Урала, на Койве найдены были алмазы, золото и вроде еще что-то. Саму Койву и многие притоки ее варварски уничтожили мощными драгами.

Из поселка Кусья, стоящего в устье речки Кусьинки, впадающей в Койву, я вышел рано поутру и направился пешком на лесоучасток, верст за пятнадцать.

Наступил октябрь, и после бабьего лета, которое часто бывает на Урале лучезарным, ярким, одаривает людей и теплом, и ягодами, и грибами, природа хмурилась, грузные, туго набитые и налитые, осенние тучи, опускались все ниже, ниже и вот пробно коснулись мутной воды Койвы сперва хлесткой полоской дождя, потом белой завесью липкого снега. Я поднял башлык дождевика и прибавил шагу. Но заряд снега оказался краток. Внезапно тучи, подхваченные бурной рекой, покатались вниз, и унесло их не то течением, не то резво хлестнувшим и тут же виновато притухшим ветром за отвесные скалистые берега Койвы, к темнеющему вдали горному перевалу.

Солнце, умытое, начищенное снегом, что медный таз, мелькнув раз-другой в прорехах туч, обозначилось во всей красе, во всем сиянии и вроде как вместе со мною и всем Божьим миром, недоумевало: как же так случилось, что меня, такого славного, всеми желаемого, утреннего гостя, кто-то посмел затмить, взять в полон? Неправильно это, не должно так быть!

Надо заметить, что я уж заметно расписался, выпустил несколько тоненьких книжонок в областном издательстве и начал выбиваться за городьбу литературы убогого областного уровня. У меня намечался выход первой книги в Москве. Поскольку в редакции голова моя до маковки была забита газетными делами, а вечером — домашними заботами, для писания и чтения мне оставалась ночь. В избушке на окраине города, которую я начал строить и никак достроить не мог — из-за отсутствия материалов, ночами я скрипел пером, и кто-нибудь нет-нет и усмехался: «Бездельничает. Семью морит. Ружье вот новое купил!» Но ружье все еще маленько кормило семью, ребятишки теребили рябчине мясо, мы — я и жена да нянька — хлебали ароматную жижицу и обгладывали после детей оставшиеся косточки. В той тесной, не совсем достроенной избушке сидел я за столом, сочинительствовал, однако подумать и пописать вволю то, что мне хотелось и как хотелось, я мог только мысленно — на охоте. Бродил по лесам и горам чаще один и сочинительствовал и при моей-то замедленной реакции стрелял во взлетающую птицу, хлопаньем крыл меня напугавшую, — на километр сзади, либо на двести метров спереди. Почти все

ранние сюжеты рассказов, затем и повестей «выходил» я в лесу, на охоте, а что меньше живых душ погубил, значит, так было Богу угодно.

На рыбалке я совсем не умею отвлекаться, только бы клюнуло — никаких больше мыслей и желаний в башке нет.

Словом, иду я по окошенным, изумрудно сияющим берегам Койвы, люблюсь зеленью отавы, полянами, на которых, подбоченясь, бодрятся ладно сметанные стожки сена, и на каждой жердине, торчащей из стога, непременно сидит нахохленный, мрачно действительность воспринимающий коршун. При приближении моем он молча снимается с жерди, низко стелясь над берегом, гонит перед собой валом перекатывающиеся табуны дроздов и всякой иной мелкой птахи, еще не отлетевшей на юг, и стайки жирующих перед зимою здешних птиц.

Рябины, калины, черемухи, всякой ягоды в тот год уродилось много, птицы сыты, гладки и резвы. А был год совсем недавний, когда мы шли с напарником по берегу этой же Койвы, и он усыпан был птичьими трупиками, слабые, недооперившиеся дроздята коротко перелетали перед нами либо с жалобным писком прятались в камнях и корягах. Мы собирали пташек, засовывали под телогрейки, и они, поцарапавшись в грудь, затихали, согревшись, но как их ни грей, ни привечай — они обречены — бескормица.

А когда осень в спелой поре, когда в лесу всего много и всем живется хорошо, то и душу человека посещает покой и умиротворение. Я вот иду и думаю, что урожай на овощи нынче хорош, и картошку в огороде и на загородном участке выкопали мы в сухую погоду, а картошка — главный вседержитель и спаситель нашей семьи, и нашей ли только — всей России, всего честного российского народа...

И-и, шык над моей головой! Низко и многокрыло прошелестело что-то, пока от мыслей о картошке и прочем другом я опомнился и огляделся — стая уток уже заворачивала за мыс реки. И конечно, по привычке охотника-одиночки, которого никто не слышит и, значит, не видит, начал я себя громко ругать, даже по фуражке кулаком стукнул, как вижу — с верховьев реки движется на меня другая стая уток, а за нею третья. Ну, тут уж я ружье с плеча сорвал, в осоку присел, и, когда, узрев охотника, утки всем отрядом стали «стенкой», чтобы облететь меня,

дал я в самую середку сбившегося в кучу табуна дуплет, и, как обычно, ни-и-ичего, никакого урона в птичьем содружестве! Лихорадочно, срывая кожу на пальцах, перезаряжаю ружье и успеваю дуплетом ударить во след летящему табуну, и с отчаянием, с горем, почти со слезами провожаю я уток взглядом, как вдруг вижу: из табуна камнем вниз, на воду падает утка, за нею другая. В чем был, ударился я вдогон, ринулся в реку и выловил на перекате парочку серух, когда огляделся — увидел в камешках застрявшую птаху — чирка, ниже переката, по плесу несло еще одного чирка и унесло на моих глазах.

Но я был счастлив и рад — трех уток добыл! Однако ж и воды сапогами хлебнул, не успев на ходу — на бегу раскатать голенища, — надо сушиться. На сплавных реках и по лесам нашим дров столько, что можно ими все человечество обогреть и обсушить.

Сижу я на берегу, возле коряжины, у костерка — портянки и штаны сушу — решаю в честь охотничьей удачи не только водочки глоток-другой выпить, но и перекусить. Полная фляжка у меня с собой, в осенний октябрьский лес ведь направлялся, и хоть дома не потреблял зелья — не на что и некогда было, — в поход меня снаряжая, жена на всякий случай, выливала во фляжку бутылку водки, благо стоила она тогда недорого.

Выпил я из кружечки, ножиком из банки тушенки подцепил и тут только заметил, точнее, ощутил волну холода, хлынувшую по реке. Его гнала впереди себя все застилающая, весь пейзаж и солнце с неба стирающая, черная, пороховыми взрывами клубящаяся тучища. От тучи той стремительно удирал табун уток, а за ним другой, третий. Туча не то, чтобы настигала их, она, расширяясь, полнея, накрывала все вокруг, и, когда меня вместе с костерком моим начала осыпать белой дробью ледяная крупа, в речную залуку, возле которой я разбил свой нехитрый стан, плюхнулся табун уток — нарядных связей, а к другому берегу сыпались табуны шилохвости, серух. Я даже не прятался, не подкрадывался, прямо от костра ударил в сбившийся в кучу табун и выбил трех уток, за одним подранком, правда, пришлось бежать и в воду забредать. Когда я бежал, разбрызгивая воду по отмели, навстречу мне взмыла плотная утиная стая, и я дважды выстрелил в нее дуплетом. И эта туча прошла так же стремительно, как и накатила. Костерок мой притух, портянки с бревешка я не успел снять, штаны надел сырые, сапоги надернул на

босую ногу и перебрел по перекату на другую сторону реки, где, показалось мне, в осоке прятался подранок. Он утих в обкошенных кочках. Что-то подсказывало мне походить по берегу, посмотреть, и я нашел еще пару уток, крупных уток — шилохвостей.

Пока я бродил туда-сюда, пока собирал подстреленных уток, грянул еще один снежный заряд, за ним другой, и потом, с короткими перерывами, несло, тащило тяжелые тучи, хлестало снегом и дождем, на какие-то минуты выпутывалось из лохмотьев туч очумелое солнце, болезненно ярко выплескивалось оно в прорехи поседело клубящихся по краям туч, и тут же его заслоняло, запихивало, укутывало в грозное, черной сажей покрытое небо, и тогда накатывала темень, вместе с нею ошарашенность и недоумение, да полно, были ли они — небо, солнце, свет?!

Вместе с низкими тучами, с клубами снега и полосами хлещущего дождя, над самой водой и берегом шла утка — табун за табун, стая за стаей, — вот повалила и северная утка, на убой крепкая. Прямо от кисло тлеющего костерка, без всякого уже азарта, вяло выстрелил я еще несколько раз и решил посчитать патроны — их осталось восемь штук. Место глухое, я один, надо и опомниться, поберечься, ведь совсем недавно, года два назад, со мной случилась беда, и спасла меня тогда тоже охота и ружье, еще то ружье, «тулка» крестного.

Нежданно-негаданно, в мирные дни, в спокойные годы, которые, может быть, и были где-то спокойны, только не в промышленно-перенаселенном Урале, не в Сибири, не на Дальнем Востоке, получил я самый большой гонорар за газетные труды — нож в спину. Проникающее ранение легкого вызвало тяжкую эмфизему, и я отдавал уже Богу душу, но мой дружок по рыбалке, местный доктор, да и жена моя совсем еще молодая; двое детишек детсадовского возраста не захотели никуда меня, только что выпустившего свою первую книжку, отпускать, да и я был еще крепок духом, горел желанием осчастливить мир своим пером, не пожелал сдаваться смерти и, как только чуть мне полегчало, собрался в лес. Жена со слезами и отчаянием умоляла меня никуда не ходить, уверяя, что совсем еще, совсем я слаб, да и лекари не велели перетруждать-ся. И тогда я сказал жене, из-за меня вечно страдающей,

что если не смогу подняться в гору — вернусь и уж больше никогда и никуда с ружьем не пойду.

В эту пору мы уже жили на улице Нагорной, променяв свою дорожную избушку, которая снится мне до сих пор, на избу настоящую, более просторную, где у меня за деревянной заборкой появилась почти отдельная комната, почтительно именуемая кабинетом.

Гора со Светлым ключом в разложье начиналась прямо от порога, и по ее пологому склону, хорошо и точно в Сибири называемом «тянигусом», я бывало рано поутру, взлетал за какие-то минуты, согревался, стогнал сон. А в этот раз я поднимался в «тянигус» почти час и отдыхал двадцать один раз. Одолев гору, на горбине ее остановился, присел на траву и почувствовал слезы на лице. В следующий поход, я отдыхал на подъеме только восемнадцать раз, потом пятнадцать, потом десять, и, когда достиг того, что поднялся на гору без остановок, не заплакал, нет, я при всем моем благоговейном отношении к «припасу» высадил заряд в воздух, подбросил вверх фуражку.

И сейчас вон каким козликом носился по берегам Койвы, в воду по грудь забредал, подбирая уток, — силен еще бродяга, но хоть и герой и удалец-молодец, надо возвращаться в Кусью, лезть на русскую печку — иначе воспаление легких, а оно мне ни к чему, легкие и без того, опять же по-сибирски точно, — «хредят».

Шел я быстро, кажется, согреваться начал, как догнала меня леспримхозовская полторка и уже затемно довезла до поселка. Ехал я в кузове, так как в кабине везли в больницу с лесоучастка женщину и ребенка. У меня уж зуб на зуб не попадал, когда я добрался до Кусьи, но печь русская в доме гостеприимной хозяйки оказалась и в самом деле горяча, щи в загнете каленые, и, выпив со мною рюмочку, заботливая женщина еще и натерла мне спину, укутала меня старой шалью, и, слава Богу, на этот раз все обошлось без воспалений, которые потом замучили и мучают меня до сих пор так, что нынче, ежели я еду в тайгу, то непременно туда, где есть охотничья избушка, желательно сухая, с невыбитыми окнами, с доброй железной печкой.

Я столь подробно написал об нечаянной удачной охоте на уток, о том «безумном дне» на реке Койве, потому что более так не отводил душу в стрельбе, не добывал столько дичи, хотя бывал в разных местах по Уралу, в

Сибири и Вологодчине, и такие зорьки в лесу проводил, что за всю жизнь мне их не описать.

Опытный редакционный охотник, услышав мой рассказ о походе на Койву, велел мне взять ружье, патронташ и идти на берег — пристреливать ружье. О, как стало мое сердце, когда мы лупили в банки из-под консервов, в старое ведро, в мишени, карандашом нарисованные, и «зазря» жгли заряды. Охотник одобрил ружье, но подсказал мне — на два, а то и на три грамма убавить заряд пороха, если на рябка — заряжать дробью помельче. И дело пошло лучше, ружье било не «наскрозь», а как полагается ружью; «рон», по-охотничьей словесности, имело верный, за подранками я бегал уж только тогда, когда бездымный порох слабел, перележав положенные сроки. Выбросить патроны, сжечь в печке старый порох было мне не по силам — память детства, внушенные в раннем возрасте привычки, правила, обычаи, причуды — они основа нашей жизни, морали нашей, умения или неумения жить, трудиться, уважать людей, да если эти основы крепко в тебя вбиты.

После учебы в Москве на Высших литературных курсах предстояло моей семье расстаться с городом Чусовым, дымным, грязным, шибко пьющим, но богатым добрыми, отзывчивыми людьми, верными артельщиками в тайге и на реке. За восемнадцать лет, прожитых в том городке, не было случая, чтобы меня, попавшего в переплет в тайге, или товарища моего, вечно мучающегося с лодочным мотором, оставили без помощи, бросили. Наматерят чусовяне, наругают власть, но мотор наладить пособят, если не налаживается, «конец дадут» и на поводке домой привезут. Да и ребяташки мои «очусовелые» здесь выросли, одно дитя рядом с родителями жены, великими тружениками земли российской, на кладбище лежит; молодость изжита в этом же городе, первые рассказы здесь написаны и опубликованы, каждый житель города в лицо знаком, полно товарищей по работам разным, полно корешей-охотников и рыбаков, однако далее жить в замурзанной провинции нельзя, если не остался в столице творить, то хотя бы к областной культуре, к творческому Союзу, к издательству, к театрам, к музыке, к библиотекам придвинуться следовало поближе. Я знаю несколько наиодареннейших писателей, застрявших в глу-



ши российской, беспробудной и окаменелой. Они там, всеми брошенные, местными властями презируемые, постепенно засохли, обесточились, смиряясь со своей безрадостной судьбой.

Трудновато отрывались мы от Чусовских берегов. Труднее всех расставалась с родным городом жена. Но Пермь от Чусового всего в нескольких часах езды на электричке, да и не в пустыню едем, писателей, журналистов, издателей, некоторых артистов лично знаем, жилье — трехкомнатную хрущевку, сданную без света, без воды, без газа, дружной артелью обжили. Спальня наша с женою, она же и кабинет, новые стеллажи с книгами, картинки, на новоселье подаренные, висят, лампочки горят, на столе у меня «статуя-бюст» любимого поэта Некрасова стоит, за стенкой, которую можно кулаком прошибить, музыка от темна до темна звучит. Там за стенкой молодое дарование готовится поступать в консерваторию и играет «Аппассионату» Бетховена, что-то Рахманинова и Грига. С удовольствием слушаю бесплатный концерт, иногда с женой ходим в гости, но чаще один — мастерские художников обживаю, на хоккей хожу, на собрания, на творческие совещания, на выставки разные... даже на открытие библиотеки позвали, в обком — «на дружеские беседы» иной раз приглашают.

Жизнь бьет ключом, культурная среда, общение с интересными людьми, треп по поводу литературы и искусства ширятся.

Так прошла зима. Весной хватился: ничего почти не написал, начатая «Кража» — повесть — запылелась, бумага пожелтела. Повесть давалась мне надсадно, писать ее приходилось с мучением. А поговорить об этом деле, о творчестве — стало быть, бутылек при этом раздавить под громкий говор, хохот, утопая в табачном дыму, — такое ли приятное занятие. Иные друзья-товарищи, со мной и до меня вступавшие в литературу, уж лет по десять так вот «интересно» проводят время, общаются, кипят в творческой среде, перед читателями красуются, выступают — и забыли дорогу к столу. А у меня и оправдание есть, детки в резвый возраст вошли — их у нас трое — еще племянник жены растет в семье и так же, как мои дочь и сын, учится шалай-валяй; музыку детки во всю мощь заводят, кавалеры и кавалерши означились. Мешают детки, мешает пианист за стеной, он или лучше играл осенью, или заигрался. Мать студента сказывала: даже брюшки

пальцев у него распухли, уже и буреносный Бетховен, и светлый Григ и, тем более, мрачный Рахманинов, — кроме раздражения никаких других эмоций во мне не вызывали; и однажды я сказал жене: «Пойду и прикончу этого шульберта!»

— Пить поменьше надо и работать пора приниматься, — урезонила меня жена. Стро-огая жена! Но, в общем-то, работать в городе даже мне, ни к какому комфорту не приученному, было невозможно, и начал я искать, и нашел с помощью главного редактора областного издательства, и купил избушку «за морем», за Камским водохранилищем, значит. Заброшенная, от электричества «отцепленная», все блага цивилизации утратившая деревушка Быковка, стоявшая на одноименной речке, окружена была вырубками и несколькими совхозными полями, в речке велся и хорошо клевал хариус, по большой воде заходила в речку и другая мелкая рыба.

Я поступил и на этот раз так же, как поступал и до этого в незнакомых местах: взял вещмешок с харчами, топорик, ружье и ушел в глубь разгромленного, очень трудно оживающего лесного материка. Заблудился, конечно, да сам и «разблудился», потому как космически-кошмарный материк, образованный лесозаготовителями, страдававшими здесь до войны и всю почти войну, рассекаем был несколькими веселыми речками, впадавшими в Быковку. Сама же Быковка впадала тогда в реку Сылву, но, подпертая водохранилищем, гнила теперь в устье грязной, сорной лужи — рукотворного моря. Здесь прокисало и прело обширное сооружение из бревен, называемое сплавным рейдом.

Ну, а раз есть речки, никакой бродяга, тем более охотник, пушай и такой аховый, как я, тем паче привыкший ходить по уремам и весям и бороться со стихиями в одиночку, в русском-то лесу не заблудится насовсем. В лесу! А не на вырубках, где все вверх дном перевернуто, где масса лесовозных волоков, кончающихся тупиками. Но по этим вырубкам, слава Богу, еще косили сено, на волоках, на хилых полянках, где нет пней и кореньев; и я в конце концов нащупал свежий след трактора да тележную колею, проложенные сенокосниками. Однако ж ночевать мне пришлось средь вырубков, на которых кое-где, чаще в ложках и кустами заросших оврагах, сиротливо

жались друг к дружке окруженные разгромленной природой выводки лесин, как мне потом объяснили хозяева тех окрестностей: «Оставленные на семена». Но скоро они посохнут, которые уцелеют, те лесозаготовители дорубят, дождут и оголят истоки речек, горные ключи и ключики — хозяйевать так уж хозяйевать, до победного конца, чтоб яснее было видно сияние вершин коммунизма.

Наслышанный о том, что хлам этот, кладбище это лесное, безбрежное засорено клещом, я оделся «противоэнцефалитно» и днем, снявши со штормовки нескольких клещей, не решился ночевать возле ключа, в лесном опечке, облюбывал стожок, возле которого светлела весенняя лужа, развел огонь, сварил чаю, поужинал, залез в сенную нору и мгновенно уснул.

Проснулся я от всемирного грая, свиста, чулюканья, чирикания, жужжания, карканья, разноголосого пения — казалось, небо качалось от весеннего птичьего восторга, и земля раскачивалась вместе со своим веселым малым населением, благодарно подбрасывала его вверх за то, что оно украшало, радовало ее и никогда не ранило, не убивало, как эта двуногая тварь под названием человек, называющая себя — хомосапиенс, а по делу-то — хам, дикарь, разбойник, грабящий природу-мать и, стало быть, убивающий себя заодно, только природа-то выживает, поднимается с колен, а исчадие это сойдет на нет, исчезнет, растворится, развеется пылью в бесконечности мироздания, как выродок вселенной, самое худшее творение ее.

Такие вот мысли еще вчера угнетали мою контуженную башку, а сейчас я сидел на пеньке возле стога, держа на коленях ружье, и вокруг меня исходил ликованием весенний мир, и я ликовал и радовался тому, что не убит, не истреблен до конца мир этот Божий и творения Его — оттесненные, загнанные в глушь вырубков, непролазного лесного кладбища, где было в изобилии корму, ягод малины, калины, рябинника, и в гнили — тучи козявок, жуков, червяков, тли и бабочек, — птицы тут женились, плодились, танцевали, пели — такая нечаянная, негаданная кладбищенская свобода, избавление от машин и людей.

Меж пней и выворотней, обросших кипреем и малинником, яростно шипели и подпрыгивали косачи; над поляной до солнца тянули вальдшнепы, стригли крыльями высь жужжащие бекасы, кулики и плишки бегали вокруг луж, в ложке возле ключа, в реденьках живых лесах все утро свистели рябчики.

Я сидел, блаженно улыбаясь, отмякнув нутром, и ни в кого не стрелял — не хотелось мне оглушать громом выстрела этот весенний песенный праздник, это златокудрое солнечное утро.

Освоение лесопорубленного материка при слиянии рек Чусовой и Сылвы заняло несколько лет. Пара товарищей моих частенько ко мне приезжала — пострелять и порыбачить. У одного был спаниель Арс. Старый уже, усталый пес, но, как и всякая тварь аристократического рода, наделенный неиссякаемой сексуальностью. В одном из последних пометов оказался кудрявенький, черненький щенок — его и приволок мне в подарок товарищ мой по литературе и по походам в лес.

Почти всю первую пермскую зиму новорожденный, получивший имя Спирька, провел в городской квартире и за это время научился за сладости, лакомые подачи давать голос, протягивать лапу всем, кто его об этом просил, опрокидывался на спину, чтоб сытое его пузцо почесали и похлопали. Детки мои преподали Спирьке полный курс поведения советского придурка и поначалу чуть не дрались в узком коридоре хрущевки за право погулять с собачонкой, а после — ругались и препирались из-за того, чтобы избавиться от этой доуки.

Суждено было Спирьке прожить свои годы в деревенском приволье, исходить следом за мной всю округу, насладиться природой и охотой — дичью для него было все летающее и бегающее, от воробья до лося и медведя. Страха он не знал, злобы не ведал, и одно горе горькое терзало его: когда мы уезжали из деревушки, на него надевали ошейник и за поводок уводили к бабушке Даше, жившей за речкой. Спирька не скулил, он рыдал на всю округу, каково же было его счастье, когда, от утра до ночи глядящий на бутор, где стояла наша изба, замечал он над нею дымок и его спускали с привязи. С криком ворвавшись в избу, он полз, жалобно скуля, от порога в кухню, к печке, к нам, оставляя мокрый пунктир за собою.

На охоте он знал одну страсть: выследить и отогнать от охотника всякую птицу, всякого зверя, и если я шел «на рябчика» и не брал его с собой, он опять же плакал на всю округу. Случалось, изгрызал, проламывал дверку конуры и настигал меня в лесу, найдя подранка, он давливал его и не раз являлся ко мне с пухом на рыле, совал

лапу, требуя в награду кусочек сахара, сушку, печенюшку, пряник. Сексуальностью Спирька удался в папу Арса, и много раз, горько плача, являлся он из соседней деревни или со сплавного рейда на трех лапах, с искусанными ушами и разбитым сердцем.

У меня и до Спирьки, и после него, а прожил он двенадцать лет, бывали собаки, в основном лайки, но Спирька — статья особая в памяти семьи и в моей памяти. Давно я собираюсь написать повесть для детей об этом чудесном, легендами овеянном, преданнейшем существе, за Быковкой речкой, на косогоре, под елью покоящемся, и, однако, скоро напишу.

В эти годы съездил я на Южный Урал в гости к фронтовому другу. Когда-то во время боя довелось помогать ему, раненному, и он давно, сразу после войны, нашел меня, писал мне и звал в гости. Был он неплохим охотником, ездил на вблизи расположенные казахстанские озера — «на гуся», и не только на перелетного. Он знал толк в ружьях и подарил мне старый, сорок седьмого года выпуска «Зимсон» с уже нашим, из березового корня или свива, сделанным ложем. Прекрасное ружье, мало изношенное, прикладистое, тем более из рук друга-фронтовика, а это все равно, что от брата полученное, пришлось оно в пору, я начал брать его с собой чаще, чем тот «Зимсон», который купил несколько лет назад, и терпеливо служил мне кормильцем, защитой, другом и спутником моим был. Все чаще венгерский «Зимсон» попадал в руки моих гостей из творческой интеллигенции, много всего знающей и мало чего толком в жизни и в лесу понимающей. Для ружья это была беда, но еще не совсем губительная. Подросли детки мои, товарищей заимели, дорогое мое ружье стало попадать в руки этих шалопаев. Однажды принесли ружье из лесу в беремени — обычная история: подшибли ястребка, бросились к нему, а он шипит, клювом и когтями жизнь обороняет, значит, добывать надо прикладом. Стукнули в птицу, попали оземь — шейка орехового приклада переломилась. Ружье налаживали, чинили. После окончания техникума, уехавши в уссурийскую тайгу, племянник взял его с собою. Возвратился без ружья — или доконал строитель-герой современности памятное мне ружье, или пропил.

«Ружье и бабу никому не доверяй!» — повторяли мне когда-то часто мои покойные отец и славный дед, который в отличие от деда опереточного, не дожил и до пяти-

десяти пяти лет. Да вот забыл я в то время грубо изреченную мудрость и поплатился за это не раз и не два. Зато теперь я точно знаю: есть «душа вещей», душа странная, бескровная вроде бы, но с обидчивой памятью. Особенно ранимая, привязчивая, измены не прощающая душа вещей, надобных в тайге. Вещи эти, помогающие человеку жить, работать, иногда спасающие его жизнь, прилипают к человеку, срастаются с ним, как братние стволы у дерева. Вот отчего опытные охотники неохотно меняют свои вещи — до обуха изрубленные топоришки, ножи и бритвы, до кромки источенные, ружья чиненые-перечиненые. Суеверие таежного человека зародилось вместе с ним, несмотря на воинствующий атеизм, в корне своем оно не изменилось, и если охотник уверяет вас в том, что топоришко его «ишшо из той, старинной стали, которая не крошится на морозе и не мнется на точиле», — а ножик и бритва «ишшо дедовы, отменную востроту держат, режут и бреют неслышно», — это правда, да не вся — боязно, до страха боязно утратить к руке приросшую вещь, и если она теряется — охотник иль рыбак начинает ждать беду и часто беда наступает его.

Если вам доведется ходить в тайгу с бывалым человеком и он, утопив старое, невзрачное ружье иль захудалый с виду топоришко готов ковшом вычерпать реку иль, бросив дела, кружить по тайге, чтоб найти пропажу, — не мешайте ему, не отговаривайте — с потерей вещи он может потерять уверенность в себе, разочароваться в своем умении, навсегда бросить промысел.

Вот вам маленький пример из собственной, назовем по-современному неблагозвучно, практики, что ли. Приобретя венгерский «Зимсон», решил я обновить и охотничьи принадлежности, среди которых особое место занял складной нож с крепким шилом, штопором и отверткой, но главное — с выбрасывателем гильз на торце. Поскольку долго пользовался я старыми медными гильзами, доставшимися мне с ружьем от крестного, то часто они, разорванные, застревали в патроннике и застревали, как водится, в «горячую минуту», то рвал я и пальцы, и козонки\*, и стволы ружья царапал, добывая гильзы. Папковые гильзы заряжал я по два, иной раз норовил и по три раза. Славный был у меня ножик, верно служил мне до тех

---

\* Козонки — костыга для игры в бабки; род широкого шила, плоский крюк (В. Даль)

дней, пока я не попал на озеро Байкал, в просторную избу, из которой навечно уплыл на другую сторону озера Саша Вампилов, и Россия не перестала оплакивать его до сих пор. Напарник Саши — человек безалаберный, пьющий, чувствуя свою вину перед гостями, а гостями в этом доме бывали чаще литераторы, пытался всячески «искупить вину», задабривал их и почему-то решил задобрить и растрогать меня тем, что подарил складной нож с инициалами на ручке — «А. В.». С тех пор, как я получил гонорар ножом в спину, не могу принимать в подарки ножи, но мне почему-то их дарят и дарят, даже одна знаменитая, любимая певица привезла мне из столицы в Сибирь охотничий нож. Ну, а ножик Саши Вампилова был из той же серии, что и мой, охотничий, только мой был первых выпусков, из крепкой стали с ручкой из эбонитовых, ромбиками насеченных пластинок, чтоб не скользила рука, привинченных к основанию ручки крепкими шурупами. В ноже Саши все уже было упрощено, ручка гладкая, железо на ноже гнущееся, сталь мягкая, зато добавилось «украшение» — медный ободок — это уж вовсе по-советски: построить жилой дом так, что в нем и жить-то нельзя, зато повесить над дверью неуклюжий колпак с лампочкой или бетонную, издырявленную дуру поставить по обе стороны подъезда, как украшение современной архитектуры.

Но это к слову. Приехал я домой с Байкала и стал, исполняя благодарную память, чаще брать на реку и в лес ножик покойного драматурга, а мой старый ножик начал «теряться». Через полгода, иногда через год найду его в кармане старого плаща или телогрейки. Приехал мой старый нож со мной в Сибирь, раза два объявлялся, поржавевший, запущенный, какой-то преждевременно постаревший, обиженный, и вот уж три года как исчез, совсем потерялся. Но исчез — потерялся и вампиловский нож.

«Ерунда. Совпадение. Старческий маразм. Юмор, да и только!» — Ой, не скажите! Ой, не торопитесь верить современному пустословию, которым убедили нас, что мы, советские люди, — самые на свете умные, все знаем, все умеем, только на горшок не просимся, в лифте или на площадке собственного подъезда почему-то опрашиваемся. Словесной, безбожной дешевке десятки лет, земной мудрости — миллионы! И время, уверяю вас, мудрее нас, даже самых мудрых, и оно, время, — бессмертно, у него, у вре-

мени, есть будущее, у нас его нет, потому что мы — враги сами себе и враждебно относимся ко всему, что нам непонятно, ограниченному нашему уму недоступно.

Близится к завершению «быковская эпопея».

Материк во слиянии Чусовой и Сылвы, заканчивавшийся клином нетронутого, «колхозного» леса, береговым краем подходивший к деревушке Быковке, я избродил, освоил и не особо распространялся в городе о благодатном для охоты и рыбалки грибном и ягодном месте, но двух товарищей все же потаскал за собою, и один из них сделался заядлым «харюзятником», другой по натуре был романтик и стрелял не лучше меня, но побегать с ружьем любил. Нахлынул, было, на Быковку местный писатель и журналист, но в ту пору один был сюда транспорт — водный в лице тихоходного теплохода «Урал», все надо было таскать на себе, от керосина до хлеба. Писатели, журналисты, художники и прочая интеллигентно себя понимающая публика таскать на себе ничего не любит, и стали они осваивать те места, куда теплоходы ходили чаще и начала бегать «Ракета». Наших берегов если кто и достигал, селился ближе к большой воде, на берегу водохранилища. Ныне эти берега застроены дачами, колхозный лес, сделавшись беспризорным, срублен подчистую. Долго и упорно державшийся в устье Быковки лесоучасток со сплавным рейдом, выхлестал, с корнем повырывал те сколки леса, которые оставались для осеменения.

Однако живуча, вынослива русская природа, как и русский человек, — ни одна, уверяю вас, ни одна нация в мире не смогла бы существовать при той бесчеловечной системе, которая называла себя передовой и истребляла все вокруг, но прежде всего человека, поставленного на колени, и бессловесную природу, которая, однако, начала повсеместно паршиветь и отдавать «долги» людям — страшная болезнь — энцефалит — распространилась по обезлесевшему Уралу и прежде всего по старым вырубкам, которые постепенно восставали к жизни, покрываясь густыми осинками, березой-чапыжником и в которых, пусть на версту, на две-три версты темнели раскидистые елушки, пихты, кое-где даже сосны и лиственницы. Но хламу — маличника, кипрея, ползучей ивы, дикой акации, волчатника — разлитое море. Местами земля до того заголена, гусеницами изорвана, что на ней вовсе ничего не растет, только все размывает и размывает склиз-



кую луду дурными внешними потоками, покрывая гиблое пространство рытвинами, земными незарастающими ра-нами.

Учил я, учил своих домашних, как спастись от клеща, научил на свою голову, мол, где бы и когда бы ни увидели этого гада, непременно его сожгите. Поехала моя жена с племянником на теплоходе в город, букет цветов нарвали, и увидь глазастый парень тварь ползучую: — «Ой, тетя Маня, клещ! Подержите его в ладони, я спичку достану». А только что они обихаживали избу, делали ремонт, и руки у обоих в царапинах, ссадинах — этого хватило, чтоб заболеть обоим. Они еще успели вернуться, и начали умирать оба разом, за морем же, за рукотворным, ни больницы, ни врача, — большой водой отрезаны люди от цивилизации, и теплоход ходит раз в сутки, это если только он не сломается, на мель не сядет и боевая его команда не запыет.

Лихо пришлось всем, и больным, и тем, кто доставлял их в город уже беспамятных. В городе, как водилось при бесплатной советской медицине, нет в больницах мест. Попросил я Союз писателей помочь мне, позвонить в обком, но оттудова партийный чиновник, ведающий медициной, фыркнул: «Мне только этого не хватало — заниматься писательскими женами!»

Определили-таки люди добрые в больничный коридор сгорающую от адской температуры, беспамятно кричавшую жену. Парнишку положили в инфекционную больницу, но в больницах еще не знают, какой диагноз ставить и чем такую неслыханную болезнь лечить.

Я дал себе слово, если жена выживет, уехать с Урала, бросить эту опостылевшую промышленную громаду, медленно, но верно погружающуюся во мрак, в дикость, в пустыню.

Крепкое, мужественное создание — моя жена, вятского крестьянского корня, она и меня, и пропащую послевоенную жизнь выдержала, и смертельную болезнь — энцефалит, перемогла, не без последствий, конечно, ее левая, «рабочая», рука так и осталась полупарализованной, голова сделалась больная, сдало сердце, «сели» зрение и слух. Но оба мы еще были бодры, работоспособны и несколько лет, как оказалось после, самых счастливых, прожили в Быковке, где поднялся лес, посаженный мною в огороде, цвели цветы, принесенные мною с вырубок, особенно ярко и благодарно цвели дикие пионы — марьины коренья.

Здесь мне хорошо работалось. Бывало, утром поднявшись, я до обеда не разгибал спины, потом брал удочку, иногда ружье, и шли мы вверх по речке, где были у нас уже обжитые места с кострищами. Изловив пяток-другой харюзков, варили мы уху — а нет ухи вкуснее той, что варена из только что пойманной рыбки, да еще из той воды, где хариус и водится. Перед ухой бывало и выпьем по чарочке. Затем мы кипятили чай, заваривали его смородинником и с наслаждением пили возле костерка, разговоры вели, Спирька стерег нас, хрустел сахарком или сушкой. Я шел дальше, поднимался по речке. Жена, не умеющая жить без работы, что-нибудь вязала на ходу, иногда читала, присаживаясь на полянку. Дома читать некогда, детки всегда нагружат работой. Речка Быковка, по которой когда-то велись выводки леса и даже проводился совсем уж дикий весенний сплав, очищалась, оживала, и вырубки вокруг постепенно оживали. На речке Быковке и ее притоках поселились сами по себе пришедшие сюда бобры, они строили плотины и на речке, и на ключах, в нее впадающих. Воскресала жизнь вокруг Быковки, воскресала и жена. Но вдруг новый удар — ретивые хозяйственники взялись спасать в прах разбитый уральский лес, оберегать недра, принялись осыпать dustom то, что еще росло, цвело и жило.

Приехал я однажды к водохранилищу, перешел его по льду, уже тающему, и следующим утром с ружьем отправился по просеке-тропе вдоль клина колхозного леса, по опушке, прежде всех троп выгаивающей из-под снега и радующей сердце первыми цветами — белыми ветреницами и сиреневыми хохлатками. Сюда, на морозно сияющее солнце — погреться, поклевать почек высыпала зимою боровая птица. Иду по просеке, под ногами что-то хрустит, и сапоги мои по колено в пере. Остановился, огляделся: батюшки-светы!\* Опушка-то вся завалена птичьими трупами: глухари, тетерева, рябчики, дрозды, даже скворцы, недавно прилетевшие, ворохами лежат, иные уж истлели, иные дотлевают — отравлено птичье поголовье, отравлены зверьки, наевшиеся отравленного мяса. Еще раз убита! Еще раз растоптана, растерзана безответная уральская природа — от этого удара ей уж не оправиться.

---

\* «Никто же не есть свят, только один Господь», — слышит каждый православный в храме. См. также у В. Дая — батюшки-светы.

И мы уехали с Урала в далекую, тихую Вологду, но еще не раз навевались в нашу милую, нашу сиротски опустевшую быковскую избу, и еще бродил я с удочкой по речке, но не привозил с собой ружье — незачем сделалось его привозить. Лишь кое-где по речке и ложкам подавал иногда голосок рябчик, урчали вяхири в ольховниках, в одном месте даже шарахнулся глухарь из осинников, реденько тянули вдоль опушки колхозного леса и над вырубками вальдшнепы по вечерам да где-то на горе, за деревней, шипел и рокотал одинокий косач.

А ведь совсем недавно, всего несколько лет назад, небо здесь качалось от птичьих песен, безбоязненно мышковали лисы по полям, заячьими тропами были утоптаны снега не только по речкам, но и в огородах. Великий охотник Спирька с азартным кобелишкой соседки моей выгоняли ко мне ошалелого лося, я отгонял его удочкой. Медведи развелись, однажды телку задрали неподалеку и съели. С одним медведем я на вырубках встретился нос к носу, слава Богу, мирно разошлись.

На Вологодчине я застал водоемы, удобрениями не отравленные, природу почти нетронутой, мало поврежденной цивилизацией. На прекрасном озере Кубенском было столько рыбы, что местные рыбаки ерша, плотву и мелких подлещиков не ловили. Если эта мелочь попадалась — оставляли ее на льду — воронам и чайкам. Вологодская, Ленинградская, Кировская, с севера — Архангельская — опустошились, села совсем обезлюдели, либо полуумерли, да эти ли только места, называемые Северо-Западом России, с бедными землями, надорванные коллективизацией да самой беспощадной, браконьерской войной, вымерли?! Крестьянство всей России покидало родные, обжитые места, сбегалось в гибельные, раковой опухолью военной промышленности удушьяемые города.

Я купил избу в ста километрах от Вологды, в полузаброшенной деревушке на берегу реки Кубены и нарадоваться не мог своей удаче: река порожистая, с нерестилищами нельмы, налима и всякой иной рыбы; в полях и по окрестным лесам велся и токовал тетерев, глухарь, много развелось рябчика, тревожили дичь лишь на моторках и мотоциклах наезжающие городские охотники да дачники, начавшие стихийный захват пустующих изб и строительство теремов по берегам рек. Птицы было так много, что едущие ко мне зимние рыбаки за дорогу сшибали из малопульки с вершин берез по два-три косача.

И здесь спохватились хозяйственники спасать природу и поднимать урожаи, которые частенько уходили под снег, потому что скоро сделалось некому их убирать. Леса здешние тоже с самолетов осыпали дустом, вывозили на поля кучу удобрений, их размывало дождями, паводками сносило в реки, и здесь усеялись леса птичьими тушками, тяжелыми трупами лосей и, свернувшимися в смертельной судороге жалкими трупами беззащитных зайцев, лис и одичалых кошек.

Когда я, через десять лет, покидал Вологодчину и свою избушку в полюбившейся мне деревушке, на придорожных березняках сидело одно воронье. Живых деревень на сто верст в когда-то густо населенной местности и десятка не насчитывалось. Вместо одного скокаря, который налетал на женщин ночной порой в Вологде и отбирал у них сумки, и был немедленно изловлен, развелось тучи всякой мрази, воря, грабителей, насильников. В старинном, тихом, храмами Божьими застроенном городе начали насаждать промышленность, и, как и в уральских, и в сибирских городах, сделалось здесь невозможно выходить из дому и не только темной порой. Город Вологда, силвшийся не отставать от соседнего Череповца и других промышленных гигантов, начинал расплачиваться кровью и смертями не только мирных и добрых людей, но и гибелью скромной природы, бедной земли. Современная цивилизация, которой так жаждали местные, прежде всего партийные, руководители, тоже желающие получать звезды и ордена, — за патриотизм и рвение к соцпрогрессу, не щадя никого и ничего, достигала самых сокровенных уголков России, погружала в пучину бедствий и «Тихую мою родину», как назвал родную Вологодчину великий и праведный ее певец, рано покинувший земные пределы.

Ну, а что же не «тихая», а бурная родина моя, Сибирь, куда я возвратился?

Я ездил на родину с Урала и из Вологодчины в последнее время довольно часто. Бывал в родной деревне, плавал по Енисею до Игарки, жил у брата в большом даже по сибирским масштабам селе Ярцево, по тайге хаживал, с рыбаками общался и однажды решил написать что-то наподобие путевых заметок, но расписался и вместо очерков получилось повествование в рассказах — «Царь-рыба».

Одновременно я работал над книгой «Последний поклон» и уже по приезде на родину, через сорок с лишним лет закончил ее.

Доводилось мне уже в нынешние времена бывать в местах, которые я описывал в «Царь-рыбе», одно время даже возникло желание написать книгу под названием «По следам Царь-рыбы», но когда я вник в сегодняшнюю жизнь, посмотрел «следы», оставленные в Сибири человеком за прошедшие четверть века, пришел в полнейшее смятение — Сибирь подхватила «эстафету» — так увесисто и цветисто называют газетчики, от разгромленного Урала и уничтожалась с размахом и теми масштабами, которые свойственны только нашему могучему государству, его безответственному, пустобрешному руководству и совершенно оголтело, разнузданно ведущему себя народу, который способнее бы назвать сбродом иль — по-большевистски броско — пролетариатом. Это и есть сброд, тупой и беспощадный.

К сорока пяти годам, как это происходит со многими русскими охотниками, я «остыл», ружье в руки брал только по необходимости. Первое время я ездил со вновь приобретенными товарищами на Красноярское водохранилище — порыбачить и за грибами.

Я был несколько раз на строительстве самой могучей в мире Красноярской ГЭС во время ее возведения и однажды встретил там отряд строителей, приехавших заключать договор с красноярцами из Братска. Они оказались моими старыми знакомыми по строительству Камской ГЭС, под Пермью, и я спросил их, какие изменения произошли в работе по сравнению с так варварски по отношению к природе построенной на Урале ГЭС? Учтен ли разорительный, страшный опыт прошлого строительства? И ответили мне бывшие строители Камской ГЭС, что та гидростанция на пятьсот тысяч ватт, а Братская и Красноярская ГЭС возводятся на пять с лишним миллионов, соответственно и бардак здесь больше на пять с лишним миллионов.

На Красноярском море бардак этот предстал воочию. Рыбачивший на водохранилище Камской ГЭС зимой и летом, пережил я первоначальную вспышку рыбного изобилия и полное умерщвление всего живого, по мере сгнивания под водой лесов, кладбищ, построек, отхожих мест. Уже и хищная рыба — судак, щука, окунь поражены были эпистархозом, попросту говоря — глистами. Помню, как

жутко мне стало, когда один хороший стрелок ударил влет косача на вырубках и за птицей потянулись какие-то нити, а я подумал — кишки, но то были глисты. Заразой пораженное, предстало передо мной рукотворное сибирское море, сплошь забитое погибшим лесом, потопленными селениями, пашнями, пастбищами. Рыба и здесь была заражена, парализованно бегала по верху воды, всплывала вверх брюхом в заливах, обожравшееся воронье да жадные чайки громко базарили, хватая из зеленого киселя богатый корм.

Иногда мы сходили на берег — набрать грибов, пощипать ягод, набить кедровых шишек и попутно сшибали пару-другую рябчиков — на варево и слушали рассказы бывших жителей затопленных деревень о том, что была здесь богатейшая земля, без удобрений и хлопот давала хорошие урожаи пшеницы в тридцать центнеров с гектара, а заливные покосы и горные альпийские луга, а реки, в которых была тьма хариуса, тайменя по притокам, ленка... «А птицы! А ягод! А коз! А медведя! А марала! А кабарги! А лося!» — Было, да сплыло. Понадобилась могучая энергия, чтобы крутить всепожирающее колесо военной промышленности — ради этого губилась Великая река, все реки России, все лучшие пахотные земли, истреблялись леса, недра. Происходило неслыханное и невиданное в мире отчуждение людей от родной земли, от отеческого угла. Оседлое крестьянское поголовье превращалось в городское скопище, в людское стадо, в пролетарья, которому ничего уже не жалко: ни земли, ни себя, ни родителей, ни детей своих, ни соседей, ни друзей, ни настоящего, ни будущего родной планеты.

Я очень быстро устал от пейзажа, знакомого мне по Уралу, и стал много ездить по Сибири. Побывал несколько раз в Эвенкии, в обжитом мною в детстве Заполярье, в ближних и дальних районах, где не совсем еще была разгромлена природа — и никак, нигде не мог найти таежного уединения, того уголка, к которому прирос бы я сердцем. Родная моя деревня, где сразу же по приезде в Сибирь приобрел я избу и приобрел удачно: в родном переулке, против бабушкиного и дедушкиного, давно уже проданного, старого дома, — превращалась в пригородный поселок, раскупленный и застроенный дачниками. Родичи мои и деревенские старики постепенно вымирали, на-

селение заметно сменилось, вместо развеселого, несколько даже забуддыжного деревенского народа, умевшего крепко пить, работать, широко гулять и хорошо петь, связанного узами родства, кумовства и соседства по дворам, по работе на пашнях, на лесозаготовках, селился вороватый и наглый народишко, чуждающийся всех и вся. Оно и понятно: усадьбы в моей родной деревне самые по окрестности дорогие, они не по карману человеку честному, скромно зарабатывающему свой хлеб, они доступны лишь разного рода хапугам, грабителям и спекулянтам, а эти открыто жить не могут, дружить — тем более.

Рыбалка на Енисее, на родных деревенских берегах сделалась мне недоступной. Здесь, на студеной зимой и летом воде, могут высиживать в лодках одного-двух сигов, поднимающихся с далекого севера, или пяток харюзков люди со здоровыми легкими, моя же добыча — пескари, ерши, ельцы, сорожняк да подъязок в «мертвой воде» не водятся. Я все чаще стал ездить в город Енисейск, к знакомому охотнику-промысловнику. Родом он с реки Сым, одного из средних притоков Енисея, и вполне естественно, что заволок он меня на вертолете в свои родные места. Дивные места! Дивная река Сым, текущая по белым пескам среди болот, озер, стариц, проток и причудливых оттоков от рек, начинающихся узкой горловиной и за берегом реки такой паутиной разветвляющихся, такие кренделя заворачивающих, что с непривычки и заблудишься в них.

Рыбалка удочная и спиннинговая на Сыме неважная, лишь местами можно поймать харюзков-белячков, зато стерлядь здесь водится, вкуснее которой я не знал. Но все же язя, окуня, сорожняка на жарено или на уху поймать возможно. И охота по берегам реки подорвана, но так среди чистых песков, на бесконечных поворотах, в белых дюнах красиво! Среди сплошных сосняков растут белые грибы, клюква, брусника и таким морем, что сердце от восхищения замирает.

Привыкая ко мне и моим «причудам», новый мой знакомый недоумевал, как это я, высадившись на берег, могу сидеть у костерка от самого утра и до самого вечера и не скучать? Сходивши в лесок, набирал я кедровых шишек, пек их в угольях, щелкал орехи и глазел, глазел, лишь иногда — чтоб ружье на меня не обиделось, манил рябчика, которого здесь отчего-то зовут жеребцом! — стрелял одного, а повезет, так и двух — на варено, кидал спин-

нинг, палил по хитрому и любопытному нырку, непременно подкрадывающемуся к стану, чтобы поглазеть с реки на незнакомое ему двуногое существо. В буроголовую поганку-нырка попасть и хорошему стрелку мудрено, а я и не попадал, лишь пугал птаху и, вволю «наохотившись», кипятил чай, пил его с брусничкой, смородиной и не замечал, как проходил день.

Счастливые сымские дни, вечера возле стана и ночи, незабвенные ночи, когда в охотничью избушку набьется, бывало, народу — «до крыши»! Отужинает народ сообща, похлебают ушки, выпив перед нею из кружки, и, усталый, разморенный, уляжется на ночь. Лампа погашена, в железной печурке догорает огонь, мелькает из полуприкрытой дверки ярко-красными бликами; народ, разговорившийся за столом, чаю крепкого напившийся, засыпает не вдруг, продолжает разговоры разговаривать, да все про ту же тайгу, про походы по ней, про охоту, про рыбалку. Ах ты, Боже мой! Чего тут только не услышишь, про какие чудеса и таежные страсти, про редкие явления природы, про зверей, про избавления от немощей, про птиц и собак не узнаешь. До того иной раз «лесной информацией» питаешься, что ночью с криком подскочишь.

Уж звезды в небесной глубине успокоенно мерцают, уж ночная птица за избушкой отухала, уж туманы речку запеленали так, что белой, вилючей жилою прочертила она темную тайгу, близко прошел зверь, отыскивая пару, и собаки, с лаем бросившиеся в ночью заполненный лес, вернулись к крыльцу, свернулись возле входа, изредка взлаивая во сне. А в избушке все течет беседа, люди, дружеством таежным спаянные, понятной, близкой сердцу красотой природы, ночным покоем утихомиренные, раза три-четыре в печку подбросят сухих дров, еще и еще в кружки чайку нальют, пока, наконец, не огласит тесное пристанище дружный мужицкий храп.

Бывало, приплывут по реке и ночуют в избушке охотники с лицензией на лося, с разрешением на медведя. Я всегда просил моего знакомого охотника уговорить людей — отвезти меня в деревню или не бить при мне зверя. Я знаю бывших фронтовиков, которые не могут видеть ничего красного, даже революционных полотен, не могут глядеть на сырое мясо. И я не то что боюсь, но нутром болею при виде большой крови, меня начинает тошнить, все во мне вроде как переворачивается «вверх дном».

Мой приятель-охотник, великолепный знаток приро-



ды, рассказчик, каких поискать, понял меня: «В лодке кровь, шерсть, голова отрубленная, выпуклыми глазами смотрит, а в них сполох выстрела и тоска смертная...»

Ни разу, ни при каких обстоятельствах, даже нуждой, голодом и жизнью давимый, не выстрелил я в зверя, не пролил большой крови и фронтовикам не советовал проливать. Увы, были и такие, что не послушались меня, и, как правило, кончали они, над суеверием моим насмехавшиеся, плохо. Охотник-промысловик, добывающий зверя на прокорм себе и семье, собакам, — это совсем другое дело, это его работа, он — добытчик, он этим живет, этим кормится.

Вот снова наступили тяжкие времена на Руси, сбежавшиеся в город из бесправных, обнищавших деревень, русские крестьяне, получив маломальскую, плохо оплачиваемую профессию, покорно, безропотно стояли у станков, но большей частью у конвейеров, и терпеливо ждали квартиру, блага всякие, пользовались услугами нашей бесплатной медицины и бесплатного обучения детей в школах и вузах. Все это — и оплата труда, и медицинское обслуживание, и блага, и развлечения — было на унижительном уровне, жилища убоги, транспорт вовсе плох, медицина, о которой представитель американской делегации, осмотрев лучший в стране онкологический центр в Челябинске, сказал: «У нас в таких больницах лечат тоже бесплатно. Негров.» — это, повторяю, в лучшем лечебном заведении страны, а в больнице Красноярского дока, что в поселке Базаиха, отказались бы лечиться и негры, но наши «негры», под названием «советские трудящиеся», лечатся, еще и рады, что койка досталась.

В деревне этому народу было так плохо, что убогая городская житуха казалась ему благом, зарплата, к которой надо прирабатывать или приворовывать или гнуть спину после рабочей смены и в выходные дни — на загородном земельном участке, — все же гарантирована, рабочее место в загазованных и немыслимо-жарких, грязных, часто и вредных цехах все же есть, квартира какая-никакая получена, ближе к пенсии — свой угол — чего еще может быть дороже и краше после того, как поболталась семья по страшным общежитиям или комнатам гостиничного типа, по чужим углам, по сгнившим клетушкам городских окраин. И уж раем, местом обетованным, же-

ланной пристанью казалось место в городе, плавающем в грязи, в саже, в дыму, да еще в таком, как Красноярск, окруженном промышленной заразой, с незамерзающей рекой, с радиационными отходами, с озоновой дырой в небе, город, в котором и вокруг которого в радиусе двадцати километров нельзя садить никакую огородину, да и жить в нем невозможно.

Но втянулись, жили, терпели, хотя «население» на Бадалыке (городское кладбище) увеличивалось и увеличивалось скорее, интенсивней, чем в самом городе, — здесь давно уже рождаемость по сравнению со смертностью нарушилась, думаю, только с уральским, погубленным регионом и может соперничать наш город по смертности.

Я зрительно убедился в этом. Мой родственник попал на Бадалык в числе первых новопоселенцев, на небольшой участок — уголок возле иссыхающей, но все еще живой речки Бадалык. После похорон я ездил в один райцентр на десять дней — отдохнуть, отдышаться от тяжкого потрясения. Возвращаюсь назад и не могу узнать Бадалыка — могилы с намогильными знаками и крестами захлестнули уж не только речку, но и холмы за нею — тысячи тысяч новых могил появились — это за десять-то дней!

Сейчас Бадалык — целая кладбищенская империя, по населению, по-моему, превзошедшая население городское. Кладбище по санитарным и всяким другим нормам, в том числе и нравственным, пережило и изжило себя, его уже невозможно окинуть взором человеческим, на нем уже, на старом конце кладбища прежде всего, трудно найти родную могилу, а если найдешь ее — глядь, тут уже новый «клиент», под новой плитой поселился.

Но, повторяю, из сегодняшней действительности и та нищая бесправная жизнь русским людям, если уж быть точнее — пролетариям, кажется хорошей, райской, желанной, умиротворенной, и они готовы туда вернуться...

Вот до чего можно довести самый терпеливый, родине своей преданный и покорный народ! Говорят, рай — худое место, из него куда ни шагни, все плохо. Выходит, ад — место самое хорошее: из него куда ни ступи, везде лучше. Но во всяком движении жизни, как и у всякой медали, есть две стороны: остановились промышленные гиганты, в том числе и самые вредные, химические, — чище сделался воздух. Подорожала жизнь, люди рванулись к земле-кормилице, пока еще в странной, называе-

мой на аристократический манер, дачной форме, но там не только папы, мамы, дедушки и бабушки и пролетарские дети, в основном — бездельники и гуляки, учатся земле, труду, узнают, что картошка, хлеб, морковка и капуста не в магазине, не на базаре, на земле растут.

Дороговизна горючего, техники, моторов, вертолетов, удобрений, энергии привела к тому, что уж не стонут воды и леса от нашествия двуногих «хозяев земли», беспощадно истребляющих леса и все в них живущее и растущее, отравляющих реки, озера и моря. Охотники и еще не разбежавшиеся деревенские и лесные люди утверждают, что за счет излома прогресса ослабилось нашествие людей на природу, больше стало в реках и морях рыбы, в лесах — дичи и животных. Земля без удобрений рождает меньше, да чище на ней продукт, и, опять же, животный мир, птица, букашка-черепашка ожила, и кормится ею малая птаха, кое-где слышен голос жаворонка, перепелки, крик коростеля, свист скворца. А то ведь обезголосела, в уныние впала российская земля, одно воронье торжествует и орет на ней, да крысы едят все и всех подряд в городах, поселках и на станциях. Уже слышны голоса: волка не отстреливают, он сечет все живое в лесах и распространяется по краям и весям, и в городах, воронье почти уже прикончило малое птичье поголовье. Нет скотомогильников в деревнях, нет падали, а вороне без мяса не вестись, не плодиться, вот вороны и сороки начали пиратничать: выедать яйца, птенцов, не только в гнездышках, но и в скворечниках. Хитрые, коварные птицы, подлости и трусости набравшиеся у человека, вороны долго не трогали в нашем селе близкие к магазину скворечники, потому как здесь всегда народ. В основном, они нападают на скворечники во дворах одиноких старушек. Хлопают в ладоши старушки, метлой замахиваются, кричат, но хищнице хоть бы что — сидит на скворечнике и ждет своей удачи.

Перестройка пошла, магазин деревенский купили какие-то пьющие, в коммерции столь же разумеющие, сколь, будучи юными патриотами, разумели они в искусстве и в хлебопашестве. Одну половину магазина с хозяйственными и прочими товарами они сразу же замкнули — надо лопату, обувь, мыло-шило — поезжай в город, говори еще спасибо, что хлеб подвозят, да и то в убыток себе.

Опустел магазин, ослабел напор покупателей, оживились вороны и бродячие собаки.

Приезжаю, как всегда, в начале мая в деревню. Во

дворе голубые скорлупки яиц — вороны уже поработали. Скворчиха оказалась упорная и бесстрашная, сделала еще кладку, вывела птенцов. Вороны уж тут как тут, только и слышишь — скворчиха зовет на помощь, стрекочет встревоженно. Я выйду, камнем в ворону брошу — отлетит, сядет на забор, ждет. Так было до тех пор, пока скворчата подросли, и как мама ни остерегала детишек, веля им не высовывать головки — на свет белый поглядеть им охота, да чтоб скорее маму с кормом встретить, — ворона цап-царап ребятенка малого за голову и, молча, воровски махает на увал — там в гнезде ее ждут уже подросшие, зевастые воронята.

Прикончив птенцов во всех дворах, обнаглевшие вороны начали охотиться и на скворчих. Поскольку скворечник в моем дворе приколочен к яблоне, здесь воронью караулить добычу совсем удобно, вот и не выпускает воронье овдовевшую и осиротевшую птаху из засидки. Однажды слышу стрекот совсем уж панический, не дождавись скворчихи, ворона села на порожек птичьего домика и сует голову в дырку. Тут я ее, наглуую и трахнул из старого моего ружья, потом и в соседних огородах уложил самых-то наглых охотниц, и вообще почистил нижний конец села. Приезжаю следующей весной — нет в моем скворечнике любимых с детства птиц и в соседних дворах их не слышно, но зато появилась стайка воробьев, лишка уж года два не появлявшаяся на усадьбе, в укромном местечке мне только и известном, вьет гнездышко славная певунья — мухоловка с мужем, украшенным алым пятнышком на груди. Прежде строившие гнезда в малинике, явились они снова, поют вечерами, и чем дальше в ночь и темень, тем они слаженней, тем мелодичнее поют. А вороны на этот конец села не летают, если которая заблудится, машет стороной, да еще и орет выросшим деткам: «Тама не летай! Тама ружье стреляет!»

Так вот и завершается моя охотничья эпопея: борюсь с вороньем, которое в Сибири черно, как головешки, и характером наши вороны — сущие каторжники. Возникнутся иной раз над городом да с ором потянут над ним черной тучей, заслоняя и без того закопченное небо, невольно зловещее в голову лезет — о недалеком будущем — не хочешь, да задумаешься...

Как и всякий человек пожилого возраста, возлюбил я уединение и беседы с самим собой. А и прежде, много

шляясь по тайге вдвоем с ружьем моим, был я отъявленным отшельником, может, и по-язычески диковал, сам с собой разговаривал.

Случалось, матерно бранил сам себя за неудачи и промахи, даже кулаком по голове бивал, но теперь, по спокойному размышлению, пришел к заключению, что все на земле сотворяется по велению Божию. Не любивший ходить старыми путями по лесу, плутал я и шарился в таких местах, куда городской охотник во здравом уме и не подумает пойти, ломался в крепях, в глухих углах, в бурьянных завалах и в глуши вырубков. С детства обладая неким природным чутьем и некими знаниями травяного, лесного и птичьего мира — это сколько же я утробил бы птичек Божьих, ан всему поставлен предел, я добыл в лесу ровно столько птицы, сколько отпущено мне было Божьим промыслом, и потому со мною в тайге ничего не случалось и не случится, опыт и осторожность битого фронтовика — само собой, береженого и Бог бережет, и еще одна русская поговорка в придачу: «Дурак стреляет, Бог пули носит!»

Лесовики и особенно современные яростные городские стрелки, если промазали по явной цели — не досадуйте — не ваша это добыча, не вам она предназначалась. Если в лесу с вами случилась беда, несчастье — ищите вину в себе, вспоминайте почаще те грехи, которые вы совершили в глуши тайги, думая, что вас никто не видит, не слышит и варварства вашего, зла и бесовства не замечает. Не прощается, если вы берете от природы лишка, особая кара бывает за то, что невинная кровь зверя, птицы проливается ради забавы. Не верите мне? Припомните, спросите, сколь покалечилось, а то и погибло на веселой, наглой охоте городских налетчиков и деревенского иль леспромхозовского чванливого начальства.

В силу стародавней привычки, когда я чищу ружье, люблю с ним поговорить, повспоминать, где мы вместе бродили, чего добыли, чего повидали. Ружье мое старое, фронтовым другом подаренное, все еще в хорошей сохранности, ворон бьет исправно.

Жена моя, человек любопытный, однажды услышала, беседу какую я вел с ружьем, и сказала, чтоб я непременно написал об этом, вот я и написал, хотя ведь знаю же, по опыту знаю, что не все надлежит выкладывать на бумагу и отдавать неблагодарным людям. Самое драгоценное, как и самое страшное, самое чудовищное, что хра-

нится в разных уголках души — одно в светлом, другое в темном, — нужно оставить при себе, унести с собою в ту будущую жизнь, которая по святой молитве чтется бесконечной и в которой нет ни боли, ни стенаний, ни бед. Надеюсь, и стрельбы там нет. От стрельбы люди устали и в этой зловещей, проклятой и прекрасной жизни.

Если природу и охоту воспринимать как наслаждение, как наполнение сердца и памяти не злом, а любовью ко всему растущему, цветущему и поющему в лесу, — я не считаю ее тяжким грехом, хотя любая кровь пролитая — все же грех и, может быть, неотмолимый, и за кровь эту, за поедание себе подобных существ и братьев меньших несем мы вечное и заслуженное наказание.

И закончить эти записи мне, как и всякому человеку, не лишенному чувства прекрасного, хотелось бы на светлой ноте, на солнечном озарении, на описании слияния радуги и цветов, на звучании музыки и песен, и я делал это в молодости с преобладающим удовольствием и не корю себя за это. Но «Всею свой час и время всякому делу под небесами...»

Совсем недавно, три с небольшим года назад, с группой художников занесло меня опять на рукотворное Красноярское море, на подпертую стоячими ее водами речку Бирюсу, не ту, что поэт Ошанин с композитором Колмановским воспели, та впадает в Ангару, на нашу Бирюсу, которая впадала в Енисей, речку, знаменитую, пожалуй, лишь тем, что в устье ее, в затопленной и уже всеми теперь забытой деревне Бирюсе, родилась и возросла до невестиного возраста моя мачеха — Черкасова Таисия Ивановна, которую я нынче скоронил на дивногорском кладбище, под соснами, и лежит она теперь рядом с дочерью и сыном.

Здесь, неподалеку от бывшего устья Бирюсы, средь обвальных скалистых берегов, на лесистом мысу, возле кордона лесничего, осталась избушка, громко именуемая мастерской умершего местного художника, и время от времени сюда наезжают его сотоварищи по творчеству, и я с ними увязался.

Осень была во всем разгаре — пылали склоны, скалы, обвалы, распадки, поднебесные вершины, слава Богу, не страшным, всамделишным пожаром, которые здесь случаются почти ежегодно, — а осенним пламенем. Пылала

навечно прогрессом погубленная, но до конца так и недогубленная природа. На фоне серых и темных отвесов, на гибельно осыпающихся скалах сияли яркой зарею осинники, рябина, желтели и как-то весело, легко и щедро сорили листом березняки, по скальным распадкам раскаленно краснели кустарники краснотала, ивняка, черемушника, меж которых обособленно, огненным взрывом разбросав все вокруг на стороны, восходила и не гасла и не погаснет до самых морозов нехитрая ягода — калина, которую стаями облепляла беспокойная, всегда себя на земном базаре хорошо чувствующая птица — дрозд.

Мы, три рыбака, сидели с удочками на берегу одного из многочисленных заливов, а во время наполнения хранилища все лога, распадки, протоки, речушки и канавки ключей становятся заливами, в которых скалистые берега круто обрываются в непроглядную глубину. По заливу легкой волной кольхало и гоняло рыжую шубу опавшего листа, угоняло его вглубь, всасывало в узкие, все время шуршащие, беспокойные водяные щели. Клевало плохо, но солнечная погода, пылающие берега, тихая прохлада так нас утешили и разморили, что не хотелось шевелиться, разговаривать, а только дышать и глазеть. Полоска каменистого берега на другой стороне залива была, как и по всему водохранилищу, загромождена голотельм плавником, обломанными и необломанными косматыми выворотнями, зверье и разных чудовищ напоминающими. Дудочник, осока, кровохлебка, татарник росли здесь где густо, островками, где поодиночке, и все еще цвели местами ромашки, белый поповник и желтый суховей, да меж камней церковной свечкой теплилась недотрога. Обводя взглядом эту осеннюю красоту берегов и уже привычное человеческое безобразие, вдруг увидел я неподвижно сидящего волка. Сперва я подумал, что это мое воображение выявило и нарисовало волка из корней, но я вернулся взглядом к этому месту раз-другой и понял, что сидит живой, настоящий волк. Мой соартельщик по рыбалке подтвердил, да, это волк, он уже давно сидит и смотрит на нас, видно знает, что нет у нас ружья.

Я забросил удочку, подсек окунька, затем сорожку, которую тут же выбросил, — полное ее пузо набито глистами. Крачки, кружившиеся над заливом, подхватили рыбину с воды, с криком начали из-за нее драться, уронили, снова подхватили. Я подсек и выбросил в траву еще пару окуньков. Соартельщики мои чего-то добывали, ходили

по берегу, наживляли червей на крючок, а волк все так же неподвижно сидел, глядел на людей, показалось даже, что он дремал или был больным.

Что-то думал зверь, глядя на нас, или в самом деле дремал, пригретый солнышком, уверенный, что его, серого, среди серых камней и серых выворотней не видно. Какими созданиями мы, двуногие звери, представлялись ему, зверю четвероногому?

Что-то все же неловкое, злое было во всем этом свидании, и когда в железной лодке кто-то из мужиков уронил весло, мы закричали волку: «А ну, уходи!» — зверь махами пошел с берега, взметнулся на помятый яр и, сротив ворох листьев, скрылся в прибрежном кустарнике, мелькнул еще светлым лоскутом раз-другой меж стволов сосен и растворился в тайге.

К вечеру усилился ветер, рыба совсем перестала брать, да мы уже и нарыбачили на уху, подались к нашему стану. В подтопленной, когда-то перекастистой, веселой Бирюсе мутная, донная вода гуляла слепо и пустынно, волны перехлестывали через лодку, с гор, с утесов, с каменных подмоин срывало осенний наряд, словно после революционного праздника, комкало, сбрасывало вниз красные флаги, транспаранты, лозунги.

За ночь раздело Бирюсу, а наутре ударилась со всего маху лодка в наш берег и примчавшийся за нами посыльный громко закричал: «Что же вы тут сидите? Картошку печете, уху хлебаете, а в Москве переворот, танки по Белому дому стреляют...»

Какие злоешие совпадения бывают! Как тяжело от переворота до переворота движется наша жизнь — неужто зверье заранее чует надвигающиеся на нас беды? Неужто ждет зверье, когда мы перемрем или перебьем друг друга иль до того выродимся, ослабеем, что волк, переплыв через залив, за все нанесенные ему обиды отомстит нам, захрустит нашими слабыми костями, вороны, крачки и шустрые мыши докляют, доточат нами же произведенной заразой пораженные наши тела, нашу гиблыми червями наполненную утробу?

Ах, ружье, старое мое ружье! Думал ли, гадал ли я, что буду завершать разговор с тобою на таком вот месте и такой вот печальной мелодией закончится моя таежная песня? Но какова жизнь, таковы песни, слово наше, навеянное нам небесами, подсказанное жизнью.

Ружье в чехле, тайга далеко, лишь воспоминания мои



со мною. Они печальны, но все еще хочется убедить себя, детей своих и ваших, что «печаль моя светла, печаль моя полна тобою», — стало быть есть надежда, что еще теплится жизнь и кто-то неведомый, моей судьбы продолжатель, еще и еще пройдет моими тропами, моими глазами поглядит на лес, на горы, на речки, порадуетя им так же, как я умел радоваться и восторгаться земной красотой, спастись от всех наваждений, от всех бед и напастей, будет так же, как и я — одинокий таежный бродяга-сочинитель и мечтатель, благодарно напевать бессмертное: «Благословляю вас, леса, долины, горы, долины... и одинокую тропинку, и в небе каждую звезду».

*Академгородок.  
Март 1997*

---

## НОЧЬ КОСМОНАВТА

И все же те короткие, драгоценные минуты, которые он «зевнул», — наверстать не удалось: космос — не железная дорога! Космонавт точно знал, где они, эти минуты, утерялись непоправимо и безвозвратно.

Возвращаясь из испытательного полета с далекой безжизненной планеты, объятый рыжими облаками, он по пути облетел еще и Луну. Полюбовавшись печальной сестрой Земли, а по программе — присмотрев место посадки и сборки межпланетной заправочной станции-лаборатории, он завершал уже последний виток вокруг Земли в благодушном и приподнятом настроении, когда увидел в локаторном отражателе черные клубящиеся облака, и понял, что пролетает над страной, сердечком вдающейся в океан, где много лет шла кровопролитная и непонятная война.

Многие державы выступали против этой войны, народы мира митинговали и протестовали, а она шла и шла, и маленький, ни в чем не повинный народ, умеющий выращивать рис, любить свою родину и детей своих, истреблялся, оглушенный и растерзанный грозным оружием, которое обрушивали на его голову свои и чужие враги, превратив далекую цветущую страну в испытательный полигон.

Космонавту вспомнилось, как совсем недавно, когда мир был накануне новой, всеохватной войны и ее удалось предотвратить умом и усилиями мудрых людей, какая-то

женщина-домохозяйка писала с благодарностью главе Советского государства о том, что от войн больше других страдали и страдают маленькие народы, маленькие страны и что в надвигавшейся войне многие из них просто перестали бы существовать...

У космонавта была странная привычка, с которой он всю жизнь боролся, но так и не одолел ее: обязательно вспомнить, из какой страны, допустим, писала эта женщина-домохозяйка? В детстве, увидев знакомое лицо, он мучился до бессонницы, терзал себя, раздражался, пока не восстанавливал в памяти, где, при каких обстоятельствах видел человека, встретившегося на улице; какая фамилия у артиста, лицо которого мелькнуло на экране, где он играл прежде, этот самый артист? И даже пройдя изнурительную и долгую выучку, он не утратил этого «бзыка», как космонавт называл сию привычку, а лишь затаил ее в себе. Закалить характер можно, однако исправить, перевернуть в нем что-то никакой школой нельзя — что срублено топором...

Космонавт ругал себя: вот-вот поступит с Земли команда о посадке, надо быть собранным до последней нервной паутинки — вдруг придется переходить на ручное управление. И никак не мог оторвать взгляда от вращающегося экрана локатора, по которому вытягивались тушеванными росчерками пожары войны, и приказывал себе вспомнить: откуда писала эта домохозяйка нашему премьеру? «Навязалась на мою голову! — ругал он неведомую женщину. — Бегала бы с авоськой по магазинам — некогда бы... Буржуйка какая-нибудь, а за нее шею намылят. Руководитель полета — мужик крутой, как загнет свое любимое присловье: «Чего же, — скажет, — хрен ты голландский...»

— Из Дании! Из Дании! — радостно заорал космонавт, забыв, что передатчики включены.

Сидевшие на пульте связи и управления инженеры изумленно переглянулись между собой, и один из них, сжевывающий в разговоре буквы Л и Р, изумленно спросил:

— Овег Дмитвиевич, что с вами? Вы пвинави сигнавт товможения?

— Принял, принял! Сажусь! Бабенка тут одна меня попутала, чтоб ей пусто было!..

— Бабенка? Какая бабенка?!

Но космонавт не имел уже времени на разъяснения, и пока там, на Земле, разрешалось недоумение, пока на пульте запрашивали последние данные медицинских показаний космонавта, которые, впрочем, никому ничего не объяснили, потому что были в полном порядке, сработала автоматическая станция наведения и началась посадка.

Системы торможения включились по сигналу Земли, и изящный легкий корабль повели на посадку, пожелав космонавту благополучного приземления.

Полулежа в герметическом кресле, Олег Дмитриевич смотрел на приборы, чувствуя, как стремительно сокращается расстояние до Земли, мучительно соображая: «Сколько потерял времени? Сколько?..»

Потом было точно установлено — две с половиной минуты и одна десятая секунды. Стоило ему это того, что вместо казахстанской, обжитой космонавтами степи он оказался в сибирской тайге.

Как произошло приземление и где — он не знал. Сильная, непривычно сильная перегрузка вдавила его в кресло, что-то сжало грудь, голову, ноги, дыхание прервалось. Он припал губами к датчику кислорода, но тут его резко качнуло, в ногу ниже колена впилося что-то клешней, и он успел еще подумать: «Зажим! Погнуло зажим».

Потом он действовал почти бессознательно, ему не хватало воздуха и хотелось только дышать. Дышать, дышать, дышать! В груди его хрипело, постанывало что-то, он делал губами судорожные хватки, но слышались только всхлипы, а воздух туда не шел, и последние силы покидали его. Напрягшись всем тренированным телом, уже медленно и вяло поднял он руку, на ощупь нашел рычаг и, вкладывая в палец всю оставшуюся в теле и руках силу, повернул его. Раздались щелчки: один, другой, третий — он обрадовался, что слышит эти щелчки, значит — жив! А потом, уже распластанный в кресле, вслушивался — срабатывают ли системы корабля?

Раздалось шмелиное жужжание, перебиваемое как бы постукиванием костяшек на счетах. Он понял, что выход из корабля не заклинило, и подался головой к отверстию, возникшему сбоку. Оттуда, из этого отверстия, сероватого, дымно качающегося, клубом хлестанул морозный воздух. Земной, таежный, родимый! Он распечатал грудь космонавта. Сжатое в комок сердце спазматически рванулось раз-другой и забилося часто, обрадованно, опадая из горла на свое место, и сразу в груди сделалось про-

сторней. В онемелых ногах космонавт услышал иглы, множество игл, и расслабленно уронил руки, дыша глубоко и счастливо. Наслаждение жизнью воспринималось пока только телом, мускулами, а уж позднее — и пробуждающаяся движением мысли: «Я живой! Я дома!»

Жалостное, совершенно неуправляемое ощущение расслабленности, какое бывает после тяжелой болезни и обмороков, и непонятное раскаяние перед родным домом, перед отцом или перед всеми людьми, которых он так надолго покидал, охватило космонавта, и у него, как у блудного сына, вернувшегося под родной кров, вдруг безудержно покатились по лицу слезы, и, неизвестно когда плакавший, он улыбался этим слезам и не утирал их.

Сознание все еще было затуманенное, движения вялы, даже руки поднять не было сил. Но, облегченный слезами, как бы снявшими напряжение многих дней, и то сиротское чувство одиночества и покинутости, изведенное им в пространствах Вселенной, от которого отучали в барокамерах и прочих хитроумных приборах, но так до конца и не отучили — человеческое в человеке все-таки истребить невозможно! Чувство это тоже вдруг ушло, как будто его и не было. Еще не зная, где он приземлился и как, космонавт все равно уже осознавал себя устойчивей, уверенней, и ему хотелось поскорей сойти с корабля, ступить на Землю, увидеть людей и обняться с первым же встречным, уткнуться лицом в его плечо. Он даже ощутил носом, кожей лба и щек колючесть одежды, осталось это в нем с тех давних времен, когда, дождавшись с войны отца, он припал лицом к его шинели, и в нос ему ударило душливым запахом гари, сивушной прелостью земли, и он понял, что так пахнут окопы. Сквозь застоявшиеся в шинели запахи пробивало едва ощутимые, только самому ближнему человеку доступные токи родного тепла.

Очнулся космонавт на снегу, под деревом, и увидел перед собой человека. Тот что-то с ним делал, раздевал, что ли, неумело ворошась в воротнике легкого скафандра. Они встретились глазами, и космонавт попытался что-то спросить. Но человек предостерегающе поднял руку, и по губам его космонавт угадал: «Тихо! Тихо! Не брыкайся, сиди!»

Ни говорить, ни двигаться космонавт не мог и отрешенно закрыл глаза, каким-то, самому непонятным наитием угадал, что человеку этому можно довериться. Усталость, старческая, дремучая усталость — даже на снег

глядеть больно. А ему так хотелось глядеть, глядеть на этот неслыханно белый снег.

Силы возвращались к нему постепенно, и много времени, должно быть, прошло, пока он снова поднял налитые тяжестью веки.

Горел огонь. На космонавта наброшен полушубок и под боком что-то мягкое. Наносило земным и древним. Он щекою ощутил лапник. «Ладаном и колдовством пахнет. Лешие, наверное, под этим деревом жили: тепло, тихо и не промокает...»

«Пихта!» — вспомнил он первое существо на Земле. Не дерево, а именно существо, оно даже прошелестело в его сознании или в отверделых губах вздохом живым и ясным. От полушубка нанесло избой, перегорелой глиной русской печи и еще табаком, крепкой махоркой — саморубом. Нестерпимо, до блажи захотелось покурить космонавту. «Вот ведь дурость какая! А полушубок-то, полушубок! Какая удивительная человеческая одежда!.. Так пахнет! И мягко!..»

Космонавт осторожно повернул голову и по ту сторону умело, внакрест сложенного огня увидел человека в собачьих унтах, в собачьей же шапке, в клетчатой рубашке, но по-старинному, на косой ворот шитой, и вспомнил — это тот самый человек, которого он увидел давно-давно: он делал с ним что-то, шарясь у ворота скафандра. Человек, сидевший на чурбаке возле костра, встрепенулся, заметив, что космонавт шевельнул головой, выплюнул сигарку в костер и широко развел скособоченный рот, обметанный рыжеватой с проседью щетиной.

— Ну, здравствуй, Алек Митрич! Добро пожаловать, как говорится, на родную землю!

— Здравствуйте! — отчего-то растерянно ответил космонавт и вспомнил — это ведь первое слово, произнесенное им на Земле по-настоящему вслух! Хорошее слово! Его всегда произносит человек человеку, желая добра и здоровья. Замечательное какое слово! Он натужился, чтобы повторить его, но человек, поднявшись с чурбака, замахал на него руками:

— Лежи! Лежи! Я буду пока докладать, а потом уж ты. Значит, так, — уже враспяжку, степенно продолжал он. — Зовут меня Захаром Куприяновичем. Лесник я. И жажнулся ты, паря, на моем участке. С небеси и прямиком ко мне в гости! Стало быть, мне повезло. А тебе — не знаю. Иду это я по лесу. Рубили на моем участке визиры летом

вербованные бродяги, по-всякому рубили, больше тят-ляп... Иду это я, ругаюсь на всю тайгу, глядь: а ко мне самовар с неба падает! Ну, я было рукавицу снял и по старинке: «Свят-свят!..» Да вспомнил, что по радио утресь объявили: сегодня, мол, наш космонавт должен приземлиться, и смекнул: «Эге-е-е-е! Это ж Алек Митрич жалует! И правильно! — грю себе.— Всякие космонавты были, везде садились, а в Сибири почто-то нету? Беляев с Леоновым вон в Пермской лес сели, а наша Сибирь поширше, по-приметней ихнего лесу...»

— Так я в Сибири?!

— В Сибири, в Сибири,— подтвердил лесник и удивился: — А ты разве не знаешь?

Олег Дмитриевич удрученно помотал головой.

— Вот те раз! А я думал, тебе все известно и все на твоих автоматах прописано? — Лесник во время разговора не сидел без дела. Он шелушил кедровую шишку, выуженную из огня, и, ровно расщелкивая напополам орешки, откладывал зерна на рукавицу, брошенную на снег. Но тут он перестал щелкать орехи и уже обеспокоенно спросил: — Алек Митрич, выходит, твои товарищи не знают — где ты есть и живой ли?

Космонавт нахмурился:

— Не знают.

Захар Куприянович по-бабьи хлопнул себя руками:

— А, язвило бы тебя! Сижу-рассиживаю, табачок курю, вот думаю, прилетят твои свяшшыки на винтолете, и я тебя им в целости передам... Ах, дурак сивый, ах, дурак!... Чего же делать-то? — Большой этот человек в собачьих унтах огляделся беспомощно по сторонам, как бы спрашивая у молча сомкнувшейся кедровой и пихтовой тайги совета.

Олег Дмитриевич приподнялся и, переждав легкое головокружение, указал леснику на полушубок:

— Прежде всего оденьтесь, потом уж будем думать, что нам делать.

— Сиди уж, коли бес попутал и ко мне на голову сверзил! — махнул рукой Захар Куприянович и бесцеремонно, как на маленького, натянул на космонавта полушубок, после чего поднял рукавицу с ядрышками орехов и сказал: — Держи гостинец! — но когда высыпал в протянутые ладони космонавта гостинец, спохватился: — Можно ли тебе орех-то? Народ вы притчеватый. На Божьей пище

живете! Показывали тут по телевизору твою еду, навроде зубной пасты. Жалко мне тебя стало...— Захар Куприянович приостановился, что-то соображая. Его голубовато-серые глаза, уже затуманенные временем, глядели напряженно на огонь, и рыжие, колкие вихры, выбившиеся из-под черной шапки, как бы шевелились в отсветах пламени.

Ядрышки орехов были маслянисты и вкусны. Олег Дмитриевич никогда не пробовал этого лакомства. Чувствуя, как возвращаются к нему силы от живого огня, от угощения лесника, впавшего в глубокие размышления, он беспечно сказал:

— Не бес меня попутал, Захар Куприянович,— женщина!

Лесник отшатнулся от огня:

— Ба-а-аба-а-а-а?! — он суеверно ткнул перстом в небо: — И там ба-ба-а-а-а?!

Подбирая языком остатки зернышек на ладони, космонавт кивнул головой, подтверждая свое сообщение, и попросил удрученно онемевшего лесника, показывая на темную в кедраче тушу корабля, от которого тянулся мятый след по снегу:

— Мне нужно подкрепиться, Захар Куприянович. И нужно осмотреть ногу. Болит.

— Верно, верно,— засуетился лесник.— Подкормиться тебе надо, а у меня с собой ну ничегошеньки... Кабы я знал? — Он говорил, но сам не трогался с места, пряча глаза под окутившиеся брови, и все шарил вокруг себя руками.

— Когда зайдете в корабль, в боковом клапане нажмите кнопку с буквами НЗ — и все вам откроется: термос; пакеты и тюбики с Божьей пищей.

— Мне, поди-ка, нельзя? — напряженным сипом произнес Захар Куприянович. Не поворачиваясь, он потыкал пальцем через плечо в сторону корабля.— Туда нельзя... военная тайна.. то да се... А может, я шпиён? — Захар Куприянович сам, должно быть, удивился такому предположению и даже как-то взорлил над костром.

Грудь у него выпятилась, и один глаз прищурился. Очень он нравился себе в данный момент, рот вот только кривился от старой контузии да по природной смешливости, а так что ж, так хоть сейчас в разведчики. Но космонавт осадил его на землю, сказавши, что шпионы ходят в шляпах, в макинтошах широкоплечих, монокль у них в



глазу, серебряные зубы во рту, в руке тросточка, в тросточке фотоаппарат и пилюли с ядом. В этом деле он уж как-нибудь разбирается.

Захар Куприянович крякнул и решительно направился к кораблю. Все он нашел быстро и, вернувшись, восторженно покрутил головой:

— А кнопок! А механизмов! Ну, паря, и машина! Чистота в ей и порядок. Как ты все и помнишь только?! — Он постукал по своему лбу кулаком, наливая из термоса в колпачок кофе. — Сельсовет у тебя потому что крепкий... — И тут же, как бы самому себе, рассудительно утвердил, показывая наверх: — Да уж всякова якова туды не пошлют!

От кофе Захар Куприянович отказался, а вот фруктовой смеси из тюбика попробовал, выдавив немножко на ладонь. Прежде чем лизнуть, понюхал, зацепил языком багровый червячок, зажмурился, прислушался к чему-то, подержав во рту смесь, проглотил ее и почмокал губами:

— Еда-а-а-а!

Он курил, поджидая, когда напьется кофе космонавт, и сразу же потребовал, чтобы тот ложился обратно на лапник.

— Ногу погляжу. Чего у тебя там? Не перелом, думаю. При переломе не шутковал бы...

Захар Куприянович сильно надавил на колено, затем на икру, и, когда космонавт замычал от боли, приподнялся с корточек, стал размышлять, почесывая затылок:

— Разрезать придется, Алек Митрич. А костюм-то казенный, дорогой, поди-ко?!

— Дорогой. Очень. Но ничего не поделаешь. Режьте.

Лесник направился к пошатнувшемуся кедру с развилком, и только теперь Олег Дмитриевич заметил на окостенелом суку кедровое ружье, патронташ с ножнами и опять подумал, что холодно леснику в одной рубашке, да еще с распахнутым воротом. Но когда снова увидел Захара Куприяновича возле себя, грудастого, краснощекого, и почувствовал на голой уже ноге ненастывшие его руки, успокоился, заключив, что это и есть истинный сибиряк, о которых много говорят и пишут, а осталось их не больше, чем уссурийских тигров в тайге, — отдельные лишь семьи, которые в лесах затерялись.

Перетянув ногу бинтами, взятыми из аптечки корабля, Захар Куприянович сказал, что ничего будто бы осо-

бенного нет, чем-то придавило голень, и вот опухла нога, но идти он едва ли сможет и что загорать им придется здесь до вечера.

— А вечером что? — спросил космонавт, ругая про себя конструкторов, до того облегчивших корабль и так уверенных в точной его посадке, что наземной связи они не придали почти никакого значения, и она накрылась еще на старте, при прохождении кораблем земной атмосферы. Древняя, но прочная привычка русских людей: поставить хороший дом да прибить к дверям худые ручки, дотащится, видать, до конца второго тысячелетия и, может быть, даже его переживет.

Уйти от корабля, даже если бы и нога была здорова, космонавт не мог до тех пор, пока сюда не придут люди, которым нужно передать машину.

— Так что же вечером? — повторил Олег Дмитриевич вопрос впадшему в полусон и задумчивость леснику.

— Вечером? — встряхнулся старик. И космонавт понял, что он держится с людьми напряженно оттого, что сильно оконтужен. — Вечером Антошка придет, — отозвался Захар Кондратьевич и, как бы угадывая мысли космонавта, молвил: — Извини. Бывает со мной. Затупляется тут, — постукал он себя по лбу и, откашлявшись, продолжал: — Не мое это дело, как говорится, но вот что все же видичь мне, Алек Митрич? Вот приземлился ты, слава Богу, можно сказать, благополучно, а ни теплых вещей при тебе, ни оружия, ну никакого земного приспособления и провианту? Вот и Беляев с Леоновым пали в Пермскую землю, так их тоже, по слухам, одевали местные жители?..

У лесника был мягкий говор, и космонавт, слушая, как он распевно тянул гласные «а» и «е», усмехнулся про себя, вспомнив, что представлял выговор сибиряков по хору, который, как и Волжский, и Уральский, в основном нажимал на букву «о», заворачивая ее тележным колесом — тем самым люди искусства упорно передают местный колорит и особенность говора, а получается, что везде одинаково кругло окают, и это очень смешно, но не очень оригинально.

— А ежели бы я в самом деле шпиён оказался? — донимал тем временем Захар Куприянович. — А хуже того — беглый бандит какой? Ну а прonesи тебя лешаки в чужое осударство?

— Это исключено, отец, — уже сухо, отчужденно ска-

зал космонавт и, поправляя неловкость, громче добавил: — Каждый грамм в корабле рассчитан...

— Так-то оно так. Ученые, они, конечно, знают, что к чему. И все же наперед учитывать надо бы земное имущество. А то из-за пустяка какова такая важная работа может насмарку пойти... Вот в семисят первом году трое сразу загнуло. Какие ребята загнули! Расея вся плакала об их... — Лесник сурово шевельнул бровями и печально продолжал: — Я как сейчас помню, сообщение об взлете передали, а моя клуха в слезы: «Зачем же троих да в Троицу? Небо-то примет, а земля как?» Я ее чуть не пришиб потом. Накаркала, говорю, клятая, накаркала!..

— Что, серьезно, так и сказала? — приподнялся на лапнике космонавт, пораженно уставившись на лесника.

— Врать буду! Она у меня не то кликуша, не то блаженная, не то еще какая... Как меня на фронте ранило почти до смерти — в горячке валялась, пока я не отошел... Вот и не верь во всякую хреновину! С одной стороны высший класс науки, люди на небеси, как в заезжем доме, а в тайге нашей все еще темнота да суеверие... Но душа-то человеческая везде по-одинаковому чувствует горе и радость. Скажи, не так?

— Так, Захар Куприянович, так. И плакали по космонавтам мы теми же слезами. — Олег Дмитриевич задумался, прикрыл глаза. — И что еще будет?.. Освоение морей и океанов, открытие Америки взяло у человечества столько жизней!.. Так ведь это дома, на земле... Там, — кивнул космонавт головою в небо, — все сложнее... Там море без конца и края, темное, немое... Но и там будут свои Робинзоны... Так уж, видать, на роду написано человеку — к совершенству и открытиям через беды и потери...

Захар Куприянович слушал космонавта не перебивая, хмурясь все больше и больше, затем двинул ногой в костер обгоревшие на концах бревешки, выхватил топор из кедра, одним махом располовинил толстый чурбак, пристроил поленья шалашом и мотнул головой:

— Пойду дров расстараюсь, а ты подремли, коли не околел вовсе.

— Нет, мне тепло.

— Да оно холодов-то больших и нет. Сёдня с утра семь было, ополудень того меньше. Ноябрьская еще погода. Вот уж к Рождеству заверне-о-о-от! Тогда уж тута не садись! В Крым меть. Я там воевал, — пояснил лесник. — Благодать там. Да вот жить меня все же потянуло сюда... Н-нда-а-а-

а, вот и по твоему рассуждению выходит: дом родной, он хоть какой суровой, а краше его во всем свете нету...

— Как же найдет нас Антошка? — чувствуя, что лесника потянуло на долгий разговор, прервал его космонавт.— И кто он такой?

— Антошка-то? А варнак! Юбилейного выпрыску варнак! К двадцатилетию Победы выскочил на свет, а известно: поздний грех грешнее всех. Наказанье мне в образе его от Бога выпало за тот грех. Держу при себе. Ежели в город отпустить — он там всех девок перешшупает — такой он у меня развытной да боевой! На алименты истратит всего себя!..— Лесник сокрушенно покачал головой и, придвинувшись, доверительно сообщил: — Вот и лес кругом, сплошная тайга, а он здесь эти, как их, кадры находит! То на лесоучастке, то в путевой казарме... Как марал, кадру чует носом и бежит к ей, аж валежник трешштыт! Шийдисят верст ему не околица! Деру его, деру, а толку...

Захар Куприянович плюнул под ноги и шагнул по мелкому еще снегу к кедру с отростком-сухариной. Космонавт не мог понять: отчего же это у одного дерева стволы разного цвета? Стукнул обухом по сухарине Захар Куприянович, прислушался, как прошел звон от комля до вершины по дрогнувшему дереву, и, поплевав на руки, крепко ахая к каждому взмаху, стал отделять от кедра белый, на мамонтовый бивень похожий, отросток, соря крупно зарубленной щепой на стороны.

Свалив сухарину, лесник тут же раскряжевал ее, поколол на сутунки и подладил огонь, и без того горевший пылко, но по-печному ровно, без искр и трескотни. Кедр без братнего ствола сделался кособоким, растрепанным, в нем возникла просветь, и в самой тайге тоже образовалась проглядина. «В любом месте, в любом отрезке жизни все на своем месте находится»,— с легкой грустью отметил космонавт.

Присевши на розовенькое внутри кедровое полено, Захар Куприянович принялся крутить сигарку, отдыхаясь, не спеша. На круто выдавшихся надбровьях его висели осколки щепы, переносицу окропило потом. Олег Дмитриевич успел выпить еще колпачок кофе, выдавил тюбик белковой смеси и мечтательно сказал:

— Хлебца бы краюшечку, ржаного, с корочкой!

Лесник через плечо покосился на него, искривил рот в улыбке, и получилась она усмешкой.

— Что, ангел небесный, на искусственном-то питанье летать будешь, а на гульбу уж, значит, не потянет? — и поглядел на небо. — Скоро-скоро постолюю тебя ладом, будет хлебец и похлебка, а ежели разрешается, то и стопка. А покуль скажи, Алек Митрич: винтолет прилетит — ему нужна площадка или как? Я вон дров наготовил для сигнала, если что...

— Поляна есть?

— Как не быть. В версте, чуть боле — мой покос. Надо сигналить, дак я и стог зажгу...

— Ну, зачем же сено губить! Попробуем до корабля добраться. Там у меня кое-что посущественней есть для сигналов...

— Дело твое, — спокойно сказал Захар Куприянович, подставляя космонавту плечо. — Но коли потребуется, избу спалю — не изубычусь...

Космонавт поднялся, шагнул и, охнув от боли, почти повис на Захаре Куприяновиче. Тот ловко подхватил его под мышку и понес, давая ему лишь слегка опираться здоровой ногой. Получилось так, что будто бы космонавт шел сам, но он лишь успевал перебирать ногами.

Волною повалило полосу хвойного подлеска. Начисто снесло зеленую шапку с огромного кедра. Ударившись о ствол другого дерева, корабль уже боком, взадир прошелся по нему, сорвал ветви, располосовал темную рубаху с розовой подоплекой, попутно посшибал и наружные присоски антенн с корпуса корабля.

«Ах, дура, дура моторная! — изругал себя космонавт, глядя на кедр. — Нашел время разгадывать загадки. А если б на скалы попал или в жилое место?..»

Под кораблем и вокруг него оплавился снег, видны сделались круглые прожилистые листья лесного копытника, заячьей капусты, низкорослого, старчески седого хвоща, и свежо рдела на белом мху осыпавшаяся брусника, жесткие листья брусничника раскидало по земле. Всюду валялись прелые, кедровками обработанные шишки, иголки острой травы протыкали мох, примороженные стебли морошки с жухлым листом вырвало и смело под дерева. Гибкий березник-чапыжник с позолотою редкого листа на кронах, разбежавшийся по ближней гривке, встревоженно разбросало по сторонам, пихтарник, скрывающийся под ним, заголило сизым исподом кверху.

Вдали, над вершинами кедрачей, туманились крупные горы — шиханы. Ржавый останец с прожильями снега в

падях и темными былками хребтовника курился, будто корабль перед стартом. За перевалами садилось солнце, яркое, но уже по-зимнему остывшее, не ослепляющее. Тени от деревьев чуть обозначились, и у корабля стала проступать голубоватая тень. Где-то разнобойно крикали кедровки, стучал дятел, вишневоголовая птичка звонко и четко строчила на крестовинке пихты, повернувшись на солнце дергающимся клювом.

«Люди добрые, хорошо-то как!» — умилился Олег Дмитриевич и, наклонившись, сорвал щепотку брусники. Ягода была налита дремучим соком тайги. Она прошлась по крови космонавта холодным током, и он не только слухом и глазами, а телом ощутил родную землю, ощутил и вдруг почувствовал, как снова, теперь уже осознанно царапнуло горло. «Вот еще!..» Подняв лицо к небу, космонавт скрипуче прокашлялся и попросил лесника помочь ему подняться в корабль. Он подал Захару Куприяновичу плоский ящичек, мягкий саквояж с замысловатой застежкой и осторожно опустился на землю.

Когда они отошли шагов на десять, Олег Дмитриевич оглянулся, полюбовался еще раз кораблем и обнаружил, что формой своей, хотя отдаленно, он и в самом деле напоминает тульский самовар с узкой покатистой талией.

Корабли-одиночки, корабли-разведчики и одновременно испытательные лаборатории новой, не так давно открытой плазменной энергии, — не прихоть и не фокусы ученых, а острая необходимость. В трубе матери-Земли, вежливо называемой недрами, — скоро ничего уже не останется из того, что можно сжечь, переплавить: все перерыто, сожжено, и реки Земли сделались застойными грязными лужами. Когда-то бодро называемые водохранилищами и даже морями, лужи эти еще крутили устаревшие турбинные станции, снабжая электроэнергией задыхающиеся дымом и копотью города. Но вода в них уже не годилась для жизни. Надо было снова вернуть людям реки, надо было лечить Землю, возвращая ей дыхание, плодотворность, красоту.

Старинное, гамлетовское «быть или не быть...» объединило усилия и разум ученых Земли, и вот спасение от всех бед, надежда на будущее — новая энергия, которая не горела, не взрывалась, не грозила удушьем и отравой всему живому, энергия, заключенная в сверхпрочном поясе этого корабля-«самовара», подобная ртути, что, разъединяясь на частицы, давала импульсы колоссальной силы,

а затем кристаллами скатывалась в вакуумные камеры, где, опять же подобно шарикам ртути, соединялась с другими, «отработавшимися» уже кристаллами и, снова обратившись в массу, возвращала в себя и отдавала ту недостающую частицу, которая была истрачена при расщеплении, таким вот путем образуя нить или цепь (этому даже и названия еще не было) бесконечно возникающей энергии, способной спасти все сущее на Земле и помочь человечеству в продвижении к другим планетам...

Открытие было настолько ошеломляющим, что о нем еще не решались громко говорить, да и как объяснить это земному обществу, в котором одни члены мыслят тысячами лет вперед, другие — все тем же древним способом: горючими и взрывчатыми веществами истребляют себе подобных, а племена, обитающие где-то возле романтического озера Чад, ведут первобытный товарообмен между собою...

Ах, как много зависело и зависит от этого «самоварчика», на котором летал и благополучно возвратился «домой» русский космонавт! Все лучшие умы человечества, с верой и надеждой, может быть, большей верой, чем древние ждали когда-то пришествия Христа — Избавителя от всех бед, — ждут его, обыкновенного человека, сына Земли, который и сам еще не вполне осознавал значение и важность работы, проделанной им.

— Так какова, отец, таратайка? — продолжая глядеть на корабль и размышляя о своем, полюбопытствовал космонавт.

— Да-а, паря, таратайка знатная! — подтвердил Захар Куприянович. — Умные люди ее придумали. Но я нонче уж ничему не удивляюсь. Увидел в двадцатом годе на Сибирском тракту «Аму» — как удивился, так с тех пор и хожу с раскрытым ртом... Сам посуди, — помогая двигаться космонавту к костру, рассуждал лесник. — При мне появилось столько всего, что и не перечесть: от резинового колеса и велосипеда вплоть до бритвы-жужжалки и твоего «самовара»! Я если нонче увижу телегу, ладом сделанную, либо сбрую конскую, руками, а не ногами сшитую, — пожалуй, больше удивлюсь...

Он опустил космонавта на лапник, набросил на спину ему полушубок, поворошил огонь и прикурил от уголька.

— Нога-то чё? Тебе ведь придется строевым к правительству подходить. Как, захромаешь?! — Захар Куприянович подмигнул Олегу Дмитриевичу, развел широкий рот

в кривой улыбке, должно быть, ясно себе представляя, как это космонавт пошкондыбает по красной дорожке от самолета к трибуне.

— Врачи наладят,— охладил его космонавт.— У нас врачи новую ногу приклепают — и никто не заметит!..

Захар Куприянович поворошился у огня, устроился на чурбаке, широко расставив колени.

— Фартовые вы! — Олег Дмитриевич вопросительно поднял брови.— Фартовые, говорю,— уже уверенно продолжал старик.— Вот слетаете туды,— ткнул он махорочной сигаркой в небо,— и все вам почести: Героя Звезду, правительство с обниманием навстречу! Ну, само собой, фатера, зарплата хорошая... А если, не дай Бог, загинет который — семью в нужде не оставят, всяким довольствием наделят...

— Ну а как же иначе, отец? Что в этом плохого?

— Плохого, конечно, ничего нет. Все очень правильно. На риск идете... Но вот, Алек Митрич, что я скажу. Ты токо не обижайся, ладно?

— Постараюсь.

— Вот и молодец! Так вот, как на духу ответь ты мне, Алек Митрич: скажем, солдат, обыкновенный солдат, когда из окопу вылазил и в атаку шел... а солдат штука шибко чутливая, и другой раз он твердо знал, что поднялся в последнюю атаку. Но совсем он нетвердо знал — схоронят ли его по обряду христианскому. И еще не знал, что с семьей его будет. О почестях, об Герое он и подавно не думал — сполнял свое солдатское дело, как до этого сполнял работу в поле либо на заводе... Так вот скажи ты мне, Алек Митрич, только без лукавства, по совести скажи: кто больше герой — ты или тот бедолага-солдат?

— Тут двух ответов быть не может, отец,— строго произнес космонавт.— Как не могло быть ни нас, ни нашей работы, если б не тот русский солдат.

Захар Куприянович глядел на огонь, плотно сомкнув так и не распрямляющиеся губы, и через время перехваченным голосом просипел:

— Спасибо.— Помолчав, он откашлялся и, ровно бы оправдываясь, добавил: — Одно время совсем забывать стали о нашем брате солдате. Вроде бы сполнил он свое дело — и с возу долой! Вроде бы уж и поминать сделалось неловко, что фронтовик ты, окопный страдалец. Награды перестали носить фронтовики, по яшшыкам заперли... Это как пережить нам, войну заломавшим? Это ведь шибко



обидно, Алек Митрич, шибко обидно... Вот я и проверил твою совесть, кинул вопросик язвенный. Ты уж не обижайся.

— У меня ведь отец тоже фронтовик. Рядовой. Минометчик.

— А-а! Вот видишь, вот видишь! — Лицо Захара Куприяновича прояснилось, голос сделался родственней. — Да у нас ведь искорень все от войны пострадавшие, куда ни плюнь — в бойца попадешь боевого либо трудового. И не след плеваться. Я ж, грешник, смотрел на космонавтов по телевизору и думал: испортят ребят славой, шумом, сладкой едой... Вишь вот — ошибся! Неладно думал. Прости. И жене этого разговора не передавай.

«Фартовые, — повторил про себя космонавт. — У всякого времени, между прочим, были свои баловни и свои герои, но не все пыжились от этого, а стеснялись своего положения. И вызывающий ответ одного из первых космонавтов на глупый вопрос какого-то заслуженного пенсионера, ставший злой поговоркой: «Где лучше жить — на земле или в космосе?» — «На земле! После того как слетаешь в космос!» — был продиктован чувством неловкости и досады, и ничем другим».

— Я не могу ничего передать своей жене, Захар Куприянович, потому что не женат.

— Н-н-но-о-о? Худо дело, худо! — Захар Куприянович, стараясь держаться в дружеском тоне, почесал голову под шапкой. — Это ведь они, девки-то, как мухи на мед, на тебя набросятся и закружат! Закружа-а-ат. Не старый еще, при деньгах хороших, на виду у всего народа! Закружа-а-аат! Ты, паря, уши-то не развешивай, какую попало не бери, а то нарвешься на красотку — сам себе не рад будешь!..

Олег Дмитриевич улыбался, слушая ровную текучую речь Захара Куприяновича, его полунасмешливые советы по части выбора половины и все время пытался представить своего отца на месте лесника. Ничего из этого не выходило. Тот застенчивый, потерянный вроде бы в жизни, чем-то напоминающий чеховского интеллигентного чиновника, хотя вечный работяга сам и произошел из рабочей семьи. Говорят: баба за мужиком. А у его родителей все получилось наоборот. Пока мать жила — и отец как отец был, хозяин дома, глава, что ли. Но перед самой войной свернула тяжкая болезнь полнощекую, бегучую,

резвую мать и унесла ее в какой-то месяц-два в могилу, и сразу отец сиротой стал, Олег и подавно.

До десяти лет, пока отец с войны не возвратился, Олег воспитывался у тети Ксаны. И устал. Устал от ее правильности, нерусской какой-то правильности, от сознания места, какое он занимал в чужой семье.

Было у тетки еще двое детей — дочь и сын. И все, что делалось или покупалось для них, делалось и покупалось для него. Но только яблоко ему почему-то попадалось с червяком, штаны заплатанные, ботинки поношенные, тарелка за столом в последнюю очередь... Ему все время давали почувствовать — чье он ест и пьет. И он не забывал об этом. Если поливал огород — не считал за труд принести лишнюю бадью воды, если чистил свинарник — выскабливал его до желтизны, если рвал рубаху — дрожал осиновым листом; разбитое стекло спешил сам и застеклить, хотя тетя Ксана никогда его не била, своих лупцевала походя, и они с неприязнью, порой и враждебностью относились к своему брату, вредили ему чем могли. Тетушка, горюясь лицом, часто повторяла: «Олежек, тебе полагается быть поскромнее да потише. Ласковый теленок две матки сосет, грубой — ни одной...»

И это было хуже побоев.

Как же он был счастлив, когда вернулся с войны отец. Униженно выслушав тетю Ксану и униженно же отблагодарив ее старомодным поклоном за все, что она сделала для сына, отец отремонтировал хлев, покрыл заново крышу на домике тетушки, подладил мебель, переложил печь, из старого теса выстрогал «гардероп» — и не взял, к радости Олега, никаких денег за это и ничего из шмуток, «заведенных сиротке». Он взял сына за руку и увел его с собою.

Отец по профессии столяр-краснодеревщик, и поселились они жить в узенькой комнатке при мебельном комбинате. После смерти матери тихоня-отец пристрастился к выпивке, на войне еще больше втянулся в это дело. Олег привык к нему пьяненькому и любил его пьяненького, смущенного и доброго. Воля Олегу была полная — живи и учись как знаешь, обихаживай дом как умеешь. И Олег учился ни шатко ни валко, дом вел так же, однако к самостоятельности привык рано. Отец чем дальше жил и работал, тем больше ударялся в домашний юмор, называл себя столяром-краснодырщиком, краснодальщиком, краснодарильщиком и еще как-то. На комбинате заработки

после войны были худые, отец халтурил на дому — делал скамьи, табуретки, столы и коронную свою продукцию — «гардеропы». Приморский городишко и особенно окраинные его поселки были забиты отцовскими неуклюжими «гардеропами». В любом доме Олег натыкался на эти громоздкие сооружения, покрашенные вонючим, долго не сохнущим лаком. За «гардеропы» в доме их не переводилась еда, стирали им бабенки, изредка подбирали в комнате, где все пропахло лаком, стружками и рыбьим клеем.

Как хорошо, как дружно жили они с отцом! Один раз, один только раз отец наказал его. Олегу шел шестнадцатый год. Он ходил в порт на разделку рыбы вместе с поселковыми ребятами, выпил там и покурил. Отец снял со стены старый солдатский ремень и попытался отстегать Олега. Покорно стоял паренек среди комнаты, а отец хвостал его мягким концом ремня и задышливо кричал: «Хочешь, как я?! Хочешь, как я?! Пьянчужкой чтобы?..»

Потом он отбросил ремень, сел к столу и заплакал: «Конечно, была бы мать жива, разве бы распустила она тебя так...»

Олег подошел, обнял отца, сухонького, слабого, и поцеловал его руку, опятнанную краской..

С тех пор он никогда не напивался. Курить, правда, научился, но в летной школе пришлось и с этой привычкой расстаться. А отец, как жил, так и живет в приморском городишке, в той самой комнатке, обитой изнутри квадратами фанеры, и никакими путями не вызволить его оттуда. «Вот уж когда женишься, внуки пойдут... А пока не тревожь ты меня, сынок. Мне здесь хорошо. Все меня знают...»

Суетятся сейчас соседи, особенно соседки. В поселке дым коромыслом! — снаряжают отца в дорогу. А он, страшась этой дороги и всего, что за нею должно последовать, хорохорится: «Мы, столяры-краснодырщики, нигде не пропадем!»

Космонавт улыбнулся и тут же с тревогой подумал: «Не сказали бы отцу, что я потерялся. Сердчишко-то у него...» — И вспомнилось ему, как после гибели Комарова отец, наученный, должно быть, соседками, намекал в письме, будто космонавт выбрался из ракеты в океан и плавает на резиновой лодке, и надо бы искать его, не отступаться. Слышал о Комарове отец в поселковой бане, а в бане уж зря не скажут, сам, мол, знаешь — от веку все

сбывалось, что здесь говорили... Олег прочел послание отца друзьям.

Покоренные простодушием письма, космонавты весь вечер проговорили о доброте и бескорыстии своего народа, и так уж получилось, что письмо то вроде бы и горе подрастопило, начала исчезать подавленность. Но не успели пережить одну беду, как гром с ясного неба ударила гибель Юры, а вскоре целиком экипажа «Союза»... Сколько же еще возьмет славных братьев это самое завоевание космоса?! Слово-то какое — завоевание!

— Захар Куприянович, как скоро придет этот самый варнак Антошка?

— Антошка-то? — Захар Куприянович передернул плечами, посмотрел выше кедров. — А скоро он будет. Вот стрельнем — он и будет! — Лесник снял с дерева двустволку, поднял ее на вытянутой руке и сделал дуплет. Выбросил пустые гильзы, зарядил ружье, чуть пошабашил и еще сделал дуплет. — Скоро будет, — прибавил он, цепляя ружье на сук. — Я думал, ты задремал.

— Об отце я думал. Беспокоится старик.

— Как не беспокоиться? Дело ваше рискованное, говорю. Матери-то нет? Нету-у... Значит, отцу за двоих угнетаться. Ты там летаешь выше самого Господа Бога, а он тут с ума сходи!.. Ох, дети, дети, и куда вас дети? Ты ему весточку пошли, отцу-то.

— Как же я ее пошлю?

— Отсюда телеграфу, конечно, нету. А шийдисят верст пройдешь — будет станция березай, кто хочет — вылезай! Оттуда и пошлем отцу телеграмму, свяшшыкам твоим и всем, кому надо. — Предупреждая вопрос космонавта, Захар Куприянович пояснил: — Значит, об эту пору варнак мой с работы является. И сразу к матке: «Где тятя?» — «В лесу тятя». А тятю немецким осколком по кумполу очеушило. Он идет, идет да и брякнется — копыта врозь. Лежит, все чует, а подняться не может. В городе один раз поперек тротуара — дак трудящие перешагивают, пьяный, говорят, сукин сын... Ну, а тут, в лесу, лежу-лежу — и отлежуся. Но ежели в назначенное время не явлюсь — Антошка находит меня, в чувство приводит либо волокет на себе домой. Означенное время как раз наступило. Антошка по следу моему счас шарится.

— Как же вы, Захар Куприянович, с падучей — по тайге?

— А что делать-то, паря? На пече лежать? Так я в

момент на ней засохну и сдохну. Во! — насторожился он и поднял предостерегающе палец.— Идет, бродяга, ломится! Идет!

Олег Дмитриевич напряженно вслушался, но ничего в тайге не уловил, никаких звуков. Редкие птицы уже смолкли. От деревьев легли и стусились тени. В костре будто пощелкивали кедровые орешки, шевелилась от костра на снегу хвостатая тень. Стукнул где-то дятел по сухарине и тоже остановил работу, озадаченный предвечерней тишиной. Витушки беличьих и соболиных следов на снегу сделались отчетливей, под деревьями пестрела продырявленная пленка снега, от шишек, хвои и занесенных с березника ярких листочков.

Покойно и сурово было в тайге. Сумеречь накатывала со всех сторон, смешивала тени леса и сам лес. Бескрайняя таежная тишина, так же, как и в космосе, рождала чувство покинутости, одиночества — казалось, нигде в миру нет ни единой души, и только тут, возле огня, прибилась еще какая-то жизнь. Олег Дмитриевич поежился, представив себя совершенно одного в этой тайге. Что бы он здесь делал, как ночевал бы? Уйти-то нельзя. Пулял бы ракеты вверх и ждал у моря погоды, испытывая оторопь и неизведанный, ни с чем не сравнимый страх человека, поглощенного тайгой, настолько большой и труднодоступной, что ее не смогли до сих пор свести под корень даже с помощью современной техники.

В пихтовнике раздался шорох, качнулись ветви, заструилась с них изморозь, и в свете костра возник парень на лыжах, в телогрейке, в сдвинутой на затылок беличьей шапке, с бордовым шарфом на шее. Он резко затормозил лыжами возле костра и пораженно глядел то на отца, то на космонавта.

— Знакомься...

— А я думал...

— Думал, думал...— буркнул Захар Куприянович и стал собираться, укладывая кисет и спички в карман.

— Я думал... Так это Олег Дмитриевич, что ли?!

— Он! — торжественно и гордо заявил отец.— Посиди вот с им, покалякай. А лыжи и телогрейку мне давай!

Парень снимал лыжи, телогрейку, а сам все не отрывал взгляда от космонавта, будто верил и не верил глазам своим.

— А вас ищут! Засекли, что вы в районе нашего пере-

вала упали, но где точно, не знают. Назавтра поиски всем леспромхозом организуются.

— Назавтре,— проворчал Захар Куприянович.— А сёдня, значит, загинайся человек!

— Сё-одня! — передразнил сын отца.— Сёдня все на работе были, как тебе известно. Звонок недавно совсем директору, а от директора покуль нашего участка добились... Меня Антоном зовут.— Парень подал руку космонавту и коротко, сильно жманул.— В порядке все?

— Ногу немножко...

— Донесем! — с готовностью откликнулся Антон.— На руках донесем! Такое дело! Ты чё это, тятя, ковыряешься, как покойник?

— Утрись! — цыкнул Захар Куприянович на сына, взяв таяк и по-молодецки резво перебросил ногою лыжу.— Не надоедай тут человеку! — наказал он и широко, размашисто катнулся от костра, и лес сразу поглотил его.

— Силен мужик! — покрутил головой космонавт и тут же хитровато покосился на Антошку.— Дерет тебя, сказывал?

— Махається! — нахмурился парень, опустив глаза.— Другого б я заломал. А его как? Отец! Да еще израненый... — Парень достал из кармана пачку папирос, протянул было космонавту, но опамятовался, сделал «чур нас!» и закурил сам, лихо чиркнув замысловато сделанной из дюрала зажигалкой. Прикуривал он как-то очень уж театрально, топыря губы и отдувая чуб, в котором светились опилки.

«Кокетливый какой!» — улыбнулся космонавт.

Под серым свитером, плотно облегающим окладистую фигуру парня, разлетно прямели плечи. Руки крупные, на лице тоже все крупно и ладно пригнано, волосы отцовские, рыжеватые, глаза чуть шальные и рот безвольный, улыбочивый. «Этот парень будущей жене и командирам в армии — не подарок! Этот шороху в жизни наделает! — любуясь парнем, без осуждения, даже будто с завистью думал Олег Дмитриевич.— Сейчас он, пожалуй что, в космонавты начнет проситься...»

Антошка, перебарывая скованность, мотнул головой в темное уже небо:

— Страшно там?

«Во, кажется, издалека подъезжает»,— отметил космонавт и произнес:

— Некогда было бояться. Вот здесь когда оказался — страшно сделалось.

— Х-хы, чё ее, тайги-то, бояться? Тайга любого укроет. Тайга добрая.

— До-обря. Не скажи!

— Конечно, к ней тоже привыкнуть надо,— рассудительно согласился парень и неожиданно спросил: — А вам Героя дадут?

— Я не думал об этом.

Антошка с сомнением глядел на космонавта, затем так же, как отец, сдвинул шапку на нос, почесал голову и воскликнул:

— Во жизнь у вас пойдет, а! Музыка, цветы! А девок, девок кругом! Что тебе балерина, что тебе кинозвезда!..

«Голодной куме все хлеб на уме! И этот о том же!» — усмехнулся Олег Дмитриевич и подзадорил Антошку:

— Любишь девок-то?

— А кто их, окаянных, не любит?! Помните, как в байке одной: «Тарас, а Тарас! Девок любишь? Люблю. А они тебя? И я их тоже!» Ха-ха-ха! — покатился Антошка, аж дымом захлебнулся и тут же посуровел лицом: — Отец небось наболтал? Как сам к Дуське-жмурихе в путевую казарму прется, так ничего...

— До сих пор ходит?!

— Соображает!

— Ему сколько же?

— Шестьдесят пять.

— Тут только руками разведешь!

— И разведешь! А на меня, чуть чего — веревкой! Избалуетесь! Эта самая свекровка, которая снохе не верит,— заключил Антошка и ерзнул на чурбаке.— Да ну их, несерьезные разговоры. Трепотня голимая!.. Я вот об чем хочу вас спросить, пока тяти нет. Вот мне восемнадцать, девятнадцатый, мне еще в космонавты можно?

«Вот. Дождался! А сколько будет этого еще? Вон ребят наших прямо заездили вопросами да просьбами. Пенсионеры и те готовы лететь в космос, хоть поварами, хоть кучерами...»

— Образование какое у тебя?

— Пять.

— Маловато. Представляешь ли ты себе наш труд?

— Представляю. По телевизору видел, как вас, горемышных, на качулях и на этой самой центрифуге мают,

как в одиночку засаживают... Тяжело, конечно... разговорчивый если — совсем хана!..

«Ну, этот сознательный. С этим я быстро слажу».

— И это, Антон, не самое главное. Труд каждодневный, требующий все силы: физические, умственные, духовные. Жить нужно в постоянном напряжении, работать, работать, работать. Сила воли ой какая нужна! Самодисциплина прежде всего!..

Парень задумался, поскучнел.

— Учиться, опять же... А я пять-то групп мучил, мучил!.. Отец каждую декаду в поселок наезжал, жучил меня. Видите, какие большие уши сделались, — доверительно показал Антошка ухо, приподняв шапку, — за семь-то лет!

— Так ты что, — рассмеялся космонавт. — Семь лет свои классы одолевал?!

— Восемь почти. На восьмом году науки отец меня домой уволок. Ох и бузова-ал! «Раз ты, лоботряс, лизуком хочешь жить, ну, значит, легко и сладко, — пояснил Антон, — пила и топор тебе! Ломи! Тайги на тебя еще хватит!» Но я его надул, — хмыкнул Антошка. — Он мне двуручку сулил, а я бензопилой овладел. На работу я зарный — валю лесок. — Антон неожиданно прервался, совершенно другим тоном, деловито распорядился: — Приготовьте все, что надо: телеграммы там какие, сообщения. Сейчас тятя придет, и я на участок.

Из пихтарника выкатился Захар Куприянович с большим мешком за спиной.

— Живы-здоровы, Алек Митрич? — поинтересовался он. — Не уморил частобайка-то трепотней?

Антошка насупился. Лесник сбросил с плеч собачью доху, накинул ее на Олега Дмитриевича, а затем вытряхнул из мешка подшитые валенки, осторожно надел их, сначала на поврежденную ногу космонавта, затем на здоровую. После этого достал деревянную баклажку, опоясанную берестой, поболтал ею и налил в кружку.

— Чё мало льешь? Жалко? — вытянул шею Антошка.

Отец отстранил его рукой с дороги и протянул кружку космонавту:

— Ожги маленько нутро, Алек Митрич. Ночь надвигается, — настойчиво сказал он. — Потом уж как можешь. — И пока космонавт отдыхивался, хватив несколько глотков чистого спирту, пока жевал теплое мясо с краюшкой домашнего хлеба, с хрустящей корочкой (не забыл старик!),



Захар Куприянович наказывал Антошке, что и как делать дальше.

В блокноте, почти исписанном от корки до корки, Олег Дмитриевич быстро набросал несколько телеграмм, одну из них, самую краткую, — отцу. Антошка стоял на лыжах, запоясанный, подобранный, ждал нетерпеливо. Засунув бумажки под свитер, на грудь, и заправив шарф, он пружинисто выдохнул:

— Так я пошел! Я живчиком!..

— Надежно ли документы-то схоронил? — спросил отец и начал наказывать еще раз: — Значит, не дикуй, ладом дело спроворь. Сообщи, стало быть, номер лесничества, версту, квартал в точности обрисуй. Винтолет ежели прилетит, чтобы на покос садился. Мы тут к утре перетаборимся... Все понял?

— Да понял, понял!

— Ты мордой-то не верти, а слушай, когда тебе сурьезное дело поручают! — прикрикнул на него отец. — Может, ночью винтолет полетит, дак огонь, скажи, на покосе будет. Ну, ступай!

Антошка мотнул головой, свистнул разбойничьим манером и рванул с места в карьер — только бус снежный закрутился!

— Шураган! Холера! — Захар Куприянович ворчал почти сердито, однако с плохо скрытой довольностью, а может, и любовью. — Моя-то, клушка-то: «Ах, Господи! Ах, Боже мой! И что же теперь будет?! Ах! Ах!» — засуетилась, а сама не в ступ ногу. Горшок с маслом разбила. Суда собиралась, да ход-то у ей заступился. Капли пьет. Молока вот тебе послала. Горячее ишшо. — Лесник вынул из-за телогрейки вторую флягу и протянул ее Олегу Дмитриевичу.

Космонавт отвинтил крышку, с трепетным удовольствием выпил томленного в русской печи молока.

— Ах, спасибо! Вот спасибо! Сеном пахнет! — В голове его маленько пошумливало и шаталось, сделалось ему тепло и радостно. — А вы-то? Вы ж не ели?

— Обо мне не заботься, — махнул рукою лесник. — В доху-то, в доху кутайся. Студеней к ночи сделалось.

— Нет, мне тепло. Хорошо мне. Вот, Захар Куприянович, как в жизни бывает. Никогда я не знал вас, а теперь вы мне как родной сделались. Помнить буду всю жизнь. Отцу расскажу...

— Ладно, ладно, чего уж там... Свои люди. — Захар

Куприянович смущенно моргал, глядя на темные кедрячки.— Не я, так другой, пятый, десятый... У нас в тайге закон такой издревле. Тут через павшего человека не переступят...

Спустя малое время Захар Куприянович укутал космонавта, сомлевшего от спирта и еды, в полушубок и доху, убеждая, что поспать нужно непременно — много забот и хлопот его ожидает, стало быть, надо сил набраться.

Размякший от доброй ласки, лежал космонавт возле костра, глядел в небо, засеянное звездами, как пашня нерадивым хозяином: где густо, где пусто, на мутно проступающие в глубинах туманности, по которым время от времени искрило, точно по снежному полю; на кругло катящуюся из-за перевалов вечную спутницу влюбленных и поэтов, соучастницу свиданий и разлук, губительницу душ темных и мятежных — воров, каторжников, бродяг, покровительницу людей больных, особенно детишек, которым так страшно оставаться в одиночестве и темноте.

Таковыми же вот были в ту пору небо, звезды, луна, когда и его, космонавта, не было, когда человек и летать-то еще не научился, а только-только прозрел и не мог осмыслить ни себя, ни мир, поклонялся Богу, как покровителю. Боясь Его таинственной беспредельности, приближая Его к себе и задаривая, человек населил себе подобными, понятными божествами небеса. Но нет там богов. И луна совсем не такая, какую видят ее влюбленные и поэты, а беспредельность, как сон, темна, глуха и непостижима.

Стоило бы каждого человека хоть раз в одиночку послать туда, в эту темень и пустоту, чтобы он почувствовал, как хорошо дома, как все до удивления сообразно на земле, все создано для жизни и цветения. Но человек почему-то сам, своими умными руками рвет, разрушает эту сообразность, чтобы потом в муках воссоединить разорванную цепь жизни или погибнуть.

Олег Дмитриевич смотрел ввысь совершенно отстраненно, будто никогда и не бывал там. Вот приземлился и почувствовал себя учеником, вернувшимся из городского интерната в родную деревенскую избу, после холода забравшимся на русскую печь. Под боком твердая земля, совершенно во всем понятная: на земле этой растут деревья, картошка, хлеб, ягоды и грибы, по ней текут реки и речки, плещутся озера и моря, по ней бегают босиком дети и кричат чего вздумается. В земле этой лежит род-

ная мать, множество солдат, не вернувшихся с войны, спят беспробудно принявшие преждевременную смерть космонавты — нынешние труженики Вселенной. И дорога земля еще и той неизбежной печальной памятью, которая связывает живых и мертвых.

А там ничего этого нет.

«Не надо об этом думать. Не хочу! Не буду!» — приказал себе космонавт и вышколенно отключился от земной яви, но он чувствовал возле себя человека близкого, заботливого, сквозь сомкнутые ресницы и плотно сжатые веки долго еще проникали живые и яркие проблески огня, дыхание вбирало запах кедровой хвои и разопревшего в костре дерева, отдающего сдобным тестом.

Над ним стояла ночь, звонкая, студеная, и звезды роились в небе из края в край. Звезды, которые космонавт видел крупными, этакие сгустки мохнатого огня, порскающего яркими ошметками, — были опять привычно мелкие и на привычных местах. Мерцая и перемигиваясь, они роняли слабый, переменчивый свет на землю, на космонавта, сладко, доверчиво посапывающего у костра. Оттопыренные полураскрытые губы его обметала уже боро денка и усы, под глазами залегла усталость.

Жалея космонавта, разморенного сном, Захар Куприянович осторожно разбудил его, когда начало отбеливать небо с восточной стороны.

— Что снилось-то? Москва? Парад? Иль невеста?

Космонавт озираялся вокруг, потирая щеку, наколотую хвоей лапника.

— Не помню. Заспал, — зевая, слабо улыбнулся он.

Щетина на лице Захара Куприяновича заметно загустела, и волос вроде бы толще сделался. Глаза лесника провалились глубже, шапка заиндевила от стойкого, всю тайгу утишившего морозца.

— Измучились вы со мной, — покаянно сказал космонавт. Но лесник сделал вид, что не слышал его, и Олег Дмитриевич прекратил разговор на эту тему — есть вещи, о которых не говорят и которые не обсуждаются.

Солнце еще не поднялось из-за перевалов. Все недвижно, все на росстани ночи с утром. Сизые кедры обметаны прозрачной и хрупкой изморозью. Но с тех, что сомкнулись вокруг костра, капала сырь, и они были темны. Сопки, подрезанные все шире разливающейся желтенькой зарницей, вдали уже начали остро обозначаться.

Над костром булькал котелок, в нем пошевеливался

лист брусничника, однотонно сипела в огне сырая валежина. Снег вокруг отемнился сажею. Космонавт шевельнул ногой, приступил на нее и ковыльнул к огню, протягивая руки.

— Эдак, эдак, эть два! — сказал Захар Куприянович и начал подсмеиваться, он, мол, нисколь и не сомневался в том, что заживет до свадьбы, то есть до парадного марша в Москве. Парад, мол, мертвого на ноги поставит, а уж такого молодца-офицера, будто задуманного специально для парадов, и подавно!

Подтрунивая легко, необидно, Захар Куприянович поливал из кружки на руки космонавту. Велел и лицо умыть — нельзя, чтобы космический брат зачуханный был! Что девки скажут?!

«Ну и мужички-сибирячки! Все-то у них девки на уме!» — обмахивая лицо холщовым рукотерником, который оказался в мешке запасливого лесника, улыбался космонавт. Потом они пили чай с брусникой, громко причмокивая, — воля!

— Здоров ты спать, паря! — потягивая чай из кружки, с треском руша кусок рафинада, насмешливо щурился Захар Куприянович. — Тебе бы в пожарники!

— Не возьмут. Да я и не пойду — зарплата не та, — отшутился Олег Дмитриевич. — Так я спал, так спал!..

Все вокруг нравилось Олегу Дмитриевичу: и студеное утро, и жарко нагоревший костер, и чай с горьковато напревшим брусничником, и дядька этот, с виду только ломовитый, а в жите — просмешник и добряк.

— Да-а, что верно, то верно — говорил и говорить буду: лучше, милей своо дома ничего нет на свете. По фронту знаю, — ворковал он, собирая манатки в мешок.

И когда они шли к покосу, космонавт светло озирался вокруг, сбивал рукой снег с ветвей, наминал в горсть, нюхал и даже лизнул украдкой, как мороженое. Остановился, послушал, как ударила в лесу первая синица, хотел увидеть белку, уронившую перед ним пустую, дочиста выеденную шишку, но не увидел, хотя Захар Куприянович и показывал туда, где она затаилась.

Морозец отковал чистое и звонкое утро. Оно входило в тайгу незаметно, но уверенно. Хмурая, отчужденная тайга, расширяясь с каждой минутой, делалась прозористой и приветливой.

Ближе к покосу пошла урёма — высокое разнотравье, усмирненное морозом, среди которого выделялись ушед-

шие в зиму папоротники, улитками свернутые на концах. Зеленые их гнезда одавило, и они студенистыми медузами плавали по снегу. Возле речки и парящих кипунов густо росла шарага — так называл лесник кривое, суковатое месиво кустарников, сплетенных у корней. Космонавт улыбнулся, узнав исходную позицию популярного когда-то слова, и поразился его точности.

Посреди поляны толстой бабой сидел стог сена. Из него торчала жердь, как локаторный щуп. Топанина на покосе была сплошная, козья, заячья, на опушке попадались осторожные даже и в снегу, изящные следы косуль и кабарожек. Сохатые ходили напролом, глубоко продавливали болотину у речки, выбрасывая копытами размешанный торф, белые корешки колбы и дудочника. Звери и потеревали стожок, и насыпали вокруг него квадратных орешков.

Все-таки строгие охранные меры сберегли кое-что в этой далекой тайге.

По верхней, солнечной закромке покоса флагами краснела рябина; ближе к речке, которая угадывалась по сгустившемуся чернолесью, ершилась боярка, и под нею жестяно звенел припоздалым листом смородинник. По белу снегу реденько искрило желтым листом, сорванным с березников, тепло укрывшихся в заветренном пихтовнике. Осень в Сибири была ранняя, но тянулась долго и сбила с ноги идущую к своему сроку природу.

Солнце поднялось над вершинами дальних, призрачно белеющих шиханов. Заверещали на рябинах рябчики, уркнул где-то косач, и все птицы, редкие об эту пору, дали о себе знать. Четка, снегирь, желна! А больше никаких птиц угадать Олег Дмитриевич не смог, но все равно млея, радуясь земным гостям, утру, и, блаженно улыбаясь, в который уж раз повторил:

— Хорошо-то как, Господи!

Захар Куприянович, вытеребившая одоношки из стога, ухмыльнулся в щетину:

— По небу шариться, на тот свет уж вздымался, а все Господа поминаешь!

— Что? А-а! Ну, это... — Олег Дмитриевич хотел сказать — привычка, дескать, жизнью данная, и не нашлось до сих пор новых слов для того, чтобы выражать умиление, горечь и боль. Но не было желания пускаться в разговоры, хотелось только смотреть и слушать, и, опустившись на охапку таежного, мелколистного и ошеломляю-

ще духовитого сена, он привалился спиной к стожку и расслабленно дышал, поглядывая вокруг.

Лесник забрался в черемушник — пособирать ягод в котелок. Но только он нагнул черемуху с красноватыми кистями, на которых стекленела морозцем схваченная ягода, как над лесом раздался рык, треск — и в вышине возник вертолет. Он прошел над полянами и стал целиться брюхом на стог.

Олег Дмитриевич зажег свечу. Она засветилась, как елочный бенгальский огонь, только шире, ярко бросала она разноцветные искры и не успела еще погаснуть в снегу, как вертолет плюхнулся на поляну, покачался на колесах, вертя крыльями винта, расшуровывая снег с поляны, обнажая иглы стойких хвощей и пушницы.

Лопасты еще вертели над вертолетом, но вокруг сделалось растерянно-немо после оглушительного рева и треска. Дверь вертолета открылась, и оттуда, не дожидаясь, когда выкинут подножку, вывалился Антон с развевающимся за спиной бордовым шарфом, с шапкой, вовсе уж отброшенной на затылок.

— Пор-р-р-рядок! Я весь Советский Союз на ноги поднял! — еще издали закричал он и заключил космонавта в объятия, объясняя при этом, что привел вертолет лесоохраны и что вот-вот прибудет вертолет особого назначения, поисковая группа прибудет и много чего будет!..

— Отпусти человека-то, отпусти, вихорь! — заступился за космонавта Захар Куприянович.

Возле вертолета нерешительной стайкой толпилась местная верхушка: директор леспромхоза с парторгом, начальник лесхоза в нарядном, как у маршала, картузе. Девушка в лаковых сапожках и в новом коротеньком пальто — должно быть, представитель здешнего комсомола — терзала в руке цветы: герани, срезанные с домашних горшков, две худенькие квелье розочки и пышную тую.

«Розы-то они, бедные, где ж откопали? — изумился космонавт. — Должно быть, цветовода-любителя какого-то свалили!» «И, страдая до конца, разбивает два яйца...» — вспомнилась строчка из «Теркина».

Космонавт поздоровался с местной властью за руку, принял цветы. Девушка залепетала, видимо, заранее подготовленную и порученную ей речь:

— Рады приветствовать... вас... тут... разведчика Вселенной... на нашей... на прекрасной... от имени...

Олег Дмитриевич был смущен не меньше девушки,

топтался неловко перед нею и, чтобы поскорее ликвидировать заминку, взял да и поцеловал ее в щеку, покрытую пушком, чем смутил и оглушил девушку настолько, что она не в состоянии была продолжать речь. Директор и парторг укоризненно глядели на девушку, но она была, видать не робкого десятка, быстро опамятовалась и, улыбнувшись широко, белозубо, взяла да и сама поцеловала его.

Ритуал разрушился окончательно. Намеченные речи и приветствия отпали сами собой, свободней всем сделалось, и директор леспромхоза, как лицо деловое, начал интересоваться: что нужно предпринять и чем помочь товарищу космонавту? Но тут из вертолета вывалился дядька в очках, за ним выпрыгнул лопоухий пес, помочился на колесо машины, обнюхался, взял след зайца да и ударился в речное чернолесье, поднял там косога дурня, которого после ночных гуляний даже вертолет не разбудил, попер его вокруг вертолета, чуть не хватая за куцый зад.

Никогда не выдавший не только машины, но и никакого народу, зайчишка ошалел настолько, что начал прятаться в колесах, будто в чаще. Все хохотали, схватившись за животы. Очкарик, как потом выяснилось, учитель школы и заядлый фотограф, которому до времени не велено было являться из вертолета на глаза космонавту, не терялся, а щелкал да щелкал аппаратом, бегая вокруг машины, науськивая собаку. Снимки его потом обошли почти все газеты и журналы страны — такой ловкий учительшка оказался!

Пока резвились, гоняли по поляне бедного зайца и цепляли на поводок разбушевавшегося пса, над тайгой мощно зарокотало: из-за гор возникли сразу два вертолета и уверенно, неторопливо опустились в ряд на дальнем конце поляны, согнув вихрем пихтач и осинники.

Космонавт, прихрамывая, пошел навстречу и доложил о завершении полета.

Из одного вертолета вместе с врачом вывалилась группа разноперо одетых людей с кожаными сумками, с кинокамерами и всевозможными аппаратами наизготовку. Камеры зажужжали, аппараты засверкали, местный фотограф со стареньким, обшарпанным «Зорким» на шее, хитрово улыбаясь, трепал за уши павшего на брюхо пса и кормил его сахаром.

Отбиваясь от фотографов и киношников, космонавт

показал в сторону Захара Куприяновича и Антошки. И не успели отец с сыном глазом моргнуть, как их взяли в кольцо. Ошеломленный вопросами, ослепленный вспышками блицев, старик задал было тягу в лес, но его перехватили проворные люди с блокнотами, и он отыскал глазами космонавта, взглядом умоляя высвободить его из этой гомонящей, жужжащей и стреляющей орды. Олег Дмитриевич смеялся, переобуываясь в летные унты, в меховую куртку, и не выручал лесника. Спустя время, уже переодетый, он подхромал к нему и крепко обнял:

— Спасибо, отец! За все спасибо! — Антошку космонавт тоже обнял.

Люди все это записали в блокноты и засняли прощание космонавта с лесником. Олег Дмитриевич, вернув леснику валенки и полушубок, еще раз обнял его и поднялся в вертолет. Обернувшись в дверях, он кивнул леснику с сыном головой, затем сцепил руки и пожал их — привычным уже, космонавтским приветом.

— Отцу-то, отцу поклонись, Митрию-то Степановичу! — крикнул Захар Куприянович, и космонавт, должно быть, расслышал его, что-то утвердительно прокричал в ответ и кивнул головой.

Дверь вертолета закрылась, херкнул двигатель, крылья наверху шевельнулись, пошли кругом, и вдруг дочиста уже сняло тонкий слой снега с поляны, обнажило траву, выбило из стога и погнало клочья снега, опять заголило пихтовники и кедры, густо брызнула красная рябина на опушке. Вертолет дрогнул, приподнялся, завис над стогом и пошел над вершинами кедрача за угрюмо темнеющие шиханы. На хвостовом махоньком пропеллере что-то ослепительно сверкнуло, разбилось в куски, и машина исчезла из виду.

Захар Куприянович потерянно топтался на поляне, затем нашел дело — собрал сено в стожок, подпинал его и удивленно сказал:

— Вот... Ночь одну вместе прожили... Дела какие, а?

Антошка, увидев, как смялись и начали кривиться губы отца, сказал:

— Беда прямо с тобой! Расстраивается, расстраивается!.. По телевизору увидим... Может, в отпуск приедет...

— Эвон у меня какой умный да большой утешитель!.. — сказал Захар Куприянович. — Помогай-ка лучше людям.

Лесхозовский вертолет тоже скоро поднялся в воздух,



направляясь к ближней железнодорожной станции, куда должен был прибыть поезд особого назначения. Антошка отбыл туда же с бензопилой. Леспромхозу дано было распоряжение рубить дорогу к станции и подготовить трактора и сани для вывозения космического аппарата...

Космонавт между тем, уже побритый, осмотренный врачами, отвалившись на сиденье, летел к своему аэродрому и просматривал свежие газеты. Попробовали было корреспонденты расшевелить его вопросами. Он рассказал им о Захаре Куприяновиче, об Антошке, попросил не особенно смущать старика «лирическими отступлениями» и, сославшись на усталость, как бы задремал, смежив ресницы.

Но он не дремал вовсе. Он как будто разматывал ленту в уме и видел на ней весь свой полет. Луну, приближенную настолько, что просматривал он ее как бы с парашютной вышки, и сиротливо висевшую в пространстве, скромно мерцающую планету с простецким названием Земля, которая казалась ему когда-то такой огромной. Вспомнил и снова ощутил, не только сердцем и разумом, но даже кожей, как, шагая в тяжелом скафандре по угольно-черной поверхности чужой ему и непонятной планеты, он остро вдруг затосковал по той, где осталась Россия, сплошь почти укрытая зеленым лесом, тронутым уже осенней желтизной по северной кромке. Вон она лежит сейчас в снегах, чистая, большая, притихшая, и где-то в глубине ее, пришитая к тайге белой ниткой тропы, стоит избушка с номером на крыше, и от нее упала тень на всю желтую поляну. Виделся беловато-жаркий костер в ночной тайге, грубо тесанный, кореньговитый мужик, глубоко и грустно о чем-то задумавшийся.

«Отцу-то, Митрию Степановичу, поклонись!» — Мудрая доброта человека, которому уж ничто не надо самому в этой жизни, сквозила в его словах, в делах и в усталом взгляде.

«Сумеет ли мы до старости вот так же сохранить душу живую, не засуетимся ли? Не механизуем ли себя и чувства свои?..»

Прилетев в Байконур, Олег Дмитриевич первым делом спросил об отце. Друзья, или, как хорошо называл их Захар Куприянович, связчики, сказали космонавту, что Дмитрий Степанович уже в Москве, устроен, ждет его.

Отдав рапорт правительству, пройдя через первый, самый нервный период встречи на Внуковском аэродро-

ме, космонавт, переходя из рук в руки, из объятий в объятия, все искал глазами отца. Увидев его, он даже вскрикнул от радости. Был он в новом клетчатом пальто модного покроя, в тирольской шляпе с бантиком на боку, в синтетическом галстуке, сорящем разноцветные искры, приколотом к рубашке модной железякой, — уж постарались земляки, не ударили в грязь лицом, пододели старика! Впереди отца, удаю распахнув котиковую шубу, выпятив молодецкую грудь, стояла раздавшаяся телом, усатая тетушка Ксана и делала Олегу ручкой.

Раздвинув плечом публику, минуя тетушку, которая с захлебом причитала: «Олежек! Олежек! Миленький ты мой!» — космонавт приблизился к отцу, прижал его к себе и услышал, как звякнули под клеенчато-шуршащим пальто медали отца. «Батя-то при всем параде!»

Отец тыкался нахолодавшим носом в щеку сына и пытался покаяться:

— Порол ведь я тебя, поро-о-ол...

«И правильно делал!» — хотел успокоить отца космонавт, но тетушка таки ухитрилась прорваться к нему, сгребла в беремя и осыпала поцелуями, все повторяя рвущимся голосом: «Милый Олежек! Миленький ты мой!..»

Мелькнуло в памяти ее интервью в центральной газете: «Воспитывала... до десяти лет... Исполнительный был мальчик. Учился хорошо, любил голубей... мечтал... летчиком...»

Учился он, прямо сказать, не очень-то. Воля ему большая была. А кто ж при воле-то ладом учится в детстве? Голубей любил или нет — не помнит. Но уж точно знает — хотел быть столяром, как отец, о летном деле не помышлял вплоть до армии.

Он с трудом вырвался от тетушки, снова пробился к отцу, вовсе уже затисканному толпой, и успел ему бросить:

— Ты от меня не отставай!

Отец согласно тряс головой, в углах его губ копились и дрожали слезы. «Совсем он старичонка у меня стал. Никуда я его больше от себя не отпущу!» — сказал сам себе космонавт и отправился пожимать руки и говорить одинаковые слова представителям дипломатического корпуса.

Отца он увидел спустя большое время, уже возле машин. Старик проплакался и успел ободриться настолько, что даже перед модной иностранкой, одетой в манто из

русских мехов, отворил дверцу машины со старинной церамонностью и подмигнул Олегу Дмитриевичу: «Знай нас, столяров-краснодырщиков!»

Как-то сразу отпустило, отцовская озороватость передалась ему, и он настолько осмелел, что и сам распахнул дверцу перед иностранной дамой, разряженной наподобие тунгусского шамана, и она обворожительно ему улыбнулась улыбкой, в которой мелькнуло что-то знакомое.

— Знай нас, столяров-краснодырщиков! — вдруг брякнул Олег Дмитриевич.

Дама, не поняв его загадочной шутки, все же томно прокурлыкала в ответ, обнажая зубы, покрытые блестящим предохранительным лаком:

— О-о, как вы любезны! — и снова что-то знакомое пробилось сквозь все помады, наряды и коричневый крем, которому надлежало светиться знойным африканским загаром.

«Всегда мне черти кого-нибудь подсунут!» — досадовал Олег Дмитриевич, едучи в открытой машине по празднично украшенным улицам столицы и мучительно вспоминая: где и когда он видел эту иностранную даму, разряженную под шамана или вождя африканского племени. Толпы празднично одетых людей кричали, забрасывали машину цветами, школьники флажками махали, а космонавт, отвечая на приветствия, все маялся, вспоминая эту самую распроклятую даму, чтобы поскорее избавиться от «бзыка», столь много наделавшего ему хлопот и вреда, но ничего с собою поделать не мог. А люди все кричали, улыбались и бросали цветы — люди Земли, родные люди! Если б они знали, как тягостно одиночество! И вдруг мелькнуло лицо, похожее на... и Олег Дмитриевич вспомнил: никакая это не иностранка, а самая настоящая российская мадама, жена одного крупного конструктора. Он встречал ее как-то на приеме, и сдалась она ему сто раз. «О-о, батюшки!» — будто свалив тяжелый мешок с плеч, выдохнул космонавт и освобожденно, звонко закричал:

— Привет вам, братья! — обрадовался вроде бы с детства знакомым, привычным словам, смысл и глубина которых открылись ему заново там, в неизведанных человеком пространствах, в таком величии, в таком сложном значении, какие пока не всем еще людям Земли известны и понятны. — Привет вам, братья! — повторил космонавт, и голос его дрогнул, а к глазам снова начали подкатывать слезы, и он вдруг вспомнил, как совсем недавно и совсем

для себя неожиданно, во сне или наяву плакал, уже охваченный тревогой и волнением от встречи с Землею, с живой, такой простой и знобюще близкой матерью всех людей.

Повидавший голокаменные астероиды, пыльные, ровно бы выжженные напалмом, планеты, без травы, без деревьев, без речек, без домов и огородов, он один из немногих землян воочию видел, как бездонна, темна и равнодушна безголосая пустота, и какое счастье, что есть в этом темном и пустом океане родной дом, в котором всем хватает места и можно бы так счастливо жить, но что-то мешает людям, что-то не дает им быть всегда такими же вот едиными и светлыми, как сейчас, в день торжества человеческого разума и праздника, самими же людьми сотворенного.

**1972**

---

## ПЕРЕДЫШКА

Вы современную песню про кольцо и про любовь слышали?

Глупая, надо вам заметить, песня, и, мало того, она еще и в корне неправильная, в особенности эти вот слова: «Нет ни начала, ни конца...» Брехня! Я на факте докажу шаромыжникам, составившим песню, — есть начало, и конец есть!..

В сорок третьем году во время летних боев мы неожиданно и нежданно для фашистов выскочили к хутору Михайловскому, что на Полтавщине. Выскочили и подзадержались. Почитай, неделю толкались на жарко полыхающих ржаных полях, и веселый, в садах утопающий хутор был за это время почти весь порушен и сожжен, деревья срублены, загороди свалены, перекопанные вдоль и поперек огороды разворочены взрывами. Словом, каждая высотка за хутором доставалась нам большой кровью и работой.

Испеченные солнцем, копали мы землю, таскали связь, вели огонь по врагу и дошли до того, что губы у нас потрескались, языки пораспухали без питья, гимнастерки от соли ломались на спинах, есть мы ничего не могли, и нам хотелось только пить, пить. Колодцы в хуторе были уже вычерпаны до дна, болотинка, с гектар величиной, зеленевшая в ложбине за огородами хутора, была до того изрыта и выжата, что мы жевали мокрую траву и пробовали сосать жидкую грязь. Немцы день и ночь били по болотцу, зная, что там всегдалюдно.

Но как «ни болела — померла», — говорится в одной дурашливой русской поговорке. Немцев с полтавских высот мы в конце концов сбили, и они покатались «вперед на запад», — как тогда шутили вояки.

Не раз и не два довелось нам потом быть в разного рода передрягах, воевать и без воды, и голодом, и холодом, и про хутор Михайловский мы скорее всего забыли бы, как забыли множество других хуторов и деревень, где выпадало нам всякое военное лихо. Но после отъезда из хутора начали мы замечать неладное в поведении шофера Андрюхи Колупаева.

Я забыл сказать, что воевал во взводе управления истребительного артдивизиона и взвод этот: связистов, разведчиков, топографов, вместе с катушками, телефонами, буссолью, стереотрубой, планшетом и прочим скарбом — возил по фронту на отечественном «газике» этот самый Андрюха Колупаев. Если бы шоферам давали звания за умелость и талант — Андрюха наш звался бы профессором, а то и академиком, — такой он был класный шофер. «Где «студдер» не везет, трактор буксует и олень не идет — там Андрюха Колупаев пройдет!» — говорили про него, и через это умение шибко доставалось Андрюхе. «Газик», к которому он саморучно приделал еще одну ведущую ось, мотался по военным дорогам почти безостановочно, и когда машину Колупаева поставили на ремонт, собрать ее уже не могли: вся она была изношена. Андрюхе дали тогда медаль «За боевые заслуги» и новую трофейную машину.

Однако произошло это уже в Польше, и до события того было еще ой как много километров! Пока же мы только-только съехали с хутора Михайловского и обнаружили, что у Андрюхи пропал аппетит, лицо его осунулось и в завалившихся глазах обозначалась какая-то непонятная мгла. Ну, вопросы пошли: «Не заболел ли? Дома все ли в порядке?.. Может, письмо худое получил?..»

«Отстаньте от меня!.. Отцепитесь!.. Чего привязались?!» — надломленным голосом кричал Андрюха и добавлял разные слова.

Крутой нравом, занозистый мужик, еще в гражданке избалованный как редкостный спец по машинам, Андрюха и на войне марку держал высоко. Позволял себе вышпать голос на нас и даже вредничать с начальством, которое относилось к нему почтительно и по возможности оберегало такого нужного бойца от истребления.

Но хоть он и спец, хоть и дока по части техники, да в других вопросах были у нас люди и попроницательней, и вострее его — и скрыть Андрюха ничего не сумел, потому как не было еще и не скоро, думаю, будет такая человеческая тайна, каковую бы не вырвал из нетей русский солдат — зрящий на три метра в землю, а может, и того дальше!

Андрюха Колупаев влюбился!

Это был первый такой случай в нашей части, и мы до того оказались сражены, что и на Андрюху глядели совсем уж по-другому, отыскивая в нем ту красоту и значительность, за которую Господь Бог ниспослал человеку этакое чудо!

Вы думаете, мы обнаружили сказочного принца в золотых одеждах и с пронзительным взглядом? Где там! Мы даже кучерявого лейтенанта в хромовых сапогах и то не обнаружили! У радиатора «газушки» вертел заводную ручку и матерился на весь Украинский фронт коренастый, чернявый, на бурята смахивающий мужик.

О любовь! Ты и вправду что слепа! У меня вот, взять, шатеновые волосы, вьющиеся, если их с духовым мылом вымыть. Нос, правда, подкачал — он у меня коромыслом! Зато глаза — как у артиста Дружникова — задумчивые! Внешность — хоть куда! Но завлек я кого-нибудь? Завлек?..

Через две недели пришло письмо, и Андрюха не стал его нам читать, лишь подразнил, показав начало, где обмусленным химическим карандашом было выведено: «Коханый мий!» Все остальное письмо Андрюха закрыл мазутной ладонью, потом и вовсе уединился в кабину.

«Коханый мий!» Вот так Андрюха! Это пока мы бились за хутор Михайловский, пока мы издыхали на высотах и у нас все засохло не только в животе, но и в башках, он охмурял вдовицу годов двадцати двух — двадцати трех.

Мы видели ее, эту грудастенную, стеснительную вдовицу с черными бровями и уважительным голосом. То-то она так проворно бегала по хате, уцелевшей в боях, то-то она поднарядилась в фартук с лентами и все напевала: «Будь ласка, Андрий Степанычу, будь ласка!..»

Лицо Андрюхино так блестело и сияло, будто он квашню блинов срубал во время масленицы и сверх того поллитра выпил. На нас он смотрел ровно бы с парашютной вышки, не различая отдельных черт лица, как на серую, интереса не имеющую массу.

Фасонит Колупаев Андрюха, задается! Но у него ж в забайкальском совхозе имени Десяти замученных красных партизан имеются жена и двое детишек! Забыл? Напо-о-ом-ним! Рассказывай, голубчик, как и что было детально, досконально рассказывай, иначе...

— Не могу, ребята! Хоть режьте! Любовь промеж нас зачалась гибельная!.. — и грустно поведал Андрюха, как тоскует он о Галине Артюховне, и его по правилам с машины сымать бы надо, потому как он ночами не спит и может аварию сделать и весь взвод управления поизувечить. Он обвел всех нас жалеющими глазами и вздохнул: — Очень, ребята, хорошо любить! Вроде бы и мученье, а все одно хорошо!..

Поняли мы его — не чурки! — как-никак в школах учились, в пионерах иные состояли и книжки про любовь читали. Зауважали мы Андрюху и даже потихоньку гордились тем, что есть у нас такой боец, который вроде бы всех нас обнадежил на будущее своей любовью.

Письма Андрюха получал с каждой почтой, иногда по три сразу. Он уходил в лес или прятался в хлеба и читал по многу раз каждое письмо. Потом Андрюха записал вокруг меня, угодливым сделался, в кабину зазывал, где ехать благодать: спать можно, пылью не душит.

Я не сразу, но уразумел, в чем тут дело. Я сочинял складные письма заочницам с лирическими отклонениями насчет «жесточкого оскала войны», где нам тоскливо без женщин, особенно когда цветут сады, поют соловьи, где «только пули свистят по степи, тускло звезды мерцают...» и горько пахнет черным порохом, которым мы «овеяны». Чтобы все было натурально, солдат, которые с моего сочинения переписывали письма, вставляя в них имена своих заочных «симпатий», я научал тереть бумагу о закопченный котелок либо обжечь по углам. То-то бедные девчонки в тылу переживали, получив «опаленные огнем» письма!

Совсем обезумел Андрюха Колупаев от любви, хочет, чтобы я написал «хорошее» письмо Галине Артюховне. Самогонки сулился достать за услугу. Сам Андрюха происходил из темной старообрядческой деревни и грамоту имел совсем малую. Письма он писал трудно, по несколько дней, бывало, мусолит письмо, аж лицом осунется. Но я, хоть и считался во взводе парнем с придурью, все же отказал ему: с заочницами, мол, баловство и развлечение,



а тут дело серьезное. Андрюха надулся на меня и в кабину больше не приглашал.

Если бы я знал, чем все это кончится!..

Но никому не ведомы девственные тайны любви. Очень путаная эта штука — любовь! Она, как хворь, у всех протекает по-разному и с разным накалом, а поворотов и загибов в любви столько, что не приведи Господи!..

Отвлекся я, однако. Люблю порассуждать о сложностях жизни. Меня уже всего изгрызла за это супружница. Балаболка ты, говорит, балаболка!..

Тоже вот любовь у нас после войны была, хоть и краткая, но головокружительная! Куда это и делось?..

Зимой, во время тяжелых боев под Христиновкой, Андрюха Колупаев так замотался со своей машинешкой, что стал путать день с ночью, ел сперва кашу, потом суп, пилил дрова с вершины, и мы побаиваться начали, кабы не залил он в радиатор бензину, а в бак воды и не взорвал бы нас.

Но получилось, как в худом солдатском анекдоте. Андрюха смешал адреса, и то письмо, что назначалось в хутор Михайловский, ушло в совхоз имени Десяти замученных красных партизан, а Галине Артюховне наоборот.

Из хутора Михайловского письма прекратились, а из Сибири месяц спустя пришел пухлый треугольник, на имя командира части. Писали тогда на фронт много: и насчет пенсий, и насчет тыловиков, которые цеплялись к солдаткам с корыстными намерениями, и насчет подвозки дров, сена, учебы, работы, и по всяким разным причинам. И правильно! Кому же еще, как не командиру, пожаловиться одинокой женщине или старикам родителям? Он, командир, — отец над всеми и, значит, в ответе не только за боевые дела солдат. Это вот доверие и родство только в нашей армии завелись, и не надо терять такое качество и нынешним командирам.

Разные письма бывали.

Помню, одна бабенка спрашивает в письме о своем муже: «Где такой-то? Не получаю писем». Наш майор аккуратно по этой части был и вежливо ей ответил:

«Так и так, ваш муж, проявив героизм, ранен был и отправлен в госпиталь на излечение».

«Где тот госпиталь? — спрашивает бабенка в другом письме. — Я немедля туда поеду навестить дорогого мужа».

«Я не ведаю госпиталями и, к сожалению, не знаю, где находится ваш муж», — снова вежливо отвечает майор.

«Дерьмо ты, а не командир, коли не знаешь, где находятся твои бойцы!..»

Это нашему-то майору, который с пеленок приговорил себя повелевать людьми и красоваться в военной форме, — такие слова!.. Ах бабы, бабы! Дуры вы, бабы! Право слово, дуры!

Письмо нашему командиру части писал под диктовку неграмотной жены Андрюхи председатель сельского Совета. В конце письма он присобачил печать, поставил «Верно» и учинил размашистую принципиальную подпись.

Это уже документ! На него надо реагировать. Командир дивизиона пришел в жуткую свирепость, потому что в письме ругали не столько Андрюху, сколько его, и не просто ругали, а прямо-таки срамили: «Мы тут работаем, не разгибая спины, без сна, без отдыха, голодные, холодные, чтобы вы скорее побеждали врага коммунизма и социализма! А в результате узнаем, чем вы там занимаетесь...» (тут стояло слово, буквально определяющее, чем мы занимаемся...).

Командиру части, распустившему своих бойцов, грозили, что, если меры не будут приняты и бабник Колупаев не понесет заслуженного наказания, его семья и все труженики славного совхоза имени Десяти замученных красных партизан обратятся к генералу фронта, а то и к самому главнокомандующему — Сталину!

Молодой щеголь майор, перед самой войной окончивший артиллерийское училище и мечтающий об академии, если уцелеет, бегал по блиндажу, позвякивал шпорами и шептал угрожающе. Увидев, что я, дежурный телефонист, ухмыляюсь, он выпрямился, трахнул темечком в сучковатый накат и, схватившись за голову, рявкнул:

— Вы чего улыбаетесь?! Такой же бабник! Такой же свистун! Колупаева ко мне! Бегом!..

Я хотел обидеться на «бабника», да не посмел и поскорее вызвал ЧМО — такая позывная была у нашего взвода. Расшифровывалась она точно: чудят, мудрят, обманывают. Телефонист на ЧМО бросил трубку возле окопчика и пошел искать Андрюху, а я с завистью и интересом слушал заманчивую, с моей точки зрения, жизнь тылового взвода. Вот замычала корова, звякнула подошница, следом голос: «Шоб ты сказывалась, худа скотыняка!..» На кого-то покрякивал повар: «Ты у меня получишь! Ты у меня получишь!..» Кто получит? Чего получит? — я мог только гадать. Потом хохот раздался и женский визг.

«Живут же люди, ей-богу!» — Я уши развесил, настраиваясь на женский визг, но вятский голос старшины Жвакина занудил: «Эдак я все пораздам, а майору што останется?..» Главная цель Жвакина на войне: потрафить майору, который страшал его передовой, где, думал Жвакин, ждет его смерть неминучая.

— Чего заныл-то? — услышал я Андрюху Колупаева. — Достать надо уметь, на то ты и старшина!

Что ответил старшина — я не разобрал. По трубке защелкали комочки земли, зажурчало в ней, скрипнул клапан:

— Ну, как у холеры надо? Колупаев слушат!

Мне, простуженному вконец, обсоплившему, кашляющему до хрипа в груди, не понравилось его такое поведение — живет как у Христа за пазухой, кушает ежедневно горячее, спит в кабине или в теплой избе, покрикивает на старшину Жвакина и еще заносится... Лучше бы за адресами ладом следил!

— А ничего! — сказал я. — Иди-ка вот сюда, на передовую, на наблюдательный пунктик... И тебе тут чего-то даду-у-ут! — пропел я на мотив популярной до войны песни: «Мама, мама! Мне врач не поможет — я влюбился в девчонку одну...»

Андрюха не понял моего намека и иронии моей не принял.

— Есть ковды мне ходить-расхаживать! У меня машина, понимаешь?.. Мне по картошки ехать надо, понимаешь!.. Чтобы вы проворней воевали и с голодухи не загнулись, понимаешь!..

Я дернул трубку телефона на отлете — и по блиндажу разносило его запальчивое «понимаешь». Майор остановил карандаш на карте, где он уточнял наблюдения, чего-то сложное высчитывал, и протянул руку за трубкой.

— Товарищ двадцать пятый говорить будут!

Командир дивизиона, жуя папироску, все еще косился на карту — чего-то соображал:

— Колупаев? Немедленно, слышишь, немедленно ко мне!..

— Есть!.. — пискнул Андрюха и добавил: — Есть немедленно...

У нашего майора не забалуешься. Когда он, по его выражению, с картой работает — и вовсе под руку не попадаться!

— Вот так-то, товарищ Колупаев! — сказал я расте-

рянно дышавшему в трубку Андрюхе и пытающемуся отгадать — зачем это он понадобился майору, да еще и не-медленно?!

— Слышь?! — занял Андрюха.

— И не спрашивай! И не приставай! Военная тайна!.. — отверг я его домогания и деликатно вынул ногами из пачки майора папиросу «Пушка», поскольку тот шарился по карте, втыкал в нее циркуль и, как глухарь на току, повторял: «Тэк-с, тэк-тэк!..» — должно быть, видел себя в мечтах уже полководцем. В такую минуту у него можно было стянуть что угодно.

Я уже по всем батареям прочирикал последние известия. Дивизион сладостно замер, ожидая дальнейших событий. Заинтересованные лица то и дело сопели в телефон и спрашивали: не появился ли на передовой влюбленный водитель «газика»?

К пехоте кухня приехала, дымилась каша в котлах. Через наших телефонистов-трепачей, посланных в пехотный батальон для корректировки огня, стало все известно и там. Возле кухни хохот. С дальних телефонных линий по индукции доносило: «Но-о! А он чё! Х-ха-ха-ха-а!..»

Немцы и те чего-то примолкли.

Лишь один Андрюха Колупаев ни сном ни духом не ведал, какой ураган надвигался на него. Он шел по телефонной линии, и я раньше всех услышал его приближение, и, когда задергался провод и посыпались комки мерзлой земли в окопе, примыкающем к нашему блиндажу, я шепотом известил подвластную мне клиентуру:

— Прибывает!

И защелкали клапаны на всех телефонах, и понеслось по линиям: «Внимание!» — как перед артподготовкой.

Андрюха царапнул по окорелой плащ-палатке пальцами, отодвинул ее, пустил холод на мои ноги, и без того уж застывшие, скользнул по мне взглядом, как по горелому пню, и обратился к лицу более важному:

— Товарищ майор, боец Колупаев прибыл по вашему приказанию!

Майор выплюнул потухшую папироску, прикурил от копящей гильзы свежую и долго, с интересом глядел на Андрюху Колупаева, как бы изучая его. А я с трубками, подвешенными за тесемки на башку, постукивал ботинком о ботинок, грея ноги, шаркал жестяным рукавом шинели по распухшему носу и ждал — чего будет?

— Боец Колупаев, — наконец выдал командир дивизиона и повторил: — Боец!

Андрюха весь подобрался, чувствуя неладное, и глянул на меня. Но я, в отместку за то, что он скользнул по мне взглядом, как по бревну, и относился ко мне последнее время плохо, — ничего ему не сообщил ни губами, ни глазами — держись без поддержки масс, раз ты такой гордый!

— Иди-ка сюда, боец Колупаев! — поманил к себе Андрюху майор, и тот, не знающий интонаций майора, всех тайн, скрытых в его голосе, как знаю, допустим, я — телефонист, — простодушно двинулся к столу, точнее, к избушке двери, пристроенной на две ножки, и присел на ящик из-под снарядов.

— Так-так, боец Колупаев, — постучал пальцами по столу майор, — воюем, значит, громим врага!

— Да я чё, я за баранкой... — увильнул встревоженный Андрюха. — Это вы тут, действительно, без пощады!..

— Чего уж скромничать! Вместе, грудью, так сказать, за Отечество, за матерей, жен и детей. Кстати, у тебя семья есть? Жена, дети?.. Все как-то забываю спросить.

— Да эть я вроде сказывал вам? Конечно, много нас — не упомнишь всех-то. Жена, двое ребят. Все как полагается...

— Пишешь им? Не забываешь?

— Да эть как забудешь-то? Свои.

— Ага. Свои. Правильно... — Глаза майора все больше сужались, и все больше стального блеску добавлялось в них.

Я держал нажатым клапан телефона, и артиллерийский дивизион, а также батальон пехоты замерли, прекратив активные боевые действия, ожидая налета и взрыва со стороны артиллерийского майора, пока еще ведущего тонкую тактическую работу.

Атмосфера сгущалась.

Я бояться чего-то начал, даже из простуженного носа у меня течь перестало.

— Чего случилось-то, товарищ майор? — не выдержал Андрюха.

— Да ничего особенного... На вот, почитай! — Майор протянул Андрюхе размахившийся, припачканный в долгой дороге треугольник. Бумага на письмо была выдрана из пронумерованной конторской книги, и заклеен треу-

гольник по нижнему сгибу вареной картошкой. Где-то треугольник поточили мыши.

Андрюха читал письмо, шевеля губами, и я видел, как сначала под носом, потом под нижней губой, а после и на лбу его возникали капли пота, они набухали, полнели и клейко текли за гимнастерку, под несвежий подворотничок. Командир дивизиона одним махом чертил круги циркулем на бумаге и с нервным подтрясом в голосе напевал переименованную мной песню: «Артиллеристы, точнее прицел! Разведчик стибрил, наводчик съел...»

Никаких поношений и насмешек об артиллеристах майор не переносил, сатанел прямо, если замечал неуважение к артиллерии, которая была для него воистину богом, и вот сатирический куплет повторяет и повторяет...

Худо дело, ребята! Ох, худо! Я отпустил клапан трубки и полез в карман за махоркой.

Андрюха дочитал письмо, уронил руки на колени. Ничего в нем не шевелилось, даже глаза не моргали, и только безостановочно, зигзагами катился теперь уже разжиженный пот по оспяным щербинам и отвесно, со звуком падал с носа на приколотую карту.

«Хоть бы отвернулся. Карту ведь портит...» — ежась от страха, простонал я.

Телефонисты требовали новостей, зуммерить начали.

— А, пошли вы!..

— Ладно, ладно, жалко уж...

Голос мой, видать, разбил напряженность в блиндаже. Майор швырнул циркуль с такой силой, что он прокатился по карте и упал на землю.

— Воюем, значит, боец Колупаев?! — подняв циркуль и долговязо нависнув над потухшим и непривычно кротким Андрюхой, начал расходовать скопившийся заряд командир дивизиона. — Бьем, значит, гада!

Андрюха все ниже и ниже опускал голову.

«Заступница солдатская, Матушка, Пресвятая Богородица! Пусть майора вызовут откуда-нибудь!..» — взмолился я.

Никто майора не вызывал. Меня аж затрясло. «Когда не надо — трезвонят, ироды, — телефон рассыпается!..»

— Вы что же это, ля-амур-р-ры на фронте разводите, а?!

— Ково? — прошептал Андрюха.

— Он не понимает! Он — непорочное дитя! Он... — Майор негодовал, майор наслаждался, как небесный про-

рок и судия, своим праведным гневом, но я отчетливо почувствовал в себе удушливую неприязнь к нему и догадываться начал, отчего не любят его в дивизионе, особенно люди не чинные, войной сотворенные, скороспелые офицеры. Но когда он, обращаясь ко мне и указывая на Андриюху, воззвал с негодованием: — Вы посмотрите на него! Это ж невинный агнец! — я качанием головы подтвердил, — что, мол, и говорить — тип! И тут же возненавидел себя за агнца, которого не знал, и за все... — Сегодня вы предали семью! Завтра Родину предадите!

— Ну уж...

— Молчать, когда я говорю! И шапку, шапку! — Майор сшиб с Андриюхи шапку, и она покатилась к моим ногам. «Ну, это уж слишком!» Я поднял ее, отряхнул, решительно подал Андриюхе и увидел, что бледное лицо его начинает твердеть, глаза раскаляются.

«Ой, батюшки! Что только и будет?!»

— Если будете кричать — я уйду отсудова! — обрывая майора, заявил Андриюха. — И руками не махайтесь! Хоть в штрафную можете отправить, хоть куда, но рукам волю не давайте!..

— Что-о-о?.. Ч-что-о-о? А ну, повторите? А ну... — Майор двинулся к Андриюхе на согнутых ногах.

Андриюха встал с ящика, но от майора не попятился.

И в это время!.. Нет, есть солдатский бог! Есть! Какой он, как выглядит и где находится, — пояснить не могу, но что есть — это точно!..

— Двадцать пятого к телефону! — По капризному, сытому голосу я сразу узнал штабного телефониста и скорее сорвал с уха трубку:

— Из штаба бригады, товарищ майор!

— А-а, чь... черт! — все еще дрожа от негодования, командир дивизиона выхватил у меня трубку. — Двадцать пятый! Репер двенадцатой батареи? Пристреляли. Да! Четырьмя снарядами. Да! Остальные батареи к налету также готовы. Связь в пехоту выброшена. Все готово. Да. Чего надо? Как всегда, огурцов. Огурцов побольше. Чем занимаюсь? — Майор выворотил белки в сторону Колупаева. — С личным составом работаю. По моральной части. Мародерство? Пока Бог миловал... Да... Точно. До свидания, товарищ пятый. Не беспокойтесь. Я знаю, что пехоте тяжело. Знаю, что снег глубокий. Все знаю...

Он сунул мне трубку. Она была сырая — сдерживал

себя майор, и нервы его работали вхолостую, гнали пот по рукам. Не одному Андрюхе потеть!

— Ну, как там у вас? — слышался вкрадчивый голос.

Прикрыв ладонью трубку, я далеко-далеко послал любопытного связиста.

Майор достал из полевой сумки два листа бумаги, подвинул к ним чернилку с тушью, складную железную ручку достал из-под медалей, залезши пальцами в карман.

— Пиши! — уже утихомирено и даже скучно сказал он, и я тоже начал успокаиваться: если майор перешел ны «ты», значит, жить можно.

Андрюха вопросительно глянул на майора.

— Письмо пиши.

Андрюха обернул вставышек железной ручки пером наружу, вынул пробку из чернилки-непроливашки, макнул перо, сделал громкий выдох и занес перо над бумагой — три класса вечерней школы! С такой грамотой писать под диктовку!..

Майор, пригибаясь, начал расхаживать по блиндажу:

— Дорогая моя, любимая жена...

Андрюха понес перо к цели, даже ткнул им в бумагу, но тут же, ровно обжегшись, отдернул:

— Я этого писать не буду!

— Почему? — вкрадчиво, с умело спрятанной насмешкой поинтересовался майор.

— Потому что никакой любви промеж нас не было.

— А что было?

— Насильство. Сосватали нас тятя с мамой — и все. Окрутили, попросту сказать.

— Ложь! — скривил губы майор. — Наглая ложь! Что-бы при советской власти, в наши дни — такой допотопный домострой!..

— Домострой?! Хужее!.. Я было артачиться зачал, дак пахан меня перетягой так опоясал... Никакая власть, даже советская, тятю моего осаврасить не может.

— Давайте, давайте, — покачал головой майор. — Вы посочиняйте. Мы — слушаем! — И снова улыбнулся мне, как бы приглашая в сообщники. И я снова угодливо распылил свою пасть.

Андрюха тем временем сложил ручку и поднялся с ящика:

— Не к месту, конечно, меня лукавый попутал... Всю ответственность поступка я не понимал тогда. Затмило!



Но, извините меня, товарищ майор, — артиллерист вы хороший, и воин, может быть, жестокий ко врагу, да в любви и в семейных делах ничего пока не смыслите. Вот когда изведаете и то, и другое — потолкуем. А счас разрешите мне идти. Машина у меня неисправная. Завтре наступать, слышу, будете. Мне везти взвод... — Андрюха достал из-за пазухи рукавицы. — Письмо семье и в сельсовет ночесь напишу. Покажу вам. Покаянье Галине Артюховне также будет сделано... Разрешите идти?

— Идите!

Я удивился: в голосе майора мне почудилась пристыженность.

Андрюха поднялся, оправил телогрейку под ремнем, закурил, ткнувшись сигаркой в огонек коптилки, и пояснил свои действия хмуро глядевшему майору:

— Шибко я потрясенный. Покурю в тепле, — и курил молча до половины сигарки, а потом вздохнул протяжно: — Жись не в одной вашей Москве протекает, товарищ майор... По всему Эсэсэру она протекает, а он, милый, ого-го-о-о-о! Гитлер-то вон пер-пер да и мочой кровавой изошел! Оказалась у него задница не по циркулю пространства наши одолеть! И на агромадной такой территории оч-чень жизнь разнообразная!.. Например, встречаются еще народы — единым мясом или рыбой без соли питающиеся; есть, которые кровь горячую для здоровья пьют, а то и баб воруют по ночам!.. И молятся не Царю Небесному, а дереву, скажем, ведмедю или даже змее...

Майор, часто моргая, глядел на Андрюху Колупаева и вроде бы совсем его не узнавал.

Плюнул в ладонь Андрюха, затушил сигарку, как человек, понимающий культуру.

— Вам вот внове знать, небось, какой обычай остался в нашей деревне? — Андрюха помолчал, улыбнувшись воспоминанию. — Родитель — претягой или вожжами лупит до тех пор, пока ему ответно не поднесешь...

— К-как это? Вина?

— Вина-а! — хмыкнул Андрюха. — Вина само собой. Но главное — плюху! Желательно такую, чтоб родитель с копыттов долой! Сразу он тебя зауважает, отделиться позволит... Я вот своротил тятэ санки набок и, вишь вот, до шофера самоуком дошел! Кержацкую веру отринул, которая даже воевать запрещает... А я, худо-бедно, фронту помогаю... Не в моленную ходил, божецкие стихиры слушать, а в клуб, на беседы. Оч-чень я люблю беседы про

технику, про устройство земного шара, а также об окружающих мирах...

— Идите! — устало повторил майор.

Андрюха, баскобайник окаянный, подморгнул мне, усмехнувшись, натянул неторопливо рукавицы и вышел на волю.

Все правильно. Все совершенно верно. Знала Галина Артюховна, кого выбрать из нашего взвода. Боец Андрюха! Большого достоинства боец! Не то что я — чуть чего — и залыбился: «Чего изволите?» Тьфу!..

Командир дивизиона попил чаю из фляги, походил маленько по блиндажу и снова уткнулся в карту.

— Ишь какой! Откуда что и берется! — буркнул он сам себе под нос. — Снюхался с хохлушкой, часть опозорил! А еще болтает о мирах! Наглец!.. Н-ну, погодите, герои, доберусь я до вас! Наведу я на этом ЧМО порядок...

Письма Андрюхины майор проверил, или, как он выразился, откорректировал, что-то даже вписал в них от себя, но только те письма, которые были домой и в сельсовет. Письмо к Галине Артюховне не открыл, поимел совесть, хотя и сказал, насупив подбритые брови и грозя Андрюхе пальцем:

— Чтобы не было у меня больше никаких ля-амурчиков!

«Э-э, товарищ майор, — отметил я тогда про себя, — и вас воспитывает война тоже!..»

Андрюха Колупаев с тех пор покладистей стал и молчаливей, ровно бы провинился в чем, и беда — какой неряшливый сделался: вонял бензином, брился редко, бороденка осоклой кустилась на его щербатом, заметно старящемся лице. Иной раз он даже ел из немытого котелка, чего при его врожденной обиходности прежде не наблюдалось.

Лишь к концу войны Андрюха оживать стал и однажды признался нам в своей тайной думе:

— Эх, ребята! Если б не дети, бросил бы я свою бабу, поехал в хутор один, пал бы на колени перед женщиной одной... О-очень это хорошая женщина, ребята! Она бы меня простила и приняла... Да детишков-то куда же денешь?

Но не попал Андрюха Колупаев ни на Украину, ни к ребятишкам своим в Забайкалье... Во время броска от Берлина к Праге, не спавший трое суток, уставший от работы и от войны, он наехал на противотанковую

мину — и машину его разнесло вместе с имуществом и дремавшими в кузове солдатами. Уцелели из нашего взвода лишь те разгильдяи, которые по разным причинам отстали от своей машины. Среди них был и я — телефонист истребительного артдивизиона — Костя Самопряхин.

**1971**

---

## КУРИЦА — НЕ ПТИЦА

*Анастасии Ангреевне  
Логиновой*

Колонна, в которую входило пять восстановительных поездов, неторопливо, но настойчиво двигалась за фронтом со всем своим скарбом: измерительными приборами, башмаками, шпалами, рельсами, стрелочным и сигнальным хозяйством да разномастным людом, большей частью не годным для строевой службы.

Все это хозяйство и стройбатовцев, умаянных тяжелой работой, возглавлял инженерный генерал Павел Аркадьевич Спыхальский, по фамилии судя, выходец из поляков. Но, кроме фамилии, всегда почему-то сконфуженного и утомленного лица да неистребимой вежливости, ничего уже в генерале европейского и тем более шляхетского не осталось.

Жил и работал Павел Аркадьевич в четырехосном пассажирском вагоне, на котором сквозь копоть просвечивали болотного цвета краска и черные буквы «Моск. ж. д.» да еще какие-то загадочные знаки, которыми так любят железнодорожники озадачивать технически безграмотную публику: «Гоп — стоп г. рр. п. КПЧ ВРП мест. ПОС. 60 т. тормоз Матрсова».

К вагону этому с двух сторон были прицеплены ржавыми фаркопами платформочки на дребезжащем, прихрамывающем ходу. С них торчали дулами кверху спаренные пулеметы, давно уже вышедшие из употребления в боевых порядках и потому отправленные в тыл. Возле пулеметов постоянно дежурили обезжиренные солдаты, попавшие сюда из госпиталей и делавшие вид, что зорко

следят они за небом, бдительно стерегут генеральский вагон и все сложное хозяйство. В классном вагоне обитала еще фронтовая концертная бригада, и были там курящие певички, плясуньи, хотя уже и перестарелые, но лихие, были два баритона, один тенор, частушечник — еврей Брамсо, выдававший себя за цыгана, был фокусник Маркел Эрастович, он же по совместительству администратор. В годы нэпа Маркел Эрастович содержал собственное заведение с бильярдом в городе Калуге, после наловчился колоть себя кинжалом, вынимать из ноздрей бумажную ленту и делать огненный смерч, зажигая бензин во рту.

Генерал Спыхальский, хотя и руководил всеми восстановительными путевскими работами и, должно быть, успешно справлялся с должностью, так как ему выдали уже два ордена, сам, однако, тоже был в подчинении и подвергался строгой опеке со стороны проводницы Анастасии Поликарповны Корбаковой, которую, впрочем, навеличивал лишь он один, а остальные кликали попросту — тетей Тосей.

Небольшого ростика, с чуть тронутым оспой лицом и оспою же полусведенными руками, женщина эта, всю жизнь проработавшая проводницей на поездах дальнего следования, знала и понимала всякий народ, умела с ним обращаться, была с ним в меру строга и без меры насмешлива. Рожденная вятской землей, в долгих своих странствиях она так и не утратила вятского сыпучего говорка, сохранила да еще и приумножила в дни войны трудолюбие, которым отличалась еще в девках. И если уж прямо говорить, генерал и особенно концертная бригада без тети Тоси мало чего полезного сделали бы для фронта. Артисты даже из вагона не смогли бы на свет Божий выйти, не говоря уже о сцене, где все видно и заметно. В пути следования оба баритона, певички и танцорши так, видать, кутили, что явились к месту назначения вовсе в непригодном виде.

Нахохотавшись вдосталь над приунывшими артистами, тетя Тося удовлетворенно заметила:

— Ладно хоть гитару с аккордеоном не пропили. — И стала соображать, как и во что одеть концертную бригаду, которая впала в апатию, не шевелясь лежала на полках и лишь изредка напоминала о себе слабыми стенаниями, умоляя подать воды и пищи.

Из вагонных простыней тетя Тося сконструировала

дамам платья и вышила их крестиком, мужчинам она изготовила брюки и куртки из одеял, а манишки — из подшторников, наказывая артистам, чтобы не входили в раж и не шибко бы махали руками, так как материя состоит из полубумажной ткани и манишки могут запросто лопнуть во время исполнения номера.

Когда замолкла швейная машинка в купе тети Тоси, когда артисты пододелались, причесались и стали глядеться в зеркала, восхищаясь собою, тетя Тося сообщила, что все эти дни штурмовала генерала Спыхальского и добилась, чтобы артистов обмундировали как настоящих бойцов.

— Вы гений, тетечка Тосечка! — заявил тенор и поцеловал ей ручку, а поцеловавши, тут же грянул жизнерадостно:

Сердце красавицы  
Склонно к измене...

Тенор после первого же выступления перед массами променял и пропил тети Тосину одежду. Его примеру последовала и вся остальная капелла.

— Окаянные! — ругала тетя Тося затаившихся на полках артистов. — Чисто ребятишки! Хуже ребятишек! Где я на вас имущества наберусь?

Но вскоре все образовалось. Артистов одели в военное обмундирование, и хотя оно поступило из БУ, то есть было уже в употреблении, артисты так гордились им, что пропивать форму у них не хватило решимости.

Потом какой-то московский театр пожертвовал боевой бригаде костюмы, фраки, настоящие манишки и кленчато блестящие туфли. Забот тете Тосе прибавилось. Надо было все это имущество чинить и гладить, кроме того, в узле носить его на концерты и, терпеливо дожидаясь конца выступления, тут же снять фраки, ботинки и прочее с артистов, увязать и спрятать в тайное место.

В пути следования концертная бригада как-то сама по себе разрасталась. Особенно запомнилось тете Тосе явление народу чечеточника и гитариста, затем и конференсье Брамсо, как потом оказалось, фамилии, образовавшейся из Абрамсона.

Это случилось на Украине. Ночью поезд остановился в темной и плоской местности. Вверху гудели самолеты, никто не знал, наши это или чужие, и машинист на всякий случай закрыл поддувало паровоза, чтобы труба не сорила искрами и ничего не демаскировала.

Артисты спали. Генерал Спыхальский отдыхал. Солдаты на платформах крутили на звук самолетов пулеметами, но не стреляли и кашляли в кулаки.

Тетя Тося выметала мусор из тамбура, освещая его притемненным фонарем, и забылась в работе. Послышалось царапанье в дверь вагона и какой-то скулящий голос. Подумавши, что это опять какой-нибудь всеми брошенный пес, а на ее вагон почему-то всегда набредали все брошенные и обездоленные, она отбросила железную защелку, открыла дверь и чуть-чуть было не опрокинулась назад.

Перед дверью стоял нагой человек с двумя полосатыми арбузами под мышкой, и по лицу его текли слезы, скатываясь на волосатую грудь, в которой запуталась сеновая труха. На человеке обнаружилась набедренная повязка из холщового мешка, больше ничего на нем не было.

— Господи! — сотворив крестное знамение и поднимая оброненный веник, сказала тетя Тося. — Ты не из преисподней ли?

— Я — Брамсо. Я — Брамсо, — наконец разобрала тетя Тося. Человек протягивал арбузы и шевелил спекшимися черными губами: — Хлеба. Крошечку хлеба...

Тетя Тося помогла Брамсо подняться в вагон, налила ему чаю, дала хлеба и услышала повесть, которой печальнее еще не слышали на свете.

Калькулятор Бердичевского кожевенного комбината Абрамсон бежал от фашистов из родного города. Он пошел на восток, чтобы вступить в ряды Красной Армии. Ему приходилось в пути прятаться, но фронт так быстро катился на восток, что изнемог он в пути без пищи и крова, и тогда «мивые советские патриоты» спрятали его на бахче, да и забыли о нем. Он честно сторожил эту проклятую бахчу, обносился, как пустынный, арбузов же до того наелся, что теперь до конца дней своих не сможет их не только есть, но и смотреть на них едва ли без отвращения сможет...

Ночью тетя Тося и пустынный накатали полный тамбур арбузов, и Брамсо определился спать в вагоне.

— Я еще одного артиста подобрала! — объявила утром тетя Тося. — Вот это уж артист так артист!..

Так Брамсо оказался в концертной бригаде, выучился отбивать чечетку, вращать печальными глазами, дубасить кулаком по струнам, а больше по корпусу гитары, и выкрикивать: «А-а-а, черелло-марелло-о-о, ас-са-а!..»

И когда он плясал, люди военные немели от искусства, и лишь кто-нибудь задушевно выдыхивал: «Во дает, цыган! Во бацает, подлюга!» А перед Брамсо солдатские лица крутились арбузами, и по ночам его преследовали арбузные кошмары, и если он сердился на кого — слал самое страшное проклятье:

— Шоб ты всю жизнь арбузами питався!

Тетя Тося не только обшивала, обмывала, обихаживала и приводила в потребный вид после банкетов свою публику, она еще готовила еду для генерала Спыхальского, получая отдельный для него паек из военторговского вагона-лавки.

Само собой, часть этого пайка, и часть наибольшая, стараниями тети Тоси доставалась артистам, и они говорили ей за это комплименты, передаривали дареные им цветы, целовали ручку, ни разу, впрочем, не поинтересовавшись, как она все успевает и спит ли когда-нибудь.

И вот однажды, это уже где-то за Днепром, случилось небольшое, всех немало повеселившее происшествие: генералу Спыхальскому вместо мясных консервов выдали в качестве пайка живую курицу.

Тетя Тося принесла ее в вагон, пустила в туалет и нащипала крошек. Курица, совершенно не сознавая, куда она и зачем попала, приводя себя в порядок, женственно ощипалась, деловито и нежадно поклевала крошки, наговаривая при этом умиротворенно, как на крестьянском дворе. «Яичко наращивает», — заключила тетя Тося и пощупала курицу. Все оказалось в точности: курица была с яйцом и, отпущенная на пол, заворковала, не понимая, что через час-другой должна быть ощипана, сварена и съедена.

Вечером в вагон, как всегда голодные, но бодрые, с шумом, звоном и бряком вломились артисты, приволокли огурцов, помидоров и хлеба, стали мыться и, обнаружив в туалете курицу, пришли в умиление, разговоривали с нею, пугали гитарой. Но курица эта, должно быть, видала виды и с полотенечной вешалки, которую приспособила вместо насеста, не слетала, а, открыв один глаз, копошилась и по-старушечьи недовольно ворчала.

Подав в купе скромный ужин, тетя Тося помялась и сообщила, что хотела приготовить курицу, но она с яйцом оказалась.

— Вот как! — изумился генерал Спыхальский. — А как вы узнали?



— Так вот и узнала.

Генерал озадачился. Подумав крепко, выдвинул предложение:

— Может, потом? Ну, когда она... хм... ну, когда она родит яйцо.

Утром тетя Тося услышала, как за стенкой ее купе, в туалете, что-то начало постукивать, кататься в стоковой лунке на полу. И тут же весь вагон был поднят на ноги боевым кличем курицы, в срок исполнившей свое дело.

Теплое, розоватое яйцо переходило из рук в руки, будто невиданное творение природы, и когда дошло до генерала Спыхальского и тетя Тося объявила, что вот и завтрак генералу Бог сподобил, он несмело полюбопытствовал, как, мол, быть, нельзя же, мол, держать птицу в управленческом вагоне.

Тетя Тося, потупясь, согласилась: нельзя, непорядок — и, словно виновата во всем была сама, довела до сведения генерала, что курица снова с яйцом.

— Да что вы говорите?! — вовсе изумился генерал. — Не могу постигнуть, Анастасия Поликарповна, как же вы все-таки узнаете, что она с яйцом?

— А и не пытайтесь — не постигнете, — сказала тетя Тося и, как о вопросе, окончательно решенном, объявила: — Значит, курицу не режем!

Курица упорно боролась за сохранение своей жизни. Она каждый день выкатывала из себя яйцо, кудахтала, извещая об этом войной охваченный мир, и в конце концов отстояла право на существование. Проводница оборудовала ей гнездо за унитазом, кормила и поила ее и, развлекаясь, разговаривала с этим, по утверждению тети Тоси, совершенно разумным существом. «А еще болтают, что курица — не птица, баба — не человек!» — подвергла сомнению старинную поговорку проводница.

Артисты напрягали умственные способности, чтобы придумать курице имя. Называли ее и Джильдой, и Аидой, и Карамболитой, но курица почему-то отреагировала на Клеопатру.

Клеопатра так Клеопатра — решил коллектив, закрепил за хохлаткой древнее имя да и баловать ее начал всевозможными подношениями. Но тетя Тося немедленно осадила сердобольных артистов, утверждая, что если курица зажиреет — перестанет нестись, и тогда боевой ее путь тут же завершится.

В который уже раз поразившись тети Тосиной прони-

цательности, артисты подношения прекратили и вплотную занялись воспитанием Клеопатры. И скоро смекалистая курица выходила на прогулку из вагона, отыскивая пропитание, а когда раздавался гудок — турманом влетала в тамбур и спешила на свое законное место.

Весь поезд, весь трудовой его народ знал и остерегал Клеопатру и вспоминал свой дом, хозяйство при виде такой домашней живности, чего-то поклевывающей, чего-то наговаривающей либо хлопающей в придорожной пыли и дремлющей на солнце.

Первое время Клеопатра боялась бомбежек, вихрем влетала в вагон и забивалась под отопительные трубы.

— Где ты, матушка? Где ты, Клеопатрушка? — звала ее тетя Тося, когда самолеты, отбомбившись, улетали.

Клеопатра выпархивала из засидки, судорожно подергивала шейю, и у нее слабели ноги. Нестись после этого она не могла дня по два и есть тоже, лишь пила воду.

Но постепенно и она вжилась в военную обстановку, не паниковала уже и, когда начинали бить зенитки, греметь разрывы, возмущенно кудахтая, прыгала и нервно целилась клювом в самолет — так бы начисто и истребила эту нудно жужжащую муху.

Дальше и дальше на запад следовала Клеопатра, исполняя аккуратно свою службу и мирясь с дорожными неудобствами и тревогами, которые добавляли еще эти веселые люди — артисты. Только выйдет, бывало, погулять Клеопатра, только займется она промыслом — паровоз и загудит. Клеопатра немедленно снимается с земли и летит в вагон. Посидит-посидит — не трогается вагон. Выйдет в тамбур, осмотрится — и снова на землю. Артистам потеха — опять гудок жиманут, и снова курица мчится в вагон.

— Лешие! — ругалась тетя Тося. — Вы меня с ума свели. Мало вам этого, за курицу взялись!

Похохатывают артисты, кудахтает возмущенно курица, идут поезда следом за фронтом, и тянется за ними восстановленная нитка пути меж порушенных вокзалов, станций, городов и селений, и никому не ведомо, что где-то далеко-далеко, в больших и строгих кабинетах Наркомата путей сообщения, военных ведомств, даже возможно, и в самом Комитете обороны, уже бесповоротно решена участь Клеопатры да и всего ведомого тетей Тосей народа.

Генерал Спыхальский был известный не только в на-

шей стране, но и за кордоном теоретик и спец по железнодорожным мостам. И когда легче сделалось на фронте, а разрушенные мосты лежали в Днепре, Десне и прочих реках, возникла большая необходимость в инженерах такого профиля.

Отозвали в тыл Павла Аркадьевича для более важной работы.

Растроганно прощались с ним работники восстановительных поездов. Артисты по этому случаю раздобыли самогонки, и генерал, отроду не пьющий, оскоромился, приняв стопку бурякового зелья, тетя Тося прослезилась и перекрестила на прощание генерала, которого чтит за культурность и совсем не генеральское горло.

Павел Аркадьевич заглянул в засидку Клеопатры, поерошил на ней перья, улыбнулся и сказал, смущенно моргая:

— Вот ведь странность какая... — Он не пояснил ничего, но всем было понятно — генералу жалко покидать Клеопатру.

Вскоре прибыл высокий, с зычным голосом человек, который уже назывался не просто генералом, а генерал-директором. Одет он был наполовину в железнодорожное, наполовину в военное. Принимая хозяйство, генерал-директор увидел беспечно копающуюся Клеопатру и ткнул в нее пальцем:

— Это что?

— Курица, — чую надвигающуюся грозу, как можно спокойней ответила тетя Тося.

— Вижу, что не гусь. Я спрашиваю, почему она тут?

— Она яички несет, — пояснила тетя Тося.

— Я-а-ички! — рывкнул генерал, и румянец покинул его лицо. — Вы, может, еще конюшню тут разведете?

— Зачем же конюшню-то? Курица опрятная, места мало занимает, а вам каждый день свежее яйцо будет, — оробев, сказала тетя Тося и схватилась за последнюю возможность: — Мы к ней привыкли... как к человеку.

— Мало ли к чему вы тут привыкли! — взревел генерал. — Безобразие! Бедам! Не железнодорожная часть, орс какой-то, подсобное хозяйство! Цирк!..

Власть есть власть — с ней не заспоришь, — это тетя Тося давно уже и прочно усвоила. Она спрятала Клеопатру под шинель, отнесла зенитчикам и, заручившись уверенностью, что те не употребят ее в пищу, попросила выпус-

тить курицу на какой-нибудь станции или возле села, где увидят они других куриц и не будет поблизости собак.

Зенитчики пытались выполнить все, как им было велено. Завидев обочь линии село, мало побитое, садами окруженное, и белые россыпи кур, они на полном ходу поезда выпустили в полет Клеопатру. Курица благополучно приземлилась и возмущенно закричала, не понимая такого к себе отношения, и тут же увидела убегающий от нее, такой знакомый, обжитый ею зеленый дом на колесах. Хлопая крыльями, она ринулась следом и где бегом, где летом настигла вагон, взлетела, пытаясь заскочить в тамбур, но дверь оказалась запертой. Клеопатра ударилась в стекло. Ее отбросило под колеса, завертело и швырнуло на откос. Комком катилась она по насыпи, перевертываясь через голову, буся пером. Хлопнувшись несколько раз, прошла винтом по земле и утихла Клеопатра, мелькнув белым пятнышком вдали.

Тетя Тося закрылась в купе и плакала в фартук. Артисты зарылись в подушки лицами, баритоны, стиснув зубы, угрожающе молчали, тенор беззвучно рыдал, уткнувшись лбом в стекло. Маркел Эрастович хмурился и, пытаясь утешить свою труппу, говорил о каких-то безымянных жертвах войны.

— Шоб тому генералу весь век арбузами питаться! — прошептал Брамсо с ненавистью.

Тетя Тося придумала казнь генералу еще более жестокую:

— Чтоб он три года кряду ваши концерты слушал!

Неделю спустя новый генерал приказал через посредство адъютанта, этакого рыхленького, с бабьими бедрами лейтенантика, собрать имущество и переселить артистов в другой вагон — шумят больно.

— С удовольствием!

— С радостью!

— С великим наслаждением! — восклицали артисты так, чтобы слышно было генералу, запершемуся в купе.

Тенор, покидая вагон, истошно рванул: «Смейся, паяц...» Но допеть ему не дал адъютантик. Совершенно потрясенный, он возник откуда-то и беззвучно открывал и закрывал рот. Но хотя и беззвучно он это делал, все равно понятно было: «Да вы с ума сошли! Товарищ генерал работают!..»

— Мы тоже работаем, между прочим! — отшил адъютанта тенор и хлопнул дверью вагона так, что на столе

генерала опрокинулся стакан с чаем и облил ему форменные штаны.

Неприятно, сиротливо и худо жили артисты в отдельном вагоне. Они уж подумывали: не продать ли им парадные костюмы и после этого, может быть, месть какую придумать, ну, например, трахнуть кирпичом в окно генеральского вагона или в программу концерта включить ехидную частушку.

Но все обошлось благополучно. Явилась в вагон людей искусства тетя Тося с сундучком и швейной машиной. Артисты догадались, что она к ним насовсем и жить без них не может. Смех и слезы, объятия и поцелуи.

— Охреди вы, охреди! — ругалась тетя Тося. — Эко вагон-то устряпали! Мне тут поди месяц скрести не отскрести! — И, вовсе построжев, прокурорским тоном спросила: — Форму концертную небось успели прокутить?

Тенор встал перед тетей Тосей на колени, каясь:

— Были! Были такие черные мысли и ползновения...

— Вовремя, вовремя я уволилась, — сказала тетя Тося и стала с великой обидой рассказывать, как новый генерал вызвал из Москвы личного повара и проводником назначили мужчину, чтобы, говорит, ничего такого...

Артисты, оскорбившись за тетю Тосю, хотели тут же идти к генералу и высказать ему все, что они о нем думают. Еле остепенила их тетя Тося, а остепенив, и за дела принялась, и так вот, с этими «ребятишками», как она называла артистов, проработала она до конца войны.

Сейчас тетя Тося живет в Подмосковье, в маленьком прохладном домике. На полу там лежат веселые деревенские половики, стоит узенькая кровать с кружевной прошвой, сундучок старинный стоит в углу, а над ним икона в обгорелом окладе. На стене репродуктор, который говорит от гудка до гудка, и тетя Тося ругается, когда тот слишком уж заговаривается. Есть еще у тети Тоси две сотки земли и палисадник перед домом. И в огороде и в палисаднике растут у нее овощи, но большую часть земли покрывают цветы, которые она никогда и никому не продает, считая грехом это тяжким. И еще одна особенность — тетя Тося никогда не держала и не держит кур, хотя все условия вроде бы для этого есть.

На стене ее домика рамки с фотокарточками. И среди них несколько тусклых, наспех и худо отпечатанных карточек военной поры. Она и с ними разговаривает, но уже никого не бранит.

Павел Аркадьевич Спыхальский долгое время слал тете Тосе поздравительные открытки к Восьмому марта, к Новому году и к празднику железнодорожников. А потом открытки перестали приходить, и тетя Тося из газет узнала, что генерал Спыхальский скончался. Она сокрушалась, что не побывала на похоронах и не смогла помочь в приготовлении поминального стола. Но соседки объяснили ей, что у таких больших начальников поминок христианского вида не бывает, и она огорчилась еще больше.

Артисты так ни разу и не написали тете Тосе, хотя сулились помнить и любить ее вечно. Однако не в обиде на них тетя Тося: ребяташки ведь, какой с них спрос!

*1970*

---

## СЛЯКОТНАЯ ОСЕНЬ

Почти четверть века минуло с тех пор, но в уральской деревне Выдрино все еще помнят то лето и длинную, слякотную осень.

Весной было велено запахать под кукурузу заливные луга по излучине реки и вокруг Пашкинских озер, луга, от веку кормившие выдринский скот, а значит, и самих выдринцев.

Само Выдрино расположено на крутом бугристом яру. Под яром, среди озер темнел старыми крышонками хутор Пашкино, бывший когда-то опорой и надеждой всего села. Да случилось так, что хутор вовсе обезмужичел после войны. Часть изб в нем завалилась, часть была продана и сплавлена в другие места, в оставшихся прохудившихся избенках жили и работали бабы-солдатки, уж вроде бы притерпевшиеся ко всяким бедам. Но и они зароптали, а потом испуганно замерли, когда заливные луга пошли под плуг и на верхних пашнях клевера порушили, приготовив землю под какие-то бобово-чечевичные культуры.

Пашкинские и выдринские жители садили бобы по бороздам огородных гряд — для потехи и лакомства ребятишкам, и не верили в их полезность и серьезность. Да и не взошли они, эти заморские бобы, на каменистой и песчаной уральской почве. Кукуруза, правда, проклюнулась, дала росток, пока прела под нею мокрая земля, но как сушь занялась, наносная земля без травы стала трескаться, кукуруза изогнулась вопросительным знаком и в таком виде стояла до тех пор, пока стебельки ее ветром

измочалило, поотрывало от земли и унесло куда-то. В тот год все как-то беспокойно было, дуло и дуло со всех сторон. Сухими ветрами поднимало с гор и клубило тучею землю над рекой, над озерами, над Пашкинским хутором.

Черные от работы и переживаний военных лет, пашкинские бабы вовсе сделались как головешки: на зубах у них хрустел песок, и похлебка или картофель, вынутые из печи, тоже хрустели. А тут еще беда — в самую сушь, в зной самый на молочной ферме кто-то заронил искру, и отбитую от села ферму моментом сожрал пожар. Полтора голова скота сгорело. И тогда районное начальство, твердой рукой спускавшее по селам директивы, что сеять, как и чем кормить скот, свиньям велело давать даже верхний слой со дна озер — питательно, дескать, и научно; свиньи же у пашкинцев какие-то отсталые оказались: нажравшись донной грязи, запоносили и передохли; твердой же рукой и многодумной головой решило судьбу выдринского колхоза: председателя с работы снять и посадить в тюрьму, выдринцев преобразовать в бригаду и передать со всем скарбом и убытками крепкому колхозу «20 лет Октября», правление которого находилось верстах в сорока от Выдрино, за рекой, за тайгой и болотами.

Председатель колхоза «20 лет Октября» с бухгалтером и двумя правленцами пробился на тракторе в Выдрино, походил, походил, искурил три пачки папирос и крикнул, как осевший брус на старой избе: «Вот это хомут так хомут нам надели! И потника на нем нету. Одни клещи...»

Вечером он маленько выпил со своим однополчанином и соратником по окопам Еремеем Чердаковым, всю ночь напролет проговорил и прокряхтел на полатах, сквозь зубы матеря клопов, судьбу свою, необходимую бабу Еремея, самого Еремея он наматерил утром и назначил бригадиром.

Еремей Чердаков принял бригадирство мрачно, однако безропотно. Вернувшись с войны в конце сорок третьего года по инвалидности, он перевидал всякое. Был он и председателем колхоза, и замом, и парторгом, и бригадиром, и пастухом. Небольшого ростика, плотный, чуть кривоногий, в рыженькой щетинке, с рыженькими же, с годами истончившимися детски-пуховыми волосами на голове, он всегда бодро повторял одно и то же: «Ничего, бабы, не робей!.. Бывает хуже...» — И помогал колхозникам чем только мог, даже собственной плотью.

В Выдрино половина ребятишек были рыжей масти.



Жена Еремея спервоначала нервничала, окна била у соседок, после смирилась, всех ребят стала звать Чердаковыми и даже хвасталась: «Эвон у меня сколько мужиков-то! Под старость горя знать не стану — прокормят!»

Еремей Чердаков, получив пост бригадира, ни в облике, ни в поведении не переменялся, продолжал жить так же, как жил до этого: пас уцелевшую от падежа скотину, организовывал заготовку дров для начальной школы и для учительницы, гонял ребяташек с реки, если они уже совсем от дому отбивались, уши драл без разбору, зная, что все они свои — наши, латал крыши на избах, стеклил окна, подпер в Пашкино завалившуюся овчарню с озерной стороны и велел починить невод да сбиваться на лодочный мотор, чтобы купить его в складчину.

В селе, между тем уже и без того наполовину обезлюдившем, заколочено было еще несколько изб, и хозяева их потихоньку отбыли в неизвестном направлении.

Бывало уже, спасали выдринцев Пашкинские озера — в сорок шестом году все лето и осень булькались в них, цедили воду неводом. Еремей возил рыбу в леспромхоз, оттуда взамен плавил хлеб, соль, керосин, иной раз и сахарку ребяташкам.

Приободрились бабы, они хорошо понимали: пока Еремей Чердаков с ними и за них — сам черт им не брат, выживут они и дождутся лучших времен. Беречь только надо мужика, работой шибко не неволить, кормить получше и выпивку зорко стеречь — лютой на выпивку Еремей, чуру совсем не знает, после хворает, переносье у него синее делается, зубы стучат, по вискам, по шее и под мышками пот выступает клейкий, как мед. Сам он в такую пору на свет белый не глядел, прятался на сеновале и, коли попроведает его какая бабенка, сиплым, сгоревшим голосом кричал, будто в лесу: «Навязались на мою голову! Брошу всех! Сбегу либо утоплю-у-уся-а-а!»

Зря он кричал, зря. Глаз у деревни зоркий, никуда он сбечь не мог, тем более утопиться.

Наверное, выкрутились бы выдринцы — бедность, говорят, научит калачики есть и из куля в рогожку переодеваться, но нагрянула комиссия не ко времени, да и засиделась, распутывая сложный узел жизни села, исследуя причины пожара, а также и земельную структуру — отчего все-таки не растут бобы и сохнет здесь кукуруза.

Бабы опасались, кабы не заарестовали у них Еремея, не увезли куда-нибудь. А Еремей этот — хитрован, вроде

бы и хотел, чтобы его заарестовали, орал на комиссию: «Ты! Вот ты, в коверкотовом макинтоше! Сколь зарплату получаешь? Да, ты? Сколь? А ты, вот ты, говорун красногривай?.. А-а! И выходит что? Выходит, что кажин из вас, в отдельности взятый, получает больше, чем мы всей деревней! Отчего пожар лениво тушили? А зачем его тушить-то? Скотина там наша, да молоко в ей ваше! И пусть она лучше сгорит, чем в зиму останется и на деревянной пище доходить будет, блажить на всю деревню, душу нашу изорванную дорывать, пока на живодерню попадет... Отчего доходить? Вы кушать-то хотите? И она, несознательная тварь, кушать хочет! А сена где? Луга-то велено запахать под кукурузу! Где та кукуруза, мать ее распромать! И где чё? Куда девалось? Вредительство это самое настоящее! Надругательство это! Ты меня не стращай, не стращай! — ярился Еремей, когда его одергивали словами, вроде таких вот, привычных в ту пору: «Й-ето, што же выходит, товарищ Чердаков? Против партии, да?!» — Я немца с автоматом видел! Пострашнее он тебя будет, да не бегивал я от него!..»

Бабы ужасались: смиренный ведь мужичишко-то, не ругатель, не сквернослов. Ну, если обматерится когда на них — так все по делу, не зазря... Но вот и в нем что-то повернулось — фронтовик-боец восстал и на самуё комиссию боем!.. Спаси и помилуй, Господи, Еремея!

И спас! И помиловал!

Комиссия не выдержала Еремеева напора. Составила бумагу, в семнадцать страниц, и когда Еремей, не глядя, подмахнул ее, акт этот, с облегчением уехала, пообещав выдринцам помощь и содействие, а уж Еремею — взыскание — за нетактичное поведение при ответственных лицах.

Меж тем наступил сентябрь. Время для сенокосов было упущено — серпами и короткой косой-колодкой бабенки посшибали кой-чего по кустам, малинникам и лесным кулигам, копны в глухих местах, чужому глазу недоступных, поставили, ночами, в вязанках таскали пустое, перестойное сенишко на повети и во дворы, укрывая его досками, хламьем и капустными вилами. Давно уж научились выдринцы быть ворами на своей родной земле, в своем дому, страшились лишь описей, которые иногда случались. Но и тут выход находили — откупались вином и самогонкой.

Еремей копен в лесу «не видел», бабенок не прижи-

мал, ему тут зимовать и жить ему, а не комиссиям и представителям разным, ему мыкать горе с бабами, отвечать за деревню и рыжих детей, полностью занимающих начальную школу от первой до четвертой группы.

Небо ровно бы продырявилось той осенью. Реденькие выдринские хлеба легли наземь, и Еремей велел загонять в них скот. Картошки — беда и выручка выдринцев, которые засохли, которые вымокли. Копались бабы в грязи, с сотки добывали ведро-полтора картошек-балабошек, а тут вовсе — пришла беда — открывай ворота! — в середине октября бац мороз на восемь градусов! И оцепенели в страхе Выдрино и Пашкино: надвигалась тяжелая зима.

Еремей Чердаков поднял население запасаться рябиной, ребятишек по лесу водил, как дитя малое, тепился, нагибая рябины шестом, крючок к которому сам и избрел. Он же придумал и косить по льду. От веку никто этого здесь не видал и слыхом не слыхивал, но так уж получилось: напредила в обмелевших озерах сильная осока, не успела обвянуть и другая травка — погромок водяной, жастик и щучка по бережкам и кочкам.

— Эко диво! — весело удивлялись бабы, высыпав на невиданный сенокос, да и приободрились маленько. Косы по льду катались славно, примерзшая трава срубалась звонко, и скоро на всех озерах по гладкому льду темнели копны, точно муравьиные кучи. Еремей ввязался в игру и свалку, погнал банку, припадая на левую ногу, вколотил ее меж двух копен и сказал рыжеватому вратарю:

— Вот как надо в сайбу играть, туды твою! Учитесь, пока я живой! — и бабам кричал возбужденно: — У нас свой бог, бусурманский! Он нам пропасть не даст!

Случилось мне в ту пору быть по газетным делам в леспромхозе, и я заглянул попутно в Пашкино — Еремей Чердаков всегда давал мне подводу до станции, а Кузьмичиха, однозубая костлявая баба, верховодившая в Пашкине, пускала меня на ночевку.

Утром я проснулся от какого-то жуткого, нечеловеческого воя, соскочил с печи и бросился к окну. Все вокруг было затянуто моросью, с крыш бежало, леса угрюмо темнели, горы обнажились, и на дороге проступили черные ребра, снег остался лишь в складках земли, в бороздах и под ельниками, да и его уже размыло в кашу. Запаханые под кукурузу луга неприятно чернели и дымились, нахохленно сидели на хуторских тополях вороны и галки. Возле ближнего озера стояли мокрые и черные, будто вороны, пашкинские бабы и выли в голос.

Я вышел к ним.

Тонкий лед отмыло от берегов, и копны озерной травы плавали в промытых лунках. Подступиться к ним было уже невозможно.

— Отвернулся от нас Господь-батюшка, вовсе отвернулся! — словно по покойнику завывала Кузьмичиха и темным от назьма и земли кулаком терла лицо.

— Чем мы его, Милостивца, прогневали, чем? — подпевала Кузьмичихе соседка ее, Анисья-тихоня, женщина с отечными подглазьями и фиолетовыми губами — у нее болели почки и сердце. Лечилась она травами, печенкой барсука и собачьим салом, да вот так и тянула тонкую нить своей жизни, готовую в любой миг оборваться.

Их тут было шестеро, пашкинских женщин. Осталось шестеро. Остальные либо поумирали, либо подались к городским детям в няньки, шестеро самых яростных и терпеливых, такие беды переживших, невиданное терпенье выявивших в войну и послевоенные годы и вот из-за каких-то жалких копешек ударившихся в отчаяние.

— На производство надо уходить, бабы, в леспромхоз... — закричала вдруг Анисья-тихоня, заметив меня. — Гори все огнем!..

— Кто нас ждет на производстве-то?

— Здоровье мы здесь уходили, квалификации нет у нас никакой.

— Мы токо на земле и от земли жить можем.

— Так что же нам, сиротам, делать-то? Пропадать, видно? — с новой силой запричитали женщины.

— Пропада-ать?! А мы и жисти-то поди не видели ишшо-о!..

— Мужиков и сынов наших война взяла, нас земля высосала...

— О-о-ой, Х-хосподи!..

Дождь все шлепал и шлепал. Сквозь водяную пыль едва видны были крыши Выдрино на яру. Бригадир Чердаков не спускался оттуда. Он-то хорошо ведал, что его здесь, в Пашкино, ждет.

Плач и вой разом оборвала решительно Кузьмичиха:

— Зовите Еремея, бабы! — те перестали кричать, усталились на нее. — Пусть режет скотину — пировать будем!

— И верно! Пропади все! Напьемся, напляшемся хоть...

Еремей Чердаков покорно спустился в Пашкино, наточил ручным точилом нож и первую, перекрестившись

украдкой, заколол подсадистую, ростом чуть больше сторожевой собаки-овчарки, корову Кузьмичихи, затем трех ее овец прирезал. Возился он со скотом Кузьмичихи до вечера, пообещав потом обслужить другие дворы, втайне надеясь, что бабы отойдут и пожалеют скотину. Пока Еремей обдирал и обихаживал скотину, Кузьмичиха нажарила мяса с картошкой, достала капусты из погреба, скатила с полатей лагуху браги. Анисья-тихоня принесла солевой сороги, аптечную запыленную бутылку с самогоном.

И пошла гулянка.

Кузьмичиха вынула из сундука мужнину гармонь, завернутую в половик, саратовскую гармонь, голосистую, с колокольчиком и, положив ее на прямые деревянные колени, деревянными же пальцами нажимала на одни и те же пуговицы и, воинственно сверкая кривым зубом, хрипло кричала:

Ух, ух, люблю двух!

Погляжу — одна лежу!..

Пашкинские бабы, не умеющие плясать, бухали сапогами по хлябающим половицам, топтались грузно, неуклюже, и выкрикивали похабное, дикое, и плакали, и хохотали от срама.

Побледневший Еремей трезво и робко уговаривал:

— Да, бабы! Да вы што?.. Очумели? — и сокрушенно крутил головой, жалуясь мне. — Никогда такого не было. Лопнула струна стальная и у их...

Еремея напоили в конце концов. Он целовался со всеми бабами подряд, плясать пытался, да все валило его на хромую ногу. Он разбил себе голову о скамью. Ее замотали полотенцем.

В какой-то момент бабы принялись ругаться, сцепились за волосы, но тут заумирала Анисья-тихоня — от браги, и с нею начали привычно и дружно отваживаться. Кузьмичиха трахнула гармошку о стену, повалилась на колени перед иконой, начала молиться, истово бросая с плеча на плечо большую, что лопата, руку, биясь костлявым лбом об пол, с громким плачем просила наказать ее сей же момент.

Бабы завывали, как перед светопреставлением, и начали брызгать на Кузьмичиху водой из ковша. Кузьмичиха схватилась за голову, повалилась на спину, зрачки ее увело под лоб.

— Самогонки, самогонки в рот-то плесните, — деловито посоветовал Еремей. — Заклинилось сердце в ей.

Кузьмичиха, поперхнувшись самогоном, очнулась от обморока и, шатаясь, пошла на кровать. Еремей церемонно поклонился присмирившим женщинам, сказал: «Спасибо за угощение». Они сказали ему: «Спасибо за компанию». И мы отправились в Выдрино ночевать. Поднялись в полгоры, остановились отпыхаться. Внизу, за бельмасто сверкающими озерами, в холодной мороси тускло светились огни хутора. Разбежались пашкинские бабы по своим одичалым углам, в потустороннюю тишину погруженных темных изб.

И, глядя на эти едва теплеющиеся огни, Еремей Чердаков ровно бы самому себе, но так, чтобы и я слышал, совсем почти трезво сказал:

— Не осуждай и не кори наших баб. Пожалеть их надобно, за жись ихнюю...

Сказал, всхлипнул чуть слышно и покарабкался в гору.

*1970*

---

## ОСЕНЬЮ НА ВЫРУБКЕ

О медведях, как о чертях, можно рассказывать бесконечно и занятно. Хотя бы, например, о том, как в одном детдоме ребятишки выкормили медвежонка, а когда он стал медведем, увели его в лес. Зверь же спустя время явился ночью в поселок и давай ломиться в помещение, похожее на детдом. Большая паника была. Милиционер, вызванный к месту происшествия, долго убивал медведя из пистолета, зверь горестно кричал, не понимая, за что и почему его убивают.

Или как объездчик Ахия — татарин, живший в устье уральской речки Вижай, поддался на уговоры городского охотника и пошел с ним на берлогу, но когда выжил шестом зверя с лежки и тот вылетел на свет Божий, городской охотник, полагавший, что медведя в берлоге стреляют, как свинью во хлеву, бросил ружье и помчался вдаль. Ахия давай палить по предателю, но не попал в него, а вот под медведя угодил. Зверь так его устрипал, что остался у объездчика один глаз, рот, разорванный до уха, и все лицо, как у горевшего танкиста, в натеках и розовой кожеце.

Но всех, кто пожелает послушать о берлогах, о проказах косолапых на пасаках, об охоте на овсах, о случайных встречах с медведем грибников, малинников, пастухов, о медвежьих свадьбах, даже о том, как медведица спасла деревенское дитя и воспитала его в лесу, я отсылаю к охотничьему костру, там любитель подобных историй наслушается такого, перед чем даже иной фантаст спасует

и может бросить писать, понявши, как приземлен взлет его и детски слабо вдохновение.

Я же, как и всякий бродячий охотник, когда-то должен был непременно встретиться с медведем и поведать о том. Таскаясь с ружьем лет с двенадцати, исходил я всякой тайги много: сибирской, заполярной, уральской, вологодской, а вот медведя воочию, тет-а-тет, как говорят французы, узрел всего единожды, потому и судите, сколь редок и осторожен этот зверь.

Случалось, конечно, видеть медвежьи следы, хаживал и я медвежьими тропами, рев слыхивал, как-то спугнул вроде бы с лежки косолапого, но все на таком расстоянии, что уверенности полной не было — медведь бежал или лось, а может, бродяга какой...

Вообще-то, на зверя я почти не охотился. В детстве бывал раза два на маральих солонцах и, когда при мне убили маралуху, стали ее свежевать, я разревелся и убою есть не мог. Привыкшие думать, что на меня напущена порча, родственники перестали брать меня на охоту.

В войну довелось мне раза два ходить за козами по снегу. На фронте, случалось, стрелял кур, уток, и в «руках не дрогнул карабин», коли добивали на еду раненых горемык лошадей, брошенных в поле.

После войны мне никого не хотелось стрелять, но нужда заставляла, и — грешен, ох грешен! — много истребил я на Урале тетеревов, уток и в особенности рябчиков.

После окопов, смертей и военной толчеи тянуло от суеты, гама и рева побыть наедине с собою. Охота на рябчиков с манком — уединенная, тихая, иной раз за день километров тридцать-сорок сделаешь, да все по старым просекам, по заброшенным дорогам, по поймам речек, вдоль логов и ключей, — красот всяких насмотришься, приключений тыщи изведает, надышишься, отойдешь душою...

И до того я сделался беспечен на охоте по птице, что пули вовсе перестал брать, если и были в патронташе один-два заряда с пулями, то лишь для блезиру, как говорят в народе.

Когда я приобрел избу в глухой деревне Быковке, что стоит в глуби мыса, образованного соединившимися реками Чусовой и Сыловой, то и совсем о каких-либо зверях забыл думать: леса здесь давно выпластаны, лишь у речек, в недоступных оврагах, растерянно ершились островки хвойников, да на самом мысу, каменным плутом впахав-



шемся в водохранилище, обреченно шумела грива колхозного лесного надела.

По вырубкам взошли осинники, липа, березник, необозримое море розового кипрея, малины, всякой разной дудки, чертополохов, ягодников. Большое тут стадо дичи развелось, особенно тетеревов много гнездилось, и охота была хорошая, пока не обсыпали с самолета вырубки химическим порошком, борясь с энцефалитным клещом. Клещ как жил в лесном холме, так и живет по сию пору, зато птица вывелась почти подчистую. После одной зимы я шел окраиной колхозного леса, и ноги по щиколотку утопали в птичьем пере.

Встреча моя с медведем случилась в ту пору, когда дичи было еще густо, — веснами небосвод качался от свиста, звона, чулюканья и грая. Сидишь, бывало, на тетеревином току и до того заслушаешься, что даже и стрелять позабудешь.

В том году, как встретить мне медведя, малина продержалась до холодов: лето стояло погожее, но прохладное, зато уж осень выдалась любо-дорого — мягкая, легкая, солнцезарная. Всякая живность повывлезала из кустов, из-под корней, из логов и крепей на открытые места.

Я встал рано поутру, отправился по заброшенной трассе высоковольтной линии, во многих местах уже перепоясанной зарослями кустов, стесненной плотно наступающими осинниками, березой, липами, клубящимися в ложках цевошником, щипицей и ивой. По трассе местами еще косили сено, и вот на отаве-то, зеленой, сочной, похожей на густые всходы озимых хлебов, сидели и поклевывали травку тетеревиные выводки.

Утром пал иней, трава похрустывала под ногами, звонко сыпались листья с осин, было светло и тихо, дышалось так глубоко, что пряный холодок слышно было не только в груди, но вроде бы и в животе.

Тетерева сидели плотно. Я скрал и щелкнул одного, потом другого и, сказав себе: «Будя!» — подался в свою избушку, набрав по пути примороженных маслят.

Очень собой и всем довольный, пришел я домой, поел, забрался на русскую печь, чтобы, поспавши всласть, сесть за стол: славно работается в удачно начатый день.

Сколько я поспал, не знаю, как приехал из города один мой товарищ, заядлый охотник, и принялся искушать меня идти в лес, заверяя, что работа не Алитет, в горы не уйдет, да и вообще кому она нужна, моя работа? Книг вон

сколько написано, а сделали они человечество лучше? Деньки же солнечные на исходе, скоро падера ударит, снег с дождем пойдет, вот тогда знай себе пиши...

Разве против таких доводов устоишь!

Через час мы топали по той же старой трассе, где косячи жировали утром на хрусткой от инея отаве. Но пригрело солнце, отволгла трава, и все было мокро, переливалось искрами из края в край. Яркие листы, запутавшиеся в бурьяне, тряпично обвисли. На закраинах трассы яснее выявилась и бездымными факелами горела красная рябина; отава зеленела прямо-таки празднично, местами желто светились живучая ястребинка и кульбаба да синел в жухлой полегшей траве скромный цикорий. Тетерева с открытых мест убрались в крепи, мы поманили рябчиков. Они охотно откликались, но из рябин не вылетали, там было хорошо, они звали нас к себе. Два спаниеля — мой Спирька и Арс товарища, — один заполошней другого, вышарили в чащобнике вальдшнепа, затавкали, погнали. Мы открыли пальбу из четырех стволов, перепугали долгоносую пташку, собаки ударились искать ее, снова подняли живую, поперли дальше с гавканьем и шумом.

— А не попить ли нам чайку? — предложил мой соратник по охоте: он начинал варить чай, едва исчезало из виду жильё.

Почаевничали, полежали возле костерка, дальше подались, и поскольку я уже загубил две птичьих души, то отправил товарища с собаками старой заросшей просекой, где, по моим расчетам, и должны обретаться в дневную пору выводки, а сам выбрал себе легкий для хода кошеньй волок с тем, чтобы коротко по нему пробежаться и, спустившись к речке Соколке, до отвала намолотиться смородины.

Надежды на успехи в охоте не было никакой. Несделанная работа томила меня, и как только я остался один, пошел по старой, клочковато заросшей вырубке, все, что намечалось к написанию, стало вертеться в голове. Но если я отключился от мира сего, уйдя в мир, пышно говоря, иллюзорный, это не значило, что я не видел ничего вокруг и не слышал. Все я, конечно, видел, все слышал и даже ступал вкрадчиво — с носка на пятку по мягкой отаве, — но видел и слышал каким-то уже не главным зрением и слухом, а как бы лишь отражением от главного, второстепенным что ли.

Зеленый, заросший по обочинам волок незаметно глазу начал клониться на спуск к речке Соколке. Малинник, ягоды на котором закисли и редкий лист оплесневел от паутины, нет-нет да и одаривал меня ягодкой-другой, запекшейся, к стерженьку прикипелой, но все еще пахучей. Осот — и здесь осот! — распушился, разъершился, его иней не бьет, его да крапиву только уж морозом обварит; пенья, выворотни, вершинник и сучья, насоренные лесорубами, год от года зарастали все плотнее, дремучей, но все же шибко поистязали землю гусеницами, колесами, тросами и всяким железом, содрали кожу с земли, заголили ее до обмылисто-серой глины, и трудно берутся добрые растения, особенно лес, на захламленных пустошах. Вот бывший верхний склад. На площадке его под обвалившимися эстакадами и вокруг преет ломь, бревна, обрезь, щепы, сутунки, бурьян кучно ершится, стеной тут стоят малинники — самое место для отсидки косача, да и глухарю соблазно. Я нащупал пальцем скобу ружья, шаги мои сами собой сделались еще осторожней: вылетит птица — пальну! Меж тем глаза все как есть отмечали впереди и по бокам волока, а в голове шевелились пестрые, случайные мысли: давно вот бабушке денег не отправлял; как-то домовничают в городе сын с дочерью? Подросли, воля им; приедем с женою — ждут не дождутся, когда уберемся обратно в деревню; в рассказе, который пишется, все же неблагозвучно начало, найти бы... да где вот найдешь-то? Кто потерял?.. На все вокруг глядел я приценивающимся взглядом, пытаюсь сыскать и выловить слова, краски, звуки. Вон сколько люди черпали в природе всякого добра! Может, и мне чего осталось?

За Соколкой, за темными ее ольховыми изгибами, полетному ясное, закатывалось солнце. На стоге сена листья медно, нет, скорее, свинцово засветились. Березка, озаренная желтым листом и желтым светом вечернего солнца, стоит, как невеста. Фу-ты, так вот и лезут избитые выражения! Просто оказия с ними! В Быковке есть мельница, старая, заброшенная, уж я вокруг нее и так и этак ходил, чтоб словесное изображение ей подыскать, но в памяти вертелось одно и то же: «Вот мельница! Она уж развалилась; веселый шум ее колес умолкнул...» Да, трудно жать на том поле, где пахали и страдавали классики. А надо! Раз взялся за такую работу. И еще надо как-то собраться написать фронтовому другу большое письмо — докатились до того, что поздравительными открытками к

празднику отделяемся!.. Эх, куда идем, куда заворачиваем?!

Что, если ничего не придумывать? Так вот и начать рассказ — с зеленого, густо поросшего волока. Как шел я по нему, будто по мягкому ковру! Опять штамп! Ну, черт с ним, вычеркнем... Шел, значит, я по волоку, а впереди поникшие малинники, липки уже безлистые, ольха молоденькая, крепенькая, теряет зеленый, чуть примороженный лист неохотно. За ольхой — трухлявый пенёк, красным листом земляники в раскореньях заросший, прелыми опятами облепленный. За пнем медведь стоит на задних лапах. Насторожился. На выворотень смахивает. Не замечал я прежде здесь никакого выворотня. Да разве все пни и выворотни на старых вырубках сочтешь — их тут море! Чего ж это он, медведь-то, стоит и стоит?! Если ты медведь, так шевелись, реви, делай чего-нибудь!..

Шли мыслишки, и я себе шел. Нет, меня несло растороженно вперед, и, подойдя к нему вплотную, я сделал еще два-три шага, как бы его не замечая, уверяя мысленно себя, что так не бывает и быть не может — больно уж все просто; все-таки это выворотень, и к нему как к выворотню и относиться надо. «Да это же медведь, дубина! Зверь! Настоящий!..» — вдруг прожег меня насквозь пронувшийся во мне страх.

И разом все откололось, опало куда-то: мысли, видения, предчувствие близкой стрельбы по тетеревам, березка, бабушка, фронтовой друг, и даже литература, и даже собственные дети. Остались я и медведь. Затвердело и как бы контурно означилось в груди мое сердце, реже и напряженной сделались его удары, пальцы прилепились к скобкам ружья. Брюшко большого уперлось в шершавую насечку предохранителя. От неведомых мне предков перешедшая наука зазвучала во мне — нельзя стоять к медведю спиной. Смотри ему в глаза, и чтоб лицо твое не было испуганным или угрожающим, не делай резких движений! И пусть хочется, очень хочется задать тягу, Боже тебя упаси от такого соблазна!

Я медленно поворачивался к медведю, потому как прошел его, и, повернувшись, обнаружил, что отделяет нас всего шага три-четыре: даже маленького прыжка зверю достаточно, а в стволах (я это сразу вспомнил и раскаянно осознал), в левом, моем любимом для стрельбы, так как я стрелял после фронта с левого плеча, — дробь-тройка. В правом, несподручном стволе, дробь того мельче —

пятерка. Слышал я, если в упор стрелять — случается дробью снести зверю череп или выбить глаза...

Да мало ли что говорят и мало ли что на свете случается!.. Мало ли!..

Я смотрю зверю в глаза, не наводя на него стволов, — фронтовой опыт, инстинкт или опять же древняя человеческая память подсказывают: пустоглазые дыры ружейных стволов наводят ужас на все живое.

Зверь выгулялся, заматерел. Шерсть на нем плотная, лоснится, и на загривок ровно бы хомут надет — такой он грозной силой налился. В хомуте узкорылая мордочка с черненьким и мокрым, как у моего спаниеля Спирьки, пятчком. На пятчке земляца. Комочки. Рыжие. Лапы зверя по-детски невинно прижаты к груди, кисти лап отвисли безвольно, будто обессиленные руки. Оторопь, оцепенение сковали зверя и передались мне. Надо было что-то делать, стрелять уж, что ли, хоть вверх, для испуга, но я стою. Рыльце медведя чуть приподнятое, вытянутое, и вся мордочка кажется глуповатой. В небольших желтовато-коричневых глазах удивление и виноватость, кажется медведь нашкодившим, провинившимся парнишкой, которого сейчас накажут...

Однако память быстро откатывается назад, схватывает тот момент, когда я увидел медведя, и означает напряженная, скрытая ольхой фигура зверя, его выжидательная стойка за пнем. Да он же кого-то скрадывал, караулил! Следы! Лосиха с теленком ходит по волоку к речке. Он ждал их, чтобы напасть на лосенка. А может?.. Что может-то? Дурья башка! Ну что? Думай худое, думай — так оно и сбудется...

Я смотрю на зверя, на все так же глупо и удивленно вытянутое его рыльце, все тот же детский пушок темнеет под храпом и в подмышках, и немигающие круглые глазки, так похожие на пуговичные глазки плюшевого мишки, какого дарят малым детям да игруньям-барышням, смотрят все с той же невинностью, и твержу себе: не может, не может...

Но земля не только на мокром пятчке медведя, она в когтях, остро и круто изогнутых. Там, где лапы вроде бы как для сердечного, извинительного поклона прижаты к груди, выше изгиба, под толстой и прямой шерстью угадываются крутые, как у штангиста, мускулы, в забавных глазках внезапно отразился свет закатывающегося солнца и выявил угрюмую и темную, готовую в любой миг

пробудиться звериную ярость. Я даже вроде бы чувствовал окременелую тяжесть и холодность этой ярости, способной высечь из себя искру, от которой воспламенится медвежье нутро, заклокочет лавой бешенство...

Хомут на загривке медведя, нелепый и страшный, давил меня все сильнее, огнетал ноги, тело, хотелось забиться, спрятаться куда-нибудь, сердце уже разнобойно и загнанно тыкалось в клетке груди, искало норку, норовило в нее спрятаться...

Не могут долго так стоять один против другого зверь и человек. Кто-то не выдержит. Кто? В голове отдельная, звонкая, круглой пулей катается мыслишка, нет, даже не мыслишка — истерика, вопль: «Вскинуть! Двинуть предохранитель! Ударить!..» Но тот собранный, рассудительный в минуту опасности фронтовик, который поселился во мне навсегда, не дает ей заполнить всю голову, ослепить ее не дает, он сдерживает меня, не веля шевелиться, бежать, стрелять, делать дурости, от которых больше всего и гибнет людей. Расходиться следует подобра-поздорову. Вот что надо делать! Раздвигая резиновые губы, шевеля чужим ртом, я негромко, в меру властно произношу:

— Ну, уходи!

Узнаю свой голос и радуюсь тому, что в нем спокойствие и доверие.

Не медля ни секунды, ни мгновения, ровно бы он только и ждал позволения, зверь опал на четвереньки и неуловимо, непостижимо, как при таком малом движении, сделал незаметный поворот туловища и головы. Медленно, будто ощупью, с легким шелестом зверь пошел в глубь рыжеющих осенних вырубков, ни на мгновение, однако, не выпуская меня из своего бокового зрения: он так и не поверил мне до конца! Ход зверя все ускорялся, он перешел на рысцу, затем в бег и, наконец, в ныряющие прыжки. Медведь исчез так неслышно и быстро, словно и не было его, словно бы наваждение случилось или я придумал его. Исчез зверь. Растворился в гуще и хламе вырубков. Они впитали его, скрыли собою. И только легкий, почти мышиный шелест оставался в моих ушах...

Какое-то время я стоял на месте и ждал, не раздастся ли рев в чаще, и мне почему-то блазило — зверь непременно должен рывкнуть со злостью и досадой: хозяин тайги, он униженно отступил, повернувшись толстым бабьим задом к человеку! Но зная, как он, человек, коварен, зверь, быть может, ждал, как ударят по нему из ружья

вдогон, и скорей всего уносил он в себе не мстительную злобу, а страх.

Ушел медведь. Исчез. Земля, кусты, бурьян и тайга, пусть даже расхристанная, болезненно оживающая, — его дом, и он распахнулся перед ним, укрыл зверя в глухом пространстве. Я выдохнул из себя спертый воздух и заметил на свежевскопанной земле вяло ползающих полосатых ос и белые раскошенные соты. Вот оно что! Косолапый-то трудился, добывал себе медку! В сотах земляных ос меду бывает чайная ложка, а вырыл целую траншею! Осы, конечно, кусали его, да такая уж сладкоежка этот косолапый, что и про опасность забыл! Недаром имя ему пришло от древнего — «ведающий мед», недаром! Я заставил себя улыбнуться, но никак не исчезала из глаз и памяти фигура зверя за кустом ольхи. Медок-то медведь успел съесть, осы подавлены, от сотов одни блески... Значит, он все-таки кого-то ждал! Подкарауливал? Кого? Не стану клепать на зверя. Буду думать — не меня.

Я поволокся к Соколке. Из зарослей бывшего лесного склада с клохтаньем начали взлетать тетерева. Но боязно сделалось стрелять, шуметь в вырубках, где существовал зверь и, теперь уже невидимый, пронзал из зарослей мою спину колким, мстительным взглядом. Спустившись к речке, я лег на живот и долго пил холодную воду, совершенно ее не чувствуя, лишь остужаясь изнутри. Потом я утер лицо подкладкой кепки — вся она была в поту. Посидел, тупо глядя на речку, и догадался — надо умыться. Медленно все во мне пробуждалось, движения были вялы, отвычны. Подумалось: а если бы пришлось стрелять? Отошел от брошенного лесозаготовителями старого бревна и ударил в гладкий ствол дулетом. Не подходя еще к бревну, различил — дробь рассеяло... Может, выбил бы зверю глаза? Может, успел бы перезарядить ружье пулей?.. Да малы, очень малы глаза у медведя, а пуля в последней ячейке патронташа, почти за спиной. Патрон я тот года два не вытаскивал, гильза присохла к коже — попробуй в спешке отдерни! Ох-хотник!

Дулет, сделанный мною, как-то разом все вокруг и во мне встряхнул. Все раны, все царапины во мне и на мне заныли. Я почувствовал неуютность, томление, тоску и даже горе, от которого хотелось заплакать. Не дождавшись товарища в условленном месте, я поволокся домой. Ни мыслей, ни страха во мне уже не было. Усталость, одна только гнетущая усталость да сухость во рту. Шаг

сделался вязкий, заплетающийся, возле каждого стожка меня неодолимо тянуло лечь, вытянуться.

С поймы Соколки-речки с обочин покосов срывались косачи, фуркнул из-под ног, с ягодника, рябчик и сел на сухую ольху, весь видный и по-дурацки бесстрашный. Но я только поглядел на него и побрел дальше.

От речки, из глухих обрубленных логов и запустелых вырубков, где жил и скрывался зверь, наносило холодом и темью. Ночью будет большой иней — скоро зима. Я одрябло поежился и заставил себя прибавить шаг, зная, как дома сейчас натоплено, чисто, неодинокое, и заранее радовался всему, что в нем ждало меня, и мне подумалось: всем этим отныне я по-особенному стану дорожить и буду как можно реже отлучаться из дому.

**1974**



---

## МЕДВЕДИ ИДУТ СЛЕДОМ

Первые дни нашего пути на Кваркуш были мукой. Телята, которых мы гнали на пастбище, разбегались во все стороны, скрывались в лесу, хватали чахлую траву, обкусывали сочные побеги рябины. Их безжалостно лупили, а они, задравши хвосты, носились по тайге и до того уматывали нас, что к вечеру мы с ног валились.

Дорога пошла совсем одичалая, захламленная, темная, по глухой и сухобоккой тайге, в которой росли папоротники, черничник да брусничник, поляны с травой исчезли, лишь по ложкам да по берегам ручьев вздымался реденько дудочник и ершилась черствая осока.

С телятами нам тут вовсе не управиться, решили мы, тут они нас в гроб вгонят — идут несколько дней, оголодали, изнурились, и невозможно будет выгнать их из чащобы.

Но неожиданно телята усмирились, и не то чтобы отклоняться в лес — отставать боялись друг от дружки. Задержится какой бычок отщипнуть ветку либо с корнем ягодник выдрать, а сам тревожится, переступает, вскидывает голову: далеко ли стадо ушло? Покажется бычку — далеко, замычит и неуклюже, вприпрыжку бросится догонять телят; догнавши, толкается, норовит забиться в середку стада.

Вьючные кони, тоже вольно державшиеся первые дни, шли впритирку, уткнувшись мордами чуть ли не в хвосты передних, передние то и дело фыркали, вострили уши, трясли головами, звякали удилами уздечек, вздрагивали

кожей при каждом шорохе в глуби тайги, словом — шибко сторожились.

— Что это значит? — поинтересовался я.

— Медведи, — ответил старший нашей команды, — медведи идут следом, и только зазевайся...

Я начал озираться вокруг, всматриваться в густолесье, силясь увидеть этих самых медведей. Старшой рассмеялся и, убивая дорожную скуку, стал рассказывать о чудесах и дивах, случавшихся во время прежних перегонов скота.

Уральские альпийские луга цветут и зеленеют на огромной вершине Кваркуш в соседстве с тундряными ягельными полянами. Ходу со скотом на Кваркуш от последнего населенного пункта — пять-шесть суток. На альпийских лугах мясной скот летом давал до килограмма привеса в день; если траву подсаливать — и того больше. Скот на отгонные пастбища шел дорогой, просеченной спецпереселенцами еще в тридцатые годы, и дорога эта так задичала, что по пути к пастбищам и обратно скот терял то, что приобрел, являясь в колхозы при «своем интересе», как выражаются картежники.

Правления нескольких колхозов спорили меж собой, кому высылать бригаду с бензопилой и трактором, чтобы растащить завалы, сделать осеки для ночевки и расчистить поляны в лесу хоть для маломальской подкормки скота. Споры и распри закончились тем, что скот совсем перестали гонять на выгодные пастбища, потому как стада теряли в пути не только вес, но несли и поголовный урон, ломали ноги в завалах, вытыкали глаза, пропарывали брюшины, падали от истощения и становились добычей медведей. Зимовать на северных поднебесных хребтах Урала медведям холодно, снега тут глубиной до девяти метров — задохнешься под ними. Пожировав в благую летнюю пору на безлюдных вершинах, медведи с наступающей осенью спускаются вниз, к предгорьям на зимовку.

Как только начали гонять колхозные стада на альпийские луга, умный зверь мигом сообразил: надо идти следом — всегда какой-нибудь харч перепадет; у табора люди непременно насорят, забудут или утратят что-нибудь, но главный интерес и надежда главная у косолапых на падеж скота. Раненых и подсекшихся в пути телят перегонщики докалывали и поднимали мясо на лабаза, чтобы забрать его на обратном пути. Медведи стекались к этим лабазам, поводили носами, облизывались, шатали деревья,

подкапывали и перегрызали корни — словом, правдами и неправдами добывали себе мясо. С отставшей или заблудившейся в лесу скотиной косолапые управлялись и того проще.

В нашем отряде народу много — шестнадцать школьников, четверо взрослых. Хватало людей на ночные дежурства, на шум, крик и охрану вверенного нам колхозного стада в полтораста голов. Ночами вокруг табора полыхали костры. Старшой — бывший фронтовик — тревожно вслушивался в леса, сомкнувшиеся вокруг нашего табора.

— Бродят, бродят, подлые!..

Казалось, понарошке попутывает нас старшой, чтобы еще бдительней мы были и от табора никуда не отдалялись.

В заброшенном переселенческом поселке мы загнали скот в дощаной сарай, у которого обвалилась задняя, от леса сопревшая стена. Старшой приказал забрать ее досками, чтобы медведи не вломились. Тогда уж все развеселились — старшой и в самом деле дурачит нас. Каков же, однако, был переполох и изумление, когда среди ночи стадо наше подняло рев, а товарищи мои — пальбу из ружей. Вернувшись с фонариком от сарая, старшой сообщил, что медведи таки оторвали доски, обвалили наживульку сплетенную стену, но задрать никого не успели, только оцарапали одного бычка. С ним, с этим бычком, уже случалась беда — он попадал в каменный «капкан», задрал чулком кожу на ноге, и вот еще глубокие, запекшиеся царапины на стегне, в которых роется мухота, липнет к ним сор. Дойдет ли?

На пятые сутки мы поднялись к первой поднебесной поляне и не вздохнули облегченно, не заорали «ура!», а сделали два вялых дуплета из ружей в честь того, что довели стадо без потерь, и повалились спать, пустив телят и коней в сочную, белопенную от цветущих морковников траву, страшась лишь того, чтобы скотина не объедалась.

Выспавшись и придя немного в себя, мы осмотрелись — долго синел впереди Кваркуш. И вот мы наверху. Простор такой, что взгляда не хватает. Простор холодный, безмолвный, по всему хребту останцы, будто развалины вымерших городов. И чем дальше, чем выше, тем более вершины, тем гуще прожилья вечных снегов. Худые, скособоченные, изверченные стужей леса крались по распадкам, достигая вершин, взбирались на сопки и

останцы, но здесь останавливались, застывали, стуча под ветром окостенелыми сучками. Однако же, приглядевшись, заметишь ниже культяпистых, часто сломленных бурей вершин и живые ветки, по-птичьи распластавшиеся по земле крыла сизой птицы, березу с горсткой черствых листьев, в зауеве, меж скал, реденькую, чахлую, кособокую стайку елей или сиротски жмущиеся друг к дружке шумливые осинники; среди серых камней и сухостоин малахитово светились бархатистыми кисточками кедры. Отсюда, с Кваркуша, пастухи увозили березу на топорища, делали заготовки для полозьев саней, пилили кругляш на обувную шпильку: дерево, испытанное здешним климатом, так крепко, что поделкам из него не было износу. Вид высокогорных лесов напоминал русских вдов, надсаженных войною; плоть деревьев, которую не брал острый топор, делала это сходство более полным.

Все цвело на альпийских лугах как-то избирательно: то вся поляна — сизая от мышиноного горошка, то сдобнокремовая от первоцвета или небесно-голубая от незабудок. И только крап заблудившихся растений, чаще всего белых розеточек подснежников, морковника, луговой чины либо алых приполярных маков красиво пятнал одноцветные поляны, о которых ребятишки, как увидели, сразу спросили:

— Кто же здесь цветы посеял?!

— Природа, — заявил старшой.

Подкормив стадо, мы сделали последний переход к поляне, названной пастухами довольно-таки современно — «Командировка».

Принявши скот, пастухи похвалили нас: мол, с ребятишками гнали, но никакого в стаде урону, а вот шестеро взрослых головотяпов пригнали стадо и потеряли в пути двадцать голов скота.

В честь так удачно завершеного дела ребята наши натопили баню, оставшуюся от спецпереселенцев, мылись там, стегая друг дружку вениками, выбегали нагишом на улицу и с визгом бухались в ледяную воду речки Цепёл, падающей с тундряной горы.

Мы сидели на крыльце избы, курили, хохотали над парнишками, песни пели, в цель стреляли и в фуражки, которые охотно подбрасывали ребята. Спать легли поздно, так как ночи здесь уже не было, накатывали лишь морок и вовсе уж оглохлая, вроде бы даже густая тишь, в

которую среди лета, сказывали пастухи, гнус заедает на-  
смерть все живое.

Проснулись и увидели возле печки пастуха Устина, долговязого, тощего мужика. Он шумно хлебал жидкую кашу из котелка, глядя куда-то в пространство обиженно и скорбно.

— Беда, ребята, — сказал он, дохлебав кашу, — мх-норылый задрал бычка. Мне платить...

Все ссыпались с печи, с нар, бросились на улицу, буд-то могли еще поправить беду, и были ослеплены яркой белизной: ночью выпал снег. Мягкий, липкий, пушистый, он оседал последними хлопьями. Темная, синеющая туча волокла плотную его массу к северным недвижным хребтам. Плывя торопливо, срезанно, дальние вершины выныривали все реже, реже, пока вовсе не затонули во вспененных, круто двигающихся волнах. Но это там, на севере, в дальней дали. А здесь, на Кваркуше, обмерло все, остановилось, стихло. Низкие облака наполнили расщелины гор, недвижно лежали на верхних беломошных полянах, лепились к чахоточно-серым лесам, пластами висели над всем хребтом. Сплошной каплей заполнили мир. Со стлаников, одавленных снегом, с худых деревцев, с крыши старой избы, с бани, с камней, с каждой веточки, былинки и листочка сочилось мокро, из разложин густо повалил пар, заполняя сонной зяблостью округу.

Наше становище располагалось на склоне поляны, сплошь заросшей желтой купавой. Стебли и листья цветков завалило снегом, головки купав светились лампадка-ми на невысказанно белом и ярком пологие. И чем дальше по склону, тем гуще было свечение. Ближе к небу седловина сплошь была охвачена желтым заревом; казалось, совершилось всесветное чудо — небо, усыпанное звездами, опрокинулось, и мы боязливо ступали по нему, податливо-мягкому, боясь провалиться в тартарары. Было так дивно сладостно и жутко, что я еще раз — в который уж! — осознал бессилие слова перед могуществом и красотой природы. Не верилось, что в такой благостной тишине, среди такой красоты могла быть смерть, жестокость и вообще какая-либо напасть.

Не один, не два человека — сотни людей, обманутые чарами здешней красоты, блуждали в низко павших, беспросветных облаках, погибая медленно и мучительно от пронзающей душы и кости сырой стыни, среди цветущих

лугов, до конца веруя: при такой красоте не может быть места смерти.

Меж тем всего лишь в полверсте от нашего стана, где вечером были шум, крики, песни и пальба, в размешанном снегу, буром от крови, лежал задранный теленок, точнее, передняя его часть. Из мятого, спруженного и опятнанного снега торчала перекушенная лопатка — почему-то запомнилась прежде всего она, выдранная с мясом, раскрошенная в щепу, потом уж заметил я разорванные внутренности с вытряхнутой из них свежей поедью: бычок, тот самый, что повредил в пути ногу и был уже цапан медведем, отошал в дороге, нахватался мокрой травы, его сморило, и он прилег возле кустов.

Медведю за всю дорогу на высокий Кваркуш мясного не обломилось. Он заголял травяной дерн, крушил валежины, пни, выедавая молочные корешки травы, жуков, червей, мышек, пожирая муравейники вместе с сором. Но что за пища этакой зверине — букашки да муравьи! Он шел с терпеливой верой и надеждой на добычу, основательную, горячую.

И дождался своего часа. Прыгнув из-за куста, медведь убил бычка разом, без возни. Дыры от когтей кровенели выше губ бычка, на войлочно-сером храпе. Второй лапой зверь вцепился в загривок бычка. Осязаемо слышалось, как хрустнула лучиной шея бычка, небось не успел, бедняга, ни испугаться, ни замычать.

Зверь был голоден и от голода бесстрашен. Он не уволок тушу телка в кусты, тут же, где убил его, единым дыхом сожрал половину и только после уж попробовал тащить оставшуюся часть добычи. Проволок половину туши метров полтора, соря по снегу ошметья стылой крови, алые телячьи косточки, растягивая веревками зацепившиеся за коренья кишки, и, выдохнувшись, оставил мясо, едва прикопав его мохом и грязью, выдранными из-под снега, — отяжелел от жратвы косолапый, залег где-то поблизости, сторожа свою добычу. Зверь сильный, наглый, но беспечный — такому здесь не прожить.

К полудню, вызванные Устином, прибыли в наш стан олениводы-вогулы с двумя собаками. Старший, давно не стриженный вогул Матвей, сходил к месту происшествия и, вернувшись, попросил чаю. Чай и каша были мигом разогреты. Вогулы пили чай кружку за кружкой, хрумкали сахар, утирали пот рукавами рубах, расспрашивали про жизнь «там», у нас, про медведя и не поминали. Ребят

сжигало нетерпение, но они не смели надоедать вогулам, пробовали задобрить их собак, бросили по кубику сахара.

— Нейзя! — остановили ребят вогулы. — Собак баловать нейзя.

Собаки и не брали сахар, гладить себя тоже не позволяли. Похрапывая, они приоткрывали губы над частоколом зубов, как только к ним протягивали руку.

Опорожнив полведра чаю со свежей заваркой, вогулы покурили городских сигареток, поплевали под ноги, поглядывая за окошко. Раз-другой мелькнуло солнце в разводах поднявшихся облаков и вдруг умыто, празднично засветилось над избушкой. Облака, всосав в себя пар из ущелий, лесов и стлаников, катились круглыми снежными бабами под гору, к подножию хребта, к жилым местам, чтоб налить соком травы, леса, поля. Все таяло, все плыло вокруг, и снова пространственно-синенькое небо, облаканное помолодевшим солнцем, светилось над нами.

— Ну дак, пошли, что ли? — буднично сказал младший вогул и поднялся с крыльца.

Собаки вскочили с завалинок, где они лежали, скрывшись от капли, покорно подставили головы, чтоб с них сняли ошейники. Освободившись от поводков, они не затявкали, не помчались куда попало, не запрыгали, как городские шавки, — кобель на угол, сука за баней степенно помочились, катнулись в мокром снегу, отряхнулись и замерли в отдалении, ожидая приказаний.

Мы вооружены кто чем. Мой товарищ — фотоаппаратом, старшой и пастухи — ружьями, ребятишки — палками.

— Собак не перебейте, — оглядев все наше воинство, серьезно предупредил Матвей, — собаки — золото, медведь — дерьмо! — И пошел вперед косолапо, усадисто. Мы за ним. Парнишки, напряженные, подобранные, бледные — сзади.

— Ну как, страшно? — спросил одного парнишку старший вогул и потряс головой, засверкав узенькими смеющимися глазами: — Уй-буй-бы-ыыыр! Страшно!

Парнишки вежливо посмеялись. Мы тоже.

Обогнав хозяев, собаки приблизились к задранному бычку и сначала медленно, затем все убыстряя, убыстряя ход, закружились возле туши, тычась носами в снег, в грязь. Ноздри собак, сырые, чутко вздрагивающие от напряжения, работали, посиывая, вычихивая что-то их раздражающее, едкое, все заметнее поднималась шерсть на

загривках псов. Доверительное почтение вызывали вогульские лайки — они уж никогда не подведут человека, делают свое дело верно, достойно, и никакому зверю от них никуда не деться.

Забирая все шире круги, отклоняясь все дальше к стланикам и мокро чернеющему за ними реденькому лесу, лайки взвизгнули, будто одновременно наступили на острое, и пошли по направлению распада, белеющему впадиной среди леска. Еще раз, уже мимолетно, мы увидели лаек в отдалении, на пестро вытаявшей поляне. Псы шли челночно: сука — влево, кобель — вправо, через какое-то время встречались и, вроде бы не замечая друг дружку, расходились по сторонам. Без шума, суеты, уверенно шли собаки к зверю. Чувствовалось, вот-вот они его поднимут, сердце в груди заранее холодело, томилось и обмирало.

Звонко и очень уж домашне с протодушно-злым и в то же время радостным ликованием вскрикивала сука, ровно бы найдя пьяного мужика под забором: «Так вот где ты, бесстыжая харя, валяешься!»

Сшибая с перевитого стланика тяжелое мокро, ринулся на ее крик кобель, забухав на ходу срывистым лаем. Кусты стлаников дрогнули, зашевелились, затрещали, ухнул в них намокший снег, раздался храп, поднялась яростная возня — кобель кого-то рвал или кобеля рвали? Сука, взрыдывая, давясь собственным голосом, билась в кустах, помогая кобелю. Зверь не хотел выходить из густой шараги — видно, понимал: пока он тут, собаки ему не так страшны, никто его здесь не пристрелит.

— Я говорил, далеко не уйдет, — повернулся Матвей к молодому вогулу. — Обожрался! Мясо бросить жалко! — И, поощряя собак или напоминая о себе, загулькал, валяя язык во рту: — Ур-лю-лю-лю-у!

Кобель, будто колуном рубанув, ахнул в ответ, сучка совсем уж по-бабьи залилась, зарыдала. Зверь, судя по извилисто заметавшейся молнии, по сталисто отблескивающим кустам, стронулся, не выдержав натиска собак.

Матвей снял ружье с плеча, взвел курки, скользнул по нас беглым взглядом; лицо его отвердело, скулы как бы круче сделались, челюсти проступили резче. Переглянувшись со своим молодым напарником и что-то ему взглядом сказав, он выдвинулся вперед шага на три, приказав нам жестом оставаться на месте.

И в этот миг все мы увидели черное, на человека похожее туловище, вылетевшее из кустов и ударившееся бе-



жать вниз по пестрой поляне. Но за «штаны» его теребила мокрая и оттого казавшаяся совершенно махонькой и ничтожной по сравнению со зверем сучка. Со всех сторон наседали на отмахивающегося медведя кобель, так что уж сдавалось, будто кобель не один, а по меньшей мере их три. Собаки теснили зверя в нашу сторону, но он догадывался, что его здесь ждет, сопротивлялся, пробовал снова заскочить в кусты, делал броски туда-сюда, кружился на месте, к нам не шел, однако в другое место его не пускали собаки, то и дело поднимающие медведя с четырех лап на две. Были они, эти задние лапы, коротки, ровно бы в низко спустившихся галифе, которые мешали зверю шагать.

«Ау-мау-оррх!» — утробным голосом взревел медведь и беспомощно сел на размешанный грязный снег. В нелепой его позе, в бесполезном отмахивании лапами, в бросках, хотя и резких, но уже усталых, почувствовалась обреченность, в голосе — отчаянье.

Собаки неумолимо пятили зверя под выстрел. Ребятишкам велено было отойти к кустам, что они тут же и охотно исполнили. Мой товарищ держал наизготовке фотоаппарат, старшой — ружье. Я видел и слышал, как чем-то позвякивал фотоаппарат, ружья у пастухов не качались, прямо-таки зыбались в руках. Медлительные вогулы с неожиданной проворностью разбежались на стороны. Матвей вскинул ружье, что-то крикнул собакам, они отпрянули от зверя, и без промедления, один за другим, раздались два выстрела.

«Ау-мау-оррх!» — совсем уж мучительно, показалось, даже раскаянно не проревел, а пьяно выхаркнул медведь и в последней попытке рванулся к кустам, но что-то отяжелело в нем; зверь все же осилился, поднял себя и, уже не отбиваясь от собак, вроде бы и внимания на них не обращая, слепо метнулся с поляны.

Молодой вогул упал на колено, ружье его деловито булькнуло. Эхо не откликнулось в горах и расщелинах, выстрел не раскатился по хребту, пуля, вроде бы ощутившая слухом, вошла в мягкое и завязла. «О-ооо-оуухх!» — длинно, со скорбным облегчением выдохнул зверь, подрубленно валясь на землю. Скомканно закаталась темная туша по размешанному снегу. Зверь лапами выдирает траву, выцарапывал и перемалывал коренья, ломал о камни железные когти. Собаки, беснуясь, крутились на нем, с ожесточением и торжеством рвали зубами медвежью шерсть, захлебываясь ею. Зверь дергался все

отрывистой, судорожной, реже и, наконец, перестал вообще шевелиться, только из глубины его, из чрева, набитого мясом бычка, ровно бы задевая ребристое горло железной цепью, катился рокот, утишаясь хрипом и сиплым стенанием, да в медленно утасающих, но все еще осмысленно глядящих глазах оставалось понимание смерти и несогласие с нею.

Мы подошли к убитому зверю. Его горячая пасть еще парила, по снегу и траве, дымясь, расплывалась кровь. Морда зверя по глаза измазана сукровицей и зеленой поедью телка, под когтями засохла грязь и кровь — не успел обходить себя медведь, обжорство его свалило в сон, а вообще-то он зверь чистоплотный.

— Что же вы не дали выстрелить? — с упреком набросились наши на вогулов.

— Фотографируйтесь! — посмеиваясь, сказал Матвей и, вынув из ножен сточенный нож с незамысловатой деревянной ручкой, перехватил горло зверя. — Сами убили, скажете. Поверят!

— Мы не выдадим, — тоже посмеиваясь, добавил молодой вогул и, свежую зверя, серьезно уже пояснил, кивнув на унявшихся, зализывающих себя псов: — Постреляете нечаянно. Что мы здесь без них?

Вечером был пир на весь поднебесный мир — мясо по выбору: кто хочет медвежатины — пожалуйста! Сами добыли! Кто хочет телятины — знай рубай: медведь порадел. Кто хочет птички — лакомься: вогулы на пути к нам четырех куропанов сшибли.

Вогулы посмеивались, слушая нашу болтовню и песни, которые во всю головушку ревели ребятишки-пастушата, возбужденные таким бурным ходом жизни.

Поздней ночью вогулы уехали к своему стаду оленей.

Утром мы проснулись и видим: Устин опять чего-то хлебает, опять обиженно глядит в пространство и, гундося, извещает:

— Беда, ребята!

— Снова задрал?

— Не задрал покудова, но собирается...

«А как же тогда вся эта ваша и вогульская вера, что у каждого медведя свой район промысла?» — хотелось спросить у пастуха, да ему не до споров было.

Еще когда мы всходили на Кваркуш, увидели до боло-

ни оцарапанные, в занозы исполосованные стволы деревьев, и старшой наш объяснил: восставшие из берлог медведи обтачивали об дерево за зиму отросшие когти. Один из наших спутников его оспорил: дело, мол, не только в обтачивании когтей, таким, мол, образом медведи отмечают место своего обитания, рост свой — чем выше царапины на дереве, тем-де я могучей, значит, бойся меня, на пути не попадайся.

— Так оно, поди-ко, так, — кивали головами вогулы, когда их спросили об этом, но не понять было: подтверждают они такую теорию или относятся к причудам зверей так же, как к домыслам заезжих людей, со снисходительным почтением, храня, однако, в себе им лишь известные, а нам недоступные да и не нужные смысл и тайну всего сущего в жизни древней и загадочной тайги.

Позднее от других охотников слышал я, что в обжитых российских лесах, где медведя мало, а корму, в том числе и хлебного, много, зверь утратил сторожевую привычку. Но северный, горный медведь живет по другим, более суровым и жестоким законам. Если он за лето, которое тут совсем коротко, не нагуляет жира, то останется шатуном или иссохнет зимой в берлоге. Означенный когтями рубеж не всегда действовал устрашающе, и возле «хозяина», более сильного, ловкого, пасся «приживала», доедая после него остатки дохлятины, потихоньку ворует и пакостя. Постепенно такой вот «приживала» делался хитрее, ловчее и коварнее самого «хозяина». Не раз и не два видели люди, как смертельно дрались северные медведи, и случалось, молодой зверь изгонял старого — может, своего родителя, с наброженных, кормных владений в малодобычливые места.

Мир диких животных так сложен, загадочен и многообразен, что человеку-властелину лишь кажется, будто он все про них узнал, — это одно из многих, пусть не самых тяжелых, но и не самых простых заблуждений. Вон даже вогулы ошиблись — они заверили на прощание пастухов: до следующего года вокруг «Командировки» будет покой, а меж тем косолапый бродит, караулит момент, чтоб наброситься на скот, — не воскрес же тот, которого мы сварили и съели, шкура его висит в предбаннике, синяя тремя пулевыми дырами, лапа, привязанная за слегу, болтается на ветру, показывая почти человеческую стопу, только очень уж грязную и бескостнопухлую.

Устин, кончив хлебать, поднял костлявый кулак к черному потолку и поклялся:

— Я не я буду, если этого мохнорылого не утроблю сам! — И принялся заряжать пули.

Очень уж легко и просто свалили зверя вогулы, пастуху казалось, что и он тоже маху не даст...

На ночь пастух Устин отправился караулить медведя к тому месту, где остались еще от задранного бычка кости и потроха.

Снег сошел. Поляны цвели все гуще и ярче. Золотые купавки, было сникшие и повернутые головками в одну сторону, выпрямились, сияли, круглились на стеблях. Птицы налетело густо. В камнях керкали куропапы; над избушкой тянули вальдшнепы; жужжали крыльями бекасы; всюду пиликали кулики; в междузорь еще токовали глухари; по болотам гукали выпи и крикали утки.

Устин совсем печальным и нервным сделался: зверь бродил вокруг дохлятины, крихтел, ухал, один раз даже будто бы запустил гнилым пнем в Устину, но под выстрел не шел.

— Ребята, попасите за меня! — всхлипнул посинелый, мокрый, еще тощее сделавшийся Устин и замертво свалился на нары.

Ребятишкам нравилось гарцевать на лошадях, скакать вперегонки — скот, пригнанный на горные пастбища, быстро нагуливал тело, сбрасывал усталость, наливался силой. Гнуса еще никакого не было, и скотина чувствовала себя как на курорте, может, еще лучше.

Устин проснулся через час, уставился ввалившимися глазами в грязное окно и, царапая под рубахой ногтями, сказал, что сна ему нет и не будет, пока он «не встретится с им», и зачем-то спросил у нас бритву, тут же стал править ее на ремне, возле окна, а наша шумная орда гоношилась возле огня, варила кашу с мясом, кипятила чай со смородинником.

Ребятишки, да и все мы, хорошо уже отдохнули после трудного похода, отъелись мясом и налаживались в обратный путь. Пастушата, оставив стадо на краю поляны, пустили коней и тоже явились к костру, дурели возле него, возились. Взрослые, как водится, их поругивали. Они, как водится, не обращали внимания на взрослых — это почему-то раздражительно действовало на Устину.

— Опрокиньте котел, опрокиньте!.. — выскочив на крыльцо, заругался он на ребят и хотел добавить: «Я вот

вас вицей, окаянных!»), да не успел: вдали раздался топот, земля задрожала, и мы увидели мчащихся коней с разметавшимися гривами, задранными хвостами. Седло упало под брюхо одного мерина, стремяна брэнчали, щелкали о камня подковы, поддавая еще больше страху и без того обезумевшим лошадям.

— Ба-а-атюшки мои! — схватился за голову Устин. — Прячьтесь! Прячьтесь! — панически взвизгнул он и сам юркнул в избу.

Кони пастухов с растворенными, оскаленными ртами и вытаращенными глазами промчались мимо нас, брызнули копытами по речке и скрылись. Следом летели наши, подбитые в пути, вьючные коняги. Фыркая, прищлепывая губами, перла, не отставая от них, кобыла Денисиха, о которой решался вопрос: оставлять ее тут до осени или брать с собой — так она ослабела за дорогу.

Конский топот, звяк удил и стремян не успели утихнуть, как накатил на «Командировку» громовой топот и гул, и животный, вот именно животный, ни на что не похожий рев, плотность которого разрывал какой-то совсем уж придавленный, блеющий крик мольбы. Мы увидели колобом катающегося по поляне темношерстного медведя и тут только догадались, что так вот, по-дитячьи, кричит он, брызгая мыльной пеной. Глубокая, широко распахнутая пасть медведя, издающая жалобный крик, накатывающийся грохот навел нас на такой ужас, что мы захлопнули дверь избы и дружно схватились за скобу.

С трубным гудением, чугунным стуком пролетело мимо избушки стадо, опрокинуло котел с варевом, ударило ведра, уронило вилы, грабли, попутно своротило предбанник с медвежьей шкурой, в нем висящей, и, прогремыхав по каменному дну речки, скрылось вдали.

Опасливо выглянув, мы увидели, как за баней буйной толпой, взбухивая, ревя, кашляя, бычки и выбракованные на мясо, недойные коровы всхрапывают, катают и подбрасывают рогами темную тушу медведя, словно большой тряпичный мяч. С крыльца избушки видно втоптанную в грязь рожицу стелющихся тальников, сваленные и расщепленные деревца, вывороченные камни, выбитые цветы, дудки, травы — вся поляна будто вывернута темным наружу. Задрав хвосты, грязные, с налитыми кровью глазами, носились по хребту те самые бычки и коровы, которых мы лупцевали прутьями на пути к Кваркушу.

— Боже упаси, — предупредил Устин, — попасть сей-

час скотине на глаза! На рогах растащат! — И сокрушался о лошадях: могут со страху загнать себя до смерти — они-то знают, как страшна скотина, в которой просыпается сотни лет дремавший дикий зверь.

Коней на другой день пригнали к нам вогулы. Медведя, истыканного острыми рожками молодых бычков, распоротого кривыми рогами коров, втоптанного в грязь, размицканного, вогулы и смотреть не пошли. Усевшись за чай, они пояснили нам, что медведь этот не мог отобрать мясо у того, что мы убили: силы нету. Добыть телка тоже не удавалось — скот делался осторожен. И тогда решил косолапый взять стадо на испуг, ворваться в него, наделать панику и под шумок добыть свеженинки. К такому наглomu «шарапу» чаще прибегают волки, но вот и медведь решился — дурак скребет на свой хребет!

— Ну, а теперь-то уж все или их табун тута, ведмедей-то? — спросил нахохленный Устин.

— Кто знат? Кто знат?.. — покуривая да поплеывая, щурили узкие глаза вогулы и затажно вздыхали: — Тайга, парень, тайга...

Успокоившиеся, снова смиренные, тупые с виду, паслись бычки и коровы на полянах, поднимая головы, замирали с пучком травы во рту, вслушиваясь в тишину гор и редколесий. Долгим, спокойным взглядом проводили они наш отряд в обратный путь.

Кони наострили уши, затревожились, сбили шаг возле болотца. Из поваленных кустов, где валялся растерзанный зверь, взмыл тощий коршун. Ушли в камни, мелькнув лоскутьем облезлой шкуры, вороватые песцы и лисы. Денисиха, подкинув мослатый зад и грохнув вьюком, в котором были ведра, котелки, ложки, перескочила через мокрую бочажину, фыркнув, надала ходу. «М-мму-у!» — дружелюбно промычал пестрый бычок и потащился было за нами, но скоро отстал, провожая нас сытым, полусонным взглядом.

Обомшеляя, древняя тишина снова охватила горы, на которых торопливо, ярко польхали многоцветьем альпийские луга. От цветов и белеющего рядом с ними вечного снега воздух был прозрачен, сладок, и так все вокруг покойно, величественно, что снова вселялось в душу блаженное успокоение и не верилось, что может свершиться в таком прекрасном мире что-нибудь коварное, жестокое, смертельное.

---

## ПРИШЛАЯ

Как и большинство сибирских деревень, мое родное село разнородно по населению. Любая смута, вселюдная, малая ли, занявшаяся внутри России, отбойной волной прибывала к далеким сибирским землям разноплеменный люд, и он наскоро селился здесь, сколачивая хибарки, а затем уж обстраиваясь основательно.

Эры зарождения своего села я уже не захватил, но тех, кого прибила к берегам Енисея судьба и выбросила на узкую полосу земли меж голых скал и глухих лесов, мне видеть и слышать доводилось.

Почему-то больше других я помню историю женщины, по имени Антонина. Я-то уж видел ее бабкой, этакой мягкоголосой, чистенькой, как гриб белянка. Волос на ней был пушист, молочной пеной вытекал он из-под платка, а глаза с прозеленью — глядеть в них было как-то сладко и боязно, как на поздний, еще не сожженный инеями лист. Опрятная она была старушка, и под чистым фартуком в кармане у нее всегда были конфетки, либо пряник, либо стручки гороху, и она потчевала ими ребятишек.

В деревне ее почитали все, даже отпетые головы. Часто тревожили Антонину люди просьбами: чтобы полечить дитя, отводиться с угорелыми, помочь молодухам при родах, а то и «усмирить самого», если уж он шибко буянил и хватался за ружье.

Антонина зачастую и слов-то никаких не говорила, а если говорила, то вроде таких: «Ложился бы ты спать, Пантелей Иванович. С какими глазами завтра встанешь?..»

Гулеван тут же начинал жалиться Антонине на судьбу.

Она обязательно выслушивала все жалобы, гулеван, меж тем успокоенный и облегченный, засыпал.

Когда в 1931 году семья Бурмистовых была раскулачена и ее назначили на выселение, село единодушно, начиная от бедняков и кончая активистами колхоза, встало на защиту Антонины и выселять ее не дало. Года через два после этого она умерла, и на поминках-то, где так любят русские люди говорить доброе о покойниках, услышал я о том, как Антонина появилась в селе.

Анисим Бурмистов пришел в наше село из Пошехонья с нищенской котомкой. Он был поводырем у слепой и шустрой старушонки Марфы. Избушку они сделали с бабкой на отшибе от села, ближе к увалу, чтобы вершинник было не так далеко таскать. Избушка была наполовину врыта в землю, стены и верх ее забраны вершинами деревьев, брошенными в лесу мужиками. Печь Анисим с бабкой слепили из речного плитняка и глины, глиной же обмазали для тепла и стены избушки.

А так уж водится испокон века на русской земле — в крайнюю да бедную избу охотней всего заворачивают путники. И кто только ни побывал в одноглазой избушечке Бурмистовых: странники, нищие, богомольцы, раскольники из скитов, беглые каторжники и просто сошедшие с пути люди. Они приходили из темноты и уходили в темноту и никогда уж больше не возвращались.

Сам Анисим, как подрос и в силу вошел, отправился в люди — учиться жизни и ремеслу. Бабка Марфа обходилась и без него хорошо. Она лечила людей, пользуясь их травками, каменным маслом и святой водою; принимала роды; читала задравные и заупокойные молитвы; заговаривала килу и зубы; предсказывала погоду и всегда была на миру и миром же кормилась.

Однажды вернулся Анисим, большой, мослатый, с капиталом, зашитым в шапку, и сказал, что будет ставить себе мельницу. Бабка отговаривала его от этой затеи, будто предчувствуя, что через поколение-другое мельница эта обойдется бурмистовскому корню крахом.

Анисим не послушался бабку, махнул на нее рукой и взялся за дело. И долго строил мельницу. А бабка Марфа добывала ему и себе пропитание по селу.

В непогожую, осеннюю ночь, когда Енисей бурлил и хлопался о скалы и бычки, а в горах по-над избушкой



что-то тяжело охало и стонало, бабка Марфа обостренным слухом слепого человека уловила, что вроде бы в оконце кто-то скребется.

«Птички божьи от непогоды приют ищут», — решила бабка Марфа и тут же стала забываться отлетчивым сном. Но по стене все скребся и скребся кто-то, и ровно бы стон или плач доносило.

— Не заперто! — на всякий случай крикнула бабка. — Если добрый человек — входи, лихой — ступай с Богом.

Дверь, сколоченная из плохо пригнанных друг к другу тесин, проконопаченная куделей, чуть скрипнула. В избушку почти вползла мокрая до нитки баба в разбитых опорках. До бабки Марфы донесло ее прерывистое дыхание со всхлипом и запах ветров, хвойного леса, сухого сена и соломы, кочевой запах скитальцев, уже полузабытый бабкою.

Бабка Марфа перекрестилась, сползла с печи.

Пришлая стояла у дверей. Бабка голой ступней вклеилась в земляной пол — с гостью натекло. Дотронувшись до пришлой, бабка Марфа пробежала пальцами по ее одежде, по лицу и прочитала его.

— Эко горе — молодуха одна в ночи! — всплеснула руками бабка Марфа и повела гостью к столу, вкопанному в землю. Вела, полюбив, будто несла полную кринку с молоком и боялась расплескать.

— Садись, болезная. Я сейчас щепы в печь подброшу, обсушиться спроворю. Щепа у нас своя. Анисим с мельницы приносит. Жарка щепы, с потом, — ворковала бабка Марфа и суежилась возле печи. Сунула чугунок с травой, сунула горшок с водою поближе к жаркой загнетке. Какие-то тряпицы греть принялась, кинула их бабе и шубенку гретую с печи кинула, а сама руки стала мыть со щцанием, горячей водой. Все уже уразумела бабка Марфа, хотя и слепа.

Пришлая сидела неподвижно. В окно порскал дождь, потрескивала щепы в печи. Оцепенев, смотрела на огонь гостью, и только потемневшие губы ее плясали да все более делалось лицо.

— Оболокись, оболкись! — крикнула бабка Марфа.

Пришлая в ответ тонко заскулила, качнулась и цепко поймалась за скрипучий стол, чтобы не упасть.

«Бережется», — догадалась бабка Марфа, подхватила молодуху, содрала с нее котомку, мокрую одежонку, прикрыла ее шубейкой и стала подсаживать на печь.

— Осилься, осилься, — гладила она задыхавшуюся женщину, у которой некрасиво покривился рот, подались из орбит глаза. И когда засунула бабу на душную, пыльную печь, с деловитостью распорядилась:

— А теперь распустись, ослобони тело и с Богом, тужься... Тужься...

Анисим, явившийся к утру в избушку пьяненьким и оттого тихо да незаметно приткнувшийся спать в уголке, на соломе, продрал глаза и ушам не поверил — на печи раздавался писк и две узких, сбитых ноги торчали оттуда.

— На печь не вздумай пялиться! — громыхнула бабка Марфа ухватом, спозарань хлопотавшая у печи.

Анисим и без того неловко чувствовал себя с похмелья, смущался и раскаивался в содеянном. Не пил вовсе, пока мельницу не пустил на ход, а вчера вот опробовал мельницу и самогонки отведал. Душное зелье! Как и всякий русский мужик, перебравший накануне, он искал «ходу», чтобы оправдать свои действия. Потому и забрюзжал:

— А я смотрю? Пригреваешь бродяг всяких, а сами где попало...

— Не твою ума дело! Мы сами из бродяг, сами пригреты людьми. На вот, — сунула она ему круг толокна и стала оттирать Анисима к двери.

— Я уйду, уйду. Может, к вечеру вздымуся, — слабым голосом откликнула баба с печи. За нею пискнул, закнехтал дитенок.

Бабушка Марфа прикрыла за Анисимом дверь и сердито махнула рукой на печь:

— Лежи уж, помалкивай, коли лукавый попутал. — Она тут же перекрестила зевок: — Ох, тошнехонько мне, прости нас грешных, Богородица-Матушка, оборони от соблазнов...

Поднялась бабка Марфа на приступку, худенькая, маленькая, как девочка, положила на лоб молодухи сухую ладонь — жар. Принялась с ложки поить гостью молоком, потом бруснички маленько принесла, все до ягодки скормила. Не сопротивляется баба, пьет, ест — жить хочет. Бережно коснулась лица молодухи бабка Марфа. Пришляпывая губами ловит ее иссохшую ладонь, поцеловать пытается. Лицо молодухи отмякло, на ощупь благодать угадывается на нем, и в глазах благодать. Не видит бабка ничьих глаз, но она женщина, и она знает — у женщины радость ко всему бывает от родившейся вместе с дитем любви. И если ей волю дать — светом любви своей женщина может

весь мир божий согреть. Да где она, воля-то бабья! Нету ее. Заблудилась где-то в лесах темных, в горах высоких. Ох-хо-хо!..

Бегают пальцы бабки Марфы легко, необидно по лицу роженицы. Лоб у молодухи высокий, нос ровненький, ноздристый, губы хоть и спеклись, но пухлые, налитые огнем, — шибко любя мужикам женская особь с такими вот губами. «Красива женщина, — определила бабка Марфа. — Красива и молода».

— Из благородных, что ль?

— Что ты? Что ты? — почему-то испугалась гостья. — Мужичка, из сирот, из-под городу Изаславлю.

— Господи! Это какую же недолей занесло тебя сюда?

— Долго рассказывать. Ослабла я, — гостья прижала к груди ребеночка и отстранилась.

Ночевать домой Анисим не пришел, на мельнице остался.

На другой день бабка Марфа упорхнула в деревню — добывать молоко и хлеб. Вернулась, на стол поклажу сунула. А молодуха уже подле стола сидит, строгая, тоскливая. Через плечо рушник перевязан. Рушником к груди ребеночек притянут. Чмокает у груди, посапывает себе.

— Храни тебя Бог, баушка, — поклонилась низко молодуха, — молиться век за тебя буду.

— С Богом, милая, с Богом. Куда теперь?

— Куда ноги понесут, — пустым голосом ответила молодуха.

Бабушка Марфа нахмурилась:

— С поклажей не больно понесут. Осень на дворе. Как звать-то тебя?

— Антонидой. Благослови, пойду.

Мелко крестила бабка Марфа молодуху, совала ей за пазуху горсть сушеных сухаришек. Заплакала молодуха навзрыд, губами припала к руке бабки Марфы.

— Покаяться хочю. Прими покаянье, божья старушка.

— Да я-ть не по-оп, — протянула бабка Марфа, но чутье ей подсказало — колеблется молодуха, боязно ей ступить за порог с ребеночком. — Ну, да облегчись, облегчись, раз душа просит.

Развязала полотенце Антонина, отнятую грудь снова дала ребенку и ровным, бесстрастным голосом повела рассказ.

Ходила она в Забайкалье, на каторгу, к мужу своему, Герасиму. Герасим при разделе имущества и земли отца

порешил — пообидел тот его, младшего сына. Упекли Герасима на пожизненную. Одна Антонина осталась. Затосковала, закручинилась по белокудрому, хоть и гулевому, но до сухоты любимому мужу. Не выдержала, собрала котомку да и двинула пешком из далекой российской губернии аж за Камень, а потом в самое Сибирь и еще дальше. Чуть до моря-окияна не дошла.

Долог путь. Его не перескажешь. Нашла Герасима. Свиделись. Да накоротке свиделись. Плох уж он был. Плох был, горел от чахотки, да ребеночка все же смастерил. Успела от него затяжелеть. Схоронила мужа в чужой, кандалной земле. Сама пошла в обрат, унося под сердцем живую память от буйного человека и мученика Герасима.

Пригорюнилась Антонина. Слеза прочертила полоску на ее бледной и нежной щеке. Уютно почмокивали губы мальчика. Дробно колотилась белая крупа в окно. Гулко била волною вздыбленная река, уже подернутая салом в протоках и схваченная ледком у берегов. Слитно и многоверстно гудела нетронутая великая Саянская тайга.

— Храни вас Бог, — поднялась Антонина, — пора и честь знать, как баре говорят.

— Обопрись еще на время, — остановила ее бабушка Марфа и, послушав, что делается за окном, молвила: — Неприютно мы живем в хоромине своей, а все ж не на улице. Зима заглядывает в подворье. В твоей-то лопоти, да еще с ребеночком, ходить по чужим-то дорогам?.. Сгинешь сама и дитя погубишь. Уж коли Бог тебя привел — оставайся. А весною как Господь-Батюшко велит. Может, к деревне приладишься, может, дальше побредешь — долю искать...

Замолкли женщины, затихли в раздумье, а на избушку все налетал дождь с крупую, полосовал ее, и где-то совсем близко рокотно билась о землю река.

Антонина осталась.

Зимою умерла бабка Марфа, и Антонина волей-неволей сделалась хозяйкой в избушке, а потом и в большой избе Бурмистова Анисима. Без гулянки, без свадьбы и песен величальных вышла она замуж и прожила жизнь как работница в семье мельника.

Но так уж получилось. Хозяина в селе давно забыли, а вот работницу пришлою люди помнят и до сих пор.

---

## КОММЕНТАРИИ

Шарканьем обернется бег  
И ослабеет зренье —  
Не разгляжу, как уйдет мой век  
И чужое приспееет время.  
А, впрочем, оно уже и сейчас  
Чужое и, между прочим,  
Порочит-клеймит уходящих нас,  
А мы ему крах пророчим.

Не упомяну, чьи это в память запавшие стихи, но они сконцентрированно-точно и отражают мое отношение ко времени нынешнему, и соответствуют моим сегодняшним мыслям. А пребывая и путаясь вроде бы во временах прошедших, где горным перевалом была и остается война, я не мог и не смог бы, если даже захотел, выскочить из времени и из «себя» — сегодняшнего. Вот и повести, и рассказы, включенные в этот том, они все вроде бы о прошлом, но тревоги, боли, надежды в них находят отзвук в дне и во мне ныне живущем и еще не выронившем перо из рук. И во мне ли только? Вот строки из письма бывшего фронтовика-окопника Замышевского Владимира Игнатьевича из города Кстово Нижегородской области, старший брат которого живет в Дивногорске и многие родственники живут в нашем крае, а жена его, сибирячка, долгое время ведала участковой больницей в Рыбинском районе Красноярского края: «Нас, окопников, остается все меньше и меньше, мы выделяемся из среды многочисленных сегодня «участников» войны и внешне и внутренне. Упитанные, шумливые, крикливые, размахивающие портретами и флажками под дирижерской палочкой «серых кардиналов» и прочих, и прочих вынырнувших из небытия «вождей», — это не те, кто поднимался в атаку с матюками, кто грыз, ломая зубы, черные сухари, кто пил воду, окрашенную кровью убитых. У нас один бывший председатель райисполкома, всю войну просидевший в глубинном тылу (для разводу!), теперь стал секретарем горкома зюгановской партии и ветераном нашей войны. К 40-летию Победы получил орден Отечественной войны 1-й степени, а родившаяся в 1943 году также бывшая сек-

ретарь по идеологии тоже нацепила такой же орден. Когда нас было больше и мы были более организованные, эти «орденоносцы» не высовывались, вели себя намного скромнее».

Этот Замышевский оказался не только близким мне по духу фронтовиком, но и родственником тети Ули, «героини» моей повести «Кража», его жена является ее внучкой (воистину земля круглая).

21-го февраля 1994 года тети Ули не стало. Высланная в Игарку, оставшись после ареста мужа в 1938 году, она всю жизнь, до последнего момента не доверяла людям, опасаясь подлости и провокаций. После перелома ноги, когда привезли ее домой, она потеряла память, не узнавала нас, не узнавала своей комнаты. В это время мы получили документы из Красноярской прокуратуры о реабилитации Черныха Тимофея Лазаревича и свидетельство о смерти, где написано, что он 18-го марта 1938 года был расстрелян. Мы со слезами пытались объяснить тете Уле, что — вот есть документы, более чем через полвека мы узнали, что произошло с ее мужем и нашим дедом. Она глядела на нас с недоверием, говорила, что он погиб на войне. Это ярчайший пример эпохи, вогнавшей, как ржавый костыль, страх в самую середину души человека.

Да уж чего-чего, но страху родная советская власть и любимая партия наоставляли в народе, насеяли по забедованной земле — за 80 лет человеку, он на смертном одре, и все не покидает его этот чудовищный страх, а гаденыши из «бывших» и их сегодняшние выкормыши продолжают сеять его и страшать — «вот мы к власти придем, вот мы вам покажем!»

Собственно, письмо Замышевского лишь продолжает высказанное и в меру сил моих изображенное в последних повестях «Так хочется жить», «Обертон» и в рассказах разных лет.

Две повести эти, как бы предваряющие иль опережающие третью книгу романа «Прокляты и убиты», возникли из давно мной написанной рукописи романа, которая и должна была стать третьей книгой. Но в процессе работы над первой и второй книгой романа я как-то «незаметно» отошел от первоначального замысла, и настолько далеко отошел, что замысел и существующая рукопись разошлись как в море корабли и сближение их сделалось невозможным. И тогда я решил несколько наиболее законченных глав превратить в рассказы, но, видимо, взяв разгон на первых книгах романа, понесся вскачь, и написалось вместо рассказов две повести — «Так хочется жить» и «Обертон» — обе хорошо встречены и читателями, и критикой. Я имею в виду нормальную критику, а не фашиствующих молодцов, которые, коли ты «не за нас», готовы напасть на что угодно и на кого

угодно с бранью, поношениями с «мыслями» и лексикой постоянного двора.

Как всегда после изнурительной работы «на износ», потянуло меня пописать что-нибудь «легонькое», развлекательное, и я почти в один присест сотворил «Разговор со старым ружьем» и получил очередное удовольствие от этой работы. Она, эта работа, обрадовала моих близких друзей, читателей и жену мою, первую читательницу и критика первого. Все они думали, что я уж не смогу выпростаться из-под тяжкой, почти надмогильной плиты романа, что работа эта подавит меня, а может, и раздавит.

Но жив солдат, значит, живой еще и литератор, есть замыслы вроде праздничных подарков самому себе — написать о природе, послушать еще и еще шум лесов, плеск вод, полюбоваться небом ночным и ясному солнышку порадоваться. Однако ж и замысел третьей книги романа «Прокляты и убиты» не оставляет, тревожит, стучится в грудь и в голову, не дает покоя эта немилосердная работа, и, если сил подкоплю и время позволит, напишу хотя бы наиболее уже отстоявшиеся, зрелые главы да и вздохну с облегчением.

Что касается рассказов, то все они разных лет и разны по содержанию, все они много раз печатались и в моих книгах, и в коллективных сборниках. Удивление у читателей вызвал рассказ «Ночь космонавта», что, мол, ты знаешь про космонавтов-то? Да ничего не знаю, но когда Беляев с Леоновым «сели» в пермскую тайгу, а вот ее-то я знал как раз хорошо, и когда космонавтов нашел и спас молодой лесозаготовитель, шевельнулась у меня мыслишка написать об этом необыкновенном происшествии рассказ, а, как говорил один отечественный классик, «уж если русскому человеку чего в голову втемяшится...».

Рассказ «Слякотная осень» с таким горьким материалом тех горьких и пакостных лет в периодике не печатался, лежал до разных «оттепелей», пока не отпотел и не вошел прямо в сборник «Затесей», за что и были руганы и биты издатели его. Рассказ «Курица — не птица» посвящен тете моей жены Таисье Андреевне Логиновой, со слов этой замечательной женщины и писан, остальные рассказы писались и печатались в разных журналах в более благополучное время, и судьба их обыкновенна и тоже благополучна.

---

## СОДЕРЖАНИЕ

ТАК ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ. Повесть	5
ОБЕРТОН. Повесть	197
РАССКАЗЫ	
Разговор со старым ружьем	283
Ночь космонавта	329
Передышка	364
Курица — не птица	379
Слякотная осень	390
Осенью на вырубке	398
Медведи идут следом	408
Пришлая	422
<i>Комментарии</i>	428



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДАНИЕ

**АСТАФЬЕВ Виктор Петрович**

**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ**

**Том одиннадцатый**

---

Художественное оформление А. Озеревской, А. Яковлева

Редакторы А. Ф. Гремицкая, Г. И. Сысоева

Художественный редактор Е. В. Корнеева

Технический редактор Н. Н. Шабли

Корректоры

А. Ф. Пантелеева, Л. С. Павленко, В. Н. Ключина, Е. М. Гаврилина

Оператор компьютерной верстки Л. С. Васьковская

**ЛР № 010162 от 06.03.97**

Подписано в печать 25.12.97. Формат 84x108 1/32. Бумага офсетная № 1.  
Гарнитура Балтика. Печать офсетная. Усл. печ. л. 22,68. Уч. изд. л. 23,46.  
Тираж 10000. С—029. Заказ 70

Отпечатано на производственно-издательском комбинате «ОФСЕТ».  
660049. Красноярск, ул. Республики, 51





